

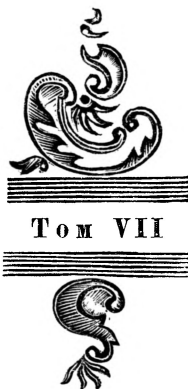


НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
Н. Я. БЕРКОВСКОГО,
И. С. ВИНОГРАДСКОЙ И И. К. ЛУШПОЛА



А С А Д Е М І А
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

Г Е Н Р И Х Г Е Й Н Е

**К ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
И ФИЛОСОФИИ В ГЕРМАНИИ
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ДУХИ СТИХИЙ**

ПЕРЕВОД А. Г. ГОРНФЕЛЬДА
КОММЕНТАРИИ А. З. ЛЕЖНЕВА
РЕДАКЦИЯ И ВСТУПИТЕЛЬНАЯ
СТАТЬЯ И. К. ЛУППОЛА



А С А Д Е М И А
1936

*Виньетки на титульных листах —
гравюры на дереве Л. С. Хижинского.
Переплет, суперобложки и заставки
по его же рисункам*



Г. ГЕЙНЕ
С портрета работы Эльзассера
1825 — 1829 г.



ГЕЙНЕ И ФИЛОСОФИЯ *

1

Было бы без нужды неблагодарным делом искать в творческом наследстве Генриха Гейне систематической философии, законченного мировоззрения, стройного и последовательного мышления. Гейне не был ни философом-систематиком ни строгим, всегда имеющим на все вопросы готовые ответы, мыслителем. Одновременно сатирик, развенчивающий романтику, и романтик, сдобривающий каждый образ острой мыслью, он был прежде всего и по преимуществу художником. Но остроумие Гейне не было пошлым и развлекательным острословием. Его острое слово до своего воплощения всегда бывало острой, разящей противника *мыслью*, и потому Гейне-художник был прежде всего *идейным художником*.

Идейная же насыщенность творчества Гейне, и притом безразлично, в какой бы форме оно ни проявлялось — в форме ли сатиры, лирики или художественной публицистики, — ставит вопрос о сущности, направлении, философском смысле идейного арсенала Гейне и таким образом, если и не об его философии, то об его отношении к современной ему философии.

Дело в том, что в его эпоху философия, и, конечно, прежде всего немецкая философия, как бы ни была она абстрактна, врывалась в самое жизнь, ставила коварные и недвусмысленные вопросы даже и «непосвященным», требовала ответов, требовала определенного к себе отношения. И отношение к ней тех или иных писателей, поэтов, художников, естественно, всегда дает ключ к их собственному мировоззрению. В особенности ясно и

* Вступительную статью к VII тому мы ограничиваем только темой «Гейне и философия», потому что вопросу «Гейне и романтизм» будет посвящено предисловие к I тому Собрания сочинений Гейне настоящего издания. *Ред.*

выпукло это сказывается у Гейне, и не только потому, что он специально писал о своем отношении к немецкой философии, но потому, что он был чрезвычайно чутким, восприимчивым и, так сказать, художественно и непосредственно «реактивным» писателем.

Находя, таким образом, ключ к мировоззрению Гейне в его отношении к классической немецкой философии, мы должны, однако, сразу же обратить внимание на одно важнейшее обстоятельство. Эпоха Гейне, в особенности для Германии, — переломная эпоха. Видимым, буквально осязаемым рубежом является 1848 год, т. е. революция 1848 года. Десятилетия сознательной, творческой жизни Гейне резко пересекаются этим рубежом; они исполнены движения — и притом революционного — и в общественно социально-политической жизни и, конечно, в области идейной, философской. «Подобно тому как во Франции XVIII века, в Германии XIX столетия философская революция, — писал Ф. Энгельс, — служила введением к политическому перевороту».* Правда, эти «философские революции» были весьма непохожи одна на другую.

Во Франции ясны материально обусловленные интересы радикальной и революционной буржуазии; ясно их направление против «фанатизма», т. е. монопольно господствовавшей католической церкви и религии, и «тирании», т. е. феодально-абсолютистского строя; ясны поэтому и формы и содержание, в которые отливается идеология революционной буржуазии — непримиримый, бескомпромиссный материализм и атеизм.

В Германии, развивавшейся на протяжении нескольких столетий в хвосте передовых в экономическом и политическом отношении стран, этот же, по существу, процесс, процесс взревания капиталистических отношений и «обуржуазивания» режима, протекал замедленно, в иных, мы бы сказали — изуродованных и отнюдь не «классических», формах. Здесь сказались и удаленность Германии от мировых путей сообщения со своими экономическими следствиями, и дворянская реакция после великой крестьянской войны, надолго утвердившая хотя бы и в специфических формах социально-политический феодализм, и в известной мере лютеранская форма эмансипации от католицизма.

* Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах; К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 635.

Жгучие и насущные проблемы, стоявшие и там и здесь перед буржуазией как будущим господствующим классом, получали во Франции свое непосредственное выражение и в социально-политической идеологии. В Германии же они как бы вытеснялись в область «чистой мысли», в сферу философии, в сферу философских, абстрактных споров, связанных и подчас смешанных со спорами теологическими (все же сказывалась протестантская «свобода» обсуждения теологических вопросов), и в лучшем и наиболее «земном» случае — в сферу художественной литературы. В силу этого, само собою разумеется, эффект этих споров был гораздо менее действителен, а диапазон и вовсе до поры до времени ограничен.

Это находит свое объяснение в том немаловажном факте, что если французская буржуазия уже с начала второй половины XVIII века все более определенно становилась на путь революции вплоть до самого 1789 года, то буржуазия немецкая до 1848 года *еще* не была революционной, а накануне 1848 года *уже* не была революционной, ибо уже встретила новый, единственно последовательно революционный класс — пролетариат. Немецкая буржуазия не пошла, таким образом, дальше либерализма.

Тем не менее основная линия развития философии, конечно, с существенной поправкой на время и его классовое содержание, и там и здесь проходила в одном направлении: от идеализма и либерального деизма к материализму и атеизму. Во Франции нарастание материалистической философии начинается уже в середине XVIII века, и к 1770 году (год издания «Системы природы») буржуазный материализм можно считать окончательно оформленным. В Германии развитие классического немецкого идеализма, при содействии всех орудий государственной власти, надолго вытравило всякие проблески материалистической философии, однако словно для того, чтобы после быстрого, катастрофического крушения гегелевской школы материализм резко обрушился в лице Фейербаха; но материализм Фейербаха — этот последний прогрессивный взлет буржуазного материализма — незамедлительно уступил место единственно революционному пролетарскому материализму К. Маркса и Ф. Энгельса.

Это ни в какой мере не противоречит тому, что и сам классический немецкий идеализм, благодаря тому наиболее ценному, что в нем было — активному принципу, нашедшему свое завер-

шение в гегелевской диалектике, — таил в себе революционный смысл. «Ее [диалектической философии] консерватизм относителен, — писал Ф. Энгельс, — ее революционный характер безусловен».

Вот эти-то скрытые революционные силы классического немецкого идеализма и были поняты Гейне, и притом еще задолго до появления материализма Фейербаха, во всяком случае за пятнадцать лет до 1848 года. Так, в 1834 году Гейне писал, что кантовская «Критика чистого разума» есть начало умственной революции в Германии». Напоминая в конце своей работы «К истории философии и литературы в Германии» о «кантовской критике, фихтевском трансцендентальном идеализме и даже натурфилософии», Гейне вновь подчеркивал их революционное значение. «Благодаря этим учениям, — писал он, — получили свое развитие революционные силы, только ожидающие дня, когда они смогут прорваться и наполнить мир ужасом и изумлением».

Иногда Гейне даже как бы предчувствует грядущий материализм и правильно связывает его с революцией. Так, в «Романтической школе» он пишет: «Пройдет еще время, прежде чем осуществится в немецком народе то, о чем он с таким глубокомыслием пророчествовал в этой поэме (народные сказания о докторе Фаусте. — *И. Л.*), а именно, прежде чем путем духа сознает он узурпацию духа и потребует прав для плоти. Это будет революция, великая дочь реформации».

Молодой Маркс, имея в виду это революционизирующее значение философии Канта, говорил о ней как о «немецкой теории французской революции», а Энгельс писал, что научный коммунизм гордится тем, что происходит не только от Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но и от Канта, Фихте и Гегеля.

Отдавая должное проницательности Гейне и явно намекая на его работу «К истории философии и религии в Германии», Энгельс писал, что «то, чего не замечали ни правительство, ни либералы [скрытое революционное содержание классического немецкого идеализма], видел уже в 1833 году, по крайней мере, один человек; правда, он назывался Генрих Гейне». *

Несколько иронический оборот речи в конце этого утвержде-

* Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах; К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 635.

ния Энгельса отнюдь не безоснователен. Дело в том, что, когда Энгельс писал эти строки, перед ним прошла уже вся жизнь Гейне — и его предисловие ко второму изданию «К истории философии и религии в Германии», написанное в 1852 году, и его «Признания», написанные в 1854 году. А в этих, едва ли не трагических, литературных документах Гейне, как известно, пытался взять назад многое из того, что им было написано до 1848 года. Поистине, революция 1848 года прошла рубежом через творчество Гейне, и испытания ее Гейне не выдержал. Правда, и до 1848 года его теоретическая мысль не отличалась особой ясностью, строгостью и последовательностью, и, с другой стороны, и после 1848 года он видел, что будущее — за революционным коммунизмом и материализмом; но если в первый период он шел навстречу революции, то во второй период он больше примирялся с ней, чем ей содействовал.

Мы и должны теперь проследить по этапам весь этот сложный комплекс гейневских идей, памятуя, что исторической истине, марксистско-ленинской партийности противоречит как беспричинное охаиванье, так и некритическое прикрашивание идейного наследства Гейне.

2

Гейне никак нельзя упрекнуть в рационалистичности, в антиисторичности его общей концепции. В этом отношении он целиком выученик классического немецкого идеализма. Ему чужды как абстрактные рационалистические идеи французских просветителей об уклонившемся от разума и природы человечестве и о необходимости для него «вернуться» к разуму и природе, так и упадочные идеи о фатальном кругообороте истории, в чем он упрекает реакционную «историческую школу» в Германии.

Его больше привлекает «более светлый и более близкий к идее промысла взгляд, согласно которому все земное созревает, идя навстречу прекрасному совершенствованию». Согласно этому взгляду, «золотой век — не позади нас, но перед нами». Так утверждает, в частности, «философская школа» в Германии, т. е. классический немецкий идеализм.

Гейне готов, если нужно, сразаться и с этим взглядом, но в этом сражении он будет биться благородным мечом, тогда как для расправы с «исторической школой» достаточно кнута.

Бой с «философской школой» он готов вести лишь потому, что он не может рассматривать «настоящее», земное, только как средство для «будущего», небесного, как цели. «Жизнь не есть ни цель ни средство — жизнь есть право. Жизнь стремится осуществить это право в борьбе с ледянящей смертью, с прошлым, и это осуществление права есть *революция*».

Такая пронизанная историзмом, прогрессивная по содержанию концепция приводит Гейне и к историческому рассмотрению философии и литературы в Германии. Чтобы понять немецкую литературу, нужно знать, какое значение имели в Германии религия и философия, а для этого, по мнению Гейне, нужно ознакомиться с тем, как из католицизма родилось протестантство и как из протестантства возникла немецкая философия.

Если искусственно ограничить себя только сферой идей, — а так, по существу, и поступает Гейне, — то избранный им путь не лишен основания, ибо действительно немецкая философия, скажем, XVII и XVIII веков, корнями своими уходила в лютеранскую догматику, а эта последняя вырабатывалась в борьбе с католицизмом, хотя и на одной с ним почве христианства. Независимо от того, развивали ли философы пиетистскую метафизику на лютеранский лад, на лютеранский же лад продолжая, таким образом, старую средневековую формулу: «Философия есть служанка богословия», или вступали на путь философской оппозиции, — три схоластических проблемы довели над ними: существование бога, бессмертие души и свобода воли. Эти проблемы предопределяли философскую тематику, и в форме решения этих проблем давался ответ на основной вопрос философии — об отношении мышления к бытию.

Эту историю идей и проследживает в своей работе Гейне, давая, впрочем, иногда в остроумных формулировках некоторый социально-исторический фон, но никогда не поднимаясь до историко-материалистической точки зрения. Да и понятно: философские взгляды Гейне никак не могли подвести его к этому, и его философско-исторические взгляды, не будучи крайне идеалистическими, не идут дальше наивной «социологии» конца XVIII века. Он сам резюмировал их в неопубликованных при жизни «Мыслях и заметках» следующим образом: «Философия истории была невозможна в древности. Только нынешнее время

имеет материалы для этого: Гердер, Боссюэт и пр. По моему мнению, философам придется прождать еще тысячу лет, прежде чем они приобретут возможность ясно определить организм истории; до тех пор, я полагаю, должно ограничиться следующим. Главною струей я считаю вот что: человеческая натура и условия жизни (почва, климат, традиционное законодательство, война, непредвиденные потребности) в своем взаимном столкновении или союзе дают истории фон, но свою сигнатуру они находят в духе, и идея, которую они избирают своей представительницей, в свою очередь действует на них как третий элемент».

Поэтому-то мы не должны ожидать от Гейне подлинной истории философии и религии в Германии; скорее это своего рода остроумные философские заметки по поводу истории философии, заметки, в которых, как сказано, раскрываются собственные взгляды Гейне.

Суждения об истории философии, очевидно, предполагают определенную точку зрения автора, и эта точка зрения должна быть высказана им уже по основному философскому вопросу. Гейне смело идет навстречу этому вопросу. Его терминология несколько своеобразна, но она вполне позволяет разобраться в его мировоззренческих установках.

Гейне говорит о *спиритуализме* и *сенсуализме* не в смысле источников познания, т. е. не в смысле теоретико-познавательных направлений, а в смысле различных *мировоззрений*. Уже здесь есть некоторая неясность, некоторая терминологическая путаница, выдающая дилетантизм Гейне.

Спиритуализм, несомненно, есть род мировоззрения, ничего иного не означающий как так называемый объективный идеализм, видящий в духе (*spiritus*) основу бытия, субстанцию мира, первичное начало и т. п. Как мировоззрение ему противостоит материализм, в материи, в бытии, в природе утверждающий субстанцию, основу, первичное. Это — азбучная истина.

С другой стороны, сенсуализм, конечно, является теоретико-познавательным направлением, исходящим из ощущений как первичного источника познания, утверждающим происхождение знания из ощущений, из мира опыта (эмпиризм). В своем содержании сенсуализм, при правильном понимании ощущения как результата воздействия внешнего, материального мира на органы

чувств, связывается с материализмом, выступая в качестве его-гносеологии. Так было у всех значительных материалистов XVII и XVIII веков. Однако при отрыве ощущения от вызывающего его материального предмета происходит вырождение сенсуализма в «чистый сенсуализм», неразрывно связанный с идеализмом. Субъективный идеализм Беркли — достаточно яркое тому доказательство. Поэтому говорить вместе с Гейне о сенсуализме в смысле мировоззрения будет неправильно. Равным образом, видеть в спиритуализме лишь учение об источнике познания будет неточно. Следует, конечно, говорить в данной связи о рационализме или об априоризме как о теоретико-познавательных направлениях, исходящих из разума, лишь в нем, и притом, по существу, в отрыве от чувств, усматривающих истинное знание (рационализм), либо в сознание влагающих врожденные, априорные условия знания (априоризм). Само собою разумеется, что рационализм ведет к идеализму как мировоззрению, а априоризм не может привести никуда, кроме агностицизма, чему классический пример — Кант.

Гейне несомненно чувствует сродство рационализма и спиритуализма и в одном месте «К истории философии и религии» прямо говорит об этом, отождествляя здесь же сенсуализм с эмпиризмом, а фактически этими последними терминами именуя материализм.

Таким образом для Гейне сенсуализм означал не что иное, как материализм (материализм, — например, говорит он, — есть учение о познании при помощи опыта, чувств; а *posteriori*), спиритуализм же был лишь иным названием идеализма.

Эти два исчерпывающих направления в философии Гейне характеризует следующим образом: спиритуализм «хочет возвеличить дух тем, что стремится свести на-нет материю», — сенсуализм же «старается отстоять естественные материи от посягательства духа», и Гейне совершенно правильно видит в истории философии вечную борьбу этих направлений.

Какую же позицию занимает Гейне? Вопрос нелегкий, и ответ на него может выясниться, лишь если мы последуем за историко-критической нитью самого Гейне.

Гейне правильно утверждает, что *идея* христианства заключается в полном уничтожении чувственности, сенсуализма, а

следовательно, по его терминологии, и материализма. Католицизм же, по мысли Гейне, был своего рода конкордатом между богом и дьяволом, между духом и материей. В теории католицизм провозглашал единодержавие духа; однако это было лишь в теории, на практике же материя пользовалась всеми правами. Борьба против католицизма в Германии означала войну, поднятую спиритуализмом, когда он заметил, что его господство лишь номинально. Это и породило пиетизм и пуританство. Во Франции также была поднята борьба против католичества; но это была война сенсуализма, когда он увидел, что хотя и господствует *de facto*, но есаячески поносится спиритуализмом. Поэтому борьба против одного и того же врага — но с противоположных позиций — в Германии воплотилась в богословских диспутах, а во Франции — в веселой сатире.

Эти существенные оттенки в антикатолической борьбе в Германии и Франции вскрывает, как известно, и Энгельс. Говоря о сокрушении духовной диктатуры католической церкви, Энгельс пишет: «Германские народы в своем большинстве приняли *протестантизм*, между тем как у романских народов стало все более и более укореняться перешедшее от арабов и питавшееся новооткрытой греческой философией *жизнерадостное свободомыслие*, подготовившее материализм XVIII столетия». *

Правда, как только в Германии спиритуализм нанес первые удары католичеству, «вырвался сенсуализм» — так изображает Гейне великую крестьянскую войну, которая, по его словам, несла с собой чувственное, материалистическое начало; но крестьянская революция потерпела поражение, и впоследствии спиритуализм вновь подавил сенсуализм, однако уже не в форме религии, а в форме философии. Дело в том, что лютеранство утвердило разум верховным судьей во всех религиозных разногласиях, оно как бы секуляризовало самое теологию, и начавшиеся повсюду споры по вопросам религии, споры на отвоеванном у схоластической латыни немецком языке, увенчались рождением немецкой философии, которая вместе с тем на долгое время сохранила эти родимые пятна теологии.

* Ф. Энгельс, *Диалектика природы*; К. Маркс и Ф. Энгельс, *Сочинения*, т. XIV, стр. 476.

Таким образом рождение немецкой философии произошло в результате длительного исторического развития, начало которому было положено реформацией как религиозной революцией, и у истоков которого стоит Лютер. По мнению Гейне, Лютер был не только религиозным реформатором, но и создателем немецкого литературного языка и всей новой немецкой литературы; его освободительное значение огромно, он создал ту «боевую, упрямую песню», которая провучала как «марсельеза реформации».

Нисколько не умаляя объективного значения реформации, марксизм видит в ней прежде всего одну из форм того грандиозного социально-исторического сдвига, который подготовил новый, по сравнению с феодализмом, капиталистический порядок вещей. «Королевская власть, — пишет Энгельс, — опираясь на горожан, сломала мощь феодального дворянства и основала крупные, по существу национальные, монархии, в которых получили свое развитие современные европейские нации и современное буржуазное общество; и в то время как буржуазия и дворянство ещё ожесточенно боролись между собой, немецкая крестьянская война пророчески указала на грядущие классовые битвы, ибо в ней на арену выступили не только восставшие крестьяне, — в этом не было ничего нового, — но за ними показались начатки современного пролетариата с красным знаменем в руках и с требованием общности имущества на устах». *

Вскрыв, таким образом, классовое содержание этого исторического сдвига, Энгельс иронически отзываясь о той форме его, которая имела место именно в германских странах. Он называет реформацию «приключившимся тогда с нами национальным несчастьем». Очевидно, Энгельс имеет в виду, во-первых, компромисс немецкой буржуазии, возглавляемой Лютером, с дворянством — компромисс, позволивший жестоко расправиться с крестьянской революцией; во-вторых — наступившую затем длительную дворянскую реакцию, надолго оставившую Германию страной феодальной, и, в-третьих, весь тот *религиозный* протестантизм, наполненный ригористической лютеранской догмой, в которую разрешился почти на два с половиной столетия освободительный порыв реформации.

* Там же, стр. 475.

Прекрасно видя всю классовую ограниченность германской реформации, всю измену Лютера освободительному движению перед лицом великой крестьянской войны, Энгельс, однако, воздаст должное Лютеру, ставя его в ряд тех «людей, основавших современное господство буржуазии», которые были чем угодно, но только не буржуазно-ограниченными». Больше того, он характеризует Лютера почти теми же словами, что и Гейне: «Лютер вычистил не только авгиевы конюшни церкви, но и конюшни немецкого языка, *создал современную немецкую прозу* и сочинил текст и мелодию того пропитанного чувством победы хорала, который стал *марсельезой XVI века*».

3

Выведя, таким образом, немецкую философию из религиозной реформации, Гейне попадает в гораздо более трудную для него сферу философии. Здесь-то он и оказывается непосредственно перед основным философским вопросом. Высказывая свои суждения в идеологически чрезвычайно ответственный момент — после смерти Гегеля (1831) и Гете (1832), но еще до выступления Д. Штрауса («Жизнь Иисуса», 1835) и материализма Л. Фейербаха («Сущность христианства», 1841), Гейне самостоятельно нащупывает путь решения проблемы, но в этой самостоятельности часто колеблется, бросается из стороны в сторону и, нужно прямо сказать, заблуждается.

Ограничиваясь фактически рассмотрением философии континентальной, Гейне неправомерно отказывает Ф. Бекону в имени родоначальника новой философии, признавая право на это имя лишь за Р. Декартом; характерно, что в другом месте он выражается почти по-марксовски, заявляя, что Джон Буль — прирожденный материалист, а ведь если так, то именно в Ф. Беконе должен был Гейне узнать родоначальника материализма нового времени. Но, само собою разумеется, не в этом суть, и менее всего следует видеть в Гейне ученого историка философии.

Гейне понимает дуалистический характер философии Декарта, обусловивший то, что «противоположнейшие учения могли черпать в ней необходимые материалы». «Я имею в виду, — продолжает Гейне, — идеализм и материализм».

Идеалистическая сторона картезианства, — констатирует Гейне, — не имела успеха во Франции. Христианский спиритуализм, через несколько десятилетий после смерти Декарта сделавший из идеалистических элементов его философии свою светскую опору, был соратником врагов революции; союзником же революции стал сенсуализм, т. е. в терминологии Гейне, — материализм.

Казалось бы, Гейне, «барабанщик революции», горячий ее адепт, должен был извлечь отсюда соответственный исторический урок, однако здесь-то и начинаются его колебания. Он не отрицает заслуг французского материализма XVIII века, но не разделяет материалистической философии, приводя ряд доводов, ни один из которых не выдерживает критики.

Французские материалисты, — говорит Гейне, — были в большинстве также деистами, ибо машина, по образу которой они строили и еселенную и человека (вспомним «Человека-машину» Ламетттри!), неизбежно требует механика, Гейне же выступает резким и ядовитым противником такого деизма.

Уже здесь кроется ряд ошибок и неправильностей. Верно, что французские материалисты в целом, отправляясь в известном отношении от Локка, прошли деистическую стадию развития, но верно и то, что уже в середине пятидесятих годов их ведущий отряд вышел на путь атеизма, единственно характерный для французского материализма XVIII века. Неправильно, таким образом, утверждение Гейне о родстве материализма XVIII века с деизмом.

Верно, что материализм XVIII века был механистическим, метафизическим материализмом, но верно и то, что механистический материализм вовсе не нуждался в «механике», в божестве. Поскольку для него движение было атрибутивным, коренным, искони вечным свойством материи, постольку отпадала всякая необходимость в «механике», который должен был однажды привести материю в движение. Таким образом вновь неправильно утверждение Гейне о необходимости для материализма XVIII века обращения к деизму.

Философский памфлет Ламетттри «Человек-машина» вовсе не означал, что, по его взглядам, человек есть «бездушный» механизм. Этот памфлет был направлен против картезианского пред-

ставления о «бездушных» животных-машинах. Если животные — машины, — такова мысль Ламеттри, — то и человек — машина; больше того, если угодно, то человек есть и растение («Человек-растение» — название другого памфлета Ламеттри). Все это нужно было Ламеттри для того, чтобы доказать субстанциальное единство, точнее — *материальное единство всего сущего*, а вовсе не для того, чтобы «доказать», что человек есть машина; об этом свидетельствует и еще один памфлет Ламеттри — «Животные больше чем машины» — назначение которого опять-таки состоит в демонстрации субстанциального единства человека и животных, что было как раз и против ортодоксально-церковного учения и против всяких деистических взглядов.

Но если Гейне не разделяет взглядов материалистической философии, то, может быть, он отчетливо склоняется к идеализму? Нет, и этого сказать нельзя. Если он как бы *опасается* материализма, то идеализм ему *претит*. Он называет клеветой утверждение, что «материя сама по себе зло», он заявляет, напротив, что зло есть следствие спиритуализма, он, как сказано, иронизирует над деизмом.

Правда, его аргументация против спиритуализма своеобразна и приоткрывает завесу над его собственной точкой зрения. «Материя сама по себе зло» — это клевета, говорит Гейне, это *ужасающее богохульство!* Ближайшей задачей философии, декларирует Гейне, должна быть реабилитация материи, — и здесь же поясняет: ее *примирение с духом!* Коротко, Гейне хочет найти такую философию, которая, избежав «односторонностей» материализма и идеализма, примирила бы их и вместе с тем шла бы по крайней мере в ногу с революцией — старая, обветшавшая уже ко времени Гейне, безнадежная попытка!

Дуализм Декарта по своей прямолинейности и элементарности уже не удовлетворял Гейне, — он ведь не примирял, а, напротив, разрывал материю и дух. Нужно было искать иного решения, и Гейне думал, что нашел его в... *пантеизме*. Он с любовью останавливается на всех проявлениях пантеизма в истории философии, а также на том, что ему, Гейне, представляется пантеизмом.

Так, он усматривает пантеизм еще у древних германцев, народная вера которых была, по его мнению, именно пантеи-

стической. Так, и всю историю философии нового времени он расценивает с точки зрения нарастания пантеизма. Бог не в одинаковой степени проявляется во всех вещах (как думал Геге), говорит Гейне, и каждая стремится подняться на более высокую ступень божественности: «это и есть великий закон прогресса в природе». Этот же «закон прогресса» в философии проявляется в виде развития и нарастания пантеизма. Для обоснования его у Гейне «все средства хороши».

Не отрицая, как сказано, заслуг французского материализма, но и не разделяя его взглядов, Гейне говорит, что материализм (сенсуализм) может быть результатом и пантеизма, «и тогда он прекрасен».

Если «Джон Буль — прирожденный материалист» и если материализм был философией французской революции, то в Германии — иное дело, и немецкие революционеры-де ошибаются, воображая, что материализм благоприятствует их целям. В Германии, видите ли, аргументирует Гейне, революцию нужно вывести из более народной, более религиозной, более немецкой философии. Германия, по его мнению, искони проявляла нерасположение к материализму.

Гейне не понимает, что следует говорить не о нации, а о классе, и притом находящемся на определенном, конкретно-историческом этапе своего развития. Так ведь и русских считали «прирожденными идеалистами», а русскую философию «по природе своей» — философией религиозно-идеалистической. Но известно, что еще, например, Д. И. Писарев придерживался прямо противоположного взгляда на «природу» мышления русского человека, а Н. Г. Чернышевский (чтобы ограничиться младшим современником Гейне) живым примером доказал, что можно оставаться русским и быть материалистом. Впрочем, еще раньше Чернышевского, через несколько лет после первого издания «Истории философии и религии в Германии», это же доказал в отношении немцев и Л. Фейербах.

Усматривая в пантеизме истину философии, Гейне впадает в соблазн видеть пантеистов и в ряде крупнейших классиков философии. Так, например, Спинозу Гейне толкует пантеистически, что, конечно, совершенно неправильно и что не выходит за пределы довольно истрепанного уже ко времени Гейне tradi-

ционного толкования мыслителя. С точки зрения Гейне, философия Спинозы так же далека от материализма Локка, как и от идеализма Лейбница. Здесь, конечно, верно, что Спиноза не был ни сторонником эмпиризма Локка ни сторонником спиритуализма Лейбница, но неверно, что «он не бьется над вопросом о первоосновах познания, а дает синтез, объяснение божества».

Азбучной истиной в наше время является то, что, утверждая единую субстанцию, Спиноза был *монистом*; утверждая единую *протяженную* субстанцию, он был *материалистом*, а утверждая в качестве атрибута этой единой протяженной субстанции мышление и объявляя субстанцию «причиной самой себе» (*causa sui*), он вычеркивал всякое трансцендентное божество, делал совершенно ненужным какого бы то ни было «механика» и был *атеистом*. Между тем, с точки зрения Гейне, «только непонимание и злонамеренность могли назвать это (философию Спинозы) атеизмом! Так теологические одежды метафизическоматериалистической системы Спинозы сбили с толку Гейне».

С точки зрения пантеизма и критикует Гейне всякую философию, с точки зрения пантеизма в его наиболее радикальном выражении (не «все есть бог», а «бог есть все»), и достается от язвительного Гейне больше всего деизму, которого он буквально не переносит. Деизм, утверждающий трансцендентного бога, есть, по словам Гейне, религия для рабов, детей, «женевцев»-часовщиков, т. е. филистеров. Напротив, пантеизм есть народная религия, «тайная религия Германии», или, как он выражается в одном месте, «публичная тайна Германии».

Гейне полагал, что в пантеизме он «примирил» материализм и идеализм (что вышло на самом деле, мы увидим дальше), но ему нужно было еще «примирить» пантеизм с революцией. Это казалось ему очень простым. «Революция, опирающаяся на принципы французского материализма, — писал он, — найдет в пантеистах не противников, а пособников». Еще бы! Революционеры выступают «за человеческие права народа», а Гейне — «за божественные права человека».

Гейне не хочет ни санкюлотства — уж очень оно, видите ли, отдает плебейством — ни умеренности в потребностях. Гейне понимает материализм как воздержание, аскетизм. Его собственные идеи, говорит он, отчасти поняли и пытаются осуществить

сен-симонисты. Пантеизм, пишет он в «Романтической школе», с наибольшей глубиной выражен у сен-симонистов, и потому теперь пантеизм ведет не к индифферентизму, а к самоотверженнейшему стремлению вперед.

Этим Гейне выдает объективную тайну своего мировоззрения. Пантеизм — прогрессивное течение в германской идеологии, однако не только до Фейербаха, но еще и до Гегеля — мог привести, да и то не всякого, в лучшем случае к утопическому социализму сен-симонистов!

4

Господство в Германии картезианства в специфически опошленной, немецкой интерпретации, господство лейбнице-вольфовской метафизики обусловили то, что в течение полутора веков (XVII столетие и добрая половина XVIII века) Германия была ареной самого плоского, тривиального идеализма. Единственной заслугой Вольфа, этого старательного ремесленника от метафизики, было то, что он побудил немцев философствовать на родном языке, и только светлая фигура Лессинга, этого немецкого Дидро, ярким пятном выделяется на тусклом, сером фоне немецкой философии.

Но вот явился Кант — с «Всеобщей естественной историей и теорией неба», с «Наблюдениями над чувством прекрасного и возвышенного», с «Бреднями духовидца», а главное, по мысли Гейне, с «Критикой чистого разума» и положил начало умственной революции в Германии. Своей «Критикой» он отрубил голову деизму, он высказал «разрушительную, миры сокрушающую мысль», он оказался страшнее Робеспьера, — так восторженно отзывался Гейне о Канте в 1834 году.

В чем же видит Гейне эту якобы революционную роль Канта? В том, что Кант установил границы познания. Именно в этой связи Гейне пишет: «Не без основания сравнивает он [Кант] свою философию с методом Коперника». В соответствии с этим Гейне объявляет главу «Об основании различения всех предметов вообще на феномены и ноумены» наиболее важной частью «Критики чистого разума». Соглашаясь с тем, что Кант опроверг физико-телеологическое и космологическое «доказательства» (специфически-деистические «доказательства» бытия божия),

он, однако, считает, что Кант не опроверг онтологического доказательства (наиболее рационалистическое, идущее еще из средневековья «доказательство» существования бога).

«Когда кто-либо оспаривает бога, — говорит Гейне, — то меня охватывает беспокойство, тоскливая жуть». «Бог есть все, что есть, — заявляет он как пантеист, — и всякое сомнение в нем равносильно сомнению в жизни — смерти». «Бог всегда был началом и концом всех моих мыслей». Но так как он продолжает оставаться врагом деизма, то он не прочь припасти онтологическое доказательство для собственных нужд: «Спасение онтологического доказательства, — говорит Гейне, — не помогло бы деизму, так как оно пригодно и для пантеизма». Единственно, что ставит Гейне в вину Канту и что он иронически осмеивает в нем, в известном анекдоте об уступке Кантом бога своему слуге Лампе, в образе которого Гейне воплощает тип немецкого филистера, — это восстановление Кантом деизма в «Критике практического разума». Как видим, в такой интерпретации Канта и его философии есть много верного, но и много ошибочного, подсказанного собственными взглядами Гейне. Во всем этом надлежит вкратце разобраться.

В исторической перспективе философские заслуги Канта, несомненно, значительны. Еще в так называемый докритический период Кант своей «Всеобщей естественной историей и теорией неба» (1755), т. е. своей космогонической гипотезой, пробил громадную брешь в метафизическом, застойном, статическом рассмотрении вселенной. Тогда же своими «Бреднями духовидца, подкрепленными бреднями метафизика» (1766) Кант нанес сокрушительный удар мистическому умозрению, пьяной спекуляции «духовидца» Сведенборга. Исторически значительна и роль «Критики чистого разума».

Дело в том, что немецкая догматическая метафизика, выросшая, как было сказано, на почве лютеранской ортодоксии, рассуждала о существовании бога, о бессмертной душе, о свободной воле как о вещах, данных в опыте. Эта «светская» деистическая метафизика была прекрасным подспорьем и подпоркой для протестантско-христианской теологии. Своим разделением мира вещей на ноумены и феномены, разделением предметов на вещи в себе и явления, так же как и своей критикой всех известных

в то время «доказательств бытия божия» (*онтологического*, умо-заключавшего от понятия бога к его бытию; *физико-телеологического*, доказывавшего бытие бога, исходя из целесообразного устройства мира, и *космологического*, утверждавшего бога в качестве первопричины), Кант покончил с этой догматической метафизикой, ибо объявил бога, душу и свободную волю вещами в себе, о которых нельзя с достоверностью сказать, существуют ли они или нет. В этом и видел Гейне отсечение головы у столь ненавистного ему деизма.

Однако вся беда заключалась в том, что Кант отрубил голову деизму не «по-французски», а «по-немецки». Известно, что Маркс называл философию Канта «*немецкой* теорией французской революции», и это замечание не только остроумно, но и вскрывает убогодный, филистерский, компромиссный характер кантовской философии.

Французские материалисты отрубили голову деизму по-атеистически; опираясь на данные естествознания, последовательно в условиях своего времени проводя точку зрения эмпиризма, они пришли к единственно правильному и твердо ими заявленному материалистическому и атеистическому решению: бога нет; бессмертной души нет, а душа — лишь модификация материи; свободной воли нет, все причинно обусловлено. Кант же поступил как феноменалист и агностик; его ответ сводится к следующему: нельзя сказать, есть ли бог, бессмертна ли душа, свободна ли воля, потому что все это — вещи в себе, а наше знание распространяется лишь на явления, т. е. наши же представления.

Объявление всех этих метафизических сущностей лишь явлениями было добыто Кантом ценою рассеяния *всего сущего* на ноумены и феномены; агностицизм делался универсальным; человеческому познанию ставились непреодолимые границы, и все знание превращалось в знание лишь феноменальное, иллюзорное. Чтобы хоть по видимости укрепить этот свой новый метод познания, придать ему наукообразную форму, Кант принял априоризм, т. е. объявил априорно, без всякого опыта и до всякого опыта присущими человеческому сознанию начала знания, которые только и делают возможным самый мир опыта. Отныне не представление должно было сообразовываться с предметом, а предмет должен был сообразовываться с представлением, ибо

«мы познаем в вещах лишь вложенное нами самими». Именно операцию, ставившую на голову весь процесс познания, и называл горделиво Кант новым «коперниковым переворотом». Всем этим Кант удалялся от истины и завязывал узлы, которые надлежало развязать впоследствии.

Гейне иронизирует по поводу того, что Кант, разделившись по-революционному с богом в «Критике чистого разума», вновь впустил его в свою философию, через заднюю дверь «Критики практического разума». Гейне имеет в виду этическое учение Канта, согласно которому, хотя теоретический разум и лишает нас возможности положительно удостоверить бытие бога, но практический разум вынуждает поступать так, «как если бы бог существовал». Но дело в том, что возрождение бога, деизма в «Критике практического разума» отнюдь не случайно и не противоречиво, ибо и вся «Критика чистого разума» уже подводит именно к такому решению проблемы. Дело в том, что своей дуалистической, компромиссной философией Кант мог уничтожить метафизику и деизм в старом, докантовском смысле слова, но сам Кант всей своей «критической философией» утверждал не что иное, как метафизику и деизм. Впоследствии, как увидим, это понял и сам Гейне.

Итак, в тридцатых годах Гейне понял революционизирующую, прогрессивную роль Канта в отношении немецкой метафизики XVII и XVIII веков, но не понял его реакционной, регрессивной роли по отношению хотя бы к французскому материализму XVIII века, а не понял он этого потому, что видел в Канте только этап на пути к шеллинговскому пантеизму, которого придерживался сам.

С этой точки зрения понятно отрицательное отношение Гейне к философии Фихте. Преодоление кантовского дуализма вещей в себе и явлений шло у Фихте в направлении, никак не устраивавшем Гейне. Фихте видел порок кантовской философии в допущении вещей в себе, т. е. в последнем, минимальном остатке материализма и объективизма. За это Фихте и называл Канта «три четверти головы» (*Dreiviertelkopf*). Если для Канта мир опыта был невозможен без априорных форм созерцания и априорных категорий рассудка, то, с другой стороны, он был невозможен и без вещей в себе, без их воздействия на нашу чувственность. Для Фихте же мир опыта был только «системой представлений», лишь

«сопровождаемых чувством необходимости». Другими словами, мир вещей в себе был для Фихте чистым вымыслом, и все содержание действительности переносилось им в сознание, в субъект. Вещь в себе оказывалась лишь абстракцией от «я», и исходным и исчерпывающим бытием оставалось лишь все то же «я», в активности своей «создающее» то, что называют миром вещей. Коротко, философия Фихте была *субъективным идеализмом*.

Этого-то и не мог ни понять ни простить Гейне. Он был настроен слишком реалистически, чтобы так легко уступить предметный мир, природу, он был слишком пантеистом, чтобы подарить абсолютному «я» Фихте свое божество.

«Идеализм так долго фильтровал божество через всевозможные отвлеченности, — сокрушается Гейне, — что в конце концов от него ничего не осталось». «Мы, — восклицает он, — верующие в истинного бога, раскрывающегося нашим чувствам в беспредельном протяжении и нашему уму в беспредельной мысли, мы, почитающие видимого бога в природе и слышащие его незримый голос в нашей собственной душе, — мы неприятно задеты резкими выражениями, в которых Фихте объявляет нашего бога химерой».

В своем стремлении примирить материю и дух Гейне готов защищать против Фихте природу, которую он пантеистически связывает с богом; уничтожающий природу Фихте представляется ему даже более опасным, чем чистый материализм, ибо первый уничтожает вместе с природой и бога. Фихтевский идеализм «безбожнее и предосудительнее грубейшего материализма». Атеизм материалистов содержал нечто душу возвышающее по сравнению с выводами Фихте. «Но я знаю одно, — признается Гейне: и тот, и другой мне противны». В конечном счете философия Фихте представляет для Гейне интерес лишь потому, что показывает бесплодность идеализма в его последних выводах и поскольку служит необходимым переходом к современной натурфилософии, т. е. к философии Шеллинга.

На примере отношения Гейне к Фихте вскрывается весь мятущийся дух первого, его философская недисциплинированность, его безнадежные попытки примирить непримиримое и, наконец, — самое главное — его революционаризм, уводящий в сторону от реакционного идеализма и вместе с тем не допускающий к пролетарскому материализму. В самом деле, Гейне не

хочет принять материализм в его существовавшем тогда метафизическом виде, ибо он груб и мертвенен, но сам не может дать иной тип материализма, хотя бы фейербаховского толка, и потому подает руку идеализму. Далее, он не хочет примириться с деизмом, ибо не приемлет бога в качестве механика, а обойтись вовсе без божества не может, что вновь влечет его к идеализму. Однако, оказывается, в глазах Гейне, идеализм в лице Фихте уничтожает и природу и бога в своем субъективном идеализме, а Гейне не может допустить уничтожения ни того ни другого. Он не может остаться без природы-бога и без бога-природы; он — за материализм, за природу, но с богом, и он — за идеализм, за бога, но с природой. Он мечется из стороны в сторону и в этих своих колебаниях, в этих, по существу классических, поисках компромисса с радостью хватается, как за спасительную ветвь, за философию тождества молодого Шеллинга. Гейне первой половины тридцатых годов казалось, что молодой Шеллинг разрешил все проблемы и сочетал, примирил материю и дух, природу и бога, и он с радостью примкнул к этой философии.

5

Фихте, — пишет Гейне в «Романтической школе», — дал манифест против французского материализма, «но эта философия, представляющая действительно вершину спиритуализма, была так же мало долговечна, как грубый материализм французов, и именно г. Шеллинг как раз и выступил с учением, что материя (или, как он называл ее, природа) существует не только в нашем духе, но и в действительности, что наше представление о вещах тождественно с самими вещами. Это и есть учение Шеллинга о тождестве, или, как его также называют, натурфилософия».

Посмотрим, что же так привлекало Гейне в натурфилософии Шеллинга. Прежде всего то, что Шеллинг, по словам Гейне, стремился вывести идеальное из реального. Далее — то, что мысль и природа для Шеллинга одно и то же; природа для него становится мыслью, реальное — идеальным. Шеллинговская философия состоит из двух частей: трансцендентального идеализма и натурфилософии. Законченности нет ни там ни здесь; трудно различить, где у Шеллинга кончается мышление, логика и где начинается поэзия, между тем поэзия составляет и силу и

слабость Шеллинга: он более силен в созерцании, чем в логике. Но все же можно сказать, что трансцендентальный идеализм является слабым местом философии Шеллинга, здесь он не больше чем подголосок Фихте; напротив, вся сила Шеллинга в его натур-философии.

Идея натурфилософии Шеллинга есть идея Спинозы — пантеизм. Это и привлекает Гейне больше всего. До пантеизма Гейне вместе с Шеллингом, дальше их пути расходятся. Гейне хвалит Шеллинга за то, что тот отверг кантовское этическое доказательство бытия божия и вернул немцев к Спинозе. Бог Шеллинга, думает Гейне, есть спинозовский бог-вселенная. Так было высказано Шеллингом, по крайней мере, в 1801 году, во втором томе «Вестника спекулятивной физики». В этом боге-вселенной нет никаких различий, никаких противоположностей, налицо абсолютное тождество. Год спустя в диалоге «Бруно» Шеллинг еще больше развил это свое учение. Полное завершение учения о боге Шеллинг дал в 1804 году в сочинении «Философия и религия». Здесь Шеллинг дает три формулы своего абсолюта. Первая — абсолют не есть ни реальное ни идеальное, ни материя ни дух, но их тождество; вторая — абсолют есть тождество по существу объекта и субъекта; третья — абсолют есть единое бытие, одновременно или попеременно совершенно идеальное и совершенно реальное. Этот абсолют постигается в мистической интуиции, в интеллектуальном созерцании, «где нет ничего идеального и нет ничего реального, ни мысли ни протяжения, ни субъекта ни объекта, ни духа ни материи, а есть... кто его знает что! Здесь кончается у г. Шеллинга философия и начинается поэзия, я хочу сказать — глупость».

Так сам Гейне принужден в изложении философии Шеллинга от прямого восторга перейти к отнюдь не воодушевленному рассказу, чтобы кончить насмешкой. Сильная реалистическая закуска Гейне не позволила ему идти с Шеллингом, даже с молодым Шеллингом, до конца и остановила его на полдороге, на пантеистическом истолковании Спинозы. Между тем у Шеллинга все друг с другом крепко связано, и его спекуляция, его мистическое умозрение не является чем-то внешним, случайным, а должно быть принято каждым, кто принимает его абсолюта. Этого не понял Гейне, оказавшись, таким образом, менее последовательным,

чем Шеллинг. Чтобы не принимать шеллинговской спекуляции, нужно было не принимать и его абсолюта; этого-то и не понял Гейне в своем пантеистическом ослеплении.

Начав с ученичества у Фихте, Шеллинг к 25-ти годам создал собственную «систему трансцендентального идеализма». Шеллинг выступил против Фихте, не будучи согласен с фихтевским «я», которое непонятным образом создавало «не-я», т. е. внешний, объективный мир. Другими словами, Шеллинг выступил против фихтевского субъективного идеализма, но выступил также с *идеалистическим* позиций.

Шеллинг заявил, что «я» и «не-я» представляют два полюса, и задача философии заключается в том, чтобы объяснить, как к субъективному привходит объективное, что и составляет предмет трансцендентальной философии, и, с другой стороны, чтобы объяснить, как к объективному привходит субъективное, что и составляет предмет натурфилософии. Решение этих проблем он хотел найти в совершенно умозрительной конструкции некоего Абсолюта (с большой буквы), одной стороной которого является субъективное, дух, а другой — объективное, природа. По Шеллингу, субъективное и объективное в абсолюте *совпадают*, т. е. абсолют представляет собою их тождество, их безразличие, ибо он не является *ни* субъектом *ни* объектом.

Сходство философии Шеллинга с философией Спинозы, — что так привлекало Гейне, — чисто поверхностное, по существу же они диаметрально противоположны. Спиноза — материалист: его субстанция материальна, ибо она протяженна и, как протяженная, мыслит. Шеллинг же чистый *идеалист*; его абсолют насквозь спиритуалистичен, ибо он не материален, не протяженен. Абсолют Шеллинга находится вне субъекта и объекта, вне времени и пространства. Поэтому немудрено, что сей метафизический «Абсолют» сверхчувственен и «постигается» лишь в интеллектуальной интуиции, лишь в мистическом умозрении.

Гейне хотел отбросить эту спекуляцию и в то же время принять абсолют, но это было совершенно невозможно, и фактически Гейне принимал в Шеллинге лишь надуманную им самим и неправильно выуженную из материализма Спинозы идею пантеизма.

Философия тождества оказалась для Шеллинга лишь подготовительной ступенью ко второму этапу его философской деятель-

ности — к философии откровения. Развивая все больше и больше свое учение об умозрении, он перешел к чисто мистической, реакционной, религиозной философии. Это уже достаточно вывнилось в то время, когда Гейне писал свои очерки «К истории философии и религии в Германии», и это было ему известно.

Конечно, Гейне не принял ни ноты из шеллинговской «философии откровения». Для нее у Гейне нашлись даже не иронические насмешки, а только саркастические клички, которые падали на Шеллинга как позорные клейма. Но поистине Шеллинг мог сказать Гейне: что же ты смотрел раньше? Разве ты не видел в моей философии тождества тех цветочков, которые вполне закономерно дали свои плоды в философии откровения? Зачем же теперь так сердиться, лучше было бы глядеть раньше.

Действительно, Гейне характеризует второй период деятельности Шеллинга как «позор отступничества», как «трусость лжи»; он заявляет, что, признав внемирового личного бога, Шеллинг отрекся от своего учения, выдал его правоверным католикам, стал отступником и занимается ныне лишь оправданием католицизма; вспомнив мистика конца XVI и начала XVII столетия, сапожника по профессии Я. Беме, Гейне пишет, что, если некогда этот сапожник говорил как философ, то ныне философ Шеллинг говорит как сапожник. Но, повторяем, все это не было бы столь неожиданным для Гейне, если бы он был более вдумчив в вопросах философии.

Вместе с тем приходит на память утверждение Гейне, что в Германии революция найдет себе пособников в пантеистах! Пример Шеллинга должен был бы подсказать ему и в 1834 году, куда может завести столь любезный его сердцу пантеизм. Ясно, что грядущая революция должна была опираться на иное учение!

Хотя Гейне опубликовал свои работы «К истории философии и религии в Германии» и «Романтическую школу» в 1834—1835 годах и, стало быть, перед ним уже прошла вся жизнь Гегеля, Гейне мало останавливается на гегелевской философии. Он пишет только, что на философии тождества окончилась философская карьера Шеллинга (будущее показало, что Гейне ошибся и в этом) и выступил более крупный мыслитель — Гегель.

В «Романтической школе» он выступает в качестве судьи между Шеллингом и Гегелем и решает этот спор в пользу все того же неправильно им понимаемого Спинозы. «Конечно, — пишет Гейне, — Гегель воспользовался очень многими шеллинговскими идеями для своей философии, но г. Шеллинг никогда не знал бы, что с ними делать, с этими идеями. Он всегда только философствовал, но никогда не смог создать философию. Но в таком случае надо определенно сказать, что г. Шеллинг больше заимствовал у Спинозы, чем Гегель у него... Все наши новейшие философы, быть может, не отдавая себе в том отчета, смотрят сквозь очки, отшлифованные Барухом Спинозой.

Позже, в «Признаниях» 1854 года Гейне сообщал, что он написал «общепонятное изложение всей гегелевской философии, чтобы включить его в новое издание книги «О Германии». О содержании этой работы можно только догадываться по некоторым фразам «Признаний». «Гегелевская философия, — пишет здесь Гейне, — оказала безбожническим учениям самое страшное содействие». Но и в Гегеле, видимо, Гейне привлекала все та же идея пантеизма, которую он извлек из гегелевской логики. «Я был молод и горд, — признается Гейне, — и мое самомнение было приятно затронуто, когда я узнал от Гегеля, что не бог царствует на небесах, как уверяла моя бабушка, но что я сам являюсь здесь, на земле, богом».

Однако в это время Гейне уже пережил надлом в своем мировоззрении и потому жестоко расправился с этой своей работой — он бросил ее в огонь!

Итак, проследивая в 1834—1835 годах пути развития философии в Германии, Гейне понимал ее прогрессивное, освободительное значение и шел вровень с ней вплоть до философии тождества молодого Шеллинга, которую он расценивал как новое проявление «пантеизма» Спинозы. Этот этап в развитии классического немецкого идеализма он считал одной из великих фаз немецкой философской революции, собственно, даже ее последним, наиболее высоким этапом. «Наша философская революция окончена, — писал он после изложения шеллинговской философии, — остается лишь разработка натурфилософской доктрины».

Опыт показал, что это было одним из самых больших заблуждений Гейне. «Философская революция окончена!» — провоз-

гласил Гейне в 1834 году, а на деле она только еще начиналась. Именно в эти годы началась философская разборка, размежевка в гегелевском философском доме. Скоро обозначились правые и левые гегельянцы, между которыми межеумничал гегельянский центр.

Правые в лице Гешеля тилились согласовать философию Гегеля с содержанием веры и из тигля гегелевской диалектики пытались вывести все религиозные представления. В лице Габлера правые пришли, так сказать, к самосознанию, в гегелевской логике они усмотрели мир в божественном мышлении. Ясно, что Гейне тридцатых годов было с ними не по пути.

Гегельянский центр топтался на месте и впадал с К. Розенкранцем в эклектизм кантианского толка: философия в апостериорном, в историческом существовании должна была находить априорное — разум. Сомнительно, чтобы Гейне так поздно пошел на выучку к этому формализированию гегелевской диалектики.

Левые и другие цеплялись за отдельные стороны учения Гегеля: Штраус — за субстанцию, Бруно Бауэр — за самосознание. «В своей критике, — писал позже Маркс, — оба идут дальше Гегеля, но вместе с тем оба продолжают оставаться на почве его спекуляции, причем каждый из них развивает лишь одну сторону системы». Такая односторонность, конечно, не могла бы привлечь Гейне. Макс Штирнер со своим «единственным», безумным, хотя и «эмпирическим» «я» мог бы только раздражить Гейне и зигзагом напомнить ему субъективный идеализм Фихте.

Правда, в 1839 году выступил со своей работой «К критике гегелевской философии» Людвиг Фейербах. Уже в этой работе Фейербах объявил ничтожным всякое умозрение, которое хочет выйти за пределы природы и человека. Единство духа и природы Фейербах уже усматривал в природе, причем он подчеркивал именно *единство*, а не тождество. Вместо мезальянса философии с религией он провозгласил законный брак ее с естествознанием. Все это, и в особенности тезис о единстве духа с природой, казалось, должно было бы привлечь Гейне, но в этой работе Фейербах подозрительно тянул в сторону материализма, что со всей очевидностью сказалось в 1841 году в «Сущности христианства» и, чтобы не ходить дальше, в 1842 году в «Предварительных тезисах

к реформе философии». Философская революция разгоралась и оставляла Гейне позади себя.

А дальше наступали такие философские и политические события, которые свидетельствовали уже о совершенно иных, принципиально отличных, новых классовых установках: появилась работа К. Маркса «К критике гегелевской философии права» (1843), вышло его и Ф. Энгельса «Святое семейство» (1845), писалась ими и частично была опубликована «Немецкая идеология», была напечатана «Нищета философии» Маркса (1847), читались Марксом лекции о наемном труде и капитале (1847), наконец вышел в самом начале 1848 года «Коммунистический манифест». Так был создан новый, диалектический материализм, так был создан научный коммунизм. Основной вопрос философии был решен единственно правильно, социальный идеал был сформулирован единственно верно, и реальные пути к нему были указаны единственно точно. Начиналась самая подлинная, отнюдь не философская революция.

Оставаться дольше на позициях пантеизма и сенсимонизма было уже невозможно. Можно было только или идти вперед и вверх или пытаться назад, катиться вниз. Вперед Гейне не пошел... Он судорожно пытался задержаться со своими старыми друзьями, но они как на грех неизменно «подводили»: занявший в 1841 году кафедру Гегеля Шеллинг, этот новоявленный «философ во Христе», распоясался в своем реакционном мистицизме; сенсимонисты обуржуазились. Гейне оставался один со своей философией, и в этом одиночестве былой «барабанщик революции» падал все ниже и ниже, пока не упокоился в... Библии. Как ни тяжело, но нам предстоит взглянуть и на этот печальный «философский конец» Гейне.

6

Было бы обывательским пустословием выдвигать в качестве основной причины идейно-теоретического надлома Гейне его тяжкую болезнь, нагрянувшую на него как раз в феврале 1848 года. Разразись эта отправившая его в могилу болезнь раньше или позже — эффект был бы тем же самым, и он был бы связан с той же знаменательной датой. Не физическая болезнь, а нечто иное, более социально-значимое, заставило Гейне так отвыгаться

впоследствии о революции 1848 года. «Да, неслыханны и баснословны были события в эти безумные февральские дни, когда мудрость умнейших была посрамлена, а избранники тупоумия были подняты на щиты». Гейне признавался: «Именно во дни всеобщего безумия ко мне снова вернулся разум», и эта фраза была продиктована не болезнью, а революционными событиями; они, а не болезнь, «вернули» — вернее сказать помутили — разум Гейне.

Немало содействовавший своей политической сатирой, своим острым художественным творчеством, антифеодальным, антифилистерским (даже больше того — антилиберальным по существу), Гейне не выдержал революции, когда увидел в числе ее движущих сил рабочий класс.

Гейне не был врагом пролетариата, больше всего он ненавидел феодально-абсолютистскую, в то же время пропитанную филистерским духом действительность дореволюционной Германии, но в своей буржуазно-демократической по существу революционности он боялся рабочего класса. Он даже видел, что будущее принадлежит ему, революционному рабочему классу, и это пугало его больше всего.

Гейне нашел в себе смелость заявить: «Эти доктора революции и следующие за ним решительные и безжалостные юноши — единственные люди, владеющие жизнью, и им принадлежит будущее». Но вместо того, чтобы подать этим «докторам революции» руку и идти вместе с ними навстречу революции, навстречу светлому будущему трудящегося человечества, он отшатывался от них и замыкался в себя, отворачивался от революции и волей-неволей погружался в тот «позор отступничества», в ту «трусость лжи», о которой он так хлестко говорил по адресу старого Шеллинга.

Страшным человеческим документом, смертельным прежде всего для самого Гейне, являются его «Признания» 1854 года: «До тех пор, пока такого рода доктрины (философско-атеистические. — *И. Л.*) оставались еще тайной собственностью аристократии избранных умов и обсуждались на особом аристократическом языке известного кружка, непонятном для лакеев... до тех пор и я принадлежал к легкомысленным *esprits forts*... Но когда я увидел, что всякое отрепье, сапожное и портняжное подма-

стерье, на своем грубом кабацком жаргоне принялось отрицать существование бога; когда атеизм начал сильно вонять сыром, водкою и табаком, — тогда глаза у меня вдруг открылись, и чего я не понимал умом, то понял теперь обонянием, неприятным чувством тошноты, и моему атеизму, слава богу, наступил конец».

Однако этого было еще недостаточно! Сам по себе материализм и атеизм мог вызвать у Гейне только неприязнь, но надвигалось нечто более грозное. Саморазоблачения сенсимониста Гейне идут дальше: «Я заметил, что атеизм заключил более или менее тайный союз с самым страшным, самым голым, неприкрытым даже фиговым листиком, вульгарным коммунизмом». Вот в чем крылась причина отступления Гейне перед революцией 1848 года!

Если можно так выразиться в данном случае, досаднее и обиднее всего за Гейне в этом деле то, что как он ошибался в вопросах философии, так теперь он коренным образом заблуждался в вопросах коммунизма. Он сам заявляет, что коммунизм пугает его не как рантье или промышленника, а как художника и ученого. Совершенно безосновательно и смехотворно опасается Гейне, что победа коммунизма «грозит падением всей нашей современной цивилизации». В этом причина его страха перед господством — в неизбежности которого он к тому же убежден — «огромной грубой массы, которую одни называют народом, а другие чернью и право которой на верховную власть давно уже провозглашено».

Гейне понимает, что нищета и невежество народа, его озлобленность и ненависть проистекают от грязи, в которой его держат, и от голода, в котором проходит все его существование. Но грязь он хочет уничтожить бесплатными купальнями, голод — общественными заботами, а невежество — народными школами. «Когда каждый из народа, — пишет он уже в 1854 году, — будет в состоянии приобрести какие ему угодно знания, тогда вы вскоре увидите интеллигентный народ». Одного не хочет и не может понять Гейне — того, что всего этого трудящиеся массы могут добиться лишь в процессе пролетарской, социалистической *революции*, возглавляемой революционным рабочим классом с его авангардом — коммунистической партией. Выше понимания Гейне оказывается то, что известно с самого зарождения научного

коммунизма: социалистическая революция наиболее бережно и наиболее внимательно относится ко всем культурным ценностям. Сама — продукт всего развития человечества, критически осваивая прошлые культуры, единственно социалистическая революция способна обеспечить безграничное развитие человеческой культуры.

Этого не понимал, этого не чувствовал в своем эстетическом аристократизме великий художник Гейне и потому, рассудком постигая неизбежность в будущем социалистической революции, рассудком же примирялся с им самим вымышленной судьбой своих произведений: «... с отвращением и ужасом, — пишет он, — думаю я о времени, когда эти мрачные иконоборцы достигнут власти; грубыми руками беспощадно разрушат они все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу. Они разобьют все те фантастические игрушки и безделушки искусства, которые так любил поэт. Они уничтожат мои лавровые рощи и будут сажать там картофель... Соловьи — эти бесполезные певцы — будут изгнаны, и — увы! — из моей «Книги песен» бакалейный торговец будет делать фунтики, в которые будет сыпать кофе или нюхательный табак для старух будущего». Как это похоже на действительную судьбу литературного наследия Гейне в стране социализма! В то время как на родине поэта фашисты сжигают его сочинения и разрушают его памятники, в стране социализма любовно восстанавливают его искаженные цензурой тексты, издают их в сотнях тысяч экземпляров и ставят ему памятники. Так поступает пролетариат, который лучше чем кто-либо видит и сильные и слабые стороны этого, несмотря на весь свой надлом, революционного певца...

А надлом оказался действительно сокрушительным. Начавшись, как мы видели, в сфере социально-политической, он все больше распространялся и на философию.

Уничтожив рукопись о гегелевской философии, Гейне хотел уничтожить и всю свою работу «К истории философии и религии в Германии». Но книга уже была распространена, и Гейне пришлось ограничиться в 1852 г. предисловием ко второму изданию, в котором он предупреждал читателя, что взгляды его изменились. Он объявлял «необдуманным» все то, что относилось в книге «к великому вопросу о божественном начале»; он ревизовал свои

взгляды на классический немецкий идеализм и, продолжая понимать его революционизирующее значение, заявлял лишь, что Кант не расправился с деизмом. Мы видели, что Кант, хотя и на иных основах, чем старая метафизика, но в самом деле оставался деистом. Однако, если прежде Гейне издевался над деизмом и деизма было для него слишком мало, то теперь его было для Гейне уж слишком много.

Он возвращался к христианству и жалко лепетал о том, что «самые жиденькие больничные супы христианского милосердия все-таки живительнее для томящегося от голода и жажды человечества, чем разваренная серая паутина гегелевской диалектики». Он снял посвящение книги «преуспевшему» утописту Анфантену, ибо поклонялся теперь другому богу, «бедному назарейскому богу, у которого не было ни гроша». Он ценил теперь реформацию XVI столетия не потому, что она открыла дверь немецкой философии, а потому, что она открыла ему Библию на немецком языке. Он даже рекомендовал эту Библию в назидание «не только милейшему Руге, но и еще гораздо более непримиримому своему другу Марксу и даже господам Фейербаху, Даумеру, Бруно Бауэру и другим самообожествившимся безбожникам». Так велика была глубина идейного падения бедного Гейне.

И все же, несмотря на свою близорукую «эстетическую» неприязнь к коммунизму, несмотря на свое «покаяние перед богом и людьми» в 1852—1854 годах, Гейне нашел в себе силы уже у порога самой смерти, в марте 1855 года, пропеть победный гимн коммунизму. Меньше чем за год до своей кончины он писал в предисловии к французскому изданию «Лютетии»: «Сознаюсь откровенно, этот самый коммунизм, до такой степени враждебный моим склонностям и интересам, производит на мою душу чарующее впечатление, от которого я не могу освободиться: два голоса говорят в его пользу в моей груди, два голоса, которые не хотят замолчать».

Первый голос — «голос логики»: «Страшный силлогизм околдовал меня, и если я не могу опровергнуть посылку, что «все люди имеют право есть», я вынужден подчиниться и всем выводам, вытекающим из нее». * Этот голос логики заставляет Гейне выступить объективным революционным судьей капиталисти-

* Гейне. Собрание сочинений, т. IX наст. изд.

ческого строя, даже поступившись своими личными эстетскими соображениями, необоснованность которых мы, правда, уже видели.

«Приговор давно уже произнесен — возглашает он на смертном одре... Да свершится правосудие! Да будет он разрушен, этот старый мир, где невинность погибала, где благоденствовал эгоизм, где люди эксплуатировали друг друга! Да будут разрушены до основания эти дряхлые мавзолеи, где царили обман и несправедливость! И да будет благословен тот бакалейный торговец, что будет некогда изготавливать из моих стихотворений пакетики и всыпать в них кофе и табак...» *

Второй голос — «голос ненависти», питаемый Гейне к партии, «страшнейший противник которой — коммунизм». Эта партия, которую так ненавидит Гейне, — националисты, «фальшивые патриоты, патриотизм которых состоит только в идиотской неприязни к чужеземным и соседним народам». Гейне ненавидел их и сражался с ними всю жизнь. На смертном одре, несмотря на все свои заблуждения, Гейне еще раз оказался прозорливцем. Говоря о «потомках тевтоманов» своего времени, он говорил, по существу, о предках немецких фашистов!

Я утешен сознанием, — писал Гейне у порога могилы, — что коммунизм, которому они первые попадутся на дороге, нанесет им последний удар; и конечно не ударом палицы уничтожит их гигант, нет, он раздавит их ногой, как давят жабу... Из ненависти к сторонникам национализма я мог бы почти влюбиться в коммунистов. Это, во всяком случае, не лицемеры, у которых на устах вечно религия да христианство; правда, у коммунистов нет религии... коммунисты даже безбожники... но главный догмат, проповедуемый ими — это самый неограниченный космополитизм, всемирная любовь — любовь ко всем народам, братское равенство всех людей, свободных граждан земного шара». *

Эти слова Гейне свидетельствуют о том, что он понял конечную идею коммунизма и доверился ей. Не его философские блуждания решают судьбу его творческого наследства; не его необоснованная, субъективная боязнь революционной массы и

* Гейне. Собрание сочинений, т. IX наст. изд.

* Там же.

даже не его «упокоение» в Библии. Судьбу эту решают его острые сатирические стрелы, которыми он громил политическую реакцию и социальное филистерство, судьбу эту решает его грохотавший еще перед революцией 1848 года призывный барабан, судьбу его, наконец, решают его прямые заявления о коммунизме в последний год жизни. Таким его знал, таким ценил и таким любил Карл Маркс, и таким его знает, ценит и любит современный революционный пролетариат.

И. Луппол

К РАЗЛИЧНОМУ ПОНИМАНИЮ ИСТОРИИ



Книга истории находит разнообразные толкования. Два совершенно противоположные воззрения выступают здесь с особенной отчетливостью. — Одни во всех земных вещах видят только беспощадный круговорот; в жизни народов, как в жизни отдельных людей, здесь, как в органической природе вообще, они видят рост, расцвет, увядание и смерть, весну, лето, осень и зиму. «Нет ничего нового под солнцем», — таков их девиз; да и в нем нет ничего нового, так как уже две тысячи лет тому назад его со вздохом прошептал царь востока. Они пожимают плечами, когда слушают о нашей цивилизации, которая в конце концов ведь опять уступит место варварству; они покачивают головой, когда им напоминают о наших боях за свободу, которые только способствуют появлению новых тиранов; они смеются над всеми порывами политического энтузиазма, который собирается сделать мир лучше и счастливее, а в конце концов все же остывает и никаких плодов не приносит; в мелкой летописи надежд, нужд, злоключений, страданий и радостей, ошибок и разочарований, — в этой человеческой истории видят они историю человечества. В Германии особенной приверженностью этому взгляду отличаются мудрецы исторической школы и поэты геттеской художественной эпохи; и последние обыкновенно пользуются им для того, чтобы сладенько прикрашивать сентиментальное безразличие к политическим порядкам в отечестве. Одно достаточно известное северогерманское правительство особенно ценит этот взгляд; ради его внедрения оно отправляет в путешествие людей, которым полагается среди элегических

руин Италии развивать в себе благодушно-успокоительный фатализм для того, чтобы потом, в сотрудничестве с посредничающими проповедниками христианского смирения, умерять холодными газетными простынями трехдневную лихорадку народного свободолюбия. Кто не в состоянии вознестись вверх силой свободного духа — тому остается ползать по земле. Но будущее покажет этому правительству, чего можно добиться зигзагами и окольными путями.

Вышеизложенному фаталистическому взгляду противоположен другой, более светлый и более близкий к идее промысла взгляд, согласно которому все земное созревает, идя навстречу прекрасному совершенствованию, и великие герои и героические времена — только ступени, ведущие к высшему богоподобному состоянию рода человеческого, нравственные и политические борения которого в конце концов приводят к священнейшему миру, чистейшему братству и вековечному блаженству. «Золотой век, — слышим мы здесь, — не позади нас, а перед нами; мы не изгнаны из рая пылающим мечом, а должны завоевать его пылающим сердцем, любовью; не смерть дарит нам плод познания, а жизнь вечную». «Культура» — таков в течение долгого времени был девиз апостолов этого взгляда. В Германии его придерживалась по преимуществу гуманитарная школа. Всем известно, с какой определенностью стремится к тому же так называемая философская школа. Она чрезвычайно способствовала исследованиям политических вопросов, и, в качестве высшего порождения этого взгляда, проповедуется идеальный государственный строй, который, целиком покоясь на разумных основах, должен в последнем счете облагородить и осчастливить человечество. — Полагаю, что не имею необходимости перечислять воодушевленных поборников этого взгляда. Их порывы в высь во всяком случае отраднее, чем мелкие извивы низменного пресмыкательства; если придется нам некогда вступить с ними в бой, мы обнажим для этого драгоценнейший

почетный меч, тогда как с извивающимся рабом расправимся более сродным ему кнутом.

Оба взгляда, как я их набросал, не вполне отвечают нашим наиболее жизненным чувствам; с одной стороны, мы не хотим возгораться попусту и высшую ставку ставить на преходящее; с другой стороны, мы хотим, чтобы и настоящее не теряло своей цены и чтобы оно не считалось только средством, а будущее его целью. И в самом деле, мы чувствуем себя слишком значительными для того, чтобы смотреть на себя лишь как на средство для какой-либо цели; нам вообще представляется, что цель и средство только условные понятия, вложенные в природу и историю человеческим мудрствованием, неизвестным творцу, ибо всякое создание имеет целью себя, и всякое событие обусловлено само собою, и все, подобно самому миру, существует и происходит ради самого себя. Жизнь не есть ни цель, ни средство — жизнь есть право. Жизнь стремится осуществить это право в борьбе с леденящей смертью, с прошлым, и это осуществление права есть революция. Пусть в этой работе не сковывает нашу энергию элегический индифферентизм историков и поэтов; и пусть фантастика утопистов не подбивает нас ставить на карту интересы дня и прежде всего нуждающееся в защите право человеческое — право на жизнь. — «Le pain est le droit du peuple», * — сказал Сен-Жюст, и это — величайшее слово, сказанное за всю революцию.

* «Хлеб есть право народа».

**К ИСТОРИИ
РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИИ
В ГЕРМАНИИ**



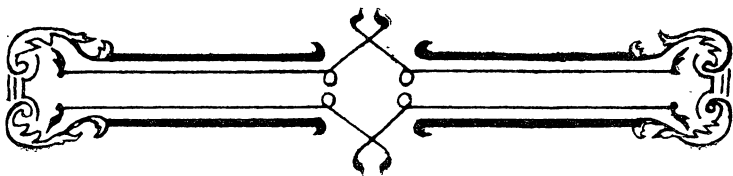
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Считаю нужным обратить внимание немецких читателей на то, что статьи эти первоначально были написаны для французского журнала «Revue des deux Mondes» и имели перед собой определенную задачу, а именно: они давали обзор событий немецкой духовной жизни, некоторые части которого были уже мною опубликованы для французских читателей и появились также на немецком языке под заглавием «К истории новейшей художественной литературы в Германии». Требования, предъявляемые повременной печатью, ее затруднительное материальное положение, недостаток научных пособий, неудобства, связанные с моим пребыванием во Франции, недавно обнародованный в Германии закон об изданиях, вышедших за границы, примененный только ко мне, и тому подобные затрудняющие обстоятельства, — все это не дало мне возможности расположить различные части этого обзора в хронологической последовательности и под общим заглавием. Таким образом, книга эта, несмотря на внутреннее единство и внешнюю завершенность, является лишь отрывком некоего большого целого.

Шлю родине самый дружеский привет.

Генрих Гейне

Париж, декабрь 1834 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Взяв, после появления первого издания этой книги, ее экземпляр в руки, я ужаснулся множеству искажений, кишевших повсюду. Здесь недоставало прилагательного, там вводного предложения, выпущены были целые отрывки, необходимые в общей связи, так что местами исчезали не только мысль, но и общий замысел. Не столько страхом божьим, сколько страхом кесаревым была направляема рука, виновная в этих искажениях; трусливо вычеркивая все политически щекотливое, она пощадила все самое опасное по отношению к религии. Так вытравлено было основное направление книги, по существу патриотически-демократическое, и жутким призраком уставился в меня из книги дух, мне совершенно чуждый, вызывающий в памяти схоластико-теологические словопрения и глубоко противный моей гуманистически-терпимой натуре.

Вначале я льстил себя надеждой заполнить при втором издании пробелы этой книги; но никакое восстановление текста теперь невозможно, так как во время большого пожара в Гамбурге рукописный подлинник погиб в доме моего издателя. Память моя слишком слаба, чтобы я мог восстановить погибшее по воспоминанию; к тому же состояние моих глаз не позволило бы мне взяться за внимательный пересмотр всей книги. Поэтому я довольствуюсь тем, что перевожу обратно с французского перевода, появившегося ранее немецкого, и вставляю некоторые из более обширных пропущенных мест. Одно из них, перепечатанное в множестве французских газет, подвергавшееся обсуждению и затрону-

тое в прошлом году во французской палате депутатов одним из крупнейших государственных деятелей Франции графом Моле, помещено в конце этого нового издания; пусть оно покажет, есть ли какая-нибудь доля правды в том «принижении и развенчании» Германии перед иностранцами, в котором я, по уверениям некоторых честных людей, провинился. Я дал выражение своему недовольству старой официальной Германией, заплесневелой страной филистеров, * — не создавшей, однако, ни одного Голиафа, ни одного великого человека, — и эти мои слова удалось представить в таком виде, как будто здесь шла речь о подлинной Германии, о великой, таинственной, так сказать, безымянной Германии народа германского, спящего властелина, скипетром и короною которого играют мартышки. Такая клевета была тем легче для этих честных людей, что я был почти совершенно лишен возможности высказаться о моих настоящих убеждениях в продолжение долгого времени, особенно же после появления декретов Союзного сейма против Молодой Германии, направленных, главным образом, против меня и поставивших меня в исключительно стеснительное положение, неслыханное в летописях рабства печати. Когда впоследствии я получил возможность несколько приподнять намордник, мысли мои все еще оставались несвободными.

Предлагаемая книга есть отрывок и отрывком останется. Сказать по совести, мне было бы приятнее совсем не отдавать ее в печать. Дело в том, что после ее появления мои взгляды на некоторые вопросы, особенно вопросы религиозные, изменились существенным образом, и кое-что из сказанного мною противоречит моим нынешним убеждениям. Но, как раз выпущенная стрела, расставшись с тетивой, выходит из-под власти стрелка, так слово, слетев с уст, не принадлежит сказавшему, особенно, если оно распространено по свету печатью. Кроме того, не печатать этой книги и исключить ее из полного

* Игра слов: *Philister* значит по-немецки и «филистимлянин».

собрания моих сочинений, значило бы нарушить чужие права, с точки зрения которых мне могли быть сделаны возражения весьма принудительного характера. Я, конечно, мог бы, как делают некоторые писатели в подобных случаях, прибегнуть к смягчению выражений, к прикрытию фразой, но я всей душой ненавижу двусмысленные слова, лицемерные цветочки, трусливые фиговые листы. * Но во всяких обстоятельствах у честного человека остается неотъемлемое право открыто признаться в заблуждении, и этим правом я хочу безбоязненно здесь воспользоваться. Поэтому безоговорочно признаю, что все относящееся в этой книге к великому вопросу о божестве столь же ложно, сколь необдуманно. Равным образом ложно и необдуманно повторенное мною вслед за школой утверждение, будто теория совершенно покончила с деизмом, который лишь в мире явлений влачит свое жалкое существование. Нет, неправда, будто критика разума, опровергнув доказательства бытия божьего, известные нам со времен Ансельма Кентерберийского, положила конец и самому бытию божьему. Деизм живет, живет живейшей жизнью, он не умер, и менее всего убила его новейшая немецкая философия. Эта паутина, эта берлинская диалектика, неспособная выманить собаку из-под печки, не в состоянии кошку убить, не то что бога. На самом себе я испытал, как безопасны ее смертоубийственные удары; она только и делает, что убивает, а жертвы ее живут да поживают. Некогда швейцар гегелевской школы, лютый Руге, твердо и бесповоротно объявил в «Галлеском ежегоднике», что убил меня насмерть своей привратничьей булавой, и, однако, в это самое время я разгуливал по парижским бульварам, целый и невредимый, и более бессмертный, чем когда-либо. Милый Руге, бедняга, он сам впоследствии не мог удержаться от искреннейшего хохота, когда я в этом самом Париже признался ему, что в глаза не видал этих ужасных смертоубийствен-

* Игра слов: *Feige* — фи́га и *feig* — трусливый.

ных страниц «Галлеских ежегодников», и как мои полные румяные щеки, так и превосходный аппетит, с которым я глотал устриц, убеждали его в том, сколь мало подходило ко мне название трупа. В самом деле, я был тогда здоров и дороден, находился в зените полноты и был надменен, как царь Навуходоносор перед падением.

Ах, несколько лет спустя произошла телесная и духовная перемена! Как часто с той поры возвращаясь я мыслю к истории этого вавилонского царя, который возомнил себя господом богом, но позорно пал с вершины своего высокомерия, ползал зверем по земле и ел траву, — полагаю, это был салат. В великолепно-грандиозной книге пророка Даниила рассказана эта легенда, и я рекомендую ее для назидательного размышления не только милейшему Руге, но и еще гораздо более непримиримому моему другу Марксу и даже господам Фейербаху, Даумеру, Бруно Бауэру, Генгстенбергу и как они там еще зовутся — эти самообожествившиеся безбожники. В Библии вообще есть множество прекрасных и достопримечательных рассказов, заслуживающих их внимания, как, например, сказание в самом ее начале о запретном древе в раю и о змее, маленькой приват-доцентке, за шесть тысяч лет до рождения Гегеля излагавшей всю Гегелеву философию. Этот безногий синий чулок с чрезвычайным остроумием показывает, каким образом абсолют заключается в тождестве бытия и познания, как путем познания человек становится богом или, что то же, как бог в человеке доходит до самопознания. Эта формула не так ясна, как первообразные слова: «Если вкусите от древа познания, то будете, как бог!» Из всего рассуждения Ева поняла одно, — что плод запрещен, а раз он запрещен, то она и вкусила его, милая женщина. Но едва отведав соблазнительного яблока, она потеряла свою невинность, свою наивную непосредственность, она нашла слишком обнаженной себя, особу такого положения, родоначальницу стольких будущих царей и королей, и она потребовала платья. Правда, речь шла только о платье

из фиговых листков, потому что в те времена еще не было лионских шелковых фабрикантов, а также потому, что в раю еще не было портних и модисток, — о рай! Удивительное дело, — едва женщина поднялась до мысления и самосознания, ее первая мысль была — новое платье! И этот библейский рассказ, особенно речь змеи, не выходит у меня из головы, и я склонен поставить ее эпиграфом к этой книге, подобно тому как над садами знатных особ часто висится предостерегающая надпись: «Здесь расставлены западни и капканы».

Уже в моей последней книге, в «Романсеро», я говорил о произошедшей в моей душе перемене по отношению к религиозному вопросу. С тех пор много раз с христианской назойливостью меня допрашивали о том, каким путем снизошло на меня это просветление. Набожным душам, как видно, очень хочется, чтобы я обогатил их каким-нибудь чудом, и они желали бы знать, не узрел ли я свет, подобно Савлу по пути в Дамаск, или не ездил ли, подобно Валааму, сыну Веора, на упрямой ослице, разверзшей уста и заговорившей по-человечьи. Нет, набожные души, никогда не ездил я в Дамаск, ничего не знаю о Дамаске, кроме того, что недавно тамошних евреев обвиняли в том, будто они жрут стальных капуцинов, и самое имя города было бы мне, верно, неизвестно, если бы я не читал «Песнь песней», где царь Соломон сравнивает нос своей возлюбленной с башней, обращенной к Дамаску. Никогда не видал я также осла — по крайней мере четвероногого, — говорящего по-человечьи, тогда как встречал немало людей, которые всякий раз, когда раскрывали рот, говорили, как ослы. В самом деле, ни видением, ни серафическим экстазом, ни гласом с небес, ни каким-либо необычайным сновидением или иным чудесным явлением не приведен я на путь благодати, и моим прозрением я обязан исключительно чтению одной книги. — Книги? Да, одной простой старой книги, скромной, как природа, и, как природа, естественной; это книга будничная и неприхотливая, как солнце, нас согревающее, и хлеб,

нас питающий; книга, глядящая на нас так сердечно, так благостно-ласково, словно старая бабушка, которая ведь и читает ежедневно эту книгу милыми дрожащими губами и с очками на носу, — и книга эта так прямо и называется Книга, — Библия. Правильно называют ее также священным писанием; кто потерял своего бога, может вновь найти его в этой книге, а кто его не познал, на того веет от нее дыханием божественного слова. Евреи, знающие толк в драгоценностях, понимали очень хорошо, что делают, когда при пожаре второго храма бросили на произвол судьбы золотые и серебряные жертвенные сосуды, подсвечники и светильники и даже нагрудник первосвященника с крупными драгоценными камнями и спасли только Библию. Она была истинным сокровищем во храме и, к счастью, не стала жертвою пламени или Тита Веспасиана, злодея, покончившего дни, по рассказам раввинов, так скверно. Еврейский священнослужитель, живший в Иерусалиме за двести лет до пожара второго храма, в блестящую эпоху Птолемея Филадельфа, и называвшийся Иошуа бен-Сирах бен-Елиэзер, выразил взгляд своего времени на Библию в собрании изречений «Мешалим», и я приведу здесь его прекрасные слова. Они богослужебно торжественны и, однако, так утешительно-свежи, словно вчера лишь брызнули из человеческой груди, и гласят: «Все это есть книга союза, заключенного с всевышним, а именно: закон, завещанный Моисеем дому Иакова. Отсюда истекла мудрость, подобно водам Фисона, когда он полноводен, и подобно водам Тигра, когда он весною разливается. Отсюда истекал разум, подобно Ефрату во время половодья, и Иордану во время жатвы. Отсюда распространилась нравственность, подобно свету и подобно водам Нила осенью. Никогда не было человека, изучившего ее до конца, и во веки не будет никого, постигшего ее до дна. Ибо смысл ее богаче всякого моря и слово ее глубже всякой бездны».

Париж, май 1852 года

Генрих Гейне



КНИГА ПЕРВАЯ

В последнее время французам казалось, что они достигли некоторого понимания Германии, познакомившись с произведениями нашей изящной словесности. Этим путем, однако, они возвысились только от состояния полного незнания до поверхностного знакомства. Ибо произведения нашей художественной литературы остаются для них лишь немymi цветами, вся немецкая мысль остается для них чужой загадкой, пока им не раскрылось значение, какое религия и философия имеют в Германии.

Намереваясь дать некоторые пояснительные замечания об этих двух предметах, я, мне кажется, сделаю полезное дело. Это нелегкая для меня задача. Приходится прежде всего обходиться без терминов школьного языка, совершенно неизвестного французам. С другой стороны, я не постиг тонкостей богословия и метафизики настолько, чтобы быть в состоянии дать им, согласно потребностям французских читателей, выражение очень простое и очень краткое. Я затрону поэтому лишь основные вопросы, обсуждавшиеся в немецком богословии и в светской философии, я буду освещать лишь их социальное значение, неизменно при этом принимая во внимание ограниченность моих популяризаторских средств и степень подготовленности французского читателя.

Великие немецкие философы, бросив, быть может, случайный взгляд на эти страницы, горделиво пожмут плечами по поводу скудного объема того, что я здесь излагаю. Пусть они, однако, благоволят сообразить,

что немногое, сказанное мною, выражено совершенно ясно и отчетливо, тогда как их собственные творения, правда, чрезвычайно основательны, беспредельно основательны, чрезвычайно глубокомысленны, поразительно глубокомысленны, в той же степени, однако, и непонятны. Что пользы народу в запертых хлебных амбарах, если у него нет к ним ключей? Народ алчет знания и благодарен мне за кусочек хлеба духовного, который я честно делю с ним.

Я думаю, не отсутствие таланта препятствует большинству немецких ученых изложить в общедоступной форме их религиозное и философское учение. Я думаю, причиной является тот страх пред результатами собственного их мышления, которые они не решаются сообщить народу. У меня же нет этого страха, так как я не ученый, я сам — народ. Я не ученый, я не принадлежу к семистам мудрецам Германии. Вместе с массою я стою пред вратами их мудрости, и раз какая-нибудь истина проскользнет оттуда, раз эта истина дошла до меня, — довольно: я записываю ее красивыми буквами на бумаге и передаю ее наборщику; он набирает ее свинцовыми литерами и передает печатнику, а тот печатает ее, и тогда она становится достоянием целого мира.

Религия, которую мы имеем честь исповедывать в Германии, — христианство. Поэтому мне предстоит рассказать, что такое христианство, как оно превратилось в римское католичество, как из последнего произошло протестанство, а из протестантства немецкая философия.

Я начинаю с беседы о религии, и я заранее прошу все набожные души отнюдь не тревожиться. Ничего не бойтесь, набожные души! Кошунственные шутки не оскорбят ваших ушей. Правда, такие шутки еще полезны в Германии, где важно в данную минуту нейтрализовать мощь религии. Мы ведь находимся здесь в том же положении, в каком были вы до революции, когда христианство состояло в неразрывнейшем союзе с ста-

рым режимом. Невозможно было разрушить последний, пока первое еще сохраняло свое влияние на массу. Едкий смех Вольтера должен был прозвучать, прежде чем ударит топор Сансона. Однако как этот топор, так и тот смех ничего не доказали: они были только внешними событиями. Вольтер мог ранить только тело христианства. Все его издевательства, почерпнутые из истории церкви, все его остроты насчет догматов и культа, насчет Библии, этой священной книги человечества, насчет девы Марии, этого прекраснейшего цветка поэзии, весь лексикон философских стрел, направленных им против церкви и жрецов, — все это ранило лишь смертную плоть христианства, но никак не внутреннее его существо, не глубины его духа, не его вечную душу.

Ибо христианство есть идея и, как таковая, неразруσιμο и бессмертно, подобно всякой идее. Но что такое эта идея?

Именно потому, что идея эта не понята еще во всей ясности и внешняя ее оболочка принимается за существо, нет еще истории христианства. Две враждующие между собой партии пишут историю церкви, непрестанно противореча одна другой, но никогда ни та, ни другая не сумеют определить, в чем идея, составляющая существо христианства, ищущая раскрытия в его символике, в его догматах и культе, во всей его истории и выразившаяся в действительной жизни христианских народов! Ни Барониус, кардинал католический, ни протестантский гофрат Шрек не сообщают нам, в чем собственно заключалась эта идея! И изучив даже все фолианты коллекции соборных материалов Манси, свод литургий Ассемани и всю «*Historia ecclesiastica*» Саккарелли, вы не выясните себе, в чем, собственно, заключалась идея христианства. Что же видите вы в историях церквей восточной и западной? В первой, в истории восточной церкви, вы не находите ничего, кроме догматических ухищрений, воскрешающих древнегреческую софистику; в истории западной

церкви вы не находите ничего, кроме препирательств о дисциплине, имеющих в виду церковные интересы, причем с новыми формами и средствами принуждения снова выступают древнеримская юридическая казуистика и политика. В самом деле, подобно тому как спорили в Константинополе о Логосе, так препирались в Риме об отношении власти светской и церковной; и как там предметом разногласий были единосущие, так здесь — инвеститура. Но за византийскими вопросами: единосущен ли логосу бог-отец?; надлежит ли Марию именовать богородицей или человекородицей?; голодал ли Христос по отсутствию пищи или потому, что хотел голодать?; за всеми этими вопросами сплошь скрывались придворные интриги, развязка которых зависит от того, о чем шушукаются и хихикают в покоях *Sacri Palatii*, о том, например, падет ли Евдокия или Пульхерия, ибо одна из этих дам ненавидит Нестория, выдавшего ее любовные шашни, другая же ненавидит Кирилла, находящегося под покровительством Пульхерии; все в конце концов сводится единственно к сплетням баб и евнухов, и в лице догмата преследуется или выдвигается человек, а в лице человека — партия. То же самое на Западе. Рим хотел властвовать: «Когда пали его легионы, он послал на провинции догматы»; все религиозные раздоры имели в основе римские захваты; все сводилось к упрочению верховенства римского епископа. В вопросах чисто религиозных он всегда был очень снисходителен, но метал громы и молнии при посягательстве на права церкви; он не много препирался о лицах во Христе, но много о выводах из Исидоровых декреталий; он централизовал свою мощь при посредстве канонического права, назначения епископов, принижения власти государей, учреждения монашеских орденов, безбрачия и т. п. Но разве это есть христианство? Раскрывается ли при чтении этих историй идея христианства? Что такое эта идея?

Как эта идея слагалась исторически и обнаружи-

валась в мире явлений, можно видеть уже в первые века нашей эры, особенно, если без предубеждения изучить историю манихеев и гностиков. Несмотря на то, что первые объявлены еретиками, а вторые ославлены, и те и другие прокляты церковью, следы их влияния на это учение сохранились, из их символики развилось католическое искусство, и вся жизнь христианских народов проникнута их образом мысли. В последних основах манихейне не очень отличаются от гностиков. Общим для тех и других является учение о двух враждующих между собою началах — добре и зле. Первые, манихейне, заимствовали это учение из древнеперсидской религии, где Ормузд, свет, противопоставлен как враг Ариману, мраку. Вторые, собственно гностики, верили больше в предсуществование доброго начала, объясняя возникновение злого начала как эманацию, как ряд поколений эонов, которые, постепенно отдаляясь от своего первоисточника, все более омрачаются и ухудшаются. По учению Керинфа, создателем нашей вселенной был совсем не высший бог, но лишь его эманация, один из эонов, настоящий демиург, постепенно переродившийся и теперь враждебно, как злое начало, противостоящий доброму началу — логосу, непосредственно исшедшему из высшего божества. Это гностическое мировоззрение — индийское по своим первоисточникам; оно принесло с собою учение о воплощении бога, об умерщвлении плоти, о духовном самоуглублении, оно породило аскетически-созерцательную монашескую жизнь, этот чистейший цвет христианской идеи. Эта идея могла найти лишь чрезвычайно смутное выражение в догматике и чрезвычайно неясное в культе. Однако повсюду, мы видим, выступает учение о двух началах: благому Христу противостоит злой сатана; представителем мира духовного является Христос; материю представляет сатана; одному принадлежит наша душа, другому — наше тело. И в согласии с этим весь мир явлений, природа, есть по существу мир зла, и сатана, царь тьмы, стремится при посредстве ее соблаз-

нов погубить нас. Потому нужно отречься от всех радостей жизни, чувств, предать наше тело, достояние сатаны, истязаниям, дабы тем прекраснее душа возносилась в пресветлые небеса, в лучезарное царство христово.

Такое воззрение на мир, представляющее сущность идеи христианства, с невероятной быстротой, подобно заразной болезни, распространилось по всей Римской империи; в продолжение всего средневековья длились страдания — то в виде горячечного неистовства, то в виде мертвенного бессилия, и мы, люди нового времени, до сих пор ощущаем судороги и слабость в членах. Если кой-кто из нас уже выздоровел, то он все-таки не может уйти из общей лазаретной атмосферы и, в качестве единственного здорового в массе больных, чувствует себя несчастным. Со временем, когда человечество вновь обретет полное здоровье, когда будет восстановлен мир между душою и телом и они вновь пронизают друг друга в первичной гармонии, тогда едва ли возможно будет даже понять искусственную вражду, созданную между ними христианством. Более счастливые и лучшие поколения, порождение свободного союза непринужденной любви, выросшие в религии радости, с сострадательной улыбкой будут взирать на своих бедных предков, сумрачно воздерживавшихся от всех наслаждений этой прекрасной земли и вследствие умерщвления теплой, многоцветной чувственности обратившихся чуть не в бледные ледяные привидения. Да, со всей определенностью я утверждаю: наши потомки будут прекраснее и счастливее нас. Ибо я верю в прогресс, верю, что человечество создано для счастья, и я, таким образом, более высокого мнения о божестве, чем все эти набожные люди, воображающие, что он создал человечество только для страдания. Уже здесь, на земле, хотел бы я, при благодатном посредстве свободных политических и промышленных учреждений, утвердить то блаженство, которое, по мнению набожных людей, воцарится лишь на небе.

сах, после Страшного суда. А может быть, как то, так и другое — глупая надежда, и не будет никакого воскресения человечества, ни в нравственно-политическом, ни в апостольско-католическом смысле.

Может быть, человечество обречено на вечное страдание, может быть, народы осуждены на то, чтобы во веки веков их попирали деспоты, эксплуатировали их клевреты и поносили их лакеи.

Ах, в таком случае следовало бы стремиться к сохранению христианства, даже видя в нем только заблуждение, следовало бы босиком и в монашеской рясе обходить Европу, проповедуя ничтожество всех земных благ и самоотречение, протягивая утешительное расписание бичуемым и поносимым людям и обещая им после смерти все семь небес там, наверху.

Быть может, именно потому, что владыки мира сего уверены в своей мощи и в глубине души решили вовеки веков пользоваться ею, во вред нам, они проникнуты убеждением в необходимости христианства для их народов, и по существу не что иное, как нежная, человеческая чуткость побуждает их столь заботиться о поддержании этой религии!

Таким образом, конечная судьба христианства зависит от того, нужно ли оно еще нам. В продолжение восемнадцати веков религия эта была благодеянием для страждущего человечества, она была даром провидения, она была божественна, священна. Все, чем послужила она цивилизации, смиряя сильных и усиливая смирных, связывая народы единым чувством и единым языком, и прочее, что прославляют ее апологеты, — все это даже незначительно в сравнении с великим утешением, которое она самым существом своим дарила людям. Вечная слава подобает символу этого страждущего бога, спасителя в терновом венце, распятого Христа, кровь которого была также целительным бальзамом, струившимся на раны человечества. Особенно поэт с благоговением признает суровое величие этого символа. Вся система символов, выразившаяся в искусстве

и быте средневековья, будет во все времена вызывать изумление поэтов. В самом деле, какая исполинская последовательность в христианском искусстве, особенно в архитектуре! Эти готические соборы, — как согласованы они с культом, и как раскрывается в них самая идея церкви! Все здесь стремится ввысь, все пресуществляется: камень разрастается в ветви и листву и становится деревом; плод виноградной лозы и хлебного колоса становится кровью и плотью; человек становится богом; бог становится чистым духом! Бесценно, неисчерпаемо богатство благороднейшего поэтического материала, который представляет для поэтов христианская жизнь средних веков. Лишь благодаря христианству могли создаться на этой земле положения, дающие столь дерзкие контрасты: с их настолько пестрыми скорбями и с их красотой, настолько причудливой, что может показаться, будто ничего этого в действительности не было, а все — грандиозный горячий бред, бред какого-то с ума сошедшего бога. Даже природа в эту пору как будто скрывалась в фантастическом наряде; тем не менее, хотя человек, захваченный отвлеченными умозрениями, досадливо отворачивался от нее, она пробуждала его иногда голосом, столь мрачно-сладоственным, столь жутко-ласковым, столь колдовски-манящим, что человек непроизвольно прислушивался и улыбался, и пугался, и даже иногда заболел смертельной болезнью. Мне приходит здесь на память история базельского соловья, и так как вам она, вероятно, неизвестна, то я расскажу ее.

В мае 1433 года, в дни Базельского собора, отправилась погулять в пригородной роще компания духовных лиц: прелаты и доктора, монахи всех родов; они диспутировали о теологических разногласиях и аргументировали или препирались об аннатах, экспективах и резервациях, или углублялись в вопрос о том, кто выше как философ — Фома Аквинский или Бонавентура — и тому подобное. Но вдруг посреди этих догматических и абстрактных дискуссий

они смолкли и остановились как вкопанные пред цветущей липой, на которой сидел соловей и, ликуя и рыдая, разливался в нежнейших и сладчайших мелодиях. Душу ученых мужей обьяло при этом необычайное томление, теплые звуки весны ворвались в их законопаченные схоластикой сердца, их чувства очнулись от тяжелого зимнего сна, они глядели друг на друга в недоуменном восторге, — пока, наконец, один из них не прервал молчания пронизательным замечанием, что это совсем не ладно, что этот соловей, возможно, дьявол, что этот дьявол вознамерился своим сладкозвучным пением отвлечь их от их христианского собеседования и совлечь их на путь похоти и иных искусительных прегрешений; и он стал возглашать заклинание, начав, вероятно, с обычной в те времена формулы, «*Adiuro te per eum, qui venturus est judicare vivos et mortuos*» * и т. д., и т. д. На это заклинание птица, говорят, ответила: «Да, я злой дух!» — и со смехом улетела; слышавшие же ее песню в тот же самый день заболели и вскоре затем поумирали.

Этот рассказ не нуждается в комментариях. Он целиком проникнут мрачным духом того времени, отвергавшим как дьявольский соблазн все сладостное и милое. Оклеветан был даже соловей, и люди осеяли себя крестом, когда слышали его пение. Настоящий христианин бродил среди цветущей природы с боязливо замкнутыми чувствами, подобно отвлеченному призраку. Об этом отношении христианина к природе, я, быть может, поговорю подробнее в одной из дальнейших книг, где мне придется для уяснения новоромантической литературы основательно заняться немецкими народными верованиями. Пока ограничусь замечанием, что французские писатели, введенные в заблуждение некоторыми немецкими авторитетами, очень ошибаются, полагая, что народная вера в средние века была одна во всей Европе. Лишь относительно доброго начала, царства

* «Заклинаю тебя тем, кто грядет судить живых и мертвых».

Христова, вся Европа держалась одного взгляда; об этом заботилась римская церковь, и кто отступал здесь от предписанного воззрения, тот был еретик. Но насчет злого начала, царства сатаны, в различных странах существовали различные взгляды, и германский север имел об этом совсем не те представления, что романский юг. Причиной было то, что христианское духовенство не отвергло прежних народных богов как пустые призраки, но признало их действительное существование, причем, однако, утверждало, что все эти боги — сплошь дьяволы и дьяволицы, которые вследствие победы Христа потеряли всю власть над людьми и теперь хитростью и обольщением старались завлечь их на путь греха. Весь Олимп превратился теперь в надземный ад, и как бы вдохновенно ни воспевал средневековый поэт приключения греческих богов, набожный христианин видел в них лишь дьяволов и навождение. С наибольшим ожесточением обрушился мрачный бред монахов на бедную Венеру; она главным образом считалась дочерью Вельзевула, и любезный рыцарь Тангейзер даже говорит ей в лицо:

«Жена прекрасная моя,
Венера, ты дьяволица!»

Дело в том, что она заманила Тангейзера в ту волшебную пещеру, прозванную Венериной горой, где, согласно старым рассказам, красавица-богиня ведет вместе со своими девами и женихами распутнейшую жизнь среди игр и плясок. Даже бедной Диане, несмотря на все ее целомудрие, не удалось избежать такой же судьбы, и ее заставили проноситься ночами вместе с ее нимфами по лесам, и отсюда явилось сказание о неистовом воинстве, о дикой охоте. Здесь во всей полноте еще проступает гностическое воззрение о постепенном перерождении того, что было некогда божественным, и в этой трансформации прежней народной веры глубже всего проявляется идея христианства.

Народная вера в Европе, на севере еще больше, чем на юге, была пантеистической, ее мистерии и символы относились к поклонению природе, в каждой стихии чтили сверхъестественное существо, в каждом дереве дышало божество, весь видимый мир был обожествлен; христианство перевернуло это представление вверх ногами, и место природы обожествленной заняла одьяволенная природа. Однако жизнерадостные, возвеличенные в их красоте искусством, образы греческой мифологии, господствовавшей вместе с римской культурой на юге, не так легко было превратить в отвратительные, ужасающие лики сатаны, как образы германских богов, в оформлении которых, конечно, не принимал участия никакой особенный художественный вкус и которые и раньше были так же мрачны и угрюмы, как сам север. Поэтому у вас во Франции и не могло быть создано такое темное и страшное царство нечистой силы, как у нас, и даже мир привидений и чудес получил у вас более светлый облик. Как красивы, ясны и многоцветны ваши народные предания в сравнении с нашими, этими уродами, сотканными из крови и мглы и так тупо и злобно скалящими на нас зубы. Наши средневековые поэты, пользуясь по преимуществу сюжетами, созданными или впервые обработанными у вас в Бретани или Нормандии, быть может, намеренно придали своим произведениям как можно больше этого веселого старофранцузского духа. Но в наших национальных эпопеях и в устных народных преданиях сохранился мрачный северный дух, о котором вы вряд ли имеете представление. И у вас, как и у нас, есть много разнородных стихийных духов, но наши отличаются от ваших, как немец от француза. Как светлокожи и, главное, как опрятны черти в ваших фэблио и волшебных романах в сравнении с нашей черной и очень часто отвратительно-грязной бесовской поганью! Ведь ваши феи и духи стихий, откуда бы вы их ни позаимствовали, из Корнуэльса или из Аравии, превосходно натурализовались у вас, и какой-нибудь французский дух отли-

чается от немецкого, как денди, фланирующий в желтых лайковых перчатках по бульвару Coblenze, от неуклюжего немецкого грузчика. Ваши русалки, например, Мелузина, отличаются от наших, как принцесса от прачки. Как перепугалась бы фея Моргана, встретив немецкую ведьму, вымазанную мазью, нагишом взлетающую верхом на помеле на Брокен. Эта гора — не веселый Авалон, а место сборища всего гнусного и мерзкого. На вершине горы восседает сатана в образе черного козла. Каждая ведьма со свечой в руке приближается к нему и лбызает его сзади, пониже спины. Затем поганое бабье пляшет вокруг него, распевая: «Дондеремус, Дондеремус!» Блечет козел, ликует адский канкан. Недобрый знак для ведьмы, когда в этом плясе она теряет башмак: это значит, что быть ей сожженной в этом году. Но страх от этой приметы заглушен безумной, истинно берлизовской музыкой шабаша; и когда поутру бедная ведьма пробуждается от своего пьяного угара, она лежит, голая и усталая, в золе подле погасшего очага.

Наиболее полные сведения об этих ведьмах можно найти в «Демонологии» достопочтенного и глубоко ученого доктора Николая Ремигиуса, уголовного судьи его светлости герцога Лотарингского. Сей проницательный муж имел поистине наилучшую возможность проникнуть в тайны ведьмовские, так как он руководил судом над ведьмами, в его время в одной Лотарингии было сожжено на костре восемьсот женщин, уличенных в колдовстве. Судебное разбирательство в большинстве случаев заключалось в следующем: связав им руки и ноги, их бросали в воду. Если они шли ко дну и тонули, то, значит, они невиновны; если же они держались на поверхности, то их признавали виновными и сжигали. Такова была логика того времени.

Основной чертой характера немецких демонов представляется отсутствие в них всего идеального; пошлое смешано в них с ужасным. Чем грубее их повседневный облик, тем более зловещее впечатление производят они

на нас. Нельзя себе представить ничего более страшного, чем наши домовые, кобольды и гномы. В «Anthropodemus» Преториуса имеется на этот счет одна страничка, которую я привожу здесь по Добенеку:

«Предки наши иначе и не могли представить себе домашних, как в человеческом образе, только в виде маленьких детей в пестром платьице или юбочке. Некоторые присовокупляют, что кой у кого из них воткнуты в спину ножи, у иных что-либо другое, и облик у них страшный — смотря по тому, как и каким орудием они были убиты. Ибо суеверные люди считают, что это непременно души когда-то убитых в доме людей. И болтают они всякие истории, будто, к примеру, бывало, кобольды немножко пособляли кухаркам и служанкам в доме и становились им милы. И кой-кому поэтому кобольды столь полюбились, что им пламенно хотелось увидеть своих маленьких прислужников и сблизиться с ними, на что, однако, домовые никогда не соглашались, отговариваясь тем, что их нельзя видеть, не придя от того в ужас. Но когда похотливые служанки все же не отступали, то кобольды будто назначали им в доме местечко, куда они явятся во плоти; только надо при этом захватить с собой ведро холодной воды. И вот, бывало, что такой кобольд оказывался лежащим голышом на подушке на чердаке с большим ножом мясника в спине. И девушка так пугалась, что падала без чувств. Тут он вдруг вскакивал и обливал ее сверху донизу водою, чтобы она пришла в себя. Это отбивало у служанок их похоть и охоту когда-нибудь увидеть опять своего Химхен. * У всякого кобольда ведь есть свое имя, но вообще они называются именем Хим. И за работников, и за служанок, которым они преданы, они делают всякую работу по дому: чистят и кормят лошадей, чистят конюшню, все подметают, кухню держат в чистоте и все прочие домашние работы исполняют бережно, и скотина при

* Химхен — Иоахимхен («Иоахимчик»), как поясняет источник Гейне — Добенек.

них жиреет и здоровеет. Зато, будто, требуют они ласки и от прислуги: чтоб никакой им не было обиды, чтобы над ними не насмехались и не отказывали в еде. Раз уже кухарка, к примеру, взяла себе такого тайного пособника в доме, то должна она ежедневно ставить в установленном месте в доме горшочек с приготовленным добрым кушаньем, сама же может уйти куда угодно; вольно ей потом лентяйничать, с вечера рано лечь спать — все равно с раннего утра она найдет всю свою работу сделанной. Но ежели хоть раз она забудет о своей обязанности, например, не выставит пищи, то придется ей вновь самой справлять всю свою работу, и во всем будет у нее неудача: то кипятком ошпарится, то горшки и посуду перебьет, то кушанье опрокинет или на пол уронит и все такое, отчего ее непременно разругает в наказание хозяйка или хозяин; и людям приходилось не раз слышать, как при этом домовый хихикает или хохочет. И, говорят, такой домовый всегда остается в своем доме, хотя бы прислуга переменялась. Мало того, уходя с места, служанка должна была препоручить и наилучшим образом отрекомендовать домового своей преемнице, чтобы и та ухаживала за ним. И если та не соглашалась, то и на нее сыпались всякие беды, и ей приходилось вскоре расстаться с этим домом».

К самым страшным историям принадлежит, пожалуй, следующий маленький рассказ:

В продолжение многих лет был у одной служанки домовичок-невидимка, сидевший у ее очага, где она приготавливала ему уголок и где долгие зимние вечера напролет проводила с ним в разговорах. Вот однажды упросила девушка: пусть маленький Гейнец — так звали духа — покажется ей в своем природном виде. Но Гейнец все отказывался. Наконец, однако, он согласился и приказал ей спуститься в погреб, — там-де она его увидит. Девушка берет свечу, сходит в погреб и там видит в открытой бочке плавающего в крови ребенка. А она много лет назад родила вне брака дитя и тайно убила его, и спрятала в бочку.

И все же — таковы уж немцы — они часто ищут развлечения даже в ужасе — и народные сказания о домовых подчас полны забавных черт. Особенно смехотворны рассказы о Гюдекене, домовом, выкидывавшем свои штуки в Гильдесгейме в XII столетии и очень часто упоминаемом на посиделках и в волшебных романах. Не раз воспроизведенное в печати место из старинной летописи сообщает о нем следующее:

«Около 1132 года в епископстве Гильдесгеймском в течение долгого времени многим людям показывался злой дух в образе мужика в шляпе, отчего мужики прозвали его на своем саксонском наречии Гюдекен. * Этому духу нравилось водиться с людьми, являться им то видимым, то невидимым, предлагать им вопросы и отвечать. Он никого не обижал без причины. Если, однако, кто либо насмеялся или иначе оскорблял его, то он расплачивался за обиду в полной мере. Когда граф Бурхард де-Лука был убит графом-Германом Визенбургским и владениям последнего грозила опасность стать добычей мстителей, Гюдекен разбудил спавшего епископа Гильдесгеймского Бернгарда и обратился к нему с такими словами: «Вставай, плешивый! Вследствие убийства графство Визенбургское покинуто и беззащитно, потому и ты легко можешь занять его». Епископ немедленно собрал свою рать, напал на землю провинившегося графа и, с разрешения императора, присоединил ее к своей епархии. Дух нередко и непрошенный предостерегал упомянутого епископа от грозящих ему опасностей и особенно часто появлялся в дворцовой кухне, где разговаривал с поварами и оказывал им всякие услуги. Так как понемногу все свыклись с Гюдекеном, то один поваренок осмелел до того, что всякий раз при его появлении дразнил его и даже обливал помоями. Домовой попросил главного повара или заведующего кухней запретить проказнику его озорство. Главный повар ответил: «Ты дух, а боишься мальчика», на что

* Шляпенка

Гюдекен возразил угрозой: «Раз ты не хочешь наказать озорника, то я через несколько дней покажу тебе, как я его боюсь». Вскоре после этого мальчик, оскорбивший домового, сидел как-то один и дремал в кухне. В этот момент схватил его домовый, задушил, разорвал на куски и поставил их в горшках на огонь. Заметив эту проделку, повар разругал домового, но на следующий же день Гюдекен испортил все жаркие на вертеле, облив их ядом и жабьей кровью. Эта месть вызвала новые ругательства повара, за которые дух, в конце концов, взведя его на привидевшийся, несуществующий мост, сбросил в глубокий ров. В то же время, неустанно обходя ночным дозором городские стены и башни, он принуждал стражу к постоянной бдительности. Один человек, имевший неверную жену, как-то, собираясь в отъезд, сказал в шутку Гюдекену: «Милый друг, поручаю тебе мою жену, присматривай за ней хорошенько». Как только муж уехал, распутница стала пускать к себе одного любовника за другим. Но Гюдекен ни одного не подпустил к ней, а сбрасывал всех с кровати на пол. Когда муж вернулся из поездки, домовый встретил его далеко от дому и сказал: «Очень рад твоему возвращению: наконец я освобожусь от тяжелой службы, что ты возложил на меня. С несказанным трудом я оберег твою жену от настоящей измены. Но прошу тебя, не поручай ее мне никогда впредь. Я лучше готов стеречь свиней во всей Саксонии, чем женщину, ухитряющуюся всякими штуками попасть к своим любовникам в объятия».

Точности ради я должен заметить, что головной убор Гюдекена отличается от обычного наряда домовых. Они по большей части одеты в серое и с красным колпачком на голове. Такими, по крайней мере, они являются в Дании, где теперь, говорят, их больше всего. Прежде я думал, что домовые так охотно проживают в этой стране из любви к сладкой гречневой каше. Но один молодой датский писатель, господин Андерсен, с которым я имел удовольствие встречаться этим летом в Париже,

с полной определенностью уверял меня, что «ниссы», как называют в Дании домовых, всего охотнее едят размазню с маслом. Раз внедрившись в дом, домовые уж не склонны расстаться с ним. Однако без предупреждения они не вселяются и, если вздумают куда вселиваться, то предупреждают хозяина таким образом: ночью натаскивают в дом всяких щепок, а в молочную посуду набрасывают навоз. Если хозяин не выкинет этих щепок или если он с семьей топчет загаженного молока, домовые навсегда остаются у него. Для многих людей это оказалось очень неудобно. Одному бедному ютландцу так наскучило сожительство с таким домовым, что он решил даже бросить свой дом, нагрузил свои пожитки на телегу и поехал в соседнюю деревню, чтобы там поселиться. Но по дороге, обернувшись, он увидел головку домового в красной шапочке, который высматривал из пустой кадушки и дружески закричал ему: «*Wi flutten!*» (перебираемся).

Быть может, я слишком заговорился об этих маленьких чертенятах и пора мне вернуться к большим. Но все эти сказания иллюстрируют верования и характер немецкого народа. В течение минувших столетий верования эти не уступали по силе церковной религии. Закончив свой большой труд о ведьмах, ученый доктор Ремигиус счел себя столь глубоким знатоком предмета, что вообразил в себе колдовские способности; в качестве человека добросовестного он не преминул донести на себя как на колдуна, и в результате этого доноса был сожжен как колдун.

Христианская церковь не была прямым источником этих ужасов, но была косвенным, потому что так коварно извратила старогерманскую народную религию, потому что пантеистическое мировоззрение германцев превратила в пандемоническое, потому что прежние святыни народа переделала в отвратительную чертовщину. Но человек неохотно расстается с тем, что было мило и дорого ему и его предкам, и чувства его втайне цепляются за это прошлое, хотя бы оно было изуродо-

вано и искажено. Поэтому эта извращенная народная религия, быть может, дольше удержится в Германии, чем христианство, не имеющее, подобно ей, корней в национальном характере. В эпоху реформации вера в католические легенды исчезла очень быстро, но не вера в колдовство и в ведьмовство.

Лютер уже не верит в католические чудеса, но верит еще в чорта. Его «Застольные речи» полны курьезных рассказов об ухищрениях сатаны, о домовых и ведьмах. Самому ему в тяжелые минуты казалось, что он борется с самим дьяволом. В Вартбурге, где он переводил новый завет, дьявол так мешал ему в работе, что он пустил ему в голову чернильницу. С тех пор дьявол очень боится чернил, но еще больше боится он типографской краски. О хитрости дьявола немало рассказано забавных историй в упомянутых «Застольных речах», и я не могу удержаться, чтобы не рассказать одну из них:

Доктор Мартин Лютер рассказывает, что однажды несколько добрых приятелей собрались выпить. Был среди них один отчаянный парень, и вот он говорит, что если бы кто поднес ему доброе угощение, он продал бы ему за это свою душу.

«Немного времени спустя входит в комнату некто, садится подле него, бражничает с ним и, между прочим, говорит тому, кто решился на такое дело:

«Слушай-ка, ты давеча сказал, что за угощение ты бы продал свою душу?»

«Тот повторил: «Да, я готов, дай только мне сегодня порядком покутить, пображничать и повеселиться».

Пришедший, который был дьяволом, согласился и тут же скрылся. Когда же гуляка целый день прокутил и под конец перепился, является тот же человек, то есть дьявол, садится подле него и говорит прочим собутыльникам и спрашивает: «Как, полагаете, господа любезные, ежели кто купит лошадь, то принадлежит ему также седло и уздечка?» Они все перепугались, а этот говорит:

«Ну, отвсчайте-ка живей». Тут они согласились и сказали: «Да, седло и уздечка тоже его». Тут дьявол хватает этого отчаянного озорника и уносит его сквозь потолок, так что никто и не знал, куда он девался».

При всем моем величайшем уважении к нашему великому учителю Мартину Лютеру я все же полагаю, что он совершенно не понял характера сатаны. Сатана совсем не с таким пренебрежением относится к плоти, как здесь рассказано. Много плохого можно рассказать о чорте, но никак нельзя обвинить его в том, что он спиритуалист.

Но еще меньше, чем образ мыслей чорта, понял Мартин Лютер образ мыслей папы и католической церкви. Мое строгое беспристрастие заставляет меня взять под свою защиту и Лютера, и католическую церковь, равно как и чорта, от чересчур уж рьяного противника. Мало того, если бы меня по-совести спросили, я бы признал, что папа Лев X был, в сущности, гораздо разумнее, чем Лютер, и что последний совершенно не понял глубочайших основ католической церкви. Ибо Лютер не понял, что идея христианства, полное уничтожение чувственности, слишком сильно противоречит человеческой природе, чтобы эта идея могла когда-либо быть вполне осуществлена в жизни; он не понял, что католичество было как бы конкордатом между богом и дьяволом, то есть между духом и материей, что тем самым провозглашалось единодержавие духа в теории, но материи предоставлена была возможность пользоваться на практике всеми ее аннулированными правами. Отсюда мудрая система уступок, которые церковь сделала в пользу чувственности, хотя и неизменно в формах, клеймивших всякое проявление чувственности и обеспечивавших духу его высокомерную узурпацию. Тебе позволено следовать нежным склонностям сердца и обнимать красивую девушку, но ты обязан признать, что это было постыдное прегрешение, и в этом прегрешении ты обязан покаяться. Что это отпущение грехов получалось за деньги, было столь же благотельно для людей,

сколь полезно для церкви. Церковь взимала, так сказать, виру за всякое плотское наслаждение, и таким-то образом возникла такса на все роды грехов и явились святые разносчики, продававшие от имени римской церкви отпущения всякого таксированного греха (индугенция), а одним из таких продавцов был Тецель, против которого выступил прежде всего Лютер. По мнению наших историков, этот протест против торговли индугенциями был незначительным событием, и только благодаря упорству Рима Лютер, восставший первоначально против одного лишь злоупотребления церкви, перешел к нападению на авторитет самой церкви в лице ее высшего представителя. Но это ошибка: торговля индугенциями не была злоупотреблением, она была прямым следствием всей церковной системы, и, нападая на нее, Лютер нападал на самую церковь, которая должна была осудить его как еретика. Лев X, тонкий флорентинец, ученик Полициано, друг Рафаэля, этот греческий философ в тройной тиаре, возложенной на него конклавом, быть может, за то, что он страдал болезнью, происходящей совсем не от христианского воздержания и в те времена еще очень опасной, — как издевался, вероятно, этот Лев Медичи над бедным, целомудренным, наивным монахом, вообразившим, что Евангелие есть конституционная хартия христианства и что хартия эта есть истина. Он, пожалуй, даже не заметил, к чему стремится Лютер, так как он слишком занят был постройкой собора св. Петра, который как раз строился на доходы с продажи индугенций. Таким образом, грех был своеобразным источником средств на сооружение этого храма, который поэтому явился как бы памятником чувственных наслаждений, подобно пирамиде, воздвигнутой египетской блудницей на деньги, добытые проституцией. С большим правом, чем о Кельнском соборе, об этом божьем храме можно, пожалуй, сказать, что он построен дьяволом. На немецком севере не поняли этого торжества спиритуализма, заключающегося в том, что сенсуализм должен был

воздвигать для него его прекраснейшие храмы, что путем множества уступок в пользу плоти добивались возвеличения духа. Здесь было гораздо легче, чем под знойным небом Италии, исповедовать такое христианство, которое делало очень мало уступок чувственности. У нас, северян, более холодная кровь, мы не нуждались в таком количестве индульгенций для плотских грехов, какое с отеческой заботливостью посылал нам Лев X. Климат облегчает нам христианскую добродетель, и 31 октября 1516 года, когда Лютер прибывал к дверям августинской церкви свои тезисы против отпущения грехов за деньги, быть может, городской ров в Виттенберге уже замерз и там можно было кататься на коньках, что представляет собою весьма холодное, а, стало быть, совсем не греховное развлечение.

Выше я, кажется, не раз уже употреблял слова «спиритуализм» и «сенсуализм»; здесь, однако, эти слова не обозначают, как у французских философов, двух различных источников нашего познания; я употребляю их, как само собою явствует из смысла моей беседы, скорее для обозначения двух различных мировоззрений, из коих одно хочет возвеличить дух тем, что стремится свести на-нет материю, между тем как другое старается отстоять естественные права материи от посягательства духа.

На вышеуказанные зачатки Лютеровой реформации, уже обнаруживающие все ее существо, я должен обратить внимание также потому, что во Франции держатся еще насчет реформации старинных предрассудков, распространенных Боссюэтом в его «*Histoire des variations*» * и проявляющихся даже у современных писателей. Французы поняли лишь отрицающую сторону реформации, они увидели в ней только борьбу против католичества и подчас полагали, что борьба эта по ту сторону Рейна велась всегда по тем же основаниям,

* «История изменений»

как и по эту, во Франции. Но основания там были совсем не те, что здесь, и даже совершенно противоположные. Борьба против католичества в Германии была не чем иным, как войною, объявленной спиритуализмом как только он заметил, что господство его только номинально, что он властвует лишь *de jure*, тогда как сенсуализм, благодаря традиционному ухищрению, пользуется действительной властью и господствует *de facto*. Торговцы индульгенциями были прогнаны, хорошенькие поповские любовницы заменены холодными законными супругами, восхитительные изваяния мадонны разбиты, то тут, то там возникало враждебнейшее плоти пуританство. Наоборот, борьба с католицизмом во Франции в XVII—XVIII веках была войной, начатой сенсуализмом, когда он усмотрел, что хотя господствует *de facto*, все же всякое проявление его господства высмеивается в качестве незаконного и чувствительнейшим образом поносится спиритуализмом, утверждавшим свое господство *de jure*. Вместо того чтобы бороться, как в Германии, с целомудренной сосредоточенностью, во Франции вели борьбу при помощи непристойной шутки, и, в то время как там вели богословский диспут, здесь сочиняли какую-нибудь развеселую сатиру. Назначение последней состояло обыкновенно в том, чтобы показать противоречие, в которое попадает человек с самим собою, желая стать исключительно духом; тут-то и расцвели восхитительные рассказы о благочестивых подвижниках, невольно падающих под власть своего животного существа, искавших подчас убежище в ханжестве, чтобы сохранить видимость святости. Уже королева Наваррская изображала в своих новеллах такие безобразия, ее излюбленная тема — отношения монахов к женщинам, и цель ее не только позабавить нас, но и подорвать монашество. Злейшим цветком этой полемической юмористики был, бесспорно, «Тартюф» Мольера, направленный не только против иезуитства своего времени, но против христианства, против идеи христианства, против спи-

ритуализма. Действительно, притворный ужас перед обнаженной грудью Дорины, слова:

Le ciel défend, de vrai, certains contentements,
Mais on trouve avec lui des accommodements — *

направлялись не только против заурядного лицемерия, но и против всеобъемлющей лжи, неизбежно вытекающей из неосуществимости христианской идеи; осмеивалась вся система уступок, которые спиритуализм вынужден был сделать сенсуализму. И в самом деле, янсенизм имел гораздо больше оснований чувствовать себя оскорбленным постановкой «Тартюфа», чем иезуитство, и Мольер должен все еще раздражать и нынешних методистов, как католических святош своего времени. Тем-то и велик Мольер, что, подобно Аристофану и Сервантесу, он делает предметом своего издевательства не только случайное и преходящее, но предвечно смешное, исконные слабости человечества. Вольтер, всегда нападавший на преходящее и несущественное, стоит ниже его в этом отношении.

Однако это вольтеровское издевательство выполнило во Франции свое назначение до конца, но неуместно и неумно поступил бы тот, кто вздумал бы продолжать его. Ибо, если бы искоренить последние видимые остатки католичества, то легко могло бы случиться, что идея его нашла бы, точно в новом теле, убежище в новой форме и, отбросив даже имя христианства, в этом преображенном виде могла бы явиться для нас еще более тягостным гнетом, чем в нынешнем, надломленном, разбитом и потерявшем повсюду доверие обличье. Да, не так плохо, что спиритуализм представлен религией и духовенством, из коих первая уже утратила свою лучшую силу, а второе стоит в прямой оппозиции всему освободительному энтузиазму нашего времени.

* Пусть небо на пути нам становится,
Ведь с ним всегда возможно сговориться.

Но почему так ненавистен нам спиритуализм? Разве он столь уж дурен? Нисколько. Розовое масло — вещь драгоценная, и пузырек его дает усладу, когда приходится горестно влачить дни в замкнутых покаях гарема. Но мы не хотим, чтобы все розы жизни сей были растоптаны и раздавлены ради нескольких капель розового масла, как бы ни были они живительны. Мы больше подобны соловьям, которые охотно услаждаются самою розою и столь же упоены румяным расцветом ее, как и ее невидимым благоуханием.

Я заметил выше, что борьбу против католицизма начал у нас, собственно, спиритуализм, но это относится только к началу реформации; как только спиритуализм проломил брешь в старом здании церкви, вырвался наружу сенсуализм со всем своим долго сдавленным пылом, Германия сделалась ареной самого необузданного упоения свободой и разгула страстей. Угнетенные крестьяне нашли в новом учении духовное оружие для борьбы с аристократией; уже в течение полутора веков зрела воля к такой борьбе. В Мюнстере сенсуализм бегал голышом по улицам в образе Яна Лейденского и ложился со своими двенадцатью женами в огромную кровать, которую и в наши дни показывают в тамошней ратуше. Монастырские ворота распахнулись повсюду, монахини и монахи бросились друг другу в объятия, и начались лобзания. Да и вся внешняя история этого времени состоит почти из одних только бунтов чувственности; как ничтожны были их последствия, как спиритуализм вновь подавил этих буянов, как постепенно он утвердил свое господство на севере, но был смертельно ранен врагом, которого воспитал на своей груди, а именно философией, — все это мы увидим в дальнейшем. Это очень запутанная история, которую не легко понять. Не трудно католической партии произвольно сочинять самые скверные побуждения, и если послушать ее, то дело здесь было только в узаконении наглейшей чувственности и грабеже церковного достоинства. Конечно, для того чтобы победить, интересы духов-

ные всегда должны вступать в союз с материальными. Но дьявол так своеобразно перемешал карты, что на счет побуждений ничего верного сказать уже нельзя.

Высокие особы, собравшиеся в 1521 году в имперском зале в Вормсе, могли таить в сердце всевозможные мысли, совершенно расходившиеся с их речами. Здесь восседал молодой император, с юношеским упоением властью кутавшийся в свою новенькую порфиру и втайне очень довольный тем, что гордый римлянин, так часто обижавший его предшественников на престоле и все еще не отказавшийся от своих притязаний, получил самый чувствительный урок. Представитель этого римлянина мог с своей стороны втайне радоваться расколу, возникшему среди тех самых немцев, которые так часто пьяными варварами вторгались в прекрасную Италию, грабили ее и теперь еще продолжали угрожать новыми вторжениями и грабежами. Светские князья радовались тому, что при новом учении они могут одновременно прибрать к рукам старые церковные владения. Высокие прелаты уже раздумывали, не могут ли они жениться на своих кухарках и передать своим отпрыскам мужского пола в наследство свои курфюршества, епископства и аббатства. Представители городов радовались новому расширению их независимости. Всякий мог здесь что-нибудь выиграть и втайне помышлял о земных выгодах.

Был там, однако, человек, который, по моему убеждению, думал не о себе, но исключительно о божеских интересах, отстаивать которые надлежало ему. Этот человек был Мартин Лютер, бедный монах, избранный провидением для того, чтобы сломить вселенское владычество Рима, против которого тщетно боролись сильнейшие императоры и отважнейшие мудрецы. Но провидение хорошо знает, на чьи плечи возлагает бремена свои; здесь необходима была не только духовная, но и физическая сила. Требовалось с юности закаленное монастырской строгостью и целомудрием тело, для того чтобы снести трудности такого назначения. Наш

дорогой учитель был тогда еще тощ и очень бледен на вид, так что краснощечные, упитанные господа, восседавшие в имперском сейме, почти с состраданием взирали сверху вниз на неприглядного человека в черной рясе. Но он был совершенно здоров и нервами так крепок, что вся блистательная суতোлка не смутила его ни в малой степени. И легкие его тоже, должно быть, были очень крепки, ибо, закончив свою длинную защитительную речь, он должен был повторить ее по-латыни, так как император не понимал верхненемецкого наречия. Я возмущаюсь всякий раз, когда вспоминаю об этом, ибо наш дорогой учитель стоял у открытого окна на сквозняке, а по лицу его текли капли пота. Долгая речь, конечно, очень утомила его, и в горле тоже, должно быть, пересохло. «Ему очень хочется пить», — подумал тогда, очевидно, герцог Брауншвейгский; во всяком случае, мы знаем, что он послал Лютеру в заезжий двор три жбана лучшего эймбекского пива. Никогда не забуду Брауншвейгскому дому этого акта благородства.

Как о реформации, так и о ее героях во Франции существуют очень ложные представления. Ближайшей причиной этого непонимания является, конечно, то, что Лютер не только самый большой, но и самый немецкий человек во всей нашей истории, что в его натуре прекрасно сочетались все добродетели и все недостатки немцев, что он в своем лице представляет удивительное воплощение Германии. Ибо он обладал качествами, сочетание которых крайне редко и которые обыкновенно представляются нам враждебно противоположными. Он был одновременно мечтательным мистиком и человеком практического действия. У его мыслей были не только крылья, но и руки; он говорил и действовал. Он был не только языком, но и мечом своего времени. Он был одновременно и холодным схоластическим буквоедом, и восторженным, божественностью упоенным пророком. Проведя день в тяжелой работе над своими догматическими развлечениями, он вечером брался за флейту

и созерцал звезды, растекаясь в мелодии и благоговении. Этот человек мог ругаться, как селедочница, и мог быть мягким, как нежная девушка. Временами он неистовствовал, как буря, с корнем вырывающая дубы, и потом опять становился кротким, как зефир, играющий с фиалкой. Он был исполнен трепетнейшего страха божьего, полон самопожертвования во славу св. духа, он был способен целиком погрузиться в область чистой духовности; и, однако, он очень хорошо знал прелести жизни сей и умел их ценить, и из уст его раздался чудесный девиз: «Кто не любит вина, женщин и песен, тот на всю жизнь останется дураком». Он был завершенным, я бы сказал, — абсолютным человеком, в котором нераздельны были дух и материя. Поэтому называть его спиритуалистом было бы так же ошибочно, как и именовать сенсуалистом. В нем было нечто, если можно так выразиться, первообразное, непостижимое, чудодейственное, что мы встречаем во всех избранниках, нечто ужасно-наивное, нечто неуклюжее, нечто возвышенно-ограниченное, нечто неодолимо-демоническое.

Отец Лютера был рудокопом в Мансфельде, и мальчик часто бывал у него в подземной мастерской, где формируются могучие металлы и бьют мощные источники; и здесь юное сердце, быть может, бессознательно, впитало в себя сокровеннейшие силы природы и получило от горных духов неуязвимость. Поэтому, быть может, было в нем столько персти, столько шлаков сграсности, что так часто ставилось ему в вину. Упрек несправедлив, — без этой земной примеси он не мог бы быть человеком дела. Чистые духи не способны действовать. Нам ведь известно из учения Юнг-Штиллинга о привидениях, что, хотя духи могут принимать красочную и вполне определенную видимость, умеют ходить, бегать, плясать и совершать всевозможные движения, подобно живым людям, однако они не в состоянии сдвинуть с места ничего вещественного, хотя бы маленький ночной столик.

Слава Лютеру! Вечная слава бесценному мужу, которому мы обязаны спасением нашего благороднейшего достоинства и благодеяниями которого мы живем по сей день! Не пристало нам жаловаться на ограниченность его взглядов. Карлик, стоящий на плечах великана, может, конечно, видеть дальше, чем сам великан, особенно, если наденет очки; но для возвышенного кругозора недостает ему высокого чувства, исполинского сердца, которое нам не дано понять. Еще меньше пристало нам изрекать суровый приговор над его недостатками; эти недостатки принесли нам больше пользы, чем добродетели тысячи других. Утонченность Эразма и мягкость Меланхтона никогда не подвинули бы нас так далеко, как иногда делала это божественная грубость брага Мартина. Да, указанная мною ошибка его в исходных пунктах принесла драгоценнейшие плоды, благодетельные для всего человечества. С имперского сейма, где Лютер отвергает авторитет папы, всенародно заявляя, что его «учение можно опровергать только словами Библии или разумными доводами!» — начинается в Германии новая эпоха. Цепь, которою св. Бонифаций приковал германскую церковь к Риму, разрублена. Эта церковь, составлявшая ранее интегральную часть великой иерархии, распадается на религиозные демократии. Сама религия становится иною; в ней исчезает стихия индо-гностическая, и мы видим, как вновь усиливается в ней стихия иудейско-действительная. Возникает евангелическое христианство. Религия вновь становится истиной, так как неизбежнейшие притязания материи не только принимаются во внимание, но узаконены. Священник становится человеком, берет жену и согласно требованию бога родит детей. С другой стороны, бог вновь становится небесным холостяком без семьи; сомнению подвергнута законорожденность его сына; святые получают отставку; у ангелов подрезаны крылья; богоматерь теряет все права на корону небесную, и ей воспрещено творить чудеса. С этих пор вообще, особенно после громадных успехов естество-

знания, чудеса прекращаются. Потому ли, что господу богу докучает недоверие, с которым физики следят за его пальцами, или его не привлекает конкуренция с Боско, — но даже в последнее время, когда религии грозит столько опасностей, он не соблаговолил подкрепить ее каким-нибудь потрясающим чудом. Быть может, с этого времени он, вводя какую-либо новую религию на земле, перестанет уже пускаться на священные кунштюки и будет базировать истины новых учений исключительно на разуме; оно ведь и всего разумнее. Во всяком случае, сенсимонизм, представляющий собою самоновейшую религию, обошелся без всяких чудес, не считая разве того, что старый счет портного, не оплаченный Сен-Симоном при жизни, был спустя десять лет оплачен его учениками. Словно сейчас вижу еще, как великодушный отец Оленд восторженно подымается в зале Тебу и предъявляет изумленной общине оплаченный счет портного. Юные лавочники были потрясены столь сверхъестественным знаменiem. Но портные вновь обрели веру!

Если, однако, у нас в Германии благодаря протестантизму вместе с прежними чудесами исчезло и много иной поэзии, то мы многое получили взамен. Люди сделались добродетельнее и благороднее. Протестантизм оказало благоприятнейшее влияние на ту чистоту нравов и ту строгость в исполнении долга, которую мы обычно называем моралью; в некоторых общинах протестантизм приняло даже направление, в конечном счете совершенно совпадающее с этой моралью, так что за Евангелием сохраняется лишь значение прекрасной притчи. Особенно отрадно видеть ту перемену, которая теперь наступила в быту духовенства. Вместе с безбрачием исчезли благочестивое распутство и монастырские пороки. В среде протестантского духовенства мы нередко встречаемся с людьми высочайшей добродетели, людьми, которым и древние стоики не отказали бы в уважении. Надо побродить пешком в качестве бедного студента по северной Германии, чтобы оценить,

сколько добродетели и — украшу эту добродетель прекрасным эпитетом — сколько евангельской добродетели находишь подчас в каком-нибудь невзрачном пасторском обиталище. Как часто зимним вечером встречал я там радушный прием, чужак, без всякой иной рекомендации, кроме того, что я устал и голоден. И когда я, напившись и выспавшись, собирался утром в путь, старый пастор выходил в халате и благословлял меня на дорогу, и благословение это никогда не приносило мне несчастья; и добродушная словоохотливая госпожа пасторша совала мне в сумку два-три бутерброда, подкреплявшие меня не менее благословения; а поодаль молчаливо стояли хорошенькие пасторские дочки с румяными щечками и фиалковыми глазами, робкий огонек которых согревал воспоминанием мое сердце в течение целого зимнего дня.

Высказав положение, что его учение можно опровергнуть только словами Библии или доводами от разума, Лютер закрепил право толковать Библию за разумом, который был признан верховным судьей во всех религиозных разногласиях. Это послужило в Германии источником так называемой свободы духа, или, как ее называют также, свободы мысли. Мышление сделалось правом, и права разума были узаконены. Правда, уже в течение нескольких столетий возможно было мыслить и говорить довольно свободно, и схоластики спорили о таких вещах, что нам непонятно, как можно было даже произносить названия этих вещей в средние века. Но все это делалось на основе различия, которое проводили между истиной теологической и философской, — различия, явной целью коего было предохранить человека от ереси; и совершалось это исключительно в стенах университетских аудиторий на готически-сумбурной латыни, совершенно непонятной народу, так что церкви от этого не грозил никакой ущерб. К тому же церковь никогда, собственно, не разрешала такого порядка, и время от времени она и сжигала какого-нибудь злополучного схоластика. Но теперь, со

времени Лютера, перестали различать истину теологическую и философскую и начали без страха и стеснения препираться о религии на базарной площади и на родном немецком языке. Князья, ставшие на сторону реформации, узаконили эту свободу мысли, и ее увенчанием, имеющим всемирное значение, является немецкая философия.

В самом деле, нигде, даже в Греции, разум человеческий не получил возможности высказываться с такой свободой, как в Германии, начиная с середины прошлого столетия вплоть до вторжения французов. Особенно в Пруссии царил неограниченная свобода мысли. Маркиз Бранденбургский понял, что, только с помощью протестантизма получая возможность стать законным королем прусским, он должен поддерживать протестантскую свободу мысли.

С тех пор, правда, положение вещей изменилось, и естественный покровитель нашей протестантской свободы мысли сговорился с ультрамонтанской партией для подавления этой свободы мысли; для этой цели он часто пользуется оружием, которое придумано и применено впервые папством против нас: цензурой.

Странное дело! Мы, немцы, сильнейший и умнейший народ. Наши царствующие роды восседают на всех европейских престолах, наши Ротшильды властвуют над биржами всего мира, наши ученые верховенствуют во всех науках, мы изобрели порох и книгопечатание — и однако, кто выстрелит у нас из пистолета, платит три талера штрафа, и когда нам вздумается объявить на страницах «Гамбургского корреспондента»: «Моя любезная супруга разрешилась от бремени дочуркой, прелестной, как свобода», то д-р Гофман берется за свой красный карандаш и вычеркивает нам эту «свободу».

Долго ли это будет длиться? Не знаю. Но знаю, что вопрос о свободе печати, обсуждаемый теперь в Германии с таким жаром, знаменательным образом связан с вышеразвитыми соображениями, и, по моему убеждению, решение его не трудно, раз будет принято во

внимание, что свобода печати есть не что иное, как следствие свободы мысли, и, стало быть, представляет собою право протестанта. За права этого рода пролил уже немец свою лучшую кровь и, вероятно, будет вынужден вновь вступить за них в бой.

То же относится к академической свободе, так страстно волнующей ныне умы в Германии. С тех пор как кем-то сделано было открытие, будто политическое волнение, а именно свободолюбие, главным образом свирепствует в университетах, государям стали со всех сторон внушать, что эти учреждения необходимо подавить или, по крайней мере, превратить в обыкновенные учебные заведения. Строятся соответственные планы, и обсуждаются доводы *pro* и *contra*. Однако как публичные противники университетов, так и публичные их защитники, до сих пор выступавшие пред нами, как будто не усваивают главных основ этого вопроса. Первые не понимают, что молодежь всегда и при всяких дисциплинах будет одушевлена интересами свободы и что, при подавлении университетов, эта воодушевленная молодежь, быть может, в союзе с молодежью торгового и ремесленного сословий, выступит еще активней. Защитники стараются лишь доказать, что вместе с университетами кончится и расцвет немецкой науки, что академическая свобода совершенно необходима для занятия науками, что именно она дает молодежи прекрасную возможность получить всестороннее образование и т. д. Как будто вопрос здесь в том, больше или меньше будет на несколько греческих вокабул или на несколько грубостей.

Да и какое дело государям до науки, учения и образования, раз затронута священная безопасность их престолов! У них хватило геройства пожертвовать всеми этими относительными благами ради единственно абсолютного — ради их абсолютной власти. Ибо она вручена им господом богом, а где повелевает небо, там должны отступить всякие земные соображения.

Непонимание этого очевидно как у бедных профессоров, публично выступающих защитниками уни-



Г. ГЕЙНЕ
Плакетка скульптора Штаудингера

верситетов, так и у чиновников, являющихся их противниками. Только проповедникам католицизма в Германии ясно их значение. Эти благочестивые обскуранты — опаснейшие противники нашей университетской системы, но они действуют предательски, путем лжи и обмана, и если кто из них принимает елейную внешность поборника университетов, то тут-то и проявляется иезуитская интрига. Этим трусливым лицемерам отлично известно, что можно здесь выиграть в этой игре. Ибо с падением университетов падет также протестантская церковь, со времен реформации коренящаяся только в них, так что вся история протестантской церкви за последние столетия почти исчерпывается богословскими преширательствами виттенбергских, лейпцигских, тюбингенских и галлеских университетских ученых. Консистории — только слабый отблеск теологического факультета; без него они теряют всякую почву и самобытность, понижаясь до мертвящей зависимости от министерств или даже от полиции.

Не станем, однако, слишком долго предаваться таким меланхолическим размышлениям, тем более, что нам надо поговорить еще об избраннике, который совершил столько великого для немецкого народа. Я показал выше, как благодаря ему мы возвысились до величайшей свободы мысли. Однако этот Мартин Лютер дал нам не только свободу движения, но также средства для движения, а именно: духу он дал тело; мысли он дал слово. Он создал немецкий язык.

Он достиг этого, переведя Библию на немецкий язык.

В самом деле, божественный автор этой книги как бы знал, подобно всем нам, что отнюдь не безразлично, кто будет переводить ее, и он сам избрал себе переводчика и одарил его чудодейственной силой с мертвого, как бы уже погребенного, языка переводить на другой, еще не живший.

Правда, была Вульгата, которую понимали, равно как Септуагинта, которую можно было уже понимать.

Но знание еврейского языка было совершенно утрачено в христианском мире. Только втихомолку гнездившиеся там и сям в уголках этого мира евреи сохранили еще знание этого языка. Подобно призраку, охранявшему доверенное ему некогда при жизни сокровище, сидел этот зарезанный народ, этот народ-призрак, по своим мрачным гетто и хранил там еврейскую Библию; и в эти проклятые трущобы тайком спускались немецкие ученые, чтобы извлечь сокровище, чтобы овладеть знанием еврейского языка. Когда католическое духовенство заметило, что ему с этой стороны грозит опасность, что этим окольным путем народ может добраться до неподдельного слова божьего и разоблачить подлоги Рима, — тут охотно вытравили бы еврейское наследие, предположено было уничтожить все еврейские книги, и на Рейне началось преследование книг, с которым так похвально боролся наш доблестный доктор Рейхлин. Кельнские теологи, участвовавшие в этом деле, особенно Гохстратен, были совсем не так тупоголовы, как изображает их в своих «Письмах темных людей» отважный соратник Рейхлина рыцарь Ульрих фон-Гуттен. Дело шло об уничтожении еврейского языка. После победы Рейхлина Лютер мог начать свое дело. В письме, написанном в это время Рейхлину, он как будто уже чувствует всю важность одержанной тем — и одержанной в тяжелом зависимом положении — победы, тогда как он, августинский монах, был совершенно независим; с великой наивностью говорит он в этом письме: «Ego nihil timeo, quia nihil habeo» *.

Но каким образом Лютер дошел до языка, на который он перевел свою Библию, остается для меня по сей час непостижимым. Древнешвабское наречие совершенно исчезло вместе с рыцарской поэзией гогенштауфенской империи. Древнесаксонское наречие, так называемое Plattdeutsch, господствовало лишь в части северной

* «Я ничего не боюсь, потому что ничего не имею».

Германии и, несмотря на все предпринятые попытки, никак не поддавалось использованию для литературных целей. Если бы Лютер для перевода Библии взял язык, на котором говорят в нынешней Саксонии, то был бы прав Аделунг, утверждающий, что саксонское, в частности мейсенское наречие есть собственно наш литературный язык. Но это давно опровергнуто, и я тем настойчивее должен вспомнить об этой ошибке, что она до сих пор распространена во Франции. Современное саксонское наречие никогда не было диалектом немецкого народа, равно как силезское, так как, подобно последнему, оно имеет славянскую окраску. Поэтому с полной откровенностью признаюсь, что не знаю, как возник язык, находимый нами в Лютеровой Библии. Но я знаю, что при посредстве этой Библии, в тысячах экземпляров брошенной в народ черным искусством, юным печатным станком, язык Лютера в течение немногих лет распространился по всей Германии и сделался всеобщим литературным языком. Этот литературный язык господствует и теперь в Германии, скрепляя литературным единством политически и вероисповедно раздробленную страну. Такая неоценимая заслуга этого языка пусть послужит нам возмещением того, что в нынешнем его виде ему несколько недостает той сердечности, которую мы находим обычно в языках, вышедших из одного наречия. Однако язык самой Библии Лютера далеко не чужд этой сердечности, и эта старая книга остается вечным источником омоложения для нашего языка. Все выражения и обороты, принятые в Библии Лютера, немецкие, писатель все еще может употреблять их и в наше время; и так как эта книга обращается в руках беднейших людей, то они не нуждаются ни в каком ученом руководстве для усвоения литературной речи.

Когда у нас разразится политическая революция, это обстоятельство будет иметь замечательные последствия. Свобода сможет высказаться везде, и язык ее будет библейским.

Оригинальные сочинения Лютера также послужили к утверждению немецкого языка. Их полемическая страстность внедряла их глубоко в душу эпохи. Тон их не всегда пристоен. Но и религиозная революция не совершается посредством флердоранжа. Для грубой колоды нужен подчас грубый топор. В Библии язык Лютера из благоговения перед духом господним, который здесь витает, всегда держится в рамках известного достоинства. В полемических своих писаниях он, наоборот, не избегает плебейской грубости, которая часто является столь же отталкивающей, сколь грандиозной. В этих случаях его образы и выражения напоминают исполинские каменные изваяния, которые мы встречаем в подземных индийских или египетских храмах и крикливая раскраска и причудливая уродливость которых одновременно отталкивает и привлекает нас. В свете этого каменного барокко смелый монах является нам иногда каким-то религиозным Дантоном, проповедником «Горь», низвергающим с ее вершины пестрые словесные глыбы на головы своих противников.

Еще замечательнее и значительнее этих прозаических сочинений стихотворения Лютера, песни, изливавшиеся из его души в борьбе и бедствиях. Они напоминают то цветок, расцветший на скале, то отблеск лунного света, трепещущий на взволнованном море. Лютер любил музыку, он даже написал трактат об этом искусстве, и поэтому песни его необычайно мелодичны. И в этом отношении пристало к нему имя «эйслебенский лебедь». Но меньше всего был он кротким лебедем в некоторых песнопениях, где он разжигает отвагу своих приверженцев и воодушевляет себя самого к неистовому боевому задору. Боевою была та упрямая песня, с которой он и его спутники вступили в Вормс. Старый собор содрогался при этих новых звуках, и вороны перепугались в своих сумрачных гнездах на колокольнях. Этот гимн, марсельеза реформации, сохранил свою вдохновляющую силу до наших дней.

Господь наш истинный оплот,
Оружье и твердыня,
Господь нас вызовет, спасет
В беде, грозящей ныне.

Древний, лютый враг
Правит к нам свой шаг.

Могуч он и хитер,
Опасен с давних пор,
Врага страшнее нету.

Своею силою земной
Мы сделаем немного,
За нас сражается иной,
Иной, избранник бога.
Кто же он, — вопрос.

То Иисус Христос,
Бог наш Саваоф,
И нет других богов,
Пребудет с ним победа

И пусть нам дьявольские тьмы
Грозят осатанело,
Не так-то их страшимся мы,
И право наше дело;
Князь мира сего
Не сможет ничего,
Как ни тщись, а он
На гибель обречен,
Его повергнет Слово.

И да отступятся они
Пред вечным этим Словом,
И да святятся наши дни
Учением Христовым.

Пусть возьмут, что есть:
Жизнь нашу и честь,
Жен, детей и дом,
Не будет проку в том,
Господне царство — с нами.

(Пер. В. А. Зоргенфрея.)

Я показал, в сколь великой степени обязаны мы нашему дорогому доктору Мартину Лютеру той свободой духа, которая необходима новой литературе для ее развития. Я показал, как он создал для нас также слово, язык, на котором могла высказаться эта новая литература. Мне остается прибавить, что он сам и начинает эту литературу, что она, а особенно художественная литература, именно с Лютера ведет начало, что его духовные песни представляют собою ее первые важнейшие проявления, на них определенно запечатлены уже ее характерные черты. Поэтому всякий, желающий говорить о новой немецкой литературе, должен начинать с Лютера, а не с нюрнбергского обывателя Ганса Сакса, как это делалось некоторыми литераторами романтической школы из недобросовестного недоброжелательства. Ганс Сакс, этот трубадур достопочтенного сапожного цеха, мейстерзингерское песнопение которого есть лишь косолапая пародия на былые любовные песни миннезингеров, а его драмы — неуклюжее травести старинных мистерий; этот педантичный шут, робко имитирующий вольную непосредственность средних веков, должен, пожалуй, рассматриваться как последний поэт старого, но никак не как первый поэт нового времени. Для доказательства мне совершенно достаточно отчетливо установить противоположность между старой и нашей новой литературой.

Таким образом, окинув взглядом немецкую литературу до Лютера, мы находим:

1. Ее материал, ее содержание, подобно самой жизни средних веков, представляет собою смесь двух разнородных начал, которые в течение долгой борьбы так сильно охватили друг друга, что в конце концов слились воедино; эти начала — германская национальность и индо-гностическое, так называемое католическое христианство.

2. По форме, или, вернее, по духу этой формы, старая литература является романтической. Неосновательно говорят то же самое о материале этой литературы, о

всех средневековых ее явлениях, возникших вследствие слияния двух вышеупомянутых начал — немецкой национальности и католического христианства. Ибо, подобно тому, как некоторые поэты средневековья изображали в совершенно романтическом духе греческую историю и мифологию, можно также изображать средневековые нравы и легенды в классических формах. Выражения «классический» и «романтический» относятся, таким образом, исключительно к духу художественной формы. Классическим оно будет там, где форма изображаемого совершенно тождественна с идеей того, что подлежит изображению, как оно и наблюдается в созданиях греческого искусства, где в этом тождестве заключена наивысшая гармония формы и идеи. Романтическим оформление будет там, где форма раскрывает идею не посредством тождественности, но позволяет ее угадывать в параболе. Слово «парабола» я предпочитаю здесь слову «символ». В греческой мифологии был ряд богов, облики которых, при всей тождественности формы и идеи, могли каждый получить все же символическое значение. Но дело в том, что в этой греческой религии определенность имел лишь облик богов, все же остальное, их жизнь и дела, предоставлено было произволу поэтов и любой их трактовке. Христианская религия, наоборот, не представляет таких определенных образов, но лишь определенные факты, определенные священные события и деяния, в которые творческая настроенность человека могла вложить некоторое параболическое значение. Говорят, Гомер сочинил греческих богов; неправда, — они существовали и раньше в известных чертах, но он сочинил их истории. Художники средних веков, наоборот, никогда не осмеливались сочинить хоть ничтожнейшую мелочь в исторической части своей религии; грехопадение, воплощение, крещение, распятие и т. п. оставались неприкосновенными фактами, которые не подлежат никакому другому толкованию, но в которые поэтическое сознание человека в праве вложить параболическое

значение. В этом параболическом духе обрабатывались в средние века все искусства, и эта обработка — романтическая. Отсюда эта мистическая всеобщность в поэзии средневековья; образы так смутны, их действия так неопределенны, все в них так призрачно, словно освещено мерцающим лунным светом; идея лишь намечена в форме, как бы в виде загадки, и туманная форма, встречаемая нами здесь, соответствует именно спиритуалистической литературе. Нет здесь, как у греков, солнечно ясной гармонии между формой и идеей; но иногда идея переходит за пределы установленной формы, которая бурно стремится догнать ее, из чего встает перед нами причудливое, фантастическое величие; иногда форма совершенно перерастает идею, жалкая мыслишка неуклюже облекается в колоссальную форму, и перед нами гротескный фарс; но почти неизменно перед нами — бесформенность.

3. Общей особенностью этой литературы было проявление во всех ее созданиях той твердой, устойчивой веры, которая господствовала тогда во всех делах светских и духовных. Авторитеты были основой всех воззрений этого времени; с уверенностью мула шагал поэт по краю бездны сомнения, и отважное спокойствие царит в его созданиях, блаженная уверенность, какая стала невозможной позже, когда сломлена была вершина всех авторитетов, т. е. авторитет папы, за которым рухнули и остальные. Поэтому произведения средневековой поэзии запечатлены общим характером, словно создал их не отдельный человек, а целый народ; они объективны, эпичны и наивны.

В литературе же, расцветшей со времени Лютера, мы находим свойства совершенно противоположные:

1. Ее материал, содержание, подлежащее обработке, есть борьба реформационных интересов и воззрений с старым порядком вещей. Духу нового времени совершенно враждебна смешанная вера, порожденная слиянием двух вышеуказанных начал, немецкой национальности и индусско-гностического христианства. Послед-

нее представляется ему языческим идолопоклонством, место которого должна занять истинная религия иудейско-деистического Евангелия. Возникает новый порядок вещей; ум создает изобретения, способствующие благополучию материи. Расцвет промышленности и философии подрывают авторитет спиритуализма в общественном мнении; третье сословие возвышается; революция бурлит уже в сердцах и головах; и чувства, и мысли, и потребности, и запросы времени получают выражение, и это есть содержание новейшей литературы.

2. Дух формы уже не романтический, а классический. Возрождение древней литературы имело следствием охватившее всю Европу восторженное увлечение греческими и римскими писателями, и ученые, единственные люди, владевшие тогда пером, стремились усвоить дух классической древности или, по крайней мере, подражать в своих произведениях формам классического искусства. Если гармония формы и идеи, свойственная грекам, осталась им недоступной, то тем строже соблюдали они внешность греческого оформления, строго различали по греческому образцу отдельные роды поэзии, воздерживаясь от всяких романтических крайностей, и в этом смысле мы называем их классическими.

3. Общей особенностью новейшей литературы является преобладание индивидуализма и скептицизма. Авторитеты низвергнуты, разум остается единственным светочем человека, и совесть его — единственный посох в блужданиях по темному лабиринту этой жизни. Человек стоит теперь в одиночестве лицом к лицу со своим создателем и к нему обращает свою песнь. Вот почему литература эта начинается с духовных песен. Но и позже, когда она становится светской, в ней царит еще глубочайшее самосознание, чувство собственного достоинства. Поэзия перестает быть объективной, эпической и наивной и становится субъективной, лирической и рефлексивной.

К Н И Г А В Т О Р А Я

В предыдущей книге мы говорили о великой религиозной революции, представителем которой является в Германии Мартин Лютер. Теперь нам предстоит обратиться к философской революции, вышедшей из первой и даже представляющей собою не что иное, как конечное следствие протестантизма.

Прежде, однако, чем рассказать, как произошел, благодаря Иммануилу Канту, взрыв этой революции, необходимо напомнить о философских событиях в других странах, о значении Спинозы, о судьбах Лейбницевой философии, о взаимоотношениях между этой философией и религией, их столкновении, их разрыве и т. д. Неизменно, однако, при этом мы будем иметь в виду те из философских вопросов, которым мы приписываем социальное значение, в решении которых философия соперничает с религией.

Таков, прежде всего, вопрос о природе бога. «Бог есть начало и конец всей премудрости!» — говорят в своем смирении верующие, и философ, во всей горделивости своего знания, вынужден согласиться с этим благочестивым изречением.

Не Бекон, как принято утверждать, а Рене Декарт есть отец новейшей философии, и мы совершенно отчетливо покажем, в какой степени германская философия ведет от него свое происхождение.

Рене Декарт — француз, великой Франции принадлежит и здесь слава почина. Но великая Франция, шумливая, оживленная и говорливая страна французам, никогда не представляла собой подходящей почвы для философии, которая, быть может, никогда не процветет в ней; это чувствовал Рене Декарт и переселился в Голландию, тихую, молчаливую страну трешкотов и голландцев, и там написал он свои философские творения. Лишь там мог он освободить свой дух от традиционного формализма и построить цельную философию из чистых идей, не заимствованных ни у веры, ни у эмпи-

ризма, как требовалось в его время от всякой истинной философии. Только там мог он погрузиться так глубоко в бездну мышления, что сумел проследить ее в последних основах самосознания и именно на мысли основать самосознание; он выразил это в знаменитом положении: «Cogito, ergo sum»*.

Но, пожалуй, нигде, кроме Голландии, не мог бы Декарт осмелиться проповедывать философию, вступившую в самую откровенную борьбу со всеми традициями прошлого. Ему принадлежит честь основания автономии философии. С той поры последней не приходится выклянчивать у теологии разрешения на мышление, и она может теперь стать наряду с нею, как самостоятельная наука. Не скажу — противостать ей, так как тогда в силе было положение: истины, до которых мы доходим путем философии, в конце концов те же самые, что и переданные нам религией. Напротив, схоластики, как я заметил уже раньше, не только утверждали верховенство религии над философией, но объявляли последнюю ничтожной игрой, пустым словесным препирательством, как только она впадала в противоречие с догматами религии. Схоластикам важно было высказать свои мысли, независимо от их результатов. Они говорили: «Единожды один — один», — и доказывали это; но они со смехом прибавляли, что это тоже заблуждение человеческого разума, всегда заблуждающегося в том случае, когда он впадает в противоречия с постановлениями вселенских соборов; единожды один есть три, и это самая настоящая истина, как давным давно раскрылось нам во имя отца и сына и святого духа! Схоластики втайне образовали философскую оппозицию против церкви. Но внешне они носили лицемерную маску величайшей покорности, в некоторых случаях даже боролись за церковь, на публичных выступлениях шествовали в ее свите, приблизительно таким же образом, как депутаты французской оппозиции на торже-

* «Я мыслю — следовательно, существую».

ствах реставрации. Комедия схоластиков длилась больше шестисот лет и становилась все пошлее. Разрушая схоластику, Декарт разрушил также отжившую оппозицию средневековья. Старые метлы обтрепались от долгой работы, слишком много пристало к ним сора, новая эпоха требовала новых метел. После каждой революции предшествовавшей оппозиции приходится уйти в отставку, иначе происходят большие глупости. Мы это видели. С католической церковью так и было в меньшей степени, чем с ее бывшими противниками, последышами схоластиков, которые первые восстали против картезианской философии. Лишь в 1663 году запретил ее папа.

Я в праве предположить у французов удовлетворительное и достаточное знакомство с философией их великого соотечественника и не имею нужды указывать предварительно, как противоположнейшие учения могли черпать в ней необходимые материалы. Я имею в виду идеализм и материализм.

Так как эти два учения, особенно во Франции, обозначаются названиями «спиритуализм» и «сенсуализм», и так как я употребляю эти названия в ином смысле, то мне, во избежание путаницы понятий, приходится подробно остановиться на этих терминах.

С древнейших времен существуют два противоположных воззрения на природу человеческого мышления, т. е. на конечные основы умственного познания, на возникновение идей. Одни утверждают, что мы получаем наши идеи извне, наш ум есть пустоеместилище, где проглоченные нашими чувствами впечатления перерабатываются приблизительно так же, как съеденные кушанья в нашем желудке. Прибегая к более высокому образу, скажем, что эти люди рассматривают ум наш как *tabula rasa* *, на которой впоследствии опыт ежедневно вписывает что-нибудь новое по определенным правилам письма.

Другие, сторонники противоположного взгляда,

* чистая доска

утверждают: идеи врождены человеку, человеческий ум есть первоисточник идей, и внешний мир, опыты и посредствующие чувства лишь приводят нас к познанию того, что уже раньше было в нашем уме: они пробуждают там спящие идеи.

Первое воззрение получило название сенсуализма, иногда также эмпиризма; другое называли спиритуализмом, иногда также рационализмом. Однако это легко могло быть источником недоразумений, так как с некоторого времени мы, как я уже упомянул в предыдущей книге, обозначаем этими двумя названиями также две известные социальные системы, дающие себя знать во всех проявлениях жизни. Поэтому название спиритуализма мы оставляем за той дерзновенной притязательностью ума, которая в стремлении к единоличному самовозвеличению старается попрасть материю или, по крайней мере, заклеить ее; название сенсуализма мы оставляем за той оппозицией, которая, борясь с этим, добивается реабилитации материи и отстаивает права, принадлежащие чувствам, не отрицая при этом прав ума и даже верховенства ума. Напротив, философские мнения о природе наших познаний я охотнее называю идеализмом и материализмом, и первым названием я обозначаю учение о врожденных идеях, об идеях *a priori*, вторым названием я обозначаю учение о познании при посредстве опыта, при посредстве чувств, учение об идеях *a posteriori*.

Знаменательно то обстоятельство, что идеалистическая сторона картезианской философии никогда не имела успеха во Франции. Многие знаменитые яansenисты следовали в течение некоторого времени этому направлению, но вскоре растеклись в христианском спиритуализме. Быть может, именно это обстоятельство лишило идеализм доверия во Франции. Народы инстинктивно чувствуют, что необходимо им для того, чтоб исполнить свое предназначение. Французы были уже на пути к той политической революции, которая разразилась лишь в конце XVIII века и для которой им

понадобился топор и столь же холодная, столь же острая материалистическая философия. Христианский спиритуализм был соратником ее врагов, и поэтому сенсуализм сделался ее естественным союзником. Так как французские сенсуалисты были обыкновенно материалистами, то возникло заблуждение, будто сенсуализм может вытекать только из материализма. Нет, последний может также явиться результатом пантеизма, и тогда явление его прекрасно и великолепно. Ни в каком случае, однако, не станем мы отрицать заслуги французского материализма. Французский материализм был прекрасным противоядием против недугов минувшего, отчаянным лечебным средством в отчаянной болезни, ртутью для зараженного народа. Французские философы избрали своим учителем Джона Локка. Он явился для них тем спасителем, который был им необходим. Его «*Essay on human understanding*»* стал их евангелием. На нем они присягали. Джон Локк прошел школу Декарта и научился у него всему, чему способен научиться англичанин: механике, анализу, комбинациям, конструированию, расчету. Лишь одного не мог он понять, а именно — врожденных идей. Поэтому он усовершенствовал учение о том, что мы получаем наши познания извне при посредстве опыта. Он превратил дух человеческий в нечто подобное счетному механизму, весь человек обратился у него в английскую машину. Это относится также к человеку, как его трактовали ученики Локка, хотя они стремились отличаться друг от друга по названию. Все они боятся конечных выводов из своего основного принципа, и последователь Кондилляка пугается, когда его помещают в один ряд с каким-нибудь Гельвецием, или, что хуже, с Гольбахом, наконец даже с самим Ламетри. И это все же неизбежно, и я должен поэтому французских философов XVIII века и их нынешних последователей назвать всех без исключения материалистами. «*L'homme-ma-*

* «Опыт о человеческом разумении».

chine)* есть последовательнейшая книга французской философии, и уже заглавие книги вскрывает суть всего мировоззрения последней.

Эти материалисты были в большинстве также сторонниками деизма, потому что машина предполагает механика и высшее ее совершенство заключается в том, что она способна понять и оценить его технические познания, основываясь отчасти на собственной конструкции, отчасти на прочих произведениях этого мастера.

Материализм исполнил свое предназначение во Франции. Теперь он совершает, быть может, то же дело в Англии, и на Локка опираются там революционные партии, особенно бентамиты, проповедники утилитаризма. Это могучие умы, ухватившиеся за настоящий рычаг, которым можно расшевелить Джона Булля. Джон Буль — природный материалист, и его христианский спиритуализм в большинстве случаев есть традиционное лицемерие или лишь продукт материальной ограниченности: плоть его самоограничивается, потому что дух не приходит ей на выручку. Иное дело в Германии, и немецкие революционеры ошибаются; воображая, что материалистическая философия благоприятствует их целям. Да, там невозможна никакая всеобщая революция до тех пор, пока ее основы не будут выведены из более народной, более религиозной, более немецкой философии и не получают господства благодаря ей. Какая же это философия?

О ней мы в дальнейшем поговорим без околичностей. Я говорю: без околичностей, потому что рассчитываю, что и немцы будут читать эти страницы.

Германия искони проявляла нерасположение к материализму и поэтому в течение полутора веков была настоящей ареной идеализма. И немцы учились в школе Декарта, и великого ученика его звали Готфрид-Вильгельм Лейбниц. Как Локк следовал материалистическому, так Лейбниц следовал идеалистическому напра-

* «Человек-машина»

влению учителя. Здесь перед нами учение о врожденных идеях в наиболее законченном виде. Лейбниц спорил с Локком в своих «Nouveaux essais sur l'entendement humain»*. С Лейбницем расцвело великое рвение немцев к изучению философии. Он пробудил умы, направив их на новые пути. Благодаря врожденной мягкости и религиозному чувству, оживлявшим его сочинения, с их смелостью примирились в известной степени и противники его, и действие их было огромно. Смелость этого мыслителя обнаруживается особенно в его учении о монадах, одной из замечательнейших гипотез, когда-либо вышедших из головы философа. Она представляет собой также лучшее его создание, ибо в ней уже брезжит сознание важнейших законов, признанных нашей современной философией. Учение о монадах было, быть может, лишь беспомощной формулировкой этих законов, выраженных ныне в более удачных формулах натурфилософов. Вместо слова «закон» мне бы собственно следовало употребить здесь слово «формула», ибо Ньютон совершенно прав, замечая, что то, что мы называем в природе законами, в сущности не существует, и что это только формулы, помогающие нашему пониманию уяснить вереницу явлений в природе. Из всех сочинений Лейбница более всего толков возбудила в Германии его «Теодицея». Однако это — слабейшее его произведение. Эта книга, как и некоторые другие сочинения, где выразилась религиозность Лейбница, вызвала немало враждебных откликов, немало горького непонимания. Враги обвиняли его в благодушнейшем слабоумии, защищавшие его друзья, наоборот, сделали его хитрым лицемером. Долго характер Лейбница был у нас предметом спора. Самые добросовестные не могли защитить философа от упрека в двусмысленности. Больше всего нападали на него свободомыслящие и просветители. Как могли они простить философу то, что он защищал троицу, вечные муки в

* «Новые опыты о человеческом понимании».

аду и даже божественность Христа! Так далеко не простиралась их терпимость. Но Лейбниц не был ни дураком, ни мошенником и со своей гармонической высоты мог очень хорошо защищать цельное христианство. Я говорю: «цельное христианство», потому что он защищал его от христианства половинчатого. Он показал последовательность ортодоксов в противоположность половинчатости их противников. Большого он никогда и не добивался. К тому же он стоял на той точке безразличия, для которой разнообразнейшие системы представляют собой лишь различные стороны одной и той же истины. Эту позицию безразличия признал впоследствии и г. Шеллинг, а Гегель обосновал ее научно, как систему систем. Таким же образом Лейбниц занимался примирением Платона и Аристотеля. И в позднейшие времена эта задача достаточно часто ставилась у нас. Решена ли она?

Нет, поистине нет! Ибо эта задача есть не что иное, как улажение борьбы между идеализмом и материализмом. Платон насквозь идеалист и признает только врожденные, или, точнее, прирожденные идеи; человек приносит идеи с собой в мир, и когда он осознает их, то они представляются ему как бы воспоминанием из прежнего бытия. Отсюда все неопределенное и мистическое у Платона, — он вспоминает более и менее ясно. Напротив, у Аристотеля все ясно, все отчетливо, все определено, ибо его знания раскрываются ему не в отношениях, предшествовавших бытию, но он черпает все из опыта и умеет все классифицировать точнейшим образом. Поэтому он остается также образцом для всех эмпириков, и они не знают как достаточно восхвалить господина за то, что он дал его в учителя Александру, завоевания которого предоставили Аристотелю такую возможность способствовать развитию науки, и что его победоносный ученик пожаловал ему столько тысяч талантов на занятия зоологией. Деньги эти старый учитель истратил со всей добросовестностью, для чего анатомировал приличное количество млекопитающих,

набил множество птичьих чучел и произвел при этом важнейшие наблюдения; но великого зверя, который находился перед его глазами, которого он сам воспитал, который был неизмеримо замечательней, чем весь тогдашний мировой зверинец, он, к сожалению, оставил незамеченным и неисследованным. В самом деле, Аристотель не сообщил нам никаких сведений о характере юного царя, жизнь и деяния которого до сих пор поражают нас, как чудеса и загадки. Кто был Александр? К чему он стремился? Был он безумец или бог? Нам и теперь это неизвестно. Тем лучше те сведения, что дает нам Аристотель о вавилонских мартышках, индийских попугаях и греческих трагедиях, которые он равным образом анатомировал.

Платон и Аристотель! Это не только две системы, но и два типа, две различные человеческие натуры, с незапамятных времен, во всех костюмах, более или менее враждебно противостоящие друг другу. Вражда эта тянется на протяжении всего средневековья вплоть до нынешнего дня, представляя собою существеннейшее содержание истории христианской церкви. О Платоне и Аристотеле всегда идет речь, хотя бы и под другими именами. Мечтательные, мистические, платонические натуры раскрывают, черпая в безднах своей души, христианские идеи и соответственные символы. Натуры практические, упорядочивающие, аристотелевские строят из этих идей и символов систему, догматику и культ. В конце концов церковь приемлет в лоно свое обе эти натуры, причем одна окапывается, главным образом, в светском духовенстве, другая — в монашестве, но обе продолжают нескончаемую борьбу. В протестантской церкви наблюдается такая же борьба, это — расхождение между пиэтистами и ортодоксами, в известном смысле соответствующими католическим мистикам и догматикам. Протестантские пиэтисты — это мистики без фантазии, а протестантские ортодоксы — догматики без ума.

Мы застаем обе эти протестантские партии в ожесточенной борьбе во время Лейбница, а его философское

выступление произошло позже, когда Христиан Вольф овладел его философией, приспособил ее к тогдашнему времени и, что самое важное, начал излагать ее на немецком языке. Прежде, однако, чем заняться этим учеником Лейбница, успехами его стремлений и дальнейшими судьбами лютеранства, мы должны упомянуть об избраннике, который прошел одновременно с Локком и Лейбницем школу Декарта, долго встречал только презрение и ненависть и тем не менее в наши дни возвышается до безраздельного господства над умами.

Я говорю о Бенедикте Спинозе.

Великий гений образуется при посредстве другого гения не столько ассимиляцией, сколько трением. Один алмаз полирует другой. Таким образом, философия Декарта ни в коем случае не породила философию Спинозы, а только способствовала ее явлению. Поэтому мы вначале встречаемся у ученика с методами учителя; это большое приобретение. Затем у Спинозы, как и у Декарта, мы встречаем аргументацию, заимствованную у математики. Это большой порок. Математический метод изложения придает Спинозе жесткую форму. Но она подобна жесткой скорлупе миндаля: тем вкуснее ядро. При чтении Спинозы нас охватывает то же чувство, что и при созерцании великой природы в ее живейшем покое. Лес восходящих до неба мыслей, цветущие вершины которых волнуются в движении, между тем как непоколебимые стволы деревьев коренятся в вечной земле. Какое-то дуновение проносится в творениях Спинозы, поистине, неизъяснимое. Как бы веяние грядущего обвеваает нас. Дух еврейских пророков покоился еще, быть может, на их позднем потомке. К этому надо прибавить его сосредоточенность, его самоуверенную гордость, величавость его мыслей, которая также кажется наследственным достоянием, ибо Спиноза принадлежал к тем семьям-мученикам, которые в те годы были изгоняемы католическими королями из Испании. С этим сочетается еще терпение голландца, никогда не

изменявшее этому человеку ни в его жизни, ни в произведениях.

Установлено, что жизнь Спинозы безукоризненно чиста и незапятнана, как жизнь его божественного родича Иисуса Христа. Как тот, он пострадал за свое учение, как тот, носил он терновый венец. Везде, где великий дух высказывает свою мысль, есть Голгофа.

Дорогой читатель, если тебе случится попасть в Амстердам, прикажи проводнику показать тебе там синагогу испанских евреев. Это прекрасное здание, крыша его покоится на четырех колоссальных колоннах, а в середине возвышается кафедра, откуда некогда провозглашена была анафема отступнику от закона моисеева, идальго дону-Бенедикту де-Спиноза. При этом трубили в козлиный рог, носящий название шофар. С этим рогом связано, вероятно, нечто жуткое. Ибо, как я читал в биографии Соломона Маймона, однажды альтонский раввин пытался вновь вернуть его, ученика Канта, в лоно старой веры, и, когда тот настойчиво упорствовал в своих философских ересь, раввин перешел к угрозам и показал ему шофар с мрачными словами: «Знаешь ты, что это такое?» Но когда ученик Канта очень равнодушно ответил: «Это козлиный рог!» — раввин от ужаса упал навзничь на пол.

Звуками этого рога сопровождалось отлучение Спинозы, он был торжественно изгнан из общины израильской и объявлен недостойным носить впредь имя еврея. Его христианские враги были достаточно великодушны, чтобы оставить ему эту кличку. Но евреи, швейцарская гвардия деизма, были неумолимы, и перед испанской синагогой в Амстердаме показывают площадь, где они когда-то тыкали Спинозу своими длинными кинжалами.

Я должен был обратить особенное внимание читателей на личные невзгоды этого человека. Его сформировала не только школа, но и жизнь. Это отличает его от большинства философов, и мы ощущаем в его сочинениях косвенное воздействие личной жизни. Богословие было

для него не только наукой. Точно так же обстояло дело и с политикой, которую он изучил на практике. Отец его возлюбленной был повешен в Нидерландах за политическое преступление. Нигде на свете не вешают хуже, чем в Нидерландах. Вы не имеете представления о том, как бесконечно много приготовлений и церемоний происходит в связи с этим. Преступник умирает при этом от скуки, а у зрителя оказывается достаточно досуга для размышления. Поэтому я убежден в том, что Бенедикт Спиноза очень много размышлял над казнью старого ван-Энде, и как раньше он уразумел религию с ее кинжалами, так уразумел он теперь политику с ее веревками. Свидетельством этого является его «Tractatus politicus» *.

Моя задача лишь выяснить, в чем эти философы более или менее сродни друг другу, и я указываю лишь степень родства и преемственности. Эта философия Спинозы, третьего сына Рене Декарта, в том виде, как она изложена в его главном произведении «Этике», так же далека от материализма его брата Локка, как и от идеализма его брата Лейбница. Спиноза не бьется над исследованием вопроса о первоосновах наших познаний. Он предлагает нам свой великий синтез, свое объяснение божества.

Бенедикт Спиноза учит: существует лишь одна субстанция: это — бог. Эта единая субстанция бесконечна, она абсолютна. Все конечные субстанции ведут свое происхождение от нее, проистекают из нее, содержатся в ней, погружены в нее, растворены в ней; они имеют лишь относительное, преходящее, акцидентальное существование. Абсолютная субстанция открывается нам как в форме бесконечного мышления, так и в форме бесконечного протяжения. То и другое, бесконечное мышление и бесконечное протяжение, суть два атрибута абсолютной субстанции. Мы познаем лишь эти два атрибута. Однако бог, абсолютная субстанция, имеет,

* «Политический трактат».

быть может, еще больше атрибутов, неизвестных нам. «*Non dico me deum omnino cognoscere, sed me quaedam ejus attributa, non autem omnia, neque maximam intelligere partem*» *.

Только непонимание и злонамеренность могли приложить к этому учению эпитет «атеистическое». Никто не выражался в более возвышенных словах о божестве, чем Спиноза. Вместо того чтобы сказать, будто он отрицает бога, можно было бы сказать, что он отрицает человека. Все конечные вещи суть для него лишь модусы бесконечной субстанции. Все конечные вещи заключаются в божестве, человеческий дух есть лишь луч бесконечного мышления, человеческое тело есть лишь атом бесконечного протяжения; бог есть бесконечная причина того и другого — духов и тел, *natura naturans*.

В одном письме к г-же дю-Дефан Вольтер восторгается мыслью этой дамы, сказавшей, что все вещи, которых человек совершенно не может познать, несомненно, таковы, что знание их не могло бы быть ему полезным. Это замечание я применил бы к положению Спинозы, которое передал выше его собственными словами, и в котором он приписывает божеству не только два познаваемых атрибута — мышление и протяженность, но, быть может, и другие, недоступные нашему познанию атрибуты. То, чего мы не можем познать, не имеет для нас никакой цены, во всяком случае, никакой цены с социальной точки зрения, поскольку здесь важно познанное разумом воплотить в реальной жизни. Поэтому в нашем объяснении слова «бог» мы принимаем во внимание только эти два познаваемые атрибута. И затем, в конце концов, ведь все, что мы называем атрибутами бога, это лишь различные формы нашего созерцания, и это различие форм исчезает в абсолютной субстанции. Мысль, в конце концов, есть лишь невидимое протяжение, а протяжение есть лишь видимая

* «Не говорю, что вполне познал бога, но лишь, что понял некоторые его атрибуты, и не все, и не большую их часть».

мысль. Здесь мы приходим к основному положению немецкой философии, к философии тождества, в существе своем ничем не отличающейся от учения Спинозы. Пусть г. Шеллинг восстает сколько ему угодно против того, что его философия тождественна со спинозизмом, пусть утверждает, что она представляет собою «живое взаимопроникновение идеального и реального», что она отличается от спинозизма, как совершенные греческие статуи от «безжизненных египетских оригиналов», однако я должен определенно заявить, что г. Шеллинг в первом этапе своего развития, когда он еще был философом, ни в малейшей степени не отличался от Спинозы. Он только пришел другим путем к этой же философии, и это я объясню в дальнейшем, когда расскажу, как Кант открывает новый путь, как Фихте следует за ним и как г. Шеллинг, в свою очередь, шагает дальше по следам Фихте и, плутая в темных чащах натурфилософии, наконец оказывается лицом к лицу с великим изваянием Спинозы.

За новой натурфилософией остается лишь та заслуга, что она утонченнейшим образом выявила вечный параллелизм, царящий между духом и материей. Я говорю: дух и материя, и эти выражения употребляю как равнозначные тому, что Спиноза называет мыслью и протяжением. В известной степени равнозначно им также то, что наши натурфилософы называют духом и природой, или идеальным и реальным.

Пантеизмом я буду в дальнейшем называть не столько систему, сколько способ созерцания Спинозы. Пантеизм, так же как и деизм, исходит из единства божества. Но бог пантеистов пребывает в самом мире не таким образом, что он проникает его своей божественностью, как когда-то пытался наглядно объяснить блаженный Августин, сравнивая бога с большим озером, а мир с большой губкой, лежащей посередине и впитывающей в себя божество. Нет, мир не только пропитан богом, не только чреват богом, но тождествен с богом. «Бог», которого Спиноза называет единой субстан-

цией, а немецкие философы абсолютом, есть «все, что существует». Он столько же материя, сколько дух. То и другое равно божественно, и кто поносит священную материю, грешен столько же, сколько тот, кто грешит против святого духа.

Бог пантеистов отличается, таким образом, от бога деистов тем, что пребывает в самом мире, между тем как последний находится вне мира, или, что то же самое, над миром. Бог деистов правит миром сверху, как системой, отдельной от него. Деисты расходятся только в вопросе об образе этого правления. Евреи представляют себе бога как тирана-громовержца; христиане — как любящего отца; ученики Руссо — вся женеvская школа — представляют его себе как мудрого художника, изготовившего мир приблизительно таким же образом, как их папаша изготавливает свои часы, и, в качестве знатоков этого искусства, они изумляются механизму и славят мастера в небесах.

Для деиста, принимающего, таким образом, лишь внемирового или надмирового бога, священен лишь дух, который он рассматривает как божественное дыхание, вдохнутое творцом вселенной в человеческое тело, в создание рук своих, вылепленное из глины. Поэтому евреи видели в этом теле нечто низкопробное, жалкую оболочку «руах гакодаш», священного дыхания, духа, и лишь ему они посвящали свои заботы, свое благоговение, свой культ. Поэтому они стали народом духа по преимуществу, целомудренным, умеренным в потребностях, сосредоточенным, абстрактным, упорным, готовым к мученичеству. Их высший расцвет есть Иисус Христос. Он есть воистину воплощенный дух. Глубоко значительна легенда о том, что его произвела на свет дева, чистая телом, непорочная, лишь чрез духовное зачатие.

Но если евреи смотрели на тело с пренебрежением, то христиане пошли по этому пути еще дальше и смотрели на него, как на нечто недостойное, нечто дурное, как на само зло. И вот мы видим, как через несколько сто-

летий после рожества христово создается религия, которая вечно будет поражать человечество и приведет позднейшие поколения в самое жуткое изумление. Да, это — великая, святая, исполненная бесконечного блаженства религия, она старалась отвоевать для духа безусловное владычество на земле, — но эта религия была слишком возвышенна, слишком чиста, слишком хороша для этой земли, где ее идея могла быть провозглашена лишь в теории, но отнюдь не осуществлена на практике. Попытка осуществить эту идею породила в истории бесконечное множество прекраснейших явлений, и долго еще поэты всех времен будут воспевать и славить ее. Но все же опыт осуществления христианства в действительности, как мы в конце концов видим, провалился позорнейшим образом, и этот неудачный опыт стоил человечеству неисчислимых жертв. Печальным следствием его является наш теперешний социальный недуг во всей Европе. Если мы, как полагают многие, живем еще в юношеском возрасте человечества, то христианство относится к самому экзальтированному студенческому его периоду, у которого в чести больше сердце, чем рассудок. Материю, светское, оставило христианство в руках цезаря и его еврейских финансистов, удовлетворившись тем, что отвергло верховенство первого и заклеямило последних в общественном мнении. Но — увы — ненавистный меч и презренные деньги в конце концов все-таки добиваются верховного господства, и представители духа вынуждены войти с ними в соглашение. Мало того, из этого соглашения вышел даже союз, направленный к одной цели. Не только римские, но и английские, прусские, словом, все привилегированные представители духовенства заключили союз с цезарем и его пособниками с целью порабощения народов. Но в результате этого союза тем быстрее идет к гибели религия спиритуализма. К этому убеждению пришли уже некоторые представители духовенства, и ради спасения религии они делают вид, будто отказываются от этого пагубного союза,

перебегают в наши ряды, надевают на себя красный колпак; они клянутся в смертельной ненависти ко всем царям, всем кровоопийцам, они требуют равенства имуществ на земле, они клянутся Маратом и Робеспьером. — Между нами говоря, рассмотрев их поближе, вы найдете, что они служат обедню на языке якобинства и, как некогда преподнесли они цезарю яд, скрытый в святых дарах, так пытаются теперь поднести свои святые дары народу, спрятав их в революционном яде; ибо они знают, что нам по вкусу этот яд.

Напрасны, однако, все наши старания! Человечеству приелись все святые дары, и оно хочет более питательной пищи, настоящего хлеба и вкусного мяса. Человечество сострадательно посмеивается над юношескими идеалами, которые ему, несмотря на все усилия, не удалось осуществить, и оно становится мужественно-практическим. Человечество держится теперь земной системы полезности, оно серьезно думает о гражданском благоустройстве и зажиточности, о разумном ведении хозяйства, о благополучной жизни в поздней старости. Тут уже, поистине, нет больше речи о том, чтобы оставить меч в руках цезаря и еще менее — кошелек в руках его прислужников. Служение государям потеряло привилегию почетности, и промышленность очищена от былого позора. Первая задача: быть здоровыми, ибо мы чувствуем себя еще очень слабыми. Святые вампиры средневековья высосали из нас много жизненной крови. И великие искупительные жертвы должны еще быть принесены материи, чтобы она простила бывшие оскорбления. Было бы даже уместно установить торжества и воздавать материи еще больше чрезвычайных почестей в возмещение. Ибо христианство, оказавшись неспособным изничтожить материю, повсюду позорило ее, принизило благороднейшие наслаждения, и физическим чувствам приходилось прикрываться лицемерием, что породило ложь и грех. Мы должны облечь наших жен в новые мысли и одежды, а все наши чувства обкурить, как после перенесенной чумы.

Таким образом, ближайшей целью всех наших новых установлений должно быть реабилитация материи, возведение ее в прежний сан, ее моральное признание, ее религиозное освящение, ее примирение с духом. Пуруша вновь вступает в брак с Пракрити. Следствием их насильственного разлучения, как это столь глубоко представлено в индийском мифе, явилась мировая раздвоенность, зло.

Знаете ли вы теперь, что такое мировое зло? Спиритуалисты ставили нам всегда в упрек, что при пантеистической точке зрения исчезает различие между добром и злом. Но зло, с одной стороны, есть только бредовое представление их собственного мировоззрения, с другой стороны, оно есть реальное следствие их же собственного мироустройства. Согласно их мировоззрению материя сама по себе зло, что поистине есть клевета, ужасающее богохульство. Материя лишь тогда становится злом, когда она принуждена к тайному заговору против узурпации духа, когда дух позорит ее и она прелюбодействует из презрения к себе или когда она с ненавистью и отчаянием даже мстит за себя духу; и, таким образом, зло является лишь следствием спиритуалистического мироустройства.

Бог тождествен с миром. Он проявляет себя в растениях, бессознательно ведущих космически-магнетическую жизнь. Он проявляет себя в животных, которые в смутной жизни своих чувств более или менее ощущают какое-то неясное существование. Но чудеснее всего он проявляет себя в человеке, который одновременно чувствует и мыслит, который умеет индивидуально отличить себя от объективной природы и уже в разуме своем носит идеи, раскрывающиеся ему в мире явлений. В человеке божество приходит к самосознанию, и это самосознание проявляется опять-таки через посредство человека. Но это происходит не в единичном и не через единичного человека, а в совокупности людей и через нее, таким образом, что каждый человек охватывает и составляет лишь одну часть бога-вселенной,

а все люди в совокупности охватывают и составляют цельного бога-вселенную в идее и в реальности. Каждый народ, быть может, имеет предназначение познать и выразить определенную часть этого бога-вселенной, понять ряд явлений и воплотить ряд идей в явлении и передать результат последующим народам, на которые возложена сходная миссия. Поэтому бог есть истинный герой всемирной истории, она же есть его непрестанное мышление, непрестанное действие, его слово, его дело, и мы можем с правом сказать о человечестве в его совокупности, что оно есть воплощение бога!

Ложно мнение, будто эта религия, пантеизм, ведет людей к индифферентизму. Наоборот, сознание своей божественности вдохновит людей к ее проявлению, и лишь теперь прославят эту землю поистине великие подвиги истинного героизма.

Политическая революция, опирающаяся на принципы французского материализма, найдет в пантеистах не противников, а пособников, но пособников, почерпнувших свои убеждения из более глубокого источника — из религиозного синтеза. Мы заботимся о благе материи, о материальном счастье народов, не потому что мы, подобно материалистам, относимся с пренебрежением к духу, но потому, что мы знаем, что божественность человека проявляется также в его физическом существе, и что нужда разрушает или принижает тело, образ божий, отчего и дух погибает равным образом. Великое изречение революции, произнесенное Сен-Жюстом, «*le pain est le droit du peuple*», у нас изменено в «*le pain est le droit divin de l'homme*» *. Мы боремся не за человеческие права народа, но за божественные права человека. В этом, и еще во многом другом, мы отличаемся от мужей революции. Мы не хотим быть ни санкюлотами, ни умеренными в своих потребностях мещанами, ни дешевыми президентами: мы устанавливаем демократию равно чудесных, равно святых, равно

* «хлеб есть божественное право человека».

блаженных богов. Вы требуете простых одежд, воздержания в нравах, неприправленных наслаждений; мы, напротив, требуем нектара и амброзии, пурпурных одежд, драгоценных благоуханий, неги и роскоши, смеющейся пляски нимф, музыки и веселых комедий. Поэтому не прогневайтесь, добродетельные республиканцы! На ваши цензорские упреки мы ответим вам словами шекспировского дурака: «Ты полагаешь, что если ты добродетелен, то на этой земле не должно быть ни вкусных пирожков ни сладкого вина?»

Отчасти это поняли и собирались осуществить сенсимонисты. Но они находились в неблагоприятной обстановке, окружавший их материализм подавил их, по крайней мере на некоторое время. В Германии их оценили лучше, ибо Германия есть благодатнейшая почва для пантеизма. Он является религией наших величайших мыслителей, наших лучших художников, и деизм, как я покажу впоследствии, давно ниспровергнут там в теории. Он удерживается там только в бессознательных массах; ему нет разумного оправдания, как и многому другому. В этом не признаются, но всякий это знает. Пантеизм есть публичная тайна в Германии. Мы в самом деле переросли деизм, мы свободны и не хотим громовержущего тирана, мы стали совершеннолетними и не нуждаемся ни в каком отеческом попечении, мы не машины, вышедшие из рук великого механика. Деизм есть религия для рабов, религия для детей, для женевцев, для часовщиков.

Пантеизм есть тайная религия Германии, и что этим кончится, предвидели те самые немецкие писатели, которые уже полвека тому назад так свирепствовали против Спинозы. Яростнейшим из этих противников Спинозы был Фридрих-Генрих Якоби, которому иногда оказывают честь, перечисляя его среди немецких философов. Это только сварливый пролаза, прикрывшийся плащом философии, вкравшийся в среду философов; сперва он много ныл им о своей любви и мягкосердечии, а кончил поношением разума. Всегда был у него один

припев: философия, познание посредством разума — пустой призрак, разум сам не знает, куда он ведет, он приводит человека в темный лабиринт заблуждений и противоречий, и лишь вера может вести его твердо. Этот крот не видел, что разум подобен вечному солнцу, которое, уверенно обращаясь в небесах, освещает себе самому путь своим собственным светом. Ничто не может сравниться с благочестивой, благодушной, простодушной ненавистью маленького Якоби к великому Спинозе.

Замечательно, как самые различные партии нападали на Спинозу. Они образуют армию, пестрый состав которой представляет забавнейшее зрелище. Рядом с толпой черных и белых клобуков, с крестами и дымящимися кадилъницами марширует фаланга энциклопедистов, также возмущающихся этим *penseur ténégaïge* *. Рядом с раввином амстердамской синагоги, трубящим к атаке в козлиный рог веры, выступает Аруэ де-Вольтер, который на флейте насмешки наигрывает в пользу деизма. Между ними воет старая баба Якоби, маркитантка этой религиозной армии.

Сбежим как можно скорее от такой кутерьмы. Возвращаясь с нашей пантеистической прогулки, мы подойдем снова к философии Лейбница и займемся изложением ее дальнейшей судьбы.

Известные вам произведения Лейбница написаны частью на латинском, частью на французском языке. Христиан Вольф — таково имя достойного человека, не только систематизировавшего, но и изложившего на немецком языке идеи Лейбница. Собственно, его заслуга заключается не в том, что он объединил идеи Лейбница в твердую систему, еще меньше в том, что он сделал их доступными широкому кругу читателей посредством немецкого языка: заслуга его заключается в том, что он побудил нас философствовать также на

* деревким мыслителем.

нашем родном языке. До Вольфа мы могли заниматься философией — так же, как до Лютера богословием — только на латинском языке. Пример немногих, уже излагавших до той поры такие вещи на немецком языке, остался забытым; историк литературы обязан воздать этим людям особую хвалу. Поэтому упомянем здесь в частности об Иоганне Таулере, доминиканском монахе, который родился в начале XIV столетия на Рейне и умер там же, кажется, в Страсбурге, в 1361 году. Он был набожный человек и принадлежал к числу тех мистиков, которых я назвал средневековой партией платоников. В последние годы своей жизни он отказался от всякого научного высокомерия и не стыдился проповедывать на смиренном народном языке. И эти проповеди, записанные им, равно как и немецкие переводы некоторых из его прежних латинских проповедей, принадлежат к замечательнейшим памятникам немецкого языка. Ибо уже здесь язык этот показывает, что он не только *пригоден* для метафизических изысканий, но что он *пригоден* гораздо больше латинского. Этот последний, язык римлян, никогда не может оторваться от своего корня. Это язык команды для полководца, язык указов для администратора, язык юстиции для ростовщиков, лапидарный язык для твердого, как камень, народа римского. Он оказался подходящим языком для материализма. Хотя христианство, с терпением поистине христианским, более чем тысячелетие старалось спиритуализировать этот язык, это не удалось ему, и когда Иоганн Таулер хотел совершенно погрузиться в самые жуткие бездны мысли и когда сердце его переполнилось священнейшими чувствами, он должен был говорить по-немецки. Его язык — словно горный ключ, бьющий из твердой скалы, чудесно пропитанный благоуханием неведомых трав и таинственными силами камня. Но лишь в новейшие времена стала действительно заметна пригодность немецкого языка для философии. Ни на каком другом языке не могла бы природа выявить сокровеннейшие свои творения, как

на нашем милом родном немецком языке. Только на могучем дубе могла вырасти священная омега.

Здесь заслуживал бы упоминания Парацельс, или, как он сам себя называет, Теофрастус-Парацельзус-Бомбастус фон-Гогенгейм, ибо он также писал почти всегда по-немецки. Но мне придется позже говорить о нем, в связи с более значительным предметом. Ибо его философия была как раз тем, что мы в наши дни называем натурфилософией; и такое учение об оживотворенной идеей природе, так таинственно любезное немецкому духу, развилось бы у нас уже тогда, если бы всеобщее господство не досталось, благодаря случайному влиянию, безжизненной, механической физике картезианцев. Парацельс был большим шарлатаном, выступавшим всегда в пурпурном камзоле, пурпурных штанах, красных чулках и красной шляпе, утверждавшим, что он в силе творить гомункулов, маленьких человечков; во всяком случае, он состоял в близких отношениях с невидимыми существами, гнездящимися в различных стихиях. Но в то же время он был одним из тех глубоко-мысленнейших естествоиспытателей, которые с немецкой пытливостью схватили сущность дохристианской народной веры, германского пантеизма, и то, чего они не знали, очень верно предчувствовали.

Здесь собственно надлежало бы также упомянуть и о Якове Беме, ибо он также пользовался немецким языком для философского изложения и за это заслужил великую хвалу. Но я никогда до сих пор не мог решиться прочитать его. Я не люблю, когда меня дурачат. Я подозреваю хвалителей этого мистика в желании мистифицировать публику. Что касается содержания его произведений, то Сен-Мартен сообщил вам кое-что из них на французском языке. Переводили его и англичане. Карл I так высоко ставил этого теософа-башмачника, что отправил в Герлиц одного ученого нарочно для изучения его. Этот ученый был счастливее своего царственного господина, ибо если последний потерял в Уайтхолле голову под топором Кромвеля, то первый

потерял в Герлице, под влиянием теософии Якова Беме, только разум.

Как я уже сказал, Христиан Вольф первый успешно ввел немецкий язык в философию. Менее важной его заслугой была систематизация и популяризация идей Лейбница. И то и другое достойно даже величайшего порицания, и мы должны об этом упомянуть мимоходом. Его систематизация была лишь пустой видимостью, которой принесено было в жертву важнейшее в Лейбницевой философии, например, лучшая часть учения о монадах. Правда, Лейбниц не оставил систематического здания своего учения, но лишь необходимые для постройки его идеи. Нужен был богатырь, чтобы объединить эти колоссальные плиты и колонны, извлеченные и прекрасно выточенные богатырем из глубочайших мраморных кусков. Это был бы прекрасный храм. Но Христиан Вольф был очень невысокого роста и мог овладеть лишь частью этого строительного материала, и он употребил его на жалкую келью деизма. Вольф был более энциклопедической, чем систематической головой, и единство учения заключалось для него только в форме полноты. Он довольствовался чем-то вроде шкафа, где полки прекрасно расположены, превосходно заполнены и снабжены четкими надписями. В таком роде построена и его «Энциклопедия философских наук». Понятно, что он, внук Декарта, унаследовал дедовскую форму математической аргументации. Эту математическую форму я порицал уже у Спинозы. В руках Вольфа она оказалась чрезвычайно пагубной. Она выродилась у его учеников в невыносимый схематизм и в смешную манию доказывать все математическим методом. Возник так называемый вольфовский догматизм. Прекратилось всякое более глубокое исследование, — оно заменилось скучным преклонением перед отчетливостью. Вольфовская философия становилась все водянистее и наконец затопила всю Германию. Следы этого потопа заметны до сих пор: то там, то здесь, на высочайших вершинах, где пребывают наши

музы, попадаются старые ископаемые Вольфовой школы.

Христиан Вольф родился в 1679 году в Бреславле и умер в 1754 году в Галле. Более полувека продолжалось его умственное верховенство в Германии. Мы должны особенно подчеркнуть его отношение к богословам его времени, чем восполним наше изложение судеб лютеранства.

Во всей истории церкви нет более сложной распри, чем препирательства протестантских теологов с Тридцатилетней войны. С ними может сравниться лишь казуистическая грызня византийцев, но она была не так скучна, так как за нею скрывались большие государственные, придворные интриги, тогда как в основе протестантской потасовки лежал по преимуществу педантизм узких магистерских голов и университетских париков. Университеты, особенно Тюбингенский, Виттенбергский, Лейпцигский и Галлеский были аренами этих богословских споров. Две партии, которые, как мы видели, на протяжении всего средневековья боролись в католическом одеянии, платоновская и аристотелевская, переменили лишь одежды и продолжают свою потасовку. Это упомянутые уже пиэтисты и ортодоксы, которых я назвал мистиками без фантазии и догматиками без ума. Иоганн Шпенер был Скоттом Эригеной протестантства, и как этот последний своим переводом легендарного Дионисия Ареопагита основал католический мистицизм, так Шпенер основал протестантский пиэтизм посредством своих назидательных сборников «*Colloquia pietatis*» *, от которых, быть может, и осталось за его последователями название пиэтистов. Он был благочестивый человек, честь его памяти. Берлинский пиэтист, г. Франц Горн, написал хорошую биографию его. Жизнь Шпенера — сплошное мученичество за христианскую идею. Он был в этом отношении выше своих современников. Он настаивал на добрых делах и на-

* «Беседы благочестия»

божности, он был более проповедником духа, чем слова. Его проповедническая деятельность была похвальна для его времени. Ибо вся теология, как ее преподавали в указанных университетах, состояла только из узкой догматики и педантической полемики о словах. Экзегетика и история церкви оставались в совершенном пренебрежении.

Ученик этого Шпенера, Герман Франке, выступил в Лейпциге с лекциями по примеру и в духе своего учителя. Он читал по-немецки, — заслуга, которую мы всегда упоминаем с признанием. Успех этого курса возбудил зависть его коллег, которые поэтому отравляли жизнь нашему бедному пиетисту. Ему пришлось очистить место, и он переселился в Галле, где словом и делом обучал христианству. Память его неувыдаема в Галле, так как он — основатель тамошнего сиротского приюта. Университет в Галле был переполнен пиетистами, которых называли «партией сиротского приюта». Кстати сказать, партия эта сохранилась до нынешнего дня. Галле и теперь еще остается кротовой норой пиетистов, и их распри с протестантскими рационалистами привели несколько лет тому назад к скандалу, распространившему по всей Германии свое зловоние. Счастливые французы, не слышавшие ничего об этом! Вам осталось неизвестным даже существование евангелических сплетнических листков, где набожные селедочницы протестантской церкви ругались досыта. Счастливые французы, не имеющие никакого понятия о том, какой злобой, мелкой, отвратительной слюной могут наши евангелические священники обливать друг друга. Вы знаете, я далеко не приверженец католичества. В моих нынешних религиозных убеждениях уже не живет, правда, догматика протестантства, но неизменно жив его дух. Я, таким образом, все еще остаюсь пристрастным сторонником протестантской церкви, и все же, истины ради, я должен признать, что никогда в летописях папства я не встречался с такими гнусностями, какие были вскрыты в берлинской «Евангелической церковной

газете» при упомянутом скандале. Трусливейшие монашеские интриги, мелочнейшие монастырские козни благородны и добропорядочны в сравнении с христианскими героическими подвигами, совершенными нашими протестантскими ортодоксами и пиятистами в борьбе против ненавистных рационалистов. О ненависти, обнаруживающейся в подобных случаях, вы, французы, не имеете никакого понятия. Немцы ведь вообще злопамятнее, чем романские народы.

Это происходит оттого, что мы и в ненависти идеалисты. Мы ненавидим друг друга не из-за внешних мелочей, как вы, например, из-за оскорбленного тщеславия, из-за остроты, из-за неотданного визита, — нет, мы ненавидим в наших врагах глубочайшее, важнейшее, что в них есть — мысль. Вы, французы, легкомысленны и поверхностны как в любви, так и в ненависти. Мы, немцы, ненавидим основательно, продолжительно; а так как мы чересчур честны и к тому же слишком беспомощны, чтобы мстить со стремительным коварством, то мы ненавидим друг друга до последнего издыхания.

«Я знаю ваше немецкое спокойствие, сударь, — сказала недавно одна дама, с недоверием и страхом глядя на меня своими широко раскрытыми глазами: — я знаю, вы, немцы, одним словом выражаете «простить» и «отравить». И в самом деле, она права: слово *vergeben* обозначает и то и другое.

Если не ошибаюсь, это галлеские ортодоксы, в борьбе с переселившимися к ним пиятистами, призвали вольфовскую философию, ибо если религия теряет возможность сжигания нас на костре, то она начинает у нас кланяться. Но все наши подаяния идут ей не на пользу. Математическое, демонстративное одеяние, в которое Вольф любовно облек бедную религию, так дурно сидело на ней, что она почувствовала себя еще более стесненной и в этой стесненности стала очень смешной. Повсюду лопались слабые швы. Стыдливая часть — первородный грех — выступила особенно во всей своей откровен-

нейшей наготе. Здесь не помогал никакой логический фиговый листок. Христианско-лютеранский первородный грех и лейбнице-вольфовский оптимизм непримиримы. Поэтому французское издательство над оптимизмом очень мало огорчило наших теологов. Насмешка Вольтера пошла на пользу нагому первородному греху. Но от уничтожения оптимизма немецкий Панглос потерял очень много и долго искал подходящего по утешительности учения, пока гегелевское изречение: «все действительное — разумно» не вознаградило его до некоторой степени.

С того момента, как религия ищет помощи у науки, ее гибель неотвратима. Она пытается защититься и гибнет, погружаясь все глубже в пустое словопрение. Религия, как всякий абсолютизм, не должна оправдываться. Прометей приковывает к скале безмолвная сила. Эсхил не влагает ни одного слова в уста олицетворенной силе. Она должна быть нема. Как только религия напечатала рассуждающий катехизис, как только политический абсолютизм начал издавать официальную газету, обоим пришел конец. В том и заключается наше торжество, что мы заставили наших противников говорить, и они вынуждены держать ответ перед нами.

Правда, нельзя отрицать, что религиозный абсолютизм, как и политический, нашли очень мощные голоса, чтобы отвечать нам. Но не пугайтесь этого. Если слово живо, то его несет и карлик, если оно мертво, то его не поставят на ноги никакие великаны.

Итак, как я сказал, с тех пор, как религия стала искать поддержки у философии, немецкие ученые, помимо облачения в новые одежды, произвели над нею еще бесчисленный ряд экспериментов. Ей вздумали устроить новую молодость и взялись за это приблизительно таким же образом, как Медея при омоложении царя Язона. Сперва ей открыли жилу, понемногу выпустили из нее всю суеверную кровь; говоря без метафор, была сделана попытка извлечь из христианства все истори-

ческое содержание и сохранить только моральную часть. Вследствие этого христианство обратилось в чистый деизм. Христос перестал быть соправителем господ. Он был, так сказать, медиатизирован и только в качестве частного лица находил признание и почет. Сверх всякой меры восхваляли его нравственный характер. Не хватало слов, чтобы достаточно расхвалить его и выразить, какой он был хороший человек. Что касается чудес, совершенных им, то их объясняли естественными причинами или старались обращать на них как можно меньше внимания. Чудеса, говорили некоторые, были необходимы в те суеверные времена, и разумный человек, желавший возвестить истину, пользовался ими вроде объявлений. Эти богословы, изгнавшие из христианства все историческое, назывались рационалистами, и против них в равной степени направились ярость как пиетистов, так и ортодоксов, которые с тех пор не так бешено боролись друг с другом, а нередко заключали и союз. Чего не могла сделать любовь, то сделала общая ненависть, ненависть к рационалистам.

Это направление в протестантской теологии начинается со спокойного Земмлера, которого вы не знаете, достигло уже опасной высоты с ясным Теллером, которого вы тоже не знаете, и дошло до вершины с плоским Бардтом, от знакомства с которым вы ничего не теряете. Сильнейшие импульсы шли из Берлина, где царствовали Фридрих Великий и книгопродавец Николай.

О первом, этом коронованном материалисте, вы осведомлены в достаточной степени. Вы знаете, что он писал французские стихи, очень хорошо играл на флейте, одержал победу при Росбахе, много нюхал табак и верил только в пушки. Некоторые из вас бывали, конечно, в Сан-Суси, и старый инвалид, тамошний дворцовый сторож, показывал вам в библиотеке французские романы, которые Фридрих в бытность кронпринцем, читал в церкви и которые он приказывал переплести в черный сафьян, чтобы его строгий родитель верил, будто он читает лютеранский молитвенник. Вы знаете

его, этого царственного мудреца, которого вы прозвали Соломоном севера. Франция была Офиром этого северного Соломона, и отсюда он получал своих поэтов и философов, к которым питал большое пристрастие, подобно Соломону юга, который, как вы можете прочесть в Книге царств, гл. X, получал при посредстве своего друга Хирама целые корабли золота, слоновой кости, поэтов и философов из Офира. Вследствие этого пристрастия к иноземным талантам Фридрих Великий не мог, конечно, оказать слишком большое влияние на немецкую культуру. Наоборот, он оскорблял, он унижал немецкое национальное чувство. Презрение, которым Фридрих Великий обливал нашу литературу, огорчает даже нас, внуков. Кроме старого Геллерта, ни один из них не удостоился его высочайшей милости. Разговор, состоявшийся между ними, замечателен.

Но если Фридрих Великий насмехался над нами, не оказывая нам поддержки, то тем более поддерживал нас книгопродавец Николаи, что ни в малой степени не мешало нам издеваться над ним. Этот человек всю свою жизнь неустанно трудился для блага отечества. Он не щадил ни трудов, ни денег, когда надеялся содействовать чему-нибудь хорошему, и все же никогда не было в Германии человека, осмеянного так жестоко, так непримиримо, так уничтожительно, как именно он. Хотя мы, потомки, знаем очень хорошо, что старый Николаи, друг просвещения, совсем не ошибался в основном; хотя нам известно, что уничтожили его насмешками главным образом наши враги, обскуранты, мы все же не можем серьезно отнестись к нему. Старый Николаи пытался сделать в Германии то, что сделали французские философы во Франции. Он хотел вытравить прошлое в сознании народа, — почтенная предварительная работа, без которой не может быть произведена ни одна радикальная революция. Напрасные старания — ему была не по плечу такая работа. Старые развалины были еще слишком крепки, и привидения вылетали из них и насмехались над ним. Тогда он при-

ходил в ярость и, не глядя, колотил по сторонам, а зрители хохотали, когда летучие мыши свистали вокруг его ушей и путались в его пристойно напудренном парике. Случалось ему также иногда принимать ветряные мельницы за великанов и воевать с ними. Еще хуже было, однако, когда он подчас видел только ветряные мельницы в настоящих великанах, например, в Вольфганге Гете. Он написал сатиру на его «Вертера», в которой обнаружил грубейшее непонимание всех намерений автора. Однако в главном он был все же прав. Если он и не понял, что, собственно, хотел сказать Гете своим «Вертером», то он очень хорошо понял его действие, — расслабляющую мечтательность, бесплодную сентиментальность, порожденные этим романом и находившиеся во враждебном противоречии с любым разумным взглядом на мир, в котором мы так нуждались. Здесь Николай высказал совершенно ту же мысль, что и Лессинг, который в письме к приятелю дал «Вертеру» следующую оценку:

«Для того, чтобы создание столь горячее не натворило больше зла, чем добра, не полагаете ли вы, что оно должно было бы закончиться еще небольшим холодным заключением? Два-три намека на то, как в Вертере развился столь причудливый характер, на то, как другой юноша, со сходной натурой, мог бы оградить себя от этого. Полагаете ли вы, что римский или греческий юноша мог бы так и по этой причине лишиться себя жизни? Конечно, нет. Они умели совершенно иначе охранять себя от любовной фантастики; во времена Сократа, такое *ἑξ ἔρωτος κατοχή* *, которое побуждает *τι τοιαύτη παρά φύσιν* **, едва ли простили бы даже девочке. Создавать такие мелко-великие, презренно-достойные оригиналы было уделом лишь христианского воспитания, которое столь прекрасно умеет превратить физическую потребность в духовное совершенство. Итак, любезный Гете,

* любовное увлечение

** к поступку против естества

еще одну главку в заключение, и чем циничнее, тем лучше!»

И друг Николай действительно написал измененного согласно этому указанию «Вертера». В этой редакции герой не застрелился, но только замарался куриной кровью, ибо ею был заряжен пистолет вместо свинца. Вертер становится смешным, остается в живых, женится на Шарлотте, словом, кончает еще трагичнее, чем в гетевском оригинале.

«Всеобщей немецкой библиотекой» назывался журнал, который основал Николай и где он и друзья его выступали против суеверия, иезуитов, придворных лакеев и т. п. Нельзя отрицать, что некоторые из ударов, направленных против суеверия, попадали, к несчастью, в поэзию. Так, например, Николай восставал против зарождающегося пристрастия к старым немецким народным песням. Но по-своему он опять был прав: при всевозможных достоинствах в этих песнях заключалось немало воспоминаний совершенно несвоевременных. Старые напевы средневековых пастушеских песен могли вновь заманить народную душу в религиозный хлев прошлого. Подобно Одиссею, он стремился заткнуть уши своих спутников, чтобы они не могли слышать пения сирен, не заботясь о том, что это сделает их глухими к невинным песням соловья. Чтобы радикально очистить поле современности от всяких плевел, этот практик не стеснялся выпалывать и цветы. Против этого восстала враждебнейшим образом партия цветов и соловьев и все близкое этой партии — красота, изящество, остроумие и шутка, и бедный Николай пал.

В нынешней Германии обстоятельства переменялись, и партия цветов и соловьев тесно связана с революцией. Нам принадлежит будущее, и уже занимается заря победы. Когда ее лучезарный свет озарит все наше великое отечество, мы помянем также и мертвых, тогда помянем мы, конечно, и тебя, старый Николай, бедный мученик разума! Мы перенесем твой прах в германский Пантеон, вокруг саркофага будет двигаться ликующее

торжественное шествие, в сопровождении оркестра музыкантов, среди духовых инструментов которых — упаси господи! — не будет свистка; мы возложим на твой гроб пристойнейший лавровый венок и из всех сил будем при этом удерживаться от смеха.

Желая дать понятие о философско-религиозном состоянии этой эпохи, я должен упомянуть здесь также мыслителей, выступавших более или менее в сотрудничестве с Николаи и образовавших как бы *juste-milieu* * между философами и художественной литературой. У них не было никакой определенной системы, была лишь определенная тенденция. По стилю и исходным познаниям они сродни английским моралистам. Они пишут без научно строгой формы, и нравственное сознание есть единственный источник их познаний. Их тенденция та же, с какою мы встречаемся у французских филантропов. В религии они рационалисты. В политике они космополиты. В морали они благородные, добродетельные люди, строгие к себе и снисходительные к другим. Что касается таланта, то в качестве самых выдающихся из них могут быть названы Мендельсон, Зульцер, Аббт, Мориц, Гарве, Энгель и Бистер. Мориц мне милее прочих. Он много сделал в опытной психологии. Он отличался прелестной наивностью, мало понятой его друзьями. Его автобиография — один из важнейших памятников этой эпохи. Но наибольшее общественное значение, в сравнении с прочими, имеет все же Мендельсон. Он был реформатором немецких евреев, своих единоверцев, он ниспроверг авторитет талмудизма, он основал чистый мозаизм. Этот человек, которого современники называли немецким Сократом и которым столь благоговейно восхищались вследствие его душевного благородства и силы его ума, был сыном бедного синагогального служки в Дессау. Кроме этого прирожденного несчастья, провидение наградило его еще горбом, как бы для того, чтобы дать черни нагляд-

* промежуточный слой

ный пример, что человека надо ценить не по его наружности, а по внутренней ценности. Или, быть может, провидение наделило его горбом именно из благой предосторожности, чтобы он приписывал несправедливости, испытываемые от черни, несчастной судьбе, в которой мудрец легко может утешиться. Мендельсон ниспроверг Талмуд, как Лютер ниспроверг папство, и точно таким же образом, а именно: он отверг традицию, объявил Библию источником религии и перевел ее важнейшую часть. Этим путем Мендельсон разрушил еврейский католицизм, как Лютер разрушил христианский. В самом деле, Талмуд есть еврейский католицизм. Это готический храм, приукрашенный, правда, ребяческими завитушками, но поражающий нас своей беспредельной, смелой громадностью. Это иерархия религиозных законов, которые часто касаются ничтожнейших, забавнейших тонкостей, но так остроумно подчиненных и соподчиненных друг другу, поддерживающих, несущих друг друга и действующих с такой страшной последовательностью, что они образуют некое колоссальное целое, страшное и несокрушимое.

За гибелью христианского католичества должна была последовать гибель еврейского — Талмуда. Ибо Талмуд уже потерял свое значение; он ведь служил лишь оплотом против Рима. Ему обязаны евреи тем, что они могли противостоять христианскому Риму так же героически, как некогда они противостояли Риму языческому. И они не только противостояли, но и победили. Бедный раввин Назаретский, над умирающей головой которого язычник-римлянин начертал злорадные слова «царь Иудейский», этот увенчанный терниями и облаченный в издевательскую багряницу, этот осмеянный царь иудейский сделался, в конце концов, богом римлян, и они должны были преклониться перед ним! Подобно языческому Риму, был побежден и Рим христианский и стал даже данником. Если ты, дорогой читатель, в первых числах триместра отправишься на улицу Лафит, в дом № 15, то увидишь, как перед высоким

подъездом из тяжеловесной кареты выходит толстый человек. Он поднимается по лестнице наверх в маленькую комнату, где сидит молодой блондин, который, однако, старше, чем кажется с виду, в барской, аристократической пренебрежительности которого заключено нечто столь устойчивое, столь положительное, столь абсолютное, как будто все деньги этого мира лежат в его кармане. И в самом деле, все деньги этого мира лежат в его кармане. Зовут его мосье Джемс де-Ротшильд, а толстяк — это монсиньор Гримбальди, посланец его святейшества папы, от имени которого он принес проценты по римскому займу, дань Рима.

На что же нужен еще Талмуд?

Поэтому Моисей Мендельсон заслуживает великой хвалы за то, что он ниспроверг, по крайней мере в Германии, это еврейское католичество. Ибо вредно то, что уже ненужно. Отвергнув традицию, он все же стремился сохранить обрядовый закон Моисея как религиозную обязанность. Было ли это трусостью или благоразумием? Была ли то болезненная любовь, которая воспрепятствовала ему наложить разрушительную руку на предметы, которые были священной всего для его предков и за которые пролилось так много мученической крови и мученических слез? Не думаю. Подобно царям материи, и цари духа должны быть неумолимы к семейным чувствам. На престоле мысли нельзя предаваться мелкой чувствительности. Поэтому я скорее полагаю, что Моисей Мендельсон видел в чистом мозаизме систему, способную служить деизму как бы последним оплотом. Ибо деизм был его глубочайшей верой и глубочайшим убеждением. Когда умер его друг Лессинг и последнего обвинили в Спинозизме, то он защищал его с педантическим усердием и от гнева по этому случаю сошел в могилу.

Вторично назвал я здесь имя, которого не может произнести ни один немец без волнения в груди. Со времен Лютера Германия не произвела более крупного и прекрасного человека, чем Готтгольд-Эфраим Лессинг. Оба они — наша гордость и наша любовь. Во

мраке настоящего мы обращаем взоры к их изваяниям с чувством надежды, и они отвечают нам манящими обещаниями. Да, придет еще третий муж, который завершит то, что начал Лютер, что продолжал Лессинг и в чем так нуждается немецкое отечество, — третий освободитель. Я вижу уже золотой панцырь, блистающий из-под императорской порфиры, «как солнце в зареве утренней зари!»

Подобно Лютеру, действенная роль Лессинга состояла не только в том, что он делал определенную работу, но главным образом в том, что он волновал немецкий народ до глубины души, создавал своей критикой и своей полемикой благодатное движение в умах. Он был живой критикой своего времени, и вся его жизнь была полемика. Эта критика оставила следы в широчайших областях мысли и чувства, в религии, в науке, в искусстве. Эта полемика одолевала всякого противника и становилась сильней с каждой победой. Лессинг, как сам он признавался, нуждался в борьбе для собственного духовного роста. Он был подобен тому легендарному норманну, который наследовал дарования, знания и силы противников, убитых им на поединке, и таким образом, в конце концов, оказался одаренным всеми возможными совершенствами и достоинствами. Понятно, что такой задорный боец наделал немало шума в Германии, в тихой Германии, которая в те времена была еще более по-субботному тиха, чем в наши дни. Большинство было ошеломлено его литературной смелостью. Но именно она поддерживала его, ибо *osser* * есть тайна успеха в литературе, так же как и в революции и — в любви. Пред Лессинговым мечом трепетали все. Ничья голова не была пред ним в безопасности. Да, некоторые черепа он срубил даже из озорства, и при этом он бывал еще так зол, что поднимал череп с земли и показывал публике, что он внутри пуст. Что было недоступно его мечу, то убивал он стрелами своего остроумия. Друзья восхищались пестрым оперением этих стрел; враги

* дерзать

чувствовали острие их в своем сердце. Остроумие Лессинга не походит на ту enjouement *, на то gaité **, на те острые saillies ***, которые известны в этой стране. Его остроумие не было маленькой французской левреткой, гонящейся за своей тенью, — его остроумие было скорее большим немецким котом, который играет с мышью и потом душит ее.

Да, полемика была отрадой нашего Лессинга, и поэтому он никогда долго не раздумывал над тем, достоин ли его противник. Немало имен спас он своей полемикой от заслуженнейшего забвения. Многих малюсеньких писателишек он обволок остроумнейшей насмешкой, восхитительнейшим юмором, и они сохраняются на веки вечные в сочинениях Лессинга, как насекомые, попавшие в кусок янтаря. Убивая своих противников, он сообщал им бессмертие. Кто из нас знал бы когда-нибудь что-либо о том Клотце, на которого Лессинг истратил так много издевательств и остроумия! Каменные глыбы, которые он метал в бедного археолога и которыми сокрушил его, являются теперь непреходящим памятником Клотцу.

Замечательно, что этот остроумнейший в Германии человек, был также и честнейшим. Ничто не может сравниться с его любовью к истине. Никогда Лессинг не делал малейшей уступки лжи, даже в тех случаях, когда при ее посредстве, как это делают рассудительные люди, мог доставить истине победу. Он мог сделать для истины все, но только не лгать. «Кто готов, — сказал он однажды, — сообщить другим истину под прикрытием всяких личин и румян, тот желал быть ее сводником, но возлюбленным не был никогда».

Прекрасное слово Бюффона: «Стиль — это сам человек» — ни к кому не применимо более, чем к Лессингу. Его слог совершенно тот же, что и его характер: он правдив,

* игривость

** веселье

*** выходки

тверд, свободен от вычурности, прекрасен и внушителен присущей ему внутренней силой. Его стиль подобен стилю римских построек: величайшая устойчивость при величайшей простоте; подобно каменным плитам, покоятся периоды один на другом, и как там закон тяготения, так здесь логическая последовательность являются невидимым цементом. Поэтому так мало в Лессинговой прозе тех вставных словечек и словесных уловок, которые мы употребляем в качестве связующего цемента в построении наших периодов. Еще гораздо менее находим мы здесь те кариатиды мысли, которые вы называете *la belle phrase* *.

Вы легко поймете, что такой человек, как Лессинг, никогда не мог быть счастлив. И если бы даже он не любил истины и если бы самоотверженно не защищал ее везде, то он все же был бы несчастен. Ибо он был гений. «Все простится тебе, — сказал недавно один воздыхающий поэт, — тебе простятся твои богатства, простится высокое происхождение, простится красота и даже дарования, но к гению будут неумолимы». Увы! — Если даже не столкнется он с злопыхательством извне, то в себе самом найдет гений врага, готовящего ему гибель. Поэтому история великих людей есть всегда легенда мученичества; если они не страдали за великое человечество, то страдали за свое собственное величие, за великий размах своего бытия, за свободу от филистерства, за пренебрежение к суетной пошлости, к жалкой дряни, их окружающей, пренебрежение, которое естественно приводит их к экстравагантностям, например, к театру или даже к игорному дому, как это было с бедным Лессингом.

В чем-нибудь большем злоречие не могло упрекнуть его. Из биографии его мы знаем только, что хорошенькие актрисы нравились ему больше, чем гамбургские пасторы, и что безмолвные карты лучше развлекали его, чем болтливые вольфианцы.

* красивая фраза

Сердце разрывается, когда читаешь в его биографии, как судьба отказала этому человеку во всех радостях, как она не дала ему даже отдохнуть от ежедневных боев в мирной семейной обстановке. Один лишь раз фортуна как будто хотела ему улыбнуться. Она дала ему любимую жену, ребенка, — но это счастье было подобно солнечному лучу, на мгновение позолотившему крыло пролетающей птицы; оно исчезло так же быстро: жена умерла от родов, а ребенок — едва родившись, и об этом ребенке писал он одному из своих друзей жуткие и остроумные слова!

«Радость моя была непродолжительна. Мне было очень жаль потерять его, этого сына! Ибо он был такой умный, такой умный! Не подумайте, что немногие часы моего отцовства сделали меня смешным папенькой. Я знаю, что говорю. — Разве не ум то, что его пришлось вытаскивать на свет железными клещами? Что он так быстро заметил всю здешнюю гнусность? Разве не ум, что он воспользовался первым случаем, чтобы убраться отсюда?.. Я хотел хоть раз пожить счастливо, как другие люди, но это мне не удалось...»

Было несчастье, на которое Лессинг ни разу не пожаловался своим друзьям: это его ужасающее одиночество, его умственная изолированность. Некоторые из его современников любили его, никто его не понимал. Мендельсон, его лучший друг, защищал его с пылом, когда его обвинили в спинозизме. Как пыл, так и защита были столь же смешны, сколь ненужны. Мир твоему праху, старый Моисей; твой Лессинг, правда, был на пути к этой ужасающей ошибке, к этому печальному заблуждению, а именно к спинозизму, но всевышний господь на небесах успел во-время смертью спасти его от этого. Успокойся, твой Лессинг не был спинозистом, как утверждала клевета; он умер, как добрый деист, подобно тебе, Николаи, Теллеру и «Всеобщей немецкой библиотеке!»

Лессинг был лишь пророком, который на основе второго завета возвестил третий. Я назвал его продолжате-

лем Лютера, и собственно об этой его стороне предстоит мне говорить здесь. О его значении для немецкого искусства я скажу в дальнейшем. В этой области совершил он благотворительную реформу не только посредством своей критики, но также посредством своего примера, и эта сторона его деятельности обыкновенно более всего выдвигается и освещается. Мы, однако, рассматриваем его с другой точки зрения, и его философские и богословские бои для нас важнее его «Драматургии» и его драм. Последние, однако, подобно всем его произведениям, имеют общественное значение, и «Натан Мудрый» в основе есть не только хорошая комедия, но и философско-богословское сочинение в защиту чистого деизма. Искусство было для Лессинга также трибуной, и когда его прогоняли с амвона или с кафедры, то он вспрыгивал на сцену и оттуда говорил еще отчетливее и собирал вокруг себя еще более многочисленную публику.

Я говорю: Лессинг — продолжатель Лютера. После того как Лютер освободил нас от традиции и возвысил Библию на ступень единственного источника христианства, возникло, как я уже сказал выше, косное служение слову и букве, и Библия царила так же тиранически, как некогда традиция. Освобождению от этой тиранической буквы содействовал Лессинг более, чем кто-нибудь. Как Лютер, равным образом, не был единственным, боровшимся против традиции, так и Лессинг боролся, хоть и не в одиночестве, но мужественнее всех против буквы. Здесь звучнее всего гремит его боевой голос, здесь радостнее всего потрясает он своим мечом, и меч сверкает и разит. Здесь, однако, всего сильнее теснила Лессинга черная свора, и в такой трудной ситуации он воскликнул однажды:

«O sancta simplicitas» *! Но я еще не стою там, где стоял доблестный человек, который воскликнул это, который ничего, кроме этого, и не мог воскликнуть. (Гусс воскликнул это на костре.) Пусть только тот

* «О святая простота!»

слышит нас, и пусть только тот судит нас, кто может и хочет слышать и судить!

«О, если б ты мог это слышать, ты, кого я хотел бы больше всего иметь своим судьей! — Лютер, ты! — Великий, непонятый человек! Хуже всего поняли тебя те упрямые тупицы, которые с твоими туфлями в руках тащатся по проложенной тобою дороге и хотя кричат, однако полны равнодушия. Ты освободил нас от ига традиции; кто освободит нас от невыносимого ига буквы! Кто, наконец, принесет нам христианство, которое ты проповедывал бы теперь, как проповедывал бы его сам Христос!»

Да, буква, говорил Лессинг, есть последняя оболочка христианства, и лишь по уничтожении этой оболочки выступит из-под нее дух. Но этот дух есть не что иное, как то, что хотели доказать последователи вольфовской философии, что чувствовали в душе своей филантропы, что Мендельсон нашел в мозаизме, что воспевали масоны, о чем насвистывали поэты, что в ту пору проявлялось в Германии во всех формах: чистый деизм.

Лессинг умер в Брауншвейге, в 1781 году, непонятый, презираемый и оклеветанный. В том же году появилась в Кенигсберге «Критика чистого разума» Иммануила Канта. Эта книга, которая вследствие непонятного запоздания получила известность лишь в конце восьмидесятых годов, послужила началом умственной революции в Германии, представляющей своеобразные аналогии с материальной революцией во Франции, столь же важной в глазах более глубокого мыслителя, как и та. Она развивается по тем же фазам, и между обеими царит замечательнейший параллелизм. По обеим сторонам Рейна наблюдаем мы тот же разрыв с прошлым; традиции отказывают во всяком почтении; как здесь, во Франции, всякое право, так там, в Германии, всякая мысль должны оправдать себя, и как здесь королевская власть, краеугольный камень старого социального строя, так там рушится деизм, краеугольный камень старого режима мысли.

Об этой катастрофе, о 21 января деизма, мы говорим в следующей книге. Какой-то странный страх, какой-то таинственный пиетет не позволяет нам сегодня писать дальше. Наша грудь полна ужасающего сострадания — к смерти готовится сам старый Иегова. Мы так хорошо знали его от его колыбели в Египте, где он воспитывался среди божественных тельцов, крокодилов, священных луковиц, ибисов и кошек. — Мы видели, как он распрощался с этими своими сверстниками по детским играм и с обелисками и сфинксами его родной Нильской долины и как в Палестине стал он у бедного пастушеского народа маленьким богом-царем и обитал в своем собственном дворце-храме. — Мы видели затем, как он соприкоснулся с ассирийско-вавилонской цивилизацией и скинул с себя свои слишком человеческие страсти, перестал изрыгать только гнев и месть, во всяком случае, перестал немедленно обрушиваться громом по поводу всякой мелкой подлости. — Мы видели его переселение в Рим, великую столицу, где он отрекся от всех национальных предрассудков, провозгласил небесное равенство всех народов и столь прекрасными фразами стал в оппозицию к старому Юпитеру и так долго интриговал, пока не добился верховенства и не начал приказывать с высоты Капитолия *urbi et orbi*. — Мы видели, как он все более и более одухотворялся, как он стонал в блаженной размягченности, как он сделался любвеобильным отцом, всеобщим другом человечества, благодетелем вселенной, филантропом... Все это ничем не могло помочь ему.

Слышите звяканье колокольчика? Преклоните колена... Это несут святыя дары умирающему богу.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Есть рассказ об английском механике, который после ряда остроумнейших машин, изобретенных им, пришел, наконец, к мысли смастерить человека; в конце концов

это ему и удалось, создание рук его могло делать жесты и вести себя совсем как человек, оно даже носило в кожаной груди нечто вроде человеческих чувств, не слишком отличавшихся от обычных чувств англичанина, оно могло выражать в членораздельных звуках свои ощущения, и даже скрежет внутренних колес, пружин и винтов, который был слышен, сообщал этим звукам настоящий английский акцент; словом сказать, этот автомат был безукоризненным джентльменом, и для того чтобы быть настоящим человеком, ему недоставало одного: души. Души, однако, не мог ему дать английский механикус, и злополучное создание, сознавшее такое несовершенство, денно и ночно терзало своего создателя мольбой дать ему душу. Все настойчивее повторяемая мольба эта стала, наконец, настолько невыносимой для художника, что он убежал от своего произведения. Однако автомат не замедлил броситься за ним на курьерских; он следует за ним на материк, непрестанно гонится за ним по пятам и, когда подчас ему удастся его настигнуть, визжит и гнусавит: «Give me a soul!» * Эти две фигуры мы встречаем теперь во всех странах, и лишь тот, кому известны их своеобразные отношения, может понять их необычайную торопливость и тревожную раздражительность. Но зная эти своеобразные отношения, находишь в них некий общий смысл, видишь, что одной части английского народа стало невтерпёж ее механическое существование, и она требует души, другую же часть это требование повергает в ужас, и она мечется вдоль и поперек мира, сидеть же дома стало невыносимо для той, как и для другой.

Это страшная история. Ужасно, когда тела, нами созданные, требуют души. Но еще страшнее, ужаснее, еще более жутко, когда мы создаем душу и она требует от нас своего тела и преследует нас этим требованием. Мысль, порожденная нашим умом; есть такая душа,

* «Дай мне душу!»

не оставляющая нас в покое, пока мы не дадим ей тела, пока не доведем до ощущаемого проявления. Мысль стремится стать делом, слово стремится стать плотью. И удивительная вещь! — человеку, подобно библейскому богу, достаточно лишь высказать мысль, и создается мир, возникает свет или возникает тьма, воды отделяются от суши, а то появляются даже хищные звери. Мир есть эмблема слова.

Так и знайте, гордые люди дела. Вы не что иное, как бессознательные чернорабочие на службе у людей мысли, которые не раз в смиреннейшей тиши определеннейшим образом предуказывали все ваши деяния. Максимилиан Робеспьер был не что иное, как рука Жан-Жака Руссо, кровавая рука, извлекающая из лона времени тело, душу которого создал Руссо. Тоскливая тревога, отравлявшая жизнь Жан-Жаку, происходила, быть может, от того, что в глубине души он уже предчувствовал, какой акушер потребен его мыслям для того, чтобы они во плоти явились на свет.

Старый Фонтенель был, быть может, прав, сказав: «Если бы я держал зажатыми в горсти все мысли этого мира, то я поостерегся бы раскрыть ее». Что до меня, то я думаю иначе. Если бы я держал в горсти все мысли этого мира, то я, быть может, просил бы поскорее отрубить эту руку; я ни в коем случае не держал бы ее сжатой так долго. Я не рожден быть тюремщиком мыслей. Видит бог, я выпущу их на свободу. Ничего не поделаешь, — пусть они воплотятся в опаснейшие явления, пусть безумной вакханалией пронесутся по всем странам, пусть своими тирсами сломают наши невиннейшие цветы, пусть ворвутся в наши больницы и вышвырнут из кроватей больной старый мир, — что, конечно, будет весьма прискорбно моему сердцу и от чего я сам пострадаю! Ибо, увы! — я ведь сам принадлежу к этому старому больному миру, и прав поэт, сказав: «Сколько ни издевайся над своими костылями, лучше от этого ходить не будешь». Я самый больной из вас, и тем более достоин сожаления, что знаю, что

такое здоровье. А вы, зависти достойные, вы этого не знаете! Вы способны умереть, не заметив этого. Да, многие из вас давным давно умерли и уверяют, что теперь начинается их настоящая жизнь. И когда я выражаю против этого бреда, мною возмущаются, меня позорят, и, о ужас! — трупы набрасываются на меня и ругаются, и их бранные слова не так невыносимы для меня, как запах их гниения... Прочь, привидения, я буду говорить о человеке, одно имя которого звучит как заклинание, — я буду говорить об Иммануиле Канте!

Говорят, ночные призраки пугаются, увидев меч палача. Как же должны они перепугаться, когда им показывают «Критику чистого разума» Канта! Эта книга есть меч, отрубивший в Германии голову деизму.

Сказать по совести, вы, французы, весьма кротки и умеренны в сравнении с нами, немцами. Самое большее, что вы могли сделать, это убить короля, да и тот потерял голову раньше, чем вы ее отрубили. И при этом вам пришлось столько барабанить и кричать и топтать ногами, что был потрясен весь шар земной. Право, Максимилиану Робеспьеру оказывают слишком много чести, сравнивая его с Иммануилом Кантом. Правда, у Максимилиана Робеспьера, великого мещанина с улицы Сент-Оноре, бывали припадки бешеной мании разрушения, когда дело касалось королевской власти, и достаточно страшны были судороги его царевбийственной эпилепсии; но едва речь заходила о высшем существе, он вновь стирал белую пену с губ и кровь с рук и облачался в свой праздничный голубой сюртук с зеркальными пуговицами, да еще прикалывал букетик к широкому отвороту.

Изобразить историю жизни Иммануила Канта трудно. Ибо не было у него ни жизни, ни истории. Он жил механически-размеренной, почти абстрактной жизнью холостяка в тихой отдаленной улочке Кенигсберга, старинного города на северо-восточной границе Германии. Не думаю, чтобы большие часы на тамошнем соборе

бесстрастнее и равномернее исполняли свое внешнее ежедневное дело, чем их земляк Иммануил Кант. Вставание, утренний кофе, писание, чтение лекций, обед, гуляние — все совершалось в определенный час, и соседи знали совершенно точно, что на часах — половина четвертого, когда Иммануил Кант в своем сером сюртуке, с камышевой тросточкой в руке выходил из дому и направлялся к маленькой липовой аллее, которая в память о нем до сих пор называется Аллеей философа. Восемь раз проходил он ее ежедневно взад и вперед во всякое время года, и, когда было пасмурно или серые тучи предвещали дождь, появлялся его слуга, старый Лампе, с тревожной заботливостью следуя за ним, с длинным зонтиком подмышкой, как символ провидения.

Какой странный контраст между внешней жизнью этого человека и его разрушительной, миры сокрушающей мыслью! Поистине, если бы кенигсбергские обыватели чуяли все значение этой мысли, они относились бы к этому человеку с гораздо более жутким страхом, чем к палачу, к палачу, убивающему только людей; но добрые люди видели в нем только профессора философии и, когда встречали его в определенный час, приветливо кланялись ему и, быть может, поверяли по нем свои часы.

Но если Иммануил Кант, великий разрушитель в царстве мысли, далеко превзошел терроризм Максимилиана Робеспьера, то кое в чем он имел с ним черты сходства, побуждающие к сравнению обоих. Прежде всего мы встречаем в обоих ту же неумолимую, резкую, лишенную поэзии, трезвую честность. Затем в обоих встречаем мы тот же талант недоверия, с той только разницей, что один направляет его на мысль и называет критикой, между тем как другой направляет его на людей и именует республиканской добродетелью. Однако тип мещанина выражен в обоих в высшей степени: природа предназначила их к отвеиванию кофе и сахара, но судьба захотела, чтобы они взвешивали другие

вещи, и одному бросила на весы короля, другому — бога...

И они взвесили точно!

«Критика чистого разума» есть главное произведение Канта, и ею должны мы заняться главным образом. Ни одно из сочинений Канта не имеет большего значения. Книга эта появилась, как было уже упомянуто, в 1781 году, но лишь в 1789 стала общеизвестной. Вначале она совершенно не была замечена, о ней появились только две незначительные заметки, и лишь позже, благодаря статьям Шютца, Шульца и Рейнгольда, было обращено внимание публики на эту большую книгу. Причина этого запоздалого признания заключается, конечно, в необычной форме и плохом изложении. В отношении последнего Кант заслуживает большего порицания, чем какой-либо другой философ, особенно если мы примем во внимание более легкий стиль его предыдущих сочинений. В выпущенном недавно сборнике его небольших статей напечатаны его первые опыты, и здесь мы удивляемся хорошему, иногда очень остроумному изложению. Уже продумывая свое великое творение, Кант напевал про себя эти маленькие статьи. Он улыбается в них, как солдат, спокойно вооружающийся перед сражением, где он с уверенностью ждет победы. Среди этих небольших работ особенно замечательны «Всеобщая естественная история и теория неба», написанная уже в 1755 году; «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного», написанные десять лет спустя, равно как «Грезы духовидца», проникнутые веселостью в стиле французских *essais* *. В остроумии такого мыслителя, как Кант, как оно проявилось в этих мелких статьях, есть нечто в высшей степени своеобразное. Обвиваясь вокруг мысли, остроумие, несмотря на свою слабость, все же достигает достаточной высоты. Без такой поддержки, конечно, не может преуспеть и богатейшее остроумие; подобно

* опытов.

виноградной лозе, лишенной подпорки, оно вынуждено в таком случае печально расплзаться по земле и гнить вместе со своими драгоценнейшими плодами.

Почему, однако, написал Кант свою «Критику чистого разума» так серо и сухо, почему он придал ей этот стиль оберточной бумаги? По моему мнению, потому, что, отвергнув математическую форму декарто-лейбницево-льфианцев, он боялся, как бы не принизилось достоинство науки, если она выскажется в более легком, предупредительно-приветливом тоне. Поэтому он облек ее в жесткую, абстрактную форму, холодно отвергающую всякую фамильярность с слоями низшего умственного разбора. Он хотел барственно отмежеваться от представителей тогдашней популярной философии, стремившейся к самой обывательской ясности, и одел свои мысли в формы придворно-замороженного канцелярского языка. Здесь во всей полноте проявляется филистер. Но, быть может, для тщательно размеренного хода своих идей Кант нуждался в тщательно размеренном языке, и он был не в состоянии создать лучший. Только у гения есть для новой мысли и новое слово. А Иммануил Кант не был гением. Ощущая этот свой недостаток, Кант, подобно любезнейшему Максимилиану, тем недоверчивее был к гению; в своей «Критике способности суждения» он утверждал даже, что гению в науке делать нечего, — его действительность относится к области искусства.

Тяжелым, накрахмаленным слогом своего главного произведения Кант причинил очень много вреда. Ибо неумные подражатели без толку переняли у него эту поверхностную черту, и у нас возник суеверный пред-рассудок, будто нельзя быть философом, если пишешь хорошо. Однако математическая форма не могла уже больше возродиться в философии после Канта. Этой форме он вынес безжалостный смертный приговор в «Критике чистого разума». Математическая форма в философии, сказал он, создает лишь карточные домики, равно как философская форма в математике порождает

лишь пустословие. Ибо в философии невозможны определения, как в математике, где определения не дискурсивны, но интуитивны, то есть могут быть указаны наглядным созерцанием; то, что называют определениями в философии, дается лишь как проба, гипотетически, предварительно; собственно правильное определение является лишь в конце как вывод.

В чем причина столь великого пристрастия философов к математической форме? Это пристрастие начинается уже с Пифагора, который обозначал начала вещей числами. Это была гениальная мысль. Число свободно от всего вещественного и конечного, и все же оно обозначает нечто определенное и его отношение к чему-то определенному, каковое отношение, будучи равным образом выражено в числе, принимает тот же характер развещественного и бесконечного. В этом число сходно с идеями, имеющими тот же характер и то же взаимоотношение. Поскольку идеи проявляются в нашем духе и в природе, они могут быть очень хорошо выражены числами; но все же число остается всегда знаком идеи, а никак не самой идеей. Мастер еще сознает это различие, ученик же забывает о нем и передает своим ученикам лишь числовую иероглифику, голые цифры, живое значение которых никому уже неизвестно и которые кой-кто, однако, продолжает бормотать с геллертерским самодовольством. То же относится и к прочим элементам математической формы. Духовное в своем вечном движении не терпит никакого закрепления; как и в числе, оно столь же мало может быть закреплено в линии, треугольнике, квадрате и круге. Мысль не может быть ни исчислена, ни измерена.

Так как задача моя заключается главным образом в облегчении изучения немецкой философии во Франции, то я всегда останавливаюсь преимущественно на внешних чертах, легко отпугивающих иностранца, не предупрежденного о них предварительно. В частности обращаю внимание литераторов, которые взялись бы за обработку Канта для французских читателей, что они

могут опустить ту часть его философии, назначение которой исчерпывается разоблачением абсурдов Вольфовой философии. Эта полемика, проглядывающая повсюду, может только запугать французов, но не быть им полезной. Как я слышал, один немецкий ученый, г. д-р Шен, работает в Париже над французским изданием Канта. Я слишком хорошего мнения о его философских познаниях, чтобы считать нужным применить это указание к нему; наоборот, я ожидаю от него книги столь же полезной, сколь значительной.

«Критика чистого разума» есть, как я уже сказал, главное произведение Канта, и прочие его сочинения могут считаться в известной степени менее необходимыми или рассматриваться лишь как комментарии. Каково общественное значение этого главного сочинения, выяснится из дальнейшего.

Философы до Канта размышляли, правда, о происхождении наших познаний, причем, как мы уже указали, шли двумя различными путями, в зависимости от того, признавали ли они идеи *a priori* или идеи *a posteriori*; меньше задумывались над самой способностью познания, над объемом нашей способности познания или над ее границами. Это и поставил себе задачей Кант; он подверг беспощадному исследованию нашу способность познания, он измерил всю глубину этой способности и установил ее границы. Здесь он, конечно, нашел, что мы совершенно ничего не можем знать об очень многих вещах, с которыми мы, по нашему прежнему убеждению, состояли в ближайшем знакомстве. Это было очень досадно. Но все же полезно было узнать, о каких вещах мы ничего не можем знать. Кто предупреждает нас о бесполезных путях, оказывает нам такую же услугу, как и тот, кто указывает правильный путь. Кант доказал нам, что о вещах, каковы они сами по себе и сами в себе, мы не знаем ничего, а знаем о них лишь кое-что, в той мере, в какой они отражаются в нашем уме. Здесь мы совершенно подобны тем узникам, о которых Платон в седь-

мой книге своего «Государства» рассказывает столь печальные вещи: эти несчастные, у которых грикованы ноги и шея, так что они не могут повернуть головой, сидят в темнице, открытой сверху, и сверху падает сюда немного света. Свет этот, однако, идет от огня, горящего наверху за их спиною, да еще отделенного от них невысокой стеной. Вдоль этой стены ходят люди, носящие всякие статуи, деревянные и каменные, и разговаривают между собою. Бедные узники совершенно не могут видеть этих людей, которые ниже стены, а от проносимых статуй, которые выше стены, они могут видеть только тени, движущиеся по противоположной стене; и вот они считают эти тени действительными предметами и, введенные в заблуждение эхом своей темницы, думают, что разговоры, доносящиеся до них, ведут между собой эти тени.

Предшествующая философия, которая рыскала вокруг вещей, вынюхивая их, собирая их признаки и классифицируя их, исчезла с появлением Канта. Последний направил изучение назад к человеческому уму, исследуя, что там происходит. Не без основания сравнивает он поэтому свою философию с методом Коперника. Раньше, когда полагали, что земля неподвижна, а солнце вращается вокруг нее, астрономические вычисления сходились не очень ладно, но Коперник заставил солнце стоять, а землю обращаться вокруг него — и вот, все пошло превосходно. Прежде разум, подобно солнцу, вращался вокруг мира явлений и старался освещать их; но Кант останавливает разум, солнце, и мир явлений вращается вокруг него и освещается им в меру вхождения в его сферу.

Этих немногих слов, в которых я наметил задачу, стоявшую перед Кантом, достаточно для того, чтобы всякий понял, что ту часть его книги, где он трактует о так называемых феноменах и ноуменах, я считаю наиболее важной, средоточием его философии. В самом деле, Кант различает явления вещей и самые вещи в себе. Так как о самих вещах мы можем знать нечто

лишь в той мере, в какой они открываются нам в явлении, и так как в силу этого вещи не показываются нам, какими они суть сами по себе и сами в себе, то Кант называл вещи, какими они нам являются, феноменами, а вещи, как они суть в себе, — ноуменами. Знать что-нибудь мы можем лишь о вещах как феноменах, но ничего не можем мы знать о вещах как ноуменах. Последние чисто проблематичны, мы не можем сказать ни что они существуют, ни что они не существуют. Мало того, слово «ноумен» сопоставлено со словом «феномен» только для того, чтобы иметь возможность говорить о вещах в той мере, в какой они доступны нашему познанию, не затрагивая в нашем суждении вещей, нашему познанию недоступных.

Таким образом, Кант в противоположность учению многих, кого не стану называть, не разделял вещей на феномены и ноумены, на вещи, которые для нас существуют, и вещи, которые для нас не существуют. Это был бы ирландский bull * в философии. Он хотел только установить пограничное понятие.

Бог, по Канту, есть ноумен. Согласно его аргументации, трансцендентальное идеальное существо, которое мы до сих пор называли богом, есть не что иное, как простое измышление. Оно возникло из естественной иллюзии. И Кант показывает, почему мы ничего об этом ноумене, боге, знать не можем и почему даже в будущем никакое доказательство его бытия невозможно. Дантовы слова: «Оставь надежду навсегда!» пишем мы над этой частью «Критики чистого разума».

Полагаю, меня охотно освободят от необходимости популярно изложить эту часть, где идет речь «о доказательствах спекулятивного разума в пользу бытия высшего существа». Несмотря на то, что собственно опровержение этих доказательств занимает немного места и получает развитие лишь во второй половине книги, оно с величайшей предусмотрительностью ведется изда-

* комическая бессмыслица

лека и принадлежит к наиболее решающим и острым положениям книги. За этим следует «Критика всякого спекулятивного богословия», и здесь уничтожаются прочие призраки делств. Должен оговориться, что, нападая на три основных рода доказательств существования бога, а именно доказательство онтологическое, космологическое и физико-теологическое, Кант, по моему мнению, опровергает лишь два последние, но не первое. Не знаю, известны ли здесь эти обозначения, и потому привожу то место из «Критики чистого разума», где Кант формулирует это различие:

«Возможны лишь три рода доказательства бытия божьего из спекулятивного разума. Все пути, какие бы ни избирались для этой цели, или начинаются с определенного опыта и посредством него познанной особенной природы нашего чувственного мира и отсюда поднимаются по законам причинности к высшей причине, находящейся вне мира; или они полагают в основание лишь неопределенный опыт, то есть какое-либо бытие, или, наконец, отвлекаются от всякого опыта и совершенно а priori заключают от чистых понятий к бытию высшей причины. Первое доказательство — физико-теологическое, второе — космологическое, третье — онтологическое. Больше доказательств нет, и больше их быть не может».

После многократной проработки главной книги Канта мне казалось, я понял, что полемика против этих трех существующих доказательств бытия божьего проглядывает повсюду, и я изложил бы ее подробнее, если бы меня не удерживало некоторое религиозное чувство. Достаточно мне увидеть, как кто-нибудь оспаривает бытие божье, как меня охватывает такое странное беспокойство, такая тоскливая жуть, какие я испытывал когда-то в лондонском Нью-Бедламе, когда, будучи окружен толпой сумасшедших, я потерял из виду моего провожатого. «Бог есть все, что есть», и всякое сомнение в нем равносильно сомнению в жизни — смерти.

Но сколь ни неуместны всякие дискуссии о бытии божьем, тем достохвальнее размышление о природе бога. Такое размышление есть истинное богослужение, отрешающее нашу душу от преходящего и конечного и приводящее ее к сознанию первичной благодати и предвечной гармонии. Это сознание проникает трепетом человека чувства при молитве или при созерцании церковных символов; человек мыслящий обретает это священное настроение в проявлении той возвышенной силы духа, которую мы называем разумом и высшая задача которой заключается в исследовании природы бога. Особенно религиозные люди отдавались этой задаче с раннего детства, тайно и тревожила она их уже первым движением разума. Автор этих строк радостно сознает в себе такую раннюю, первичную религиозность, никогда не покидавшую его. Бог всегда был началом и концом всех моих мыслей. Если я теперь спрашиваю: что такое бог? какова его природа? — то уже ребенком я спрашивал: какой бог? какой он с виду? И в ту пору я мог целые дни смотреть на небо и к вечеру бывал очень огорчен, что ни разу не посчастливилось мне увидеть пресвятой лик божий, а все только серые, бессмысленные рожи туч. Совсем путали меня астрономические познания, которыми в эту «эпоху просвещения» беспощадно пичкали даже младенцев, и я не мог на удивляться тому, что все эти тысячи миллионов звезд такие же громадные прекрасные земные шары, как и наша, и всем этим светозарным скопищем миров правит единый бог. Раз, помню, во сне привиделся мне в недостигаемой выси бог. С лицом благочестивого старца, с маленькой еврейской бородкой, благодушно выглядывал он из небесного окошечка и во множестве сеял на землю зерна, которые, ниспадая с неба, рассеивались по беспредельному пространству, разрастались до необъятных размеров, пока не стали все лучезарными, цветущими населенными мирами, величиною каждый с наш земной шар. Никогда не мог я забыть этот лик, не раз потом видел я во сне приветливого

старца, рассыпающего из своего небесного оконца посев миров; однажды я заметил даже, что он прищелкивает губами, как наша служанка, когда она сыпала курам ячмень. Я видел только, как падающие зерна всегда превращаются в громадные светящиеся мировые зерна; но громадных кур, которые, быть может, разинув где-то клювы, ждут, чтобы их накормили рассеиваемыми мирами, мне не пришлось видеть.

Ты улыбаешься, любезный читатель, при мысли об этих громадных курах. Но это детское представление не слишком далеко от представления самых зрелых деистов. Чтобы дать понятие о внемировом боге, Восток и Запад исчерпали себя в ребяческих гипотезах. Тщетно однако мучилась фантазия деистов над бесконечностью пространства и времени. Здесь во всей полноте проявляется бессилие, несостоятельность их мировоззрения, их представления о природе бога. Нас поэту мало огорчает, что это представление сокрушено. А это огорчение причинил им Кант, отвергнув их доказательства в защиту божьего бытия.

Спасение онтологического доказательства отнюдь не могло бы особенно помочь деизму, так как это доказательство пригодно также для пантеизма. Для более ясного понимания замечу, что онтологическое доказательство есть то, которое выставил Декарт и которое гораздо раньше в средние века было выражено Ансельмом Кентерберийским в форме спокойной молитвы. Можно даже сказать, что св. Августин уже выставил онтологическое доказательство во второй книге «*De libero arbitrio*» *.

Как указано выше, я воздерживаюсь от всякого общедоступного обсуждения кантовских возражений против этих доказательств. Удовлетворяюсь заверением, что с той поры деизм поблек в царстве спекулятивного разума. Быть может, понадобится еще несколько столетий, прежде чем станет общим достоянием это пе-

* «О свободной воле».

чальное сообщение о смерти, — что до нас, то мы давно облачили в траур. *De profundis!*

Вы думаете, все кончено, можно расходиться по домам? Ни в коем случае! Будет представлена еще одна пьеса. За трагедией следует фарс. До сих пор Иммануил Кант изображал неумолимого философа, он штурмовал небо, он перебил весь гарнизон, сам верховный владыка небес, не будучи доказан, плавает в своей крови; нет больше ни всеобъемлющего милосердия, ни отеческой любви, ни потустороннего воздаяния за посягательную воздержанность, бессмертие души лежит при последнем издыхании — тут стоны, тут хрип — и старый Лампе, в качестве удрученного зрителя, стоит рядом, с зонтиком подмышкой, и пот от ужаса и слезы льются по его лицу. Тогда разжалобился Иммануил Кант и показывает, что он не только великий философ, но и добрый человек; и он задумывается и полудобродушно, полуиронически говорит: «Старому Лампе нужен бог, иначе бедный человек не будет счастлив, — а человек должен быть счастлив на земле — так говорит практический разум — мне-то что — ну, пусть практический разум и даст поруку в бытии божьем». Под влиянием этого довода Кант различает теоретический разум и разум практический, и посредством последнего, словно волшебной палочкой, он воскресил вновь труп деизма, убитого теоретическим разумом.

А быть может, Кант предпринял это воскрешение не только из-за старого Лампе, но и из-за полиции? Или он в самом деле сделал это по убеждению? Изничтожая все доказательства бытия божьего, не хотел ли он показать нам, как неудобно ничего не знать о существовании бога? Он поступил здесь почти так же, как один мой приятель вестфалец, который разбил все фонари на улице Грондерштрассе в Геттингене и, стоя в темноте, держал нам длинную речь о практической необходимости фонарей, какие-то он разбил лишь с той теоретической целью, чтобы доказать нам, что мы без них ничего видеть не можем.

Я упомянул уже, что появление «Критики чистого разума» не вызвало ни малейшей сенсации. Лишь много лет спустя, когда некоторые проницательные философы выступили с комментариями к этой книге, она привлекла общественное внимание, и в 1789 году в Германии только и было речи, что о кантофой философии, которая была окружена всякими толкованиями, хрестоматиями, объяснениями, отзывами, апологиями и т.д. Достаточно заглянуть в любой каталог философской литературы, и великое множество появившихся в эту пору сочинений о Канте в достаточной степени удостоверят размах умственного движения, имеющего источником одного человека. Один высказывает бурный энтузиазм, другой — горькую досаду, многие, разинув рты, выжидают, — каков же будет исход этой духовной революции. Мы пережили восстания в духовном мире, как вы — в мире материальном, и при ниспровержении старого догматизма мы горячились не меньше, чем вы при взятии Бастилии. Конечно, и у нас лишь два-три старых инвалида встали на защиту догматизма, то есть Вольфовой философии. Это была революция, и не обошлось без ужасов. В рядах партии прошлого подлинные добрые христиане меньше всех возмущались этими ужасами. Они даже желали худших ужасов, чтобы мера переполнилась и чтобы тем скорее, в качестве неизбежной реакции, пришла контрреволюция. Были у нас и пессимисты в философии, как у вас — в политике. Некоторые из наших пессимистов в самоослепении зашли так далеко, что им привиделось, будто Кант состоит в тайном с ними соглашении и опроверг принятые доселе доводы в пользу существования бога лишь для того, чтобы свет увидел, что путем разума никак невозможно притти к познанию бога и что, таким образом, здесь должно держаться религии откровения.

Это великое умственное движение Кант вызвал не столько содержанием своих сочинений, сколько духом критики, господствовавшим в них и проникшим теперь во все науки. Все научные дисциплины были охвачены

им. Даже поэзии не пощадило его влияние. Шиллер, например, был убежденнейшим кантианцем, и его взгляды на искусство проникнуты духом кантовской философии. Изыщной словесности и искусствам очень повредила абстрактная сухость философии Канта. К счастью, она не коснулась кулинарного искусства.

Немецкий народ не легко расшевелить; но раз его толкнули на известный путь, он с упорнейшей настойчивостью будет идти им до конца. Такими выказали мы себя в делах религиозных. Такими выказали мы себя также в философии. Будем ли мы так же последовательно продвигаться в политике?

Германия увлечена была Кантом на путь философии, и философия стала делом национальным. Вдруг, словно по волшебному мановению, появилась из германской почвы прекрасная плеяда великих мыслителей. Если со временем германская философия обретет, подобно французской революции, своих Тьеров и своих Минье, то история ее представит столь же занимательный предмет, и с гордостью будет читать ее немец, и с восхищением — француз.

Среди учеников Канта уже ранее выдвинулся Иоганн-Готлиб Фихте.

Почти отчаиваюсь в возможности дать надлежащее представление о значении этого человека. У Канта нам приходилось рассмотреть только книгу. Здесь предметом рассмотрения должен, кроме книги, явиться человек; у этого человека мысль и воля составляют одно целое, и в этом величавом единении воздействуют они на современность. Нам предстоит поэтому обсуждать не только философию, но и личность, которую она обусловлена, и для понимания влияния обеих потребно было бы изображение общего состояния того времени. Какая многообъемлющая задача! Нам, конечно, не поставят в вину, если мы предложим здесь лишь скудные сведения.

Самые мысли Фихте с большим трудом поддаются передаче. Здесь мы также наталкиваемся на своеобраз-

ные трудности — не только в области содержания, но и формы и метода. С формой и методом мы охотно ознакомим иностранца в первую очередь. Итак, прежде всего о методе Фихте. Первоначально он целиком был заимствован у Канта. Вскоре, однако, под воздействием природы предмета этот метод меняется. Дело в том, что Канту выпала задача дать только критику, то есть нечто отрицательное, Фихте же должен был установить систему, стало быть, нечто положительное. Это отсутствие целостной системы давало иногда повод лишить кантовскую философию звания «философии». По отношению к самому Иммануилу Канту это было правильно, но никак не по отношению к кантианцам, настроившим из положений Канта достаточное количество целостных систем. В ранних своих сочинениях Фихте остается, как я сказал, вполне верным кантовскому методу, так что когда появилась — анонимно — первая его работа, ее можно было принять за сочинение Канта. Однако, когда Фихте впоследствии создает систему, то он впадает в столь страстное и даже упрямое конструирование, что, сконструировав весь мир, он начинает затем столь же страстно и столь же упрямо демонстрировать свои конструкции сверху донизу. В этом конструировании и демонстрировании Фихте проявляет, так сказать, абстрактную страсть. Как в его системе, так и в изложении воцаряется субъективность. Напротив, Кант, развернув пред собою мысль, разлагает ее на тончайшие волокна, и его «Критика чистого разума» есть как бы анатомический театр сознания. Сам он при этом остается холодным, бесчувственным, как настоящий хирург.

Каков метод, такова и форма сочинений Фихте. Она жива, но исполнена всех недостатков жизни: она беспокойна и спутана. Чтобы сохранить жизненность, Фихте пренебрегает обычной терминологией философов, которая представляется ему чем-то мертвенным; а это еще гораздо меньше ведет нас к пониманию. У него вообще свои причуды в вопросе о понимании. Пока Рейнгольд был одного с ним мнения, Фихте объявлял,

что никто не понимает его лучше Рейнгольда. Но когда впоследствии Рейнгольд отклонился от него, Фихте заявил, что он никогда его не понимал. Разойдясь с Кантом, он высказал печатно, что Кант сам себя не понимает. Я затрону здесь вообще комическую сторону наших философов. Они не перестают жаловаться, что их не понимают. Лежа на смертном одре, Гегель сказал: «Только один меня понял», но тотчас вслед затем раздраженно прибавил: «Да и тот тоже меня не понимал».

Что же касается содержания по существу, то значение философии Фихте невелико. Она не дала обществу никаких результатов. Учение Фихте представляет для нас некоторый интерес лишь постольку, поскольку оно является вообще одной из замечательнейших ступеней в развитии германской философии, поскольку оно обнаруживает бесплодность идеализма в его конечных выводах и поскольку оно служит необходимым переходом к современной натурфилософии. Так как его учение имеет более историческое и научное, чем социальное значение, я изложу его лишь в самых кратких чертах.

Вопрос, который ставит себе Фихте, таков: какие есть у нас основания принимать, что нашим представлениям о вещах соответствуют также вещи вне нас? И на этот вопрос он отвечает: все вещи имеют реальность лишь в нашем уме.

Как «Критика чистого разума» есть главное сочинение Канта, так «Наукоучение» — главное сочинение Фихте. Эта книга представляет как бы продолжение первой. «Наукоучение» также обращает дух к самому себе. Но Фихте конструирует там, где Кант анализирует. «Наукоучение» начинает с абстрактной формулы ($Я = Я$), оно создает мир из глубины духа, оно вновь воссоединяет разрозненные части и возвращается обратным путем абстракции, пока не достигает мира явлений. Тогда дух получает возможность объявить этот мир явлений необходимыми актами познания.

Особенной трудностью у Фихте является то, что он полагает дух наблюдающим себя самого в то время.

когда он действует. «Я» делает наблюдения над своими интеллектуальными действиями в то время, как исполняет их. Мысль подслушивает себя самое, когда мыслит, когда становится все теплее и теплее, пока, наконец, не будет готова. Эта операция напоминает нам обезьяну, которая, сидя у очага, варит в медной кастрюле свой собственный хвост. Ибо, по его мнению, истинное поварское искусство заключается не в том, чтобы только варить объективно, но в том, чтобы иметь также субъективное сознание варки.

Необходимо отметить, что философии Фихте всегда приходилось много терпеть от сатиры. Я видел однажды карикатуру, где был представлен фихтеанский гусь. У него такая громадная печенка, что он уже не знает, гусь он или печенка. На животе его надпись: «Я = Я». Жан-Поль жесточайшим образом высмеял философию Фихте в книге, под заглавием «Clavis Fichtiana».* Что идеализм, последовательно проведенный, в конце концов отрицает даже реальность материи, показалось широким кругам читателей слишком далеко зашедшей шуткой. Немало издевались мы над фихтевским Я, создающим весь мир явлений только посредством чистого мышления. При этом очень пригодилось нашим насмешникам одно недоразумение, ставшее слишком распространенным, чтобы я мог обойти его молчанием. Толпа ведь полагала, что фихтевское Я есть Я Иоганна-Готлиба Фихте и что это индивидуальное Я отрицает все прочие существования. «Какое бесстыдство! — восклицали добрые люди: — этот человек не верит, что мы существуем, мы, которые гораздо толще его и в качестве бургомистров и судейских делопроизводителей даже приходимся ему начальством». Дамы спрашивали: «Верит ли он хоть в существование своей жены? Нет? И это терпит мадам Фихте?»

Но фихтевское Я совсем не есть индивидуальное Я, а возвысившееся до сознания всеобщее мировое Я. Фихтевское мышление не есть мышление какого-то ин-

* «Ключ к Фихте».

дивида, определенного человека, носящего имя Иоганн-Готлиб Фихте; это, скорее, всеобщее мышление, проявляющееся в отдельной личности. Как говорят: «темнеет», «рассветает» и т. д., так и Фихте не должен бы говорить: «Я мыслю», но «мыслится», «всеобщее мировое мышление мыслит во мне».

Сравнивая французскую революцию с немецкой философией, я как-то, скорее шутя, чем серьезно, сравнил Фихте с Наполеоном. Но между ними в самом деле есть черты значительного сходства. После разгрома, учиненного террором кантианцев, является Фихте, как появился Наполеон, после того как конвент, также при помощи чисто разумной критики, разрушил все прошлое. Наполеон и Фихте служат представителями большого, неумолимого Я, у которого мысль и дело едины, и исполниские сооружения, создать которые сумели они оба, свидетельствуют об их исполниской воле. Но в результате неукротимости этой воли тут же должны вновь рухнуть эти сооружения, и «Наукоучение», как и наполеоновская империя, распадаются, и исчезают так же быстро, как они возникли.

Империя принадлежит теперь только истории, но движение, вызванное в мире императором, все еще не улеглось, и этим движением еще живет наша современность. То же и с философией Фихте. Она исчезла совершенно, но умы еще возбуждены мыслями, прозвучавшими благодаря Фихте, и невозможно исчислить размеры влияния его слова. Пусть весь трансцендентальный идеализм был заблуждением, — все же сочинения Фихте были проникнуты гордой независимостью, любовью к свободе, мужественным достоинством, оказывавшим благотворное влияние, особенно на молодежь. «Я» Фихте совершенно согласовалось с его непреклонным, упорным, железным характером. Учение о таком всемогущем Я могло, вероятно, возникнуть лишь из такого характера, и такой характер, в свою очередь, найдя основу в таком учении, должен был стать еще непреклоннее, еще упорнее, еще железнее.

Каким страшилищем должен был быть этот человек для всех лишенных убеждений скептиков, для бесшабашных эклектиков и для умеренных всякой окраски! Вся его жизнь была неустанной борьбой. История его молодости есть вереница злоключений, как почти у всех наших выдающихся людей. Нищета сидит у их колыбели и выращивает их, и эта тощая кормилица остается верной спутницей их жизни.

Нет ничего трогательнее усилий Фихте с его гордой волей добиться положения в жизни домашним учительством. Но и этого жалкого заработка не может он найти на родине и вынужден перебраться в Варшаву. Там та же история. Домашний учитель не по вкусу милостивой барыне, а то и немилостивой горничной. Его реверансы недостаточно изящны, они недостаточно французские, и его не считают достойным руководить воспитанием маленького польского дворянчика. Иоганн-Готлиб Фихте рассчитывают, как лакея; едва получив от своих недовольных господ жалкие гроши на обратный путь, он покидает Варшаву и с юношеским энтузиазмом едет в Кенигсберг познакомиться с Кантом. Встреча этих двух людей интересна во всех отношениях, и я, думаю, лучше всего изображу характер и образ жизни каждого, приведя здесь отрывок из дневника Фихте, воспроизведенный в его биографии, недавно изданной его сыном:

«25 июня я выехал в Кенигсберг с одним тамошним извозчиком и без всяких особенных приключений прибыл туда 1 июля. — 4-го был у Канта, который, однако, принял меня без всякого радушия; я был на его лекции, и здесь мои ожидания также не были удовлетворены. Его изложение снотворно. Тем временем я вел этот дневник.

«...Давно уже хотелось мне посерьезнее повидаться с Кантом, но я не знал как. Наконец, я придумал написать «Критику всякого откровения» и передать ему вместо рекомендации. Я приступил около 13-го и с тех пор работал без перерыва. — 18 августа я, наконец,

переслал Канту готовую работу и 25-го отправился выслушать его суждение о ней. Он принял меня чрезвычайно ласково и, повидимому, был очень доволен статьей. До более подробного философского разговора не дошло; в ответ на мои философские сомнения он указал мне на свою «Критику чистого разума» и на придворного проповедника Шульца, которого я не замедлю посетить. 26-го я обедал у Канта в обществе профессора Зоммера и встретил в лице Канта очень приятного и умного человека; лишь теперь я заметил в нем черты, свойственные человеку высокого духа, который нашел себе отражение в его сочинениях.

«27-го я закончил этот дневник, после того как сделал извлечения из лекций Канта об антропологии, данных мне на время г-ном ф.-Ш. Вместе с тем решаю впредь каждый вечер без перерыва перед сном продолжать дневник и вносить в него все интересное, что мне встретится, особенно же характерные черты и замечания.

«28-го вечером. Еще вчера я начал пересматривать мою «Критику» и напал на хорошие, глубокие мысли, к сожалению, однако, убедившие меня, что первая редакция совершенно поверхностна. Сегодня я собирался продолжать мои новые изыскания, но был так увлечен игрою воображения, что целый день ничего не мог делать. В моем нынешнем положении в этом, увы, нет ничего удивительного! Я рассчитал, что с сегодняшнего дня я могу просуществовать здесь еще всего две недели. — Конечно, мне уже приходилось бывать в таком стесненном положении, но то было на родине, и с годами и с возрастающим чувством собственного достоинства оно становится все тягостнее. Не принял никакого решения, не могу принять. — Пастору Боровскому, к которому предложил мне пойти Кант, я не откроюсь; если уж придется открыться, то только самому Канту.

«29-го я отправился к Боровскому и нашел в нем очень доброго, порядочного человека. Он предложил

мне кондицию, но пока не наверно и совсем не особенно меня радующую; при этом своей искренностью он заставил меня признаться, что я спешу с поисками заработка. — Он посоветовал мне обратиться к профессору В. Работать я не мог. — На следующий день я действительно пошел к В., а потом к придворному проповеднику Шульцу. На содействие первого видов мало; все же он говорил об учительских местах в частных домах в Курляндии, но только крайняя нужда могла бы меня заставить взять их! Затем отправился к придворному проповеднику, где был принят сперва его женой. Потом появился и он, но все еще погруженный в свои математические чертежи; тем приветливее стал он позже, когда расслышал получше мою фамилию. У него угловатое прусское лицо, но сама честность и доброта светятся в его чертах. Затем я познакомился здесь еще с г-м Бройнлихом и его воспитанником, графом Денгоф, с г. Бютнером, племянником проповедника, и молодым ученым из Нюрнберга г. Эргардом: это умница с ясной головой, но ему недостает манер и знания света.

«1 сентября я принял твердое решение, которым хотел поделиться с Кантом; учительского места, как ни мало оно соблазняло бы меня, все нет, а неопределенность моего положения мешает мне здесь работать с ясной головой и иметь полезное общение с моими друзьями: итак, назад, на родину! Маленькая ссуда, необходимая для этого, будет мне, быть может, дана при посредничестве Канта. Но когда я собрался пойти к нему с моим предложением, мужество покинуло меня. Я решился написать. Вечером я был приглашен к придворному проповеднику, где провел очень приятный вечер. 2-го я окончил письмо к Канту и отослал его».

Как ни замечательно это письмо, у меня не хватает решимости сообщить его здесь во французском переводе. Мне кажется, краска выступает на моих щеках, как будто приходится рассказывать при чужих людях о самых сокровенных неприятностях в родной семье. Во-

преки моему тяготению к французской светскости, вопреки моему философскому космополитизму, в груди моей все еще сидит старая Германия со всеми своими обывательскими чувствами. — Одним словом, я не могу привести это письмо и сообщаю здесь только: Иммануил Кант был так беден, что, несмотря на душу-раздирающе трогательный язык этого письма, не мог ссудить денег Иоганну-Готлибу Фихте. Но последний нимало не рассердился, как мы можем заключить из записи в дневнике, которую я приведу:

«3 сентября я был приглашен к Канту. Он встретил меня с своей обычной прямою, но сказал, что не мог принять решения по поводу моей просьбы; раньше двух недель он ничего сделать не может. Какая милая прямота! Вообще он выражал по поводу моих предположений сомнения, показавшие, что он недостаточно знаком с нашим положением в Саксонии... За все эти дни я ничего не сделал, но вновь примусь за работу, предоставив все остальное господу богу. — 6-го я был приглашен к Канту, который предложил мне продать при посредстве пастора Боровского мою рукопись «Критика всякого откровения» книгопродавцу Гартунгу. — Она хорошо написана, — сказал он, когда я заговорил о переработке. — Правда ли это? Но ведь это говорит Кант! — Между прочим, он отклонил первую мою просьбу. — 10-го я обедал у Канта. Ни слова о нашем деле; был также магистр Гензихен, и шли лишь общие, частью очень интересные разговоры; и Кант в обращении со мною не изменился. Сегодня, 13-го, я хотел поработать и ничего не делаю. Тоска одолевает меня. Чем это кончится? Что будет со мной через неделю? Тут выйдут все мои деньги!»

После всяких скитаний, после долгого пребывания в Швейцарии Фихте находит, наконец, место в Иене, и здесь начинается блестящий период его жизни. Иена и Веймар — два саксонские городка, разделенные очень небольшим расстоянием в несколько часов ходьбы, были тогда средоточием немецкой духовной жизни. В Вей-

маре был двор и поэзия, в Иене — университет и философия. Там видели мы величайших поэтов, здесь — величайших ученых Германии. В 1794 году начал Фихте свои лекции в Иене. Год этот знаменателен и объясняет как дух его тогдашних сочинений, так и невзгоды, жертвой которых он сделался с этих пор и которых, спустя четыре года, не выдержал. В 1798 году поднялись против него обвинения в атеизме, навлекшие на него жестокие преследования и приведшие к его удалению из Иены. Это важнейшее в жизни Фихте событие имеет также и общественное значение, и мы не можем пройти мимо него. Здесь также самое подходящее место для изложения воззрений Фихте на природу бога.

В «Философском журнале», который выходил в это время под редакцией Фихте, он напечатал статью, под заглавием «Развитие понятия религии», присланную ему неким Фербергом, учителем в Зальфельде. К этой статье он присоединил еще объяснительную заметку под заглавием: «Об основании нашей веры в божеское управление миром».

Обе статьи были конфискованы правительством курфюрста Саксонского под тем предлогом, будто в них содержится атеизм, и в то же время из Дрездена была отправлена Веймарскому двору жалоба с предложением основательно наказать профессора Фихте. Веймарский двор ничем не реагировал на это предложение; но так как Фихте в данном случае сделал крупнейшие промахи, так как он, в обход своего официального начальства, обратился с «Апелляцией» к читателям, то раздраженное веймарское правительство вынуждено было под внешним давлением охладить неводержанного в выражениях профессора мягким выговором. Фихте, однако, считая себя правым, не хотел спокойно снести этот выговор и покинул Иену. Судя по его тогдашним письмам, особенно задело его поведение двух человек, служебное положение которых в его деле придавало исключительный вес их голосу, и это были его преподобие старший советник консистории фон-Гердер и его высоко-

превосходительство тайный советник фон-Гете. Оба, однако, в достаточной степени заслуживают извинения. Трогательное впечатление производят в посмертных письмах Гердера указания на то, как приходилось бедному Гердеру возиться с кандидатами богословских наук, которые, прослушав университетский курс в Иене, являлись к нему в Веймар экзаменоваться на звание протестантского проповедника. О Христе, сыне божьем, он уж и не решался их спрашивать; он был доволен уже признанием существования отца. Что касается Гете, то он рассказывает в своих воспоминаниях о вышеупомянутом событии следующим образом:

«После отъезда Рейнгольда из Иены, что, по справедливости, считалось великой утратой для университета, на его место, — что было смело и даже дерзко, — пригласили Фихте, который в своих сочинениях высказывался о важнейших вопросах морали и государственной жизни с глубиной, но, пожалуй, не совсем подходящим образом. Это был один из самых дельных людей, когда-либо виденных, и ничего нельзя сказать против его взглядов, рассматриваемых с высшей точки зрения; но как мог бы он идти в ногу с миром, который он считал своим лично созданным достоянием?

«Так как ему не предоставили избранных им часов для публичных лекций по будням, то он перенес их на воскресные дни, но это встретило препятствия. Едва были, не без неудобства для высшей администрации, сглажены и улажены мелкие и крупные неприятности, приистекшие отсюда, как высказанные им о божестве и божественных предметах мнения, которые, конечно, лучше держать при себе в глубоком молчании, навлекли на нас со стороны затруднительные требования.

«Фихте позволил себе высказаться в своем философском журнале о божестве и божественных предметах языком, как будто противоречившим общепринятым для таких тайн выражениям. От него потребовали объяснений; его защита не поправила дела, так как он проявил страстность, не подозревая, как здесь настроены в его

пользу и как умеют в его пользу истолковывать его мысли, его слова; это, конечно, нельзя было ему объяснить официальным путем, а также объяснить, как старались помочь ему выбраться возможно безобиднее. Обсуждения и возражения, предположения и утверждения, подкрепления и решения переплескивались во множестве смутных разговоров в университете; говорилось, что Фихте должен готовиться к министерскому порицанию, к чему-то вроде публичного выговора — не меньше. Выведенный этим из себя, он считал себя в праве обратиться в министерство с резким посланием, в котором, исходя из неизбежности этого мероприятия, гневно и вызывающе заявлял, что он никогда не потерпит ничего подобного, что он предпочтет немедленно покинуть университет и в этом случае не будет одиноким, так как многие выдающиеся профессора, согласные с ним, также предполагают уйти вместе с ним.

«Это сразу ослабило и даже парализовало общую к нему благожелательность: здесь не было выхода, не оставалось места для посредничества, и самое мягкое, что можно было сделать — это без проволочек уволить его. Лишь теперь, когда все было непоправимо, он узнал о направлении, которое предполагалось дать делу, и ему пришлось раскаиваться в своем поспешном шаге, как и мы сожалели о нем».

Разве не встает здесь перед нами во весь рост министеральный, все сглаживающий, затушевывающий Гете? По существу, он укоряет Фихте за то, что тот высказывал то, что думал, и высказывал это не в предустановленных, прикрывающих выражениях. Он порицает не мысль, а слово. Что деизм со времен Канта ниспровергнут в мире немецких мыслителей, было, как я уже сказал, всем открытой тайной, о которой, однако, не полагалось кричать на площади. Гете был так же мало деистом, как и Фихте, ибо он был пантеист. Но именно с высоты пантеизма Гете мог своим зорким глазом лучше всего разглядеть несостоятельность философии Фихте, и его снисходительные губы не могли

удержаться от улыбки. Евреям, каковые в конечном счете все являются деистами, Фихте должен был представляться страшилищем; в глазах великого язычника он был только нелепостью. «Великий язычник» есть, в самом деле, прозвище, данное Гете в Германии. Но это прозвище подходит не вполне. Язычество Гете удивительно модернизировано. Его могучая языческая натура проявляется в отчетливом, зорком схватывании всех внешних черт, всех красок и образов; однако в то же время христианство одарило его более глубоким пониманием, несмотря на его упорное сопротивление, христианство посвятило его в тайны мира духов, он причастился крови христовой и оттого стал понимать сокровеннейшие голоса природы, подобно Зигфриду, герою «Ниbelунгов», вдруг понявшему язык птиц, когда капля крови убитого дракона омочила его губы. Замечательно, как проникнута у Гете эта языческая его природа нашей современной чувствительностью, как в античном мраморе бился пульс нового времени и как он почувствовал страдания юного Вертера с такой же силой, как и восторги древнегреческого бога. Таким образом, пантеизм Гете очень отличается от языческого. Чтобы выразиться короче: Гете был Спинозой поэзии. Все стихотворения Гете проникнуты тем же духом, который веет на нас из сочинений Спинозы. Не подлежит сомнению, что Гете был безусловным поклонником учения Спинозы. Во всяком случае, он занимался им в продолжение всей жизни. Он откровенно признается в этом как в начале своих воспоминаний, так и в последнем, недавно вышедшем их томе. Не помню, где я прочитал, что Гердер, возмущенный этим постоянным занятием Спинозой, как-то воскликнул: «Хоть бы раз Гете взял в руки какую-нибудь другую латинскую книгу, кроме Спинозы!» Но это относится не к одному Гете; множество его друзей, сделавшихся в дальнейшем более или менее известными поэтами, держались в ранние годы пантеизма, который практически процветал в немецкой поэзии, прежде чем воцарился у нас в качестве

философской теории. Именно во времена Фихте, когда идеализм поднялся до своего высочайшего расцвета в области философии, он был насильственно разрушен в поэзии, и здесь разразилась та знаменитая революция в искусстве, которая не закончена еще и по сей день и которая начинается борьбою романтиков против староклассического режима шлегелевскими мятежами.

В самом деле, наши первые романтики выступали, подчиняясь пантеистическому инстинкту, которого сами не понимали. Чувство, которое они принимали за тяготение к материнскому лону католической церкви, имело более глубокое происхождение, чем казалось им самим, и все их почтение и пристрастие к сказаниям средневековья, к его народным верованиям, к чертовщине, чародейству, колдовству, — все это было внезапно в них возникшее, но непонятое ими влечение назад, к пантеизму древних германцев, и в гнусно оклеветанном и злостно изуродованном облике они любили собственно лишь дохристианскую религию своих отцов. Здесь я должен напомнить книгу первую, где я показал, как христианство вобрало в себя элементы древнегерманской религии, как последние, потерпев отвратительнейшее преобразование, сохранились в народных верованиях средних веков, причем старое поклонение природе рассматривалось сплошь как злое чародейство, старые боги — как мерзостные бесы, и их целомудренные жрицы — как распутные ведьмы. С этой точки зрения можно смотреть на заблуждения наших первых романтиков несколько мягче, чем принято. Они стремились воскресить католическое существо средневековья, так как чувствовали, что там сохранилось еще многое из святынь их далеких праотцев, из великолепия их первобытной национальности; эти исковерканные и опозоренные реликвии влекли к себе их души с такой волшебною силой; и они ненавидели протестантизм и либерализм, стремившиеся уничтожить все это вместе со всем католическим прошлым.

Но я еще вернусь к этому. Здесь важно только отметить, что пантеизм уже ко времени Фихте проник в немецкое искусство, что даже католические романтики бессознательно следовали этому направлению и что оно нашло отчетливейшее выражение у Гете, и именно уже в «Вертере», где он томится в стремлении отождествиться в любовном блаженстве с природой. В «Фаусте» он хочет установить связь с природой непосредственным дерзновенно-мистическим путем: он заклинает тайные силы земли посредством колдовских заговоров «Адского ключа». Но чаще и прелестнее проявляется этот пантеизм Гете в его маленьких песнях. Учение Спинозы вылетело из математической куколки и порхает вокруг нас в виде гетевской песни. Отсюда ярость наших ортодоксов и пиетистов против песни Гете. Своими благочестивыми медвежьими лапами они неуклюже ловят этого мотылька, который неизменно ускользает от них. Она так нежно-воздушна, так благоуханно-легкокрыла. Вы, французы, не можете иметь об этом никакого представления, если вы не знаете нашего языка. Эти песни Гете полны чарующего изящества, совершенно невыразимого. Гармонические стихи обвивают твоё сердце, как нежная возлюбленная; слово обнимает тебя, а мысль целует.

Таким образом, в поведении Гете относительно Фихте мы решительно не видим гадких мотивов, которые у некоторых современников получили еще более гадкое название. Они не поняли различия в натуре этих двух человек. Наиболее снисходительные ложно истолковали пассивность Гете, когда впоследствии Фихте подвергся большим неприятностям и преследованиям. Они не приняли во внимание положения Гете. Этот великан был министром в карликовом немецком государстве. Он никогда не мог двигаться здесь свободно. О сидящем на троне Юпитере Фидия в Олимпии говорили, что если бы он когда-либо вдруг встал, то проломил бы головой крышу храма. Таким же было положение Гете в Веймаре: если бы он когда-нибудь вдруг восстал

из своего неподвижного покоя и выпрямился, то он пробил бы государственную крышу или, что вероятнее, разбил бы себе об нее голову. И этому риску он должен был подвергнуть себя ради учения не только ложного, но и смешного? Немецкий Юпитер продолжал сидеть спокойно, спокойно приемля поклонение и воскурения.

Я слишком далеко отошел бы от моей темы, если бы занялся еще более основательным оправданием поведения Гете в деле об обвинении Фихте с точки зрения тогдашних интересов искусства. За Фихте говорит лишь то, что обвинение в конце концов было только предлогом, за которым скрывалась политическая травля. Ибо в атеизме можно обвинять богослова, так как он обязался преподавать определенные доктрины. Философ же такого обязательства на себя не брал, не может взять, и мысль его свободна, как птица в воздухе. Быть может, я поступаю неправильно, когда щадя отчасти мои собственные, отчасти чужие чувства, привожу здесь не все, чем обосновывалось и оправдывалось то обвинение. Укажу здесь на одно лишь из щекотливых мест статьи, поставленной философу в вину: «...Живой и действенный нравственный порядок и есть сам бог; в ином боге мы не нуждаемся и не можем понять никакого иного. В разуме нет никакого основания для выхода из этого нравственного миропорядка и при посредстве умозаключения от обоснованного к основанию принимать еще особое существо как причину этого основания; здравый смысл, несомненно, такого заключения не делает и не знает такого особого существа; его делает только себя самое непонимающая философия...»

Как свойственно упрямым людям, в своей «Апелляции к публике» и в своем судебном выступлении Фихте высказался еще грубее и ярче, употребив выражения, оскорбляющие сокровеннейшие наши чувства. Мы, верующие в истинного бога, раскрывающегося нашим чувствам в беспредельном протяжении и нашему уму в беспредельной мысли, мы, почитающие видимого бога

в природе и слышащие его незримый голос в нашей собственной душе, — мы неприятно задеты резкими выражениями, в которых Фихте объявляет нашего бога химерой и даже иронизирует по этому поводу. В самом деле, неизвестно, что это такое — ирония или просто безумие, когда Фихте настолько отрешает господа бога от всяких воспринимаемых чувствами атрибутов, что отрицает его существование на том основании, что существование есть понятие чувственное и возможно лишь в качестве чувственного! Наукоучение, говорит он, не знает никакого иного существования, кроме чувственного, и, так как бытие может быть приписано только предметам чувственного опыта, то этот титул неприемим к богу. Поэтому фихтевский бог не имеет бытия, он не существует и проявляется лишь в виде чистого действия, как порядок событий, как *ordo ordinans* *, как мировой закон.

Таким образом идеализм так долго фильтровал божество через всевозможные отвлеченности, что в конце концов от него ничего не осталось. Теперь, как у вас вместо короля, так у нас вместо бога воцарился закон.

Но что может быть нелепее *loi athée* **, закона, не имеющего бога, или *dieu-loi* ***, бога, который есть только закон.

Фихтевский идеализм принадлежит к колоссальнейшим заблуждениям, когда-либо измышленным умом человеческим. Он безбожнее и предосудительнее грубейшего материализма. То, что здесь во Франции называют атеизмом материалистов, есть, как я легко мог бы доказать, нечто душу возвышающее, нечто благочестивое в сравнении с конечными выводами фихтевского трансцендентального идеализма. Но я знаю одно: и тот и другой мне противны. Оба учения к тому же антипоэтичны. Французские материалисты писали столь же

* упорядочивающий порядок

** закона-безбожника

*** бога-закона

плохие стихи, как и немецкие трансцендентальные идеалисты. Но учение Фихте не было ни в каком случае политически опасным и еще менее заслуживало оно преследования как политически опасное. Чтобы под влиянием этой ереси принять дурное направление, требовалась острота спекулятивного мышления, какая встречается лишь у немногих людей. Толпе с ее тысячеголовой тупостью это лжеучение было совершенно недоступно. С взглядом Фихте на бога следовало, стало быть, справиться путем рациональным, а не полицейским. Подвергнуться обвинению в философском атеизме было даже в Германии чем-то столь необычайным, что по началу Фихте в самом деле не понимал, чего от него хотят. Совершенно правильно сказал он, что вопрос о том, атеистична известная философия или нет, звучит для философа так же странно, как, скажем, для математика вопрос: зелен треугольник или красен?

Итак, обвинение имело свои скрытые причины, и Фихте скоро их понял. Так как он был честнейшим человеком в мире, то мы можем с полной верой отнестись к письму к Рейнгольду, где он высказывается об этих скрытых причинах, и так как это письмо от 22 мая 1799 года изображает всю тогдашнюю пору и может наглядно представлять всю беду, обрушившуюся на автора, мы приведем отрывок из него:

«Изнеможение и отвращение привели меня к известному уже тебе решению совершенно исчезнуть на несколько лет. Согласно моему тогдашнему взгляду на дело, я был даже убежден, что такое решение есть дело долга, так как при теперешнем брожении я все равно не был бы выслушан и только усилил бы брожение, а через два-три года, когда первоначальное недоумение ослабилось бы, я мог бы заговорить с тем большей настойчивостью. — Теперь я думаю иначе. Я не должен молчать теперь; если я промолчу, то мне, вероятно, уж никогда не придется сказать свое слово. — Уже после соглашения между Россией и Австрией стало для меня весьма вероятным, а после последних событий,

особенно после отвратительного убийства послов (которое вызывает здесь восторги и о котором Ш. и Г. восклицают: так и надо, перебить надо этих собак), стало совершенно несомненным, что деспотизм будет теперь защищаться с энергией отчаяния, что в лице Павла и Питта он будет последователен, что в основе его плана лежит полное искоренение свободы мысли и что немцы не затруднят ему достижения этой цели.

«Не верь, например, будто веймарский двор был убежден, что от моего присутствия уменьшится количество студентов в университете; он слишком хорошо знает, что дело обстоит как раз наоборот. Согласно общему плану, с особенной ревностью воспринятому курфюршеством саксонским, он *должен* был удалить меня. Буршер в Лейпциге, посвященный в эти тайны, уже в конце прошлого года бился о крупный заклад, что к концу этого года я буду изгнанником. Фойхта давно настроил против меня Бургсдорф. Дрезденский департамент наук объявил, что никто из тех, кто занимался новой философией, не получит профессуры, а того, кто ее уже получил, не следует продвигать вперед. В лейпцигской свободной школе признано опасным даже розенмюллеровское толкование. Недавно там вновь введен Лютеров катехизис, и преподаватели снова были подтверждены по символическим книгам. Это пойдет дальше и будет распространяться... В итоге нет ничего несомненнее несомненного, а именно: если французы не добьются громаднейшего перевеса и не проведут в Германии, или хотя в значительнейшей ее части, перемен, то через несколько лет в Германии не останется ни одного человека, который, будучи известен тем, что хоть раз в жизни разрешил себе свободную мысль, найдет где-либо убежище. Итак, для меня несомненнее несомненного, что даже обрета какой-либо приют, я через год, много — через два, буду опять изгнан оттуда; между тем, опасно быть изгнанным из многих мест; этому учит исторический пример Руссо.

«Предположим, я умолк, и не пишу больше ни строчки: разве меня оставят на этом условии в покое? Не верю я этому, и если бы я даже мог на это рассчитывать со стороны дворов, то разве *духовенство* не науськает *чернь* забросать меня камнями, куда бы я ни подался, чтобы потом просить правительство удалить меня, как человека, сеющего смуту? Но в таком случае разве могу я молчать? Нет, никак не могу, ибо имею основание верить, что если можно еще что-либо спасти из немецкого духа, то это может быть спасено моим словом, тогда как через мое молчание философия погибнет окончательно и слишком рано. От тех, от кого я не ожидаю, что они дадут мне жить, даже в случае моего молчания, я еще меньше могу ожидать, что они позволят мне говорить.

«Но я сумею убедить их в безвредности моего учения. — Милый Рейнгольд, как можешь ты так хорошо думать об этих людях? Чем яснее я буду, чем невиннее я явлюсь, тем чернее будут они, и тем больше будет моя истинная вина. Я никогда не верил, что они преследуют мой предполагаемый *атеизм*; они преследуют в моем лице свободного мыслителя, который начинает становиться *понятным* (счастьем Канта была его темнота), и ославленного *демократа*; как призрак, пугает их та *самостоятельность*, которую, как они смутно чувствуют, пробуждает моя философия».

Замечу еще раз, что письмо это написано не вчера, но имеет дату 22 мая 1799 года. Политическое положение того времени имеет весьма прискорбное сходство с современным состоянием в Германии, с той только разницей, что в те годы свободомыслие больше процветало среди ученых, поэтов и вообще литераторов, теперь же его гораздо меньше в их среде, но зато гораздо больше в широких активных массах, среди ремесленников и рабочих. Между тем как во время первой революции простой народ оставался под гнетом самой немецкой свинцовой спячки, и какая-то скотская неподвижность царилла во всей Германии, наш литературный мир был охвачен самым иступленным брожением и бурлением.

Уединеннейший писатель, проживавший в каком-нибудь отдаленном немецком захолустье, принимал участие в этом движении; как бы бессознательным чутьем, ничего точно не зная о политических событиях, он ощущал их социальное значение и выражал его в своих сочинениях. Этот феномен напоминает мне большие морские раковины, которые мы ставим иногда в виде украшения на наших каминах и которые, в каком бы отдалении они ни были от моря, вдруг начинают шуметь, когда приходит время прилива и волны бьют о берег... Когда здесь в Париже, в великом человеческом океане, грянула революция, когда здесь загрохотало и забушевало, то зашумели и забурили по ту сторону Рейна немецкие сердца... Но они были так изолированы, они стояли среди бесчувственного фарфора, меж чайных чашек, и кофейных приборов, и китайских пагод, механически качавших головами, точно они знали, о чем идет речь. Ах, тяжело пришлось поплатиться нашим бедным предшественникам в Германии за это сочувствие революции. Грубейшие и пошлейшие гнусности проделали над ними дворянчики и попы. Некоторые из них бежали в Париж и здесь погибли в нищете и невзгодах и пропали бесследно. На днях я видел одного слепого земляка, оставшегося с того времени в Париже; я встретил его в Пале-Рояле, где он грелся немножко на солнышке. Нельзя было без боли смотреть, как он бледен и худ и как ощупью отыскивал вдоль стенок дорогу. Мне сказали, что это старый датский поэт Гейберг. Пришлось мне недавно видеть также чердак, где умер гражданин Георг Форстер. Но оставшихся в Германии поклонников свободы ждала еще гораздо худшая участь, если бы Наполеон и его французы вскоре не победили нас. Наполеону, конечно, и не снилось, что он сам явился спасителем идеологии. Без него наши философы вместе с их идеями были бы вконец истреблены посредством виселицы и плахи. Однако немецкие свободолюбцы, слишком республикански настроенные, чтобы преклоняться пред

Наполеоном, и слишком благородные, чтобы примкнуть к иноземному господству, укрылись с тех пор в глубокое молчание. Тоскливо бродили они с разбитыми сердцами, с сомкнутыми устами. Когда Наполеон пал, они улыбнулись, но скорбно, и промолчали; они остались почти совершенно непричастными патриотическому энтузиазму, громогласно ликовавшему в Германии с высочайшего разрешения. Они знали то, что знали, и молчали. Так как эти республиканцы ведут очень целомудренный, умеренный образ жизни, то обыкновенно доживают до глубокой старости и, когда разразилась Июльская революция, многие из них были еще живы, и немало были мы удивлены, когда эти старые чудачки, которых мы привыкли видеть сгорбленными, всегда скитающимися и молчаливыми, похожими чуть ли не на идиотов, вдруг подняли голову и приветливо улыбались нам, молодежи, и пожимали нам руки, и рассказывали забавные истории. Я слышал даже, как один запел; он пропел нам в кафе марсельезу, и тут мы запомнили мелодию и прекрасные слова, и скоро мы пели ее лучше самого старика; потому что он иногда среди лучшей строфы хохотал, как дурак, или плакал, как дитя. Всегда хорошо, когда такие старые люди остаются в живых, чтобы учить молодежь песням. Мы, молодые, не забудем этих песен, и некоторые из нас когда-нибудь научат им своих внуков, еще не родившихся. Впрочем, многие из нас за это время истлеют или дома, в тюрьме, или на чужбине, на чердаке.

Вернемся, однако, к философии! Я показал выше, как философия Фихте, построенная из тончайших отвлеченностей, проявила, однако, железную негибкость в выводах, восходивших до дерзновеннейшей вершины. Но одним ранним утром мы замечаем в ней великую перемену. Она начинает ворковать и хныкать, она становится мягкой и скромной. Идеалистический титан, вскарабкавшийся по лесенке мыслей на небо и дерзновенной рукой нащупавший пустоту его покоев, превратился в нечто согбенно-христианское, много вздыхаю-

щее о любви. Таков второй период Фихте, мало нас занимающий. Вся его система подверглась самым странным видоизменениям. В это время он написал книгу, недавно переведенную у вас: «Назначение человека». К тому же времени относится другая, сходная с первой книга: «Наставление к блаженной жизни».

Само собою разумеется, Фихте, человек упрямый, ни за что не хотел признаться в громадной перемене, происшедшей с ним. Он утверждал, что его философия все та же, только выражения изменены, улучшены; его мол никогда не понимали. Он утверждал также, что натурфилософия, получившая в это время распространение в Германии и вытеснившая идеализм, по существу есть сплошь его собственная система и что его ученик г. Иосиф Шеллинг, который отрекся от него и ввел эту философию, только переделал термины и лишь расширил его старое учение всякими малоотрадными приквнесеньями.

Здесь мы приходим к новому фазису в развитии немецкой мысли. Мы назвали Иосифа Шеллинга и натурфилософию; так как первый здесь почти совершенно неизвестен и так как выражение натурфилософия тоже не общепонятно, то мне приходится уяснить значение того и другого. Мы не можем, конечно, сделать это исчерпывающим образом на этих страницах; впоследствии мы посвятим этой задаче особую книгу. Мы предполагаем лишь предупредить здесь некоторые существенные ошибки и несколько остановиться на общепонятном значении указанной философии.

Прежде всего надо напомнить, что Фихте не совсем был неправ, когда настаивал на том, что учение г. Иосифа Шеллинга есть по существу его учение, только иначе сформулированное и расширенное. Совершенно так же, как г. Иосиф Шеллинг, учил и Фихте, что есть одно лишь существо, Я, абсолют; он утверждал тожество идеального и реального. В «Наукоучении» Фихте, как я показал, стремился вывести посредством мыслительной конструкции реальное из идеаль-

ного. Г-н же Иосиф Шеллинг поставил дело наоборот: он стремился вывести идеальное из реального. Чтобы выразиться яснее, — исходя из положения, что мысль и природа одно и то же, Фихте путем умственной операции приходит к миру явлений, из мысли строит он природу, из идеального — реальное; напротив, перед г. Шеллингом, когда он исходит из того же положения, мир явлений предстанет в виде чистых идей, природа становится для него мыслью, реальное — идеальным. Таким образом, оба направления, фихтеанское и шеллингианское, в известной степени восполняют друг друга. Ибо согласно вышеуказанному исходному положению, философия могла бы распадаться на два раздела: в одном было бы показано, как природа из идеи воплощается в явление; в другом было бы показано, как природа без остатка растворяется в идеях. Поэтому философия могла бы разделиться на трансцендентальный идеализм и натурфилософию. И в самом деле, г. Шеллинг признал оба направления и последнее развивал в «Идеях к философии природы», а первое в «Системе трансцендентального идеализма».

Об этих сочинениях, из коих одно появилось в 1797, а другое в 1800 году, я упоминаю лишь потому, что эти взаимно дополняющие направления, выражены уже в их заглавии, но не потому, чтобы в них содержалась законченная система. Нет, таковой не имеется ни в одной из книг г. Шеллинга. У него нет, как у Канта и у Фихте, главной книги, которая могла бы рассматриваться как средоточие его системы. Было бы несправедливо судить о г. Шеллинге по одной какой-либо книге и с точки зрения буквы. Надо прочесть его книги в хронологическом порядке, проследить в них постепенное развитие его мысли и тогда держаться его основной идеи. Мне даже представляется необходимым почаще различать, где у него кончается мысль и где начинается поэзия. Ибо г. Шеллинг принадлежит к созданиям, более одаренным от природы склонностью к поэзии, чем способностью к ней; не в силах удовлетворить дочерей Парнаса,

эти создания сбежали в леса философии и здесь живут в бесплоднейшем браке с абстрактными гамадриадами. Их чувство поэтично, но орудие, слово, слабо; тщетно стремятся они к художественной форме, в которой могли бы выразить свои мысли и познания. Поэзия есть сила и слабость г. Шеллинга. Ею именно отличается он от Фихте как к своей выгоде, так и к невыгоде. Фихте только философ, и мощь его заключается в диалектике, и сила его заключается в доказательности. А здесь как раз слабая сторона г. Шеллинга, он живет больше в непосредственных созерцаниях, ему неуютно на холодных вершинах логики, он охотно перебегает в цветочные долины символики, и его философская сила сосредоточена в конструировании. Последнее, однако, есть умственная способность, так же часто встречающаяся у посредственных поэтов, как и у лучших философов.

Из последнего указания явствует, что в той части философии, которая представляет собой лишь трансцендентальный идеализм, г. Шеллинг остался и мог остаться только подголоском Фихте, но должен был пышно процвести и воссиять в области философии природы, где ему и приходилось орудовать цветами и звездами. Поэтому не только он, но и его друзья и единомышленники предпочитали именно этот путь, и проявленное при этом бурное рвение было, равным образом, как бы лишь реакцией поэтишек против отвлеченности прежней абстрактной философии разума. Как выпущенные на свободу школьники, целый день протомившиеся в душных классах под гнетом вокабул и цифр, так вырвались ученики г. Шеллинга на лоно природы, в благоуханную, солнцем залитую реальность и шумно ликовали, и кувыркались, и неистовствовали во-всю.

Выражение «ученики г. Шеллинга» также надо принимать здесь не в обычном смысле. Г. Шеллинг сам говорил, что намерен был создать школу лишь по образцу древних поэтов, поэтическую школу, где никто не связан определенной доктриной, никаким уставом,

но где всякий повинуетс^я духу и проявляет его по-своему. С таким же основанием он мог бы сказать, что основывает школу пророков, где вдохновенные свыше начинают пророчествовать по наитию и произволу и на любом наречии. Так в самом деле и поступали ученики, вдохновенные учителем; ограниченнейшие головы начали пророчествовать, всякий на другом языке, и великое столпотворение произошло в философии.

Здесь на примере натурфилософии имеем мы случай видеть, как самые возвышенные и прекрасные вещи могут быть обращены сплошь в комедию и шутовство, как банда трусливых пройдох и меланхолических паяцов способна компрометировать великую идею. Но, по совести, она неповинна в смешном положении, уготованном ей школой пророков или поэтической школой г. Шеллинга. Ибо в основе идея натурфилософии есть не что иное, как идея Спинозы, пантеизм.

Учение Спинозы и натурфилософия, как ее обосновал в лучшем периоде своей работы г. Шеллинг, по существу представляют собою одно и то же. Отвергнув локковский материализм, доведя лейбницевский идеализм до крайности и признав также его совершенно бесплодным, немцы, наконец, добрались до третьего сына Декарта, до Спинозы. Философия вновь закончила великий круговорот, и, можно сказать, тот самый, который она совершила уже две тысячи лет тому назад в Греции. Однако ближайшее сравнение этих двух круговоротов обнаруживает существенную разницу. У греков были такие же смелые скептики, как у нас, элеаты с такою же определенностью отрицали реальность внешнего мира, как наши новейшие трансцендентальные идеалисты. Платон так же вновь нашел в мире явлений мир духовный, как и г. Шеллинг. Но у нас есть преимущество перед греками, так же как перед школами, вышедшими из Декарта, а именно:

Мы начали наш философский круговорот с исследования источников человеческого познания, с критики чистого разума, произведенной нашим Иммануилом Кантом.

Упомянув о Канте, я могу присовокупить к прежним соображениям, что единственное допускаемое Кантом доказательство существования бога, а именно так называемое нравственное доказательство, с большим эффектом было опровергнуто г. Шеллингом. Я заметил уже выше, что это доказательство не отличалось особенной силой и что Кант допустил его, быть может, по благодушию. Бог г. Шеллинга есть бог-вселенная Спинозы. Так оно, по крайней мере, было в 1801 году, во втором томе «Вестника спекулятивной физики». Здесь бог есть абсолютное тожество природы и мышления, материи и духа, и абсолютное тожество не есть причина вселенной, но сама вселенная, она есть, таким образом, бог-вселенная. В последнем нет никаких противоположений, никаких разделений. Абсолютная тожественность есть абсолютная цельность. Год спустя г. Шеллинг еще больше развил своего бога, сделал это в сочинении «Бруно, или О божественной или естественной основе вещей». Заглавие это напоминает о благороднейшем мученике за наше учение, славной памяти Джордано Бруно из Нолы. Итальянцы утверждают, что г. Шеллинг позаимствовал свои лучшие мысли у старого Бруно, и обвиняют его в плагиате. Они неправы, потому что в философии нет плагиата. Наконец, в 1804 году бог г. Шеллинга предстал совершенно готовым в сочинении, под заглавием «Философия и религия». Здесь мы находим учение об абсолютном во всей его полноте. Здесь абсолют находит выражение в трех формулах. Первая — категорическая: абсолют не есть ни идеал, ни реальность (ни дух, ни материя), но тожество обоих. Вторая формула — гипотетическая: когда представлены субъект и объект, то абсолют есть равенство обоих по существу. Третья формула — разделительная: есть лишь Единое, Бытие, но это Единое может рассматриваться одновременно или попеременно, как совершенно идеальное или совершенно реальное. Первая формула — вполне отрицательная, вторая — предполагает условие, еще более трудное для понимания, чем само обу-

словленное, третья же формула целиком принадлежит Спинозе: абсолютная субстанция познается или как мышление или как протяжение. Таким образом, на философском пути г. Шеллинг не мог продвинуться дальше Спинозы, так как абсолютное доступно пониманию лишь в форме этих двух атрибутов, мышления и протяжения. Но здесь г. Шеллинг расстается с философским путем и стремится, посредством некоторой мистической интуиции, достигнуть созерцания самого абсолюта, он стремится созерцать его в его средоточии, в его существе, где нет ничего идеального и где нет ничего реального, ни мысли, ни протяжения, ни субъекта, ни объекта, ни духа, ни материи, а есть... кто его знает что!

Здесь кончается у г. Шеллинга философия и начинается поэзия, я хочу сказать — глупость. Но здесь-то он и встречает наиболее громкий отклик у толпы пустомель, которым как раз по душе отвергнуть спокойное мышление и как бы подражать вертящимся дервишам, которые, как рассказывает наш друг Жюль Давид, долго кружатся на месте до тех пор, пока для них не исчезнет как объективный, так и субъективный миры, пока оба не сольются в белое Ничто, ни реальное, ни идеальное, пока они не узрят того, что незримо, не услышат того, что неслышимо, пока не начнут слышать краски и видеть звуки, пока не предстанет наглядно перед ними абсолют.

Полагаю, что попыткой умственно созерцать абсолют закончена философская карьера г. Шеллинга. Теперь выступает более крупный мыслитель, развивший натурфилософию до законченной системы, объясняющий из ее синтеза весь мир явлений, восполняющий великие идеи своих предшественников еще более великими идеями, проводящий эти идеи через все области науки и таким образом обосновывающий их научно. Он ученик г. Шеллинга, но ученик, постепенно захвативший всю власть своего учителя в области философии, властолюбиво переросший его и, наконец, оттеснивший его во мрак неизвестности. Это великий Гегель, величай-

ший философ, порожденный Германией после Лейбница. Он бесспорно гораздо выше Канта и Фихте. Он пронизателен, как первый, и мощен, как второй, и при этом обладает зияющим душевным спокойствием, гармонией мыслей, какой мы не встречаем у Канта и Фихте, так как они больше подвластны революционному духу. Сравнить его с г. Иосифом Шеллингом совершенно невозможно, ибо Гегель был цельной личностью. И хотя он, подобно г. Шеллингу, отстаивал существующий государственный и церковный строй посредством некоторых слишком сомнительных доказательств, однако это все же делалось по отношению к государству, по крайней мере в теории признающему принцип прогресса, и по отношению к церкви, в принципе свободного исследования видящей свою жизненную стихию; и он не скрывал этого, он открыто признавал все свои намерения. Г. Шеллинг, наоборот, червяком извивается в передних как практического, так и теоретического абсолютизма и пособляет в иезуитском вертепе, где выковываются цепи для духа; и при этом он пытается внушить нам, будто он всегда и неизменно все тот же просветитель, каким был некогда, он отрекается от своего отречения и к позору отступничества прибавляет еще трусость лжи!

Мы не должны скрывать это ни из пиетета, ни из благоразумия, мы не станем умалчивать, что человек, некогда отважнее всех провозгласивший в Германии религию пантеизма, громче всех проповедывавший освящение природы и восстановление человека в его божественных правах, этот человек отрекся от своего собственного учения. он покинул алтарь, им самим освященный, он уполз обратно в религиозное стойло прошедшего, он стал теперь правоверным католиком и проповедует внемирового личного бога, «имевшего глупость создать мир». Пусть верующие трезвонят в колокола и воспевают свои «Kyrie eleison» * по случаю такого обра-

* «Спаси, господи»

ния, — это совершенно не доказывает их правоты, это доказывает только, что человек склоняется к католицизму тогда, когда он устал и состарился, когда утратил физические и духовные силы, когда не может больше ни наслаждаться, ни мыслить. Так много свободных мыслителей обращено на смертном одре, — но не величайтесь этим! Истории этих обращений относятся разве к патологии и были бы плохим свидетельством в пользу вашего дела. В конце концов, они означают только, что пока эти свободные мыслители разгуливали со здоровыми чувствами под открытым небом божьим и во всей полноте владели своим рассудком, вы никак не могли обратить их.

Кажется, Баланш говорит, что есть закон природы, по которому начинатели неизбежно должны умереть, как только они осуществили дело начинания. Ах, милый Баланш, — это только наполовину верно, и я скорее утверждал бы, что как только дело начинания осуществлено, начинатель умирает — или становится отступником — и потому мы можем, пожалуй, несколько смягчить строгий приговор, вынесенный мыслящей Германией г. Шеллингу; мы можем, пожалуй, превратить тяготеющее на нем тяжелое, плотное презрение в тихое сострадание, и его отпадение от его собственного учения мы объясняем лишь как проявление закона природы, по которому отдавший все свои силы выражению или проведению известной мысли, падает в изнеможении, после того как выразит или проведет эту мысль, падает в объятия смерти или же в объятия своих прежних противников.

После такого объяснения мы, быть может, пойдем другие, еще более яркие явления нашего времени, так удручающие нас. Мы, быть может, пойдем, почему люди, всем пожертвовавшие ради своего убеждения, боровшиеся и страдавшие за него, почему эти люди, наконец победив, отходят от своих убеждений и переходят во враждебный лагерь! После такого объяснения я могу обратить внимание также на то, что не только

г. Иосифа Шеллинга, но и Фихте и Канта также можно в известной степени обвинить в отступничестве. Фихте умер еще достаточно своевременно, чтобы его отпадение от его собственной философии не наделало слишком много шума. И Кант тоже не замедлил изменить «Критике чистого разума», написав «Критику практического разума». Начинатель умирает — или становится отступником.

Не знаю отчего, но эта последняя мысль действует так меланхолически-укротительно на мою душу, что я не в силах в этот миг высказать здесь все прочие горькие истины, относящиеся к нынешнему г. Шеллингу. Вознесем лучше хвалу тому былому г. Шеллингу, память о котором незабываемо цветет в летописях немецкой мысли, ибо былой Шеллинг является, подобно Канту и Фихте, представителем одной из великих фаз нашей философской революции, которые я сравнил на этих страницах с фазами политической революции во Франции. Действительно, если видеть в Канте конвент с его террором, а в Фихте наполеоновскую империю, то в г. Шеллинге можно видеть последовавшую за ними реставрационную реакцию. Но на первых порах это была реставрация в лучшем смысле. Г. Шеллинг вновь восстановил природу в ее законных правах, он стремился к примирению духа и природы, он хотел воссоединить их в предвечной мировой душе. Он восстановил великую натурфилософию, с которой мы встречаемся у греческих философов, Сократ лишь интродуцировал ее в самое человеческую душу, и затем она расплылась в идеальном. Он восстановил ту великую натурфилософию, которая, тайно зародившись в древней пантеистической религии германцев, во времена Парацельса обещала прекраснейший расцвет, но была подавлена введенным извне картезианством. Увы, в конце концов он восстановил вещи, позволяющие сравнить его с французской реставрацией также и в дурном смысле. Но здесь общественный разум не терпел его дольше, он был позорно свергнут с престола мысли,

Гегель, его мажордом, сорвал корону с его головы и постриг его, и развенчанный Шеллинг проживал с тех пор жалким монашеском в Мюнхене, городе, поповский характер которого выражен уже в его названии и который по-латыни именуется *monacho monachorum*. Там видел я его бродящим в виде призрака с его большими, бесцветными глазами и унылым лицом без выражения — прискорбный образ павшего великолепия. А Гегель был коронован и, увы, слегка также помазан в Берлине и с тех пор воцарился в немецкой философии.

Наша философская революция окончена. Гегель завершил ее великий цикл. С тех пор пред нами лишь развитие и разработка натурфилософской доктрины. Она проникла, как уже указано, во все науки и породила здесь создания необыкновеннейшие и величайшие. При этом, как я также указал, должно было обнаружиться и много безотрадного. Эти явления столь разнообразны, что уже один перечень их потребовал бы целой книги. Здесь сосредоточена, собственно, интересная и красочная часть истории нашей философии. По моему убеждению, однако, французам лучше ничего не знать об этой части. Ибо такого рода сведения могли бы лишь внести еще большую путаницу в головы французов; некоторые положения натурфилософии, вырванные из связи, могли бы наделать у вас много зла. Одно ясно мне: будь вы четыре года тому назад знакомы с немецкой натурфилософией, вы ни в коем случае не могли бы совершить Июльскую революцию. Для такого деяния потребно было сосредоточение мыслей и сил, благородная односторонность, самоуверенное легкомыслие в той степени, какую допускает лишь ваша старая школа. Философские хитросплетения, весьма пригодные, конечно, для обоснования легитимизма и католического учения о воплощении, расхлестили бы ваш пыл, сковали бы ваше мужество. Поэтому всемирно-историческое значение имеет в моих глазах то, что ваш великий эклектик, взявшийся в ту пору познакомить

вас с немецкой философией, не смыслил в ней ровно ничего. Его провиденциальное невежество было благодетельно для Франции и для всего человечества.

Увы, принеся в различных областях знания, особенно в естествоведении, великолепные плоды, натурфилософия породила в других областях пагубнейшие плевелы. В то время как Окен, гениальнейший мыслитель и один из величайших граждан Германии, раскрывал новые миры идей и воодушевлял немецкую молодежь пылом исконных прав человечества, пылом свободы и равенства, ах, — в это самое время Адам Мюллер обучал стойловому откорму народов согласно натурфилософским принципам; в это самое время г. Геррес проповедывал средневековый обскурантизм согласно естественно-научному взгляду: государство есть только дерево, которое в своем органическом расчленении неизбежно должно иметь ствол, ветви и листья, что так превосходно было осуществлено в корпорационной иерархии средневековья; в это самое время г. Стеффенс провозглашал философский закон, согласно которому крестьянское сословие отличается от дворянского тем, что крестьянин предназначен от природы для труда без наслаждения, дворянин же наделен правом наслаждения без труда. Мало того — я слышал, что несколько месяцев тому назад некий вестфальский дворянчик, какой-то глупый Ганс, по фамилии, кажется, Гакстгаузен, издал сочинение, где обращается к королевско-прусскому правительству с ходатайством, чтобы оно считалось с последовательным параллелизмом, выясненным философией во всем мировом организме, и строже разделяло бы политические сословия, ибо, подобно тому, как в природе есть четыре стихии — огонь, воздух, вода и земля, так и в обществе имеется четыре аналогичных элемента, а именно: дворянство, духовенство, буржуазия и крестьяне.

Когда выяснилось, что из философии вырастают столь печальные глупости, распускаясь в пагубнейшем расцвете; когда вообще пришлось заметить, что германская

молодежь, погрузившись в метафизические отвлеченности, забыла о непосредственных нуждах современности и сделалась неспособной к практической жизни, — то, понятно, патриоты и друзья свободы не могли не проникнуться справедливым негодованием против философии, и некоторые из них пошли так далеко, что совершенно осудили ее, как пустое и бессмысленное словесное извращение.

Мы не будем так нелепы, чтобы серьезно опровергать этих *malcontents*. * Немецкая философия есть важное дело, касающееся всего рода человеческого, и лишь отдаленнейшие потомки будут в состоянии судить, достойны мы порицания или хвалы за то, что вырабатывали сперва нашу философию, а затем нашу революцию. Мне кажется, такой методический народ, как мы, должен был начать с реформации, лишь затем смог заняться философией и только по завершении ее получил возможность перейти к политической революции. Такая последовательность представляется мне совершенно разумной. Головы, использованные философией для размышления, вольно затем революции отрубать для любых целей. Философии же никак не пригодились бы головы, отрубленные революцией, если бы она произошла раньше. Но не тревожьтесь, немецкие республиканцы; немецкая революция не станет оттого мягче и милосерднее, что ей предшествовала кантовская критика, фихтевский трансцендентальный идеализм и даже натурфилософия. Благодаря этим учениям получили развитие революционные силы, ожидающие только дня, когда они смогут прорваться и наполнить мир ужасом и изумлением. Тут обнаружатся кантианцы, которые также в мире явлений отвергнут всякий пиетет и безжалостно взроют мечом и топором почву нашей европейской жизни, чтобы вырвать и последние корни прошлого. На арену выступают вооруженные фихтеанцы, которых, в их волевом фанатизме, не обуз-

* недовольных

дать ни страхом, ни корыстью, ибо они живут в духе, они борются с материей, подобно первым христианам, которых также невозможно было сломить ни физическими мучениями, ни физическими наслаждениями; да, такие трансцендентальные идеалисты в случае общественного переворота оказались бы даже непреклоннее первых христиан, так как те сносили земное мучничество, чтобы таким путем достигнуть небесного блаженства, тогда как трансцендентальный идеалист считает самое мучение пустой видимостью и недостижимым за окопами собственной мысли. Но всего страшнее оказались бы натурфилософы, которые приняли бы действительное участие в немецкой революции и отождествили бы себя с самым делом разрушения. Ибо, если рука кантианца разит мощно и уверенно потому, что сердце его не тронут никаким традиционным пиэтетом, если фихтеанец отважно презирает всякую опасность, потому что она совершенно не существует для него в действительности, — то натурфилософ будет страшен тем, что он вступает в связь с первообразными силами природы, что он может заклинанием вызвать демонические силы древнегерманского пантеизма и что в нем пробудился тот свойственный древним германцам боевой пыл, который повелевает сражаться не для того, чтобы уничтожать или побеждать, но исключительно для того, чтобы сражаться. Христианство — и это прекраснейшая его заслуга — ослабило эту грубую германскую воинственность, но искоренить не смогло, и если когда-либо сломится обуздывающий талисман, крест, то вновь вспыхнет ярость древних бойцов, бессмысленное берсеркерское неистовство, о котором так много поют и рассказывают северогерманские певцы. Этот талисман ослабел, и настанет день, когда он жалким образом обрушится. Тогда восстанут старые каменные боги из забытого мусора, протрут глаза, засыпанные тысячелетней пылью, и вскочит, наконец, на ноги Тор со своим исполинским молотом и разгромит готические соборы. Услышав этот гром и грохот, остерегитесь,

любезные соседи, остерегитесь, французы, не вмешивайтесь в дела, творимые нами у себя дома, в Германии. Оно может плохо окончиться для вас. Остерегайтесь раздувать огонь, остерегайтесь тушить его. Вы легко можете обжечь в пламени пальцы. Не смейтесь над моим советом, советом мечтателя, предостерегающего вас от кантианцев, фихтеанцев и натурфилософов. Не смейтесь над фантастом, ожидающим в мире явлений той самой революции, которая уже произошла в области духа. Мысль предшествует делу, как молния грому. А немецкий гром, конечно, тоже немец, он не очень легок на подъем и надвигается с некоторой медлительностью; но он грянет, и некогда, услышав грохот, какой никогда еще не гремел во всемирной истории, знайте: немецкий гром попал, наконец, в цель. При этом грохоте замертво попадают орлы с высоты, и львы в отдаленнейшей пустыне Африки подожмут хвосты и залопзут в свои царственные логовища. В Германии будет разыграна пьеса, в сравнении с которой французская революция покажется лишь безобидной идиллией. Теперь, правда, еще довольно тихо, и если тот или иной выступает у нас с некоторой живостью, то не думайте, что это вот они окажутся со временем настоящими актерами. Это только собачонки, бегающие по пустой арене с лаем и взаимной грызней перед выступлением толпы гладиаторов, которым придется биться насмерть.

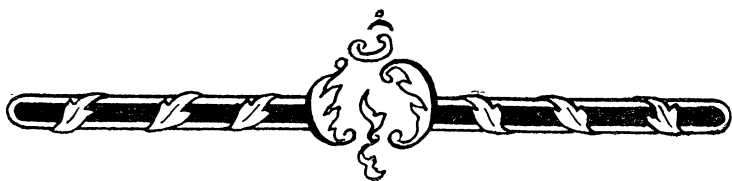
И этот час настанет. Словно на ступенях амфитеатра, столпятся народы вокруг Германии, чтобы смотреть на великие смертоубийственные игры. Советую вам, французы, держитесь при этом очень тихо и, упаси господи, не вздумайте аплодировать. Мы легко могли бы плохо понять вас и по свойственной нам неучтивости несколько грубовато призвать вас к спокойствию, — ибо если и раньше в нашем рабском равнодушии нам случалось иногда справляться с вами, то это будет нам гораздо легче в дерзостном упоении свободой. Вам ведь хорошо известно, что можно свершить в таком состоянии, — а вы уже вышли из такого состояния. Будьте осто-

рожны! Я желаю вам добра и потому высказываю вам горькую истину. Освобожденная Германия для вас опаснее целого Священного союза со всеми хорватами и казаками. Ибо, во-первых, вас в Германии не любят, что почти непонятно, ибо вы ведь так любезны и во время пребывания вашего в Германии так старались понравиться, по крайней мере лучшей и прекраснейшей половине немецкого народа. И если бы даже вас полюбила эта половина, то ведь это половина, которая не носит оружия, и, стало быть, от ее расположения вам мало проку. Никогда мне не удавалось понять, что вам, собственно, ставят в вину. Раз только в геттингенской пивной один юный древнегерманец выразил мысль, что надобно отомстить французам за то, что они отрубили в Неаполе голову Конрадину Гогенштауфену. Вы, вероятно, давно забыли об этом. А мы ничего не забываем. Видите, — если нам когда-либо вздумается сцепиться с вами, у нас не будет недостатка в основательных поводах. Во всяком случае, советую вам поэтому быть настороже. Пусть в Германии творится что угодно, пусть у власти станет там кронпринц прусский или д-р Вирт, будьте всегда наготове, оставайтесь спокойно на посту с оружием в руках. Я желаю вам добра и потому чуть недавно не испугался, узнав, что ваши министры предполагают разоружить Францию.

Так как, несмотря на вашу нынешнюю романтику, вы прирожденные классики, то вы знаете Олимп. Среди нагих богов и богинь, услаждающихся там за нектаром и амброзией, вы видите богиню, которая, хоть и в окружении такого веселья и радости, всегда одета в панцырь, носит шлем на голове и копьё в руке.

Это богиня мудрости.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА



ПРЕДИСЛОВИЕ

Значительную часть этих страниц, первоначально написанных по-французски и обращенных к французам, я уже представил некоторое время тому назад отечественной публике в немецком переводе под заглавием «К истории новой художественной литературы в Германии». В нынешнем дополненном виде книга, полагаю, заслуживает названия «Романтическая школа», ибо, на мой взгляд, она может дать читателю точнейшее представление об основных моментах литературного движения, вызванного этой школой.

Я предполагал в такой же форме осветить и дальнейший период развития нашей литературы; но более спешные дела и внешние обстоятельства не дали мне возможности перейти непосредственно к этой задаче. Вообще, форма обработки и способ опубликования моих последних произведений определялись всегда условиями момента. Так, мне пришлось выпустить в свет мои сообщения «К истории религии и философии в Германии» в виде второй части «Салона», тогда как труд этот должен был, собственно, представить общее введение в немецкую литературу. Об особенном злоключении, постигшем меня при издании этой второй части «Салона», я уже сообщил ко всеобщему сведению в печати. Господин издатель, которого я обвинял в самовольном изуродовании моей книги, отвечал на это обвинение в той же газете; он объявил это изуродование

достославным подвигом учреждения, стоящего выше всяких порицаний.

Состраданию вечных богов поручаю я благо отечества и незащитные мысли его писателей.

Генрих Гейне

Париж, осень 1835 года.



КНИГА ПЕРВАЯ

Труд г-жи Сталь «De l'Allemagne» * есть единственное сочинение, дающее французам обстоятельную картину умственной жизни Германии. Однако с появления этой книги прошло много времени, в течение которого возникла в Германии совершенно новая литература. Является ли она всего лишь литературой переходного времени? Достигла ли она уже своего расцвета? Или уже отцвела? Мнения об этом разделяются. Большинство полагает, что со смертью Гете начинается в Германии новая литературная эпоха; с ним ушла в могилу старая Германия, век аристократической литературы пришел к концу, начинается демократический век, или, как недавно выразился один французский журналист, «кончился дух личный, начался дух всеобщий».

Что до меня, то я не решился бы намечать с такой определенностью предстоящую эволюцию немецкого духа. Впрочем, уже много лет тому назад я предсказал конец «гетевского художественного периода» — название, которым я впервые обозначил этот период. Нетрудно мне было пророчествовать. Слишком хорошо были мне известны пути и приемы недовольных, стремившихся покончить с художественным царствованием Гете; ведь кой-кому кажется даже, что и сам я замешан в тогдашних бунтах против Гете. И вот, Гете умер, и странная боль охватывает мое сердце.

Так как я рекомендую рассматривать эти страницы как продолжение «De l'Allemagne» г-жи Сталь, то, отдавая должное поучительности этого труда, я все

* «О Германии»

же должен напомнить об осторожности, необходимой при пользовании им, а также вынужден назвать ее книгу явно кружковой. Г-жа Сталь, хвала ее памяти, сделала эту книгу на манер салона, где принимала немецких писателей, давая им возможность представиться французскому культурному обществу; но в сумятице различнейших голосов, крики которых неслись из этой книги, громче всех неизменно раздается все же тоненький дискант г. А.-В. Шлегеля. Там, где г-жа Сталь остается собой, где с присущей ей широтой чувств она высказывается непосредственно во всем взлете своего сердца, во всем блеске своего умственного фейерверка и сверкающей прихотливости, — там ее книга превосходна и полезна. Но когда она начинает поддаваться чужим нашептываниям, когда она славит школу, существо которой ей совершенно чуждо и непонятно, когда прославлением этой школы она содействует известным ультрамонтанским устремлениям, резко расходящимся со свойственной ей протестантской ясностью, — тогда книга ее становится жалкой и безвкусной. К этому присоединяется еще то, что она страстна не только бессознательно, но и сознательно, что похвалы в честь умственной жизни и идеализма Германии имеют, в сущности, целью задеть тогдашний реализм французов, материальное величие императорской эпохи. В этом отношении ее книга «De l'Allemagne» подобна «Германии» Тацита, для которого его апология германцев тоже, быть может, была косвенной сатирой на соотечественников.

Упомяная выше о школе, которую славит г-жа Сталь и устремлениям которой она содействует, я имел в виду романтическую школу. Что в Германии она представляет собой нечто совершенно отличное от той, которая носит это название во Франции, и что тенденции ее совершенно расходились с устремлениями французских романтиков, будет выяснено на дальнейших страницах.

Что же представляла собой романтическая школа в Германии?

Не что иное, как воскрешение поэзии средневековья, как она проявилась в его песнях, созданиях живописи и архитектуры, в искусстве и жизни. Но поэзия эта вышла из христианства, она была страстоцветом, выросшим из крови христовой. Не знаю, носит ли во Франции то же название меланхолический цветок, который мы именуем страстоцветом, и приписывает ли ему и здесь народное верование это мистическое происхождение. Это странный, неприятно окрашенный цветок, в чашечке которого находили изображение орудий, служивших при распятии Христа, а именно молотка, клещей, гвоздей и т. п., цветок отнюдь не отталкивающего, но всего лишь зловещего вида; он даже возбуждает в нашей душе мучительное удовольствие, подобное судорожно-сладостному ощущению, порождаемому самым страданием. В этом отношении этот цветок может быть наиболее подходящим символом самого христианства, наиболее жуткая прелесть которого заключается именно в сладострастном упоении страданием.

Несмотря на то, что во Франции под названием христианства подразумевают только католичество, я должен особо предупредить, что говорю только о нем. Я говорю о той религии, в основных догматах которой заключается осуждение всего плотского и которая не только признает главенство духа над плотью, но стремится к ее умерщвлению ради возвеличения духа; я говорю о той религии, противоестественные задания которой и внедрили в мир грех и лицемерие, так как именно осуждение плоти сделало невиннейшие чувственные удовольствия грехом, а невозможность стать исключительно духом не могла не породить лицемерия; я говорю о той религии, которая, провозгласив учение о пагубности всех земных благ, о собачьей покорности и ангельском терпении, предуказанными ею, сделалась испытаннейшей опорой деспотизма. Люди поняли теперь сущность этой религии, их нельзя уже кормить указаниями на небо, они знают, что и материя не вся от дьявола, что и в ней есть нечто благое, и они требуют

теперь права на наслаждения земли, этого прекрасного божьего сада, нашего неотъемлемого наследственного достояния. Именно достигнутое нами теперь полное понимание всех следствий этого абсолютного спиритуализма дает нам уверенность, что христианско-католическому мировоззрению пришел конец. Ибо всякая эпоха есть сфинкс, низвергающийся в бездну как только разгадана его загадка.

Ни в коем случае, однако, не отрицаем мы здесь пользы, принесенной Европе христианско-католическим мировоззрением. Оно было необходимо как благодетельная реакция против ужасающего всеобъемлющего материализма, расцветшего в Римской империи и грозившего уничтожить все духовное величие человека. Как малопристойные мемуары прошлого века представляют собою как бы *pièces justificatives* * французской революции; как после знакомства с откровениями французской знати со времен регентства террор Комитета общественного спасения представляется нам неизбежным лекарством, так признаешь и благотворность аскетического спиритуализма, когда прочитаешь хотя бы Петрония или Апулея — книги, на которые можно смотреть как на *pièces justificatives* христианства. Плоть так обнаглела в этом римском мире, что для обуздания ее, конечно, требовалась христианская дисциплина. После пиршества Тримальхиона потребно было такое лечение голодом, как христианство.

А то, быть может, — подобно тому как старые развратники розгами возбуждают в своей обессиленной плоти способность к новым наслаждениям, — не подвергал ли себя дряхлеющий Рим бичеваниям по-монашески с той целью, чтобы обрести утонченные наслаждения в боли и сладострастие в страданиях?

Пагубное сверхвозбуждение! Оно отняло последние силы у римского государственного тела. Не от распада на два царства погиб Рим; как на Босфоре, так

* оправдательные документы

Die
romantische Schule

von

H. S e i n e.

Hamburg,
bei Hoffmann und Campe.

1 8 3 6.

Титульный лист первого издания
«Романтической школы» 1836 г.

и на Тибре Рим был истощен все тем же иудейским спиритуализмом, и здесь, как и там, римская история обратилась в медлительное умирание, в агонию, тянувшиеся столетия. Наделив римлян своим спиритуализмом, не хотела ли зарезанная Иудея отомстить победоносному врагу, так же как некогда умирающий кентавр, сумевший с таким коварством подсунуть сыну Юпитера смертоносную одежду, отравленную его собственной кровью? И действительно, Рим, этот Геркулес среди народов, был так неисцелимо отравлен иудейским ядом, что шлем и латы свалились с его чахлах членов и его царственный боевой голос, обессилив, снизился до поповского молитвенного причитания и кастратских переливов.

Но то, что обессиливает старика, укрепляет юношу. Спиритуализм был благотворен для пышущих здоровьем народов севера; слишком полнокровные тела варваров подверглись христианскому одухотворению; началась европейская цивилизация. Это достохвальная, святая сторона христианства. В этом отношении католическая церковь приобрела величайшие права на то, чтобы мы уважали ее и удивлялись ей. При посредстве великих, гениальных установлений она сумела укротить зверство северных варваров и обуздать грубую материю.

И вот, произведения средневекового искусства являются нам это преодоление материи духом, и в этом часто заключается даже все их назначение. Не трудно распределить эпические поэмы того времени по степени этого преодоления.

О произведениях поэзии лирической и драматической здесь не может быть речи, ибо последних не существовало, а первые во все времена походят друг на друга так же, как соловьиные песни каждой весной.

Несмотря на то что средневековая эпическая поэзия разделялась на духовную и светскую, оба рода были, по существу, еще всецело христианскими; ибо если духовная поэзия воспевала исключительно еврейский на-

род, считавшийся единственным священным народом, и его историю, единственно носившую название священной, героев ветхого и нового заветов, легенду — словом, воспевала церковь, то, с другой стороны, в светской поэзии отражалась вся тогдашняя жизнь, со всеми ее христианскими воззрениями и тяготениями. Цветом духовной поэзии немецкого средневековья надо, пожалуй, назвать поэму «Варлаам и Иосафат», где доктрина отречения, воздержания, самозабвения, презрения ко всей мирской пышности нашла наиболее последовательное выражение. Наилучшим после нее образцом духовной поэзии я склонен считать «Хвалебную песнь в честь святого Анно». Но последнее стихотворение является значительно более светским. Оно вообще отличается от первого, как византийская икона от старинного немецкого образа. Как на византийских иконах, царит и в «Варлааме и Иосафате» величайшая простота; ни намек на перспективные подробности, и тощие, вытянутые, статуеподобные фигуры и идеально серьезные лица выступают, резко очерченные, как бы на тусклом золотом фоне.

Как на старинных немецких картинах, подробности в «Песне в честь святого Анно» занимают чуть не главное место, и, несмотря на грандиозность концепции, все же подробности разработаны столь мелочным образом, что не знаешь, чему изумляться, — замыслу ли исполина или терпению карлика. Поэма Отфрида о Христе, которая обычно прославляется как главное создание духовной поэзии, далеко не так замечательна, как указанные два произведения.

В светской поэзии, следуя намеченному разделению, мы встречаемся прежде всего с циклом сказаний о Нибелунгах и «Книги богатырей»; здесь царит еще совершенно дохристианский образ мыслей и чувств, здесь грубая сила еще не смягчена перерождением в рыцарство, здесь, подобно каменным статуям, высятся еще суровые бойцы севера, и кроткий свет и нравственное дыхание христианства еще не проникает за железные

доспехи. Но постепенно день занимается в старогерманских лесах, старые дубы-идолы падают под топором, и расчищается просека, где христианин бьется с язычником, — и это видим мы в цикле сказаний о Карле Великом, где, собственно, отражены крестовые походы с их духовными целями. И вот, из христиански спиритуализированной силы возникает своеобразнейшее явление христианства — рыцарство, в конце концов уточняющееся до рыцарства духовного. С прекраснейшим прославлением первого мы встречаемся в цикле сказаний о короле Артуре, где царит сладчайшая галантность, утонченнейшая куртуазность и живейшая жажда боев и приключений. Из восхитительно нелепых арабесок и фантастических цветочных завитушек этих поэм приветливо глядят на нас драгоценный Ивейн, превосходный Ланселот с озера и отважный, учтивый, благородный, однако скучноватый Вигалау. Рядом с этим циклом мы встречаем еще родственный и сплетенный с ним цикл сказаний о священном Грале, где прославляется духовное рыцарство, — и здесь являются пред нами три грандиознейшие поэмы средних веков: «Титурель», «Парцифаль» и «Лоэнгрин»; здесь мы как бы лицом к лицу сталкиваемся с романтической поэзией, мы глубоко заглядываем в ее большие страдальческие глаза, и она незаметно опутывает нас своими схоластическими сетями и увлекает в бредовые бездны средневековой мистики. В эту эпоху мы встречаемся, наконец, также с поэтическими произведениями, где нет безусловного притяния христианского спиритуализма, где даже фрондируют против него, где поэт, сбросив оковы абстрактных христианских добродетелей, с упоением погружается в сладостный мир восславленной здесь чувственности, и далеко не к худшим принадлежит поэт, оставивший нам главное произведение этого направления — поэму «Тристан и Изольда». Я должен даже признать, что Готфрид Страсбургский, автор этой прекраснейшей поэмы средневековья, есть, быть может, величайший его поэт, стоя-

щий выше всего великолепия Вольффрама фон-Эшенбаха, которым мы так восхищаемся в «Парцифале» и отрывках «Титуреля». Быть может, в наши дни позволительно безоговорочно восхвалить и прославить мейстера Готфрида. В его время его книга, конечно, считалась безбожной, а схожие поэтические произведения, к которым принадлежал уже «Ланцелот», — опасными. Да и на самом деле происходили щекотливые вещи. Дорого пришлось заплатить Франческе да-Полента и ее прекрасному другу за то, что они однажды вместе читали одну такую книгу: большая опасность заключалась, правда, в том, что они вдруг прекратили чтение.

Во всех этих средневековых произведениях поэзия запечатлена определенным характером, отличающим ее от поэзии греков и римлян. Исходя из этого различия, мы называем первую романтической, а вторую классической поэзией. Однако рубрики эти неточны, и до сих пор они вели к досаднейшей путанице, еще усугублявшейся в тех случаях, когда античную поэзию вместо классической называли также пластической. Здесь был особенный источник недоразумений. Дело в том, что художники всегда должны давать пластическую обработку своему материалу; независимо от того, христианский он или языческий, они должны изображать его в отчетливых очертаниях, словом: пластический стиль работы так же должен главенствовать в современном романтическом, как и в античном искусстве. И действительно, разве фигуры в «Божественной комедии» Данте или на картинах Рафаэля не так же пластичны, как у Вергилия или на стенах Геркуланума? Разница заключается в том, что пластические образы в античном искусстве совершенно тождественны с изображаемым, с идеей, которую стремится представить художник; так, например, странствия Одиссея не означают ничего, кроме странствований человека, бывшего сыном Лаэрта и супругом Пенелопы и звавшегося Одисеем; или Вакх, которого мы видим в Лувре, есть не кто

иной, как прелестный сын Семелы со смелой скорбью в глазах и божественной чувственностью в мягко округленных губах. Иначе в романтическом искусстве. Здесь странствия рыцаря имеют еще эзотерическое значение; они, быть может, воплощают жизненные скитания вообще; побежденный дракон — это грех; миндальное дерево, так живительно благоухающее издали навстречу герою, это троица, бог-отец, бог-сын и бог-святой дух, соединяющиеся в то же время в единстве, подобно тому как скорлупа, волоконец и ядро представляют собой единый миндаль. Когда Гомер изображает доспех героя, то это именно только хороший доспех, стоящий столько-то волов; но когда средневековый монах описывает в поэме одежды богородицы, то можно быть уверенным, что под этими одеждами он подразумевает различные добродетели, что особый смысл скрыт под этими священными покровами непорочной девственности Марии, которая к тому же, раз ее сын есть миндалина, совершенно последовательно воспевается, как миндальный цветок. Это особенность средневековой поэзии, именуемой нами романтической.

Классическая поэзия ставила своей задачей изображение только конечного, и образы ее могли быть тоже ответственными с идеей художника. Задачей романтического искусства было изобразить или лишь представить в намеке бесконечное и чисто спиритуалистические отношения, и оно прибегло к системе традиционных символов, или, точнее, к иносказанию по примеру самого Христа, который старался уяснить свои спиритуалистические идеи посредством разнообразных прекрасных притч. Отсюда мистическое, загадочное, чудесное, чрезмерное в созданиях средневекового искусства; с чудовищным напряжением силится фантазия представить чисто духовное в конкретных образах и измышляет самые ужасающие нелепости; она громоздит Пелион на Оссу, «Парцифалья» на «Титуреля», чтобы добраться до неба.

У народов, у которых поэзия также стремилась изобразить бесконечное, результатом чего появлялись чудовищные порождения фантазии, как, например, у скандинавов и индусов, мы встречаемся с произведениями, которые равным образом считаем романтическими и обыкновенно романтическими и называем.

О средневековой музыке мы мало можем сказать. У нас нет для этого документов. Лишь позже, в XVI столетии, возникли великие создания католической церковной музыки, в своем роде чрезвычайно ценные, так как наиболее чисто выражают христианский спиритуализм. Искусства, воспринимаемые слухом, по своей природе спиритуалистические, могли более или менее процветать в лоне христианства. Менее благоприятна была эта религия для искусств изобразительных. Так как и они должны были представлять победу духа над материей и в то же время пользоваться этой самой материей как материалом для изображения, то им приходилось как бы разрешать противоестественную задачу. Отсюда эти отталкивающие сюжеты в скульптуре и живописи: муки страстотерпцев, распятия, святые на смертном одре, разрушение плоти. Сам изображаемый предмет был мученичеством для скульптуры, и вид этих уродливых изваяний, где христианское воздержание и преодоление плоти должны находить выражение в молитвенно пригнутых головах, длинных, тоненьких руках, тощих ногах и робких, беспомощных одеяниях, наполняет меня невыразимым состраданием к художникам этого времени. Правда, живописцы были в несколько лучшем положении, так как материал, которым они пользовались для изображения — краска, в ее неуловимости, в пестрых переливах ее теней, не так упорно сопротивлялась спиритуализму, как материал, обрабатываемый скульпторами; тем не менее, и первым, живописцам, приходилось покрывать самыми отталкивающими фигурами страдальцев свои холсты, изнывавшие от этого. Подчас, при ознакомлении с собранием таких картин, где сплошь

изображены кровавые сцены, бичевания и казни, начинает казаться, что старые мастера писали эти вещи для картинной галлерей какого-нибудь палача.

Но гений человеческий преодолевает даже противоестественность, — многим художникам удалось своей кистью в прекрасной и возвышенной форме разрешить противоестественную задачу, и итальянцы в особенности сумели, отчасти за счет спиритуализма, отдать должное красоте и вознестись до той идеальности, которая достигает высшего расцвета в столь многочисленных изображениях мадонны. Католическое духовенство вообще делало всегда некоторые уступки сенсуализму, когда дело касалось мадонны. Этому образу непорочной красоты, просветленному притом материнской любовью и страданием, предоставлялось преимущественное право быть прославляемым поэтами и живописцами и являться в уборе всех чувственных прелестей. Ибо этот образ был магнитом, способным привлечь толпу в лоно христианской церкви. Мадонна Мария была как бы прелестной *dame du comptoir* * католической церкви, привлекающей и удерживающей своей небесной улыбкой клиентов, особенно северных варваров.

Средневековая архитектура была отмечена тем же характером, что и другие искусства, да и все жизненные проявления вообще удивительнейшим образом гармонировали в это время друг с другом. Здесь, в архитектуре, находит выражение та же иносказательная тенденция, что и в поэзии. Входя теперь в какой-нибудь старинный собор, мы едва ли ощущаем эзотерический смысл его каменной символики. Непосредственно наше чувство проникнуто лишь общим впечатлением. Мы чувствуем здесь подъем духа и принижение плоти. Самая внутренность собора представляет собой полный крест, и мы находимся внутри самого орудия мучительства; цветные стекла испещряют нас красными и зелеными пятнами, точно каплями крови

* красоткой за прилавком, буфетчицей

и гноя; зауспокойные песнопения рыдают вокруг нас; под ногами у нас могильные плиты и тление; вместе с исполинскими колоннами возносится дух в высь, мучительно отрываясь от тела, падающего на землю, как бессильная оболочка. Когда смотришь извне на эти готические соборы, эти громадные сооружения, такие воздушные, такие легкие, изящные, прозрачные, будто вырезанные из бумаги, будто какие-то брабантские кружева из мрамора, — тогда еще сильнее ощущаешь всю мощь этого времени, сумевшего даже камнем овладеть настолько, что он является нам почти в призрачном одухотворении, так что и этот твердейший материал становится выразителем христианского спиритуализма.

Но искусства только зеркало жизни, и, померкнув в жизни, католичество отзвучало и выпало также в искусстве. В период реформации постепенно стала исчезать в Европе католическая поэзия, и мы видим, как, заступая ее место, вновь оживает давно умершая греческая поэзия. Это, конечно, была лишь искусственная весна, создание садовника, а не солнца, и деревья и цветы сидели в тесных кадках, и стеклянное небо охраняло их от холода и северного ветра.

Не всякое событие во всемирной истории есть непосредственный результат другого; скорее, все события связаны взаимной обусловленностью. Любовь к Греции и стремление подражать ей распространились у нас отнюдь не исключительно благодаря греческим ученым, переселившимся к нам после падения Византии; одновременно с этим уже зашевелился дух протеста как в области искусства, так и в жизни. Лев X, пышный Медичи, был таким же ревностным протестантом, как и Лютер; и, как в Виттенберге протестовали латинской прозой, так в Риме языком протеста были камень, краска и *ottave rime*. Разве могучие мраморные изваяния Микель Анджело, смеющиеся лица нимф Джулио Романо и упоенное жизнью веселье в стихах маэстро Лодовико не являются протестующей противо-

положностью старчески угрюмому, изможденному католичеству? Итальянские художники полемизировали с поповством, пожалуй, гораздо успешнее, чем саксонские теологи. Цветущее тело на картинах Тициана — ведь это сплошное протестантство. Бедрa его Венеры — это тезисы, гораздо более убедительные, чем те, которые были прибиты немецким монахом на дверях виттенбергской церкви. Казалось, люди почувствовали себя вдруг освобожденными от тысячелетних оков; в особенности свободно вздохнули художники, когда как бы рассеялся душивший их христианский кошмар; с энтузиазмом ринулись они в море греческой жизнерадостности, из пены которого вновь подымались пред ними богини красоты; живописцы вновь рисовали амброзиальную радость Олимпа; со старым увлечением скульпторы вновь высекали из мраморных глыб героев древности; поэты вновь воспевали дом Атрея и Лая; начался период новоклассической поэзии.

Подобно тому как современная жизнь приняла наиболее совершенную форму во Франции при Людовике XIV, так и неоклассическая поэзия получила именно здесь полную законченность, пожалуй, даже самобытную оригинальность. Благодаря политическому влиянию великого короля эта неоклассическая поэзия распространилась по остальной Европе; в Италии, которой она была уже издавна свойственна, она получила французскую окраску; с анжуйской династией прибыли в Испанию и герои французской трагедии; они перебрались в Англию с мадам Генриэттой, и мы, немцы, само собой разумеется, также воздвигли наши неуклюжие храмы во славу напудренного версальского Олимпа. Знаменитейшим верховным жрецом в них был Готшед, пресловутый великий парик с косицей, так превосходно изображенный нашим дорогим Гете в его воспоминаниях.

Лессинг был литературным Арминием, освободившим наш театр от этого господства иноземцев. Он раскрыл нам все ничтожество, смехотворность, безвкусицу этих

подражаний французской драме, которая в свою очередь как будто и сама была подражанием греческой. Однако не только его критика, но и его собственные художественные произведения сделали его основателем новой самобытной немецкой литературы. Ко всем направлениям духа, ко всем сторонам жизни приглядывался этот человек воодушевленно и бескорыстно. Искусством, богословием, археологией, поэзией, театральной критикой, историей — всем занимался он с тем же пылом и во имя той же цели. Все его произведения живет все та же великая социальная идея, тот же прогресс гуманности, та же религия разума, Иоанном-предтечей которой он был, и Мессию которой мы продолжаем ожидать. Эту религию он проповедывал всегда, но часто, увы, в полном одиночестве и в пустыне. Не было у него к тому же и искусства превращать камень в хлеб; большую часть своей жизни он провел в нужде и мытарствах; это проклятие, бременем лежащее почти на всех великих умах Германии, будет, быть может, снято лишь политическим освобождением. Политика захватывала Лессинга больше, чем предполагали — свойство, которого мы совершенно не находим у его современников; лишь теперь нам ясно, что он имел в виду, изображая деспотию мелких князьков в «Эмилии Галотти». В свое время он считался только поборником свободы совести и борцом против клерикальной нетерпимости, ибо его богословские сочинения встречали уже большее понимание. Орывки «О воспитании рода человеческого», переведенные на французский язык Эженом Родригом, могут, пожалуй, дать французам представление о широком размахе ума Лессинга. Наибольшее влияние на искусство оказали два его критические труда — «Гамбургская драматургия» и «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии». Замечательные его пьесы: «Эмилия Галотти», «Минна фон-Барнгельм» и «Натан Мудрый».

Готтольд-Эфраим Лессинг родился в Каменце в Лузации 22 января 1729 года и умер в Брауншвейге 15 фев-

раля 1781 года. Это был цельный человек, который, ниспровергая своей полемикой старое, в то же время сам творил новое и лучшее. «Он был подобен, — говорит один немецкий писатель, — тем набожным евреям, которые во время сооружения второго храма, часто тревожимые врагами, одной рукою боролись с ними, а другою продолжали строить храм». Здесь не место распространяться о Лессинге; но не могу не заметить, что во всей истории литературы это мой самый любимый писатель. Упомяну еще об одном писателе, действовавшем в том же духе и с тою же целью и могущем называться ближайшим преемником Лессинга; здесь, правда, не место и для его оценки, да и вообще он занимает в истории литературы совершенно обособленное положение, и его отношение к его времени и современникам все еще не может быть установлено с определенностью. Это Иоганн-Готфрид Гердер, родившийся в 1744 году в Морунгене в Восточной Пруссии и умерший в Веймаре в Саксонии в 1803 году.

История литературы это большой морг, где всякий отыскивает покойников, которых любит или с которыми состоит в родстве. Когда среди великого множества ничтожных трупов я вижу здесь Лессинга или Гердера с их величавыми человеческими лицами, мое сердце бьется сильнее. Как могу я пройти мимо, не коснувшись легким поцелуем ваших бледных губ!

Несмотря, однако, на то, что мощным напором Лессинг разрушил подражание французскому лжеэллинизму, сам он все же именно своим указанием на подлинные художественные создания эллинской древности дал некоторым образом толчок новому виду келепых подражаний. Своими выступлениями против религиозного суеверия он даже содействовал тому трезвенному «просвещенству», которое получило широкое распространение в Берлине и имело главного своего выразителя в покойном Николаи и свой арсенал во «Всеобщей немецкой библиотеке». Ничтожнейшая посред-

ственность поднялась тут отвратительнее, чем когда-либо, и все нелепое и пустое надулось, как лягушка в басне.

Ошибочно было бы мнение, будто Гете уже появившийся в это время, сразу же получил всеобщее признание. Его «Гец фон-Берлихинген» и «Вертер» были приняты с восторгом, но такой же прием имели сочинения зауряднейших кропотелей, и Гете был отведен в храме литературы лишь маленький угол. Только «Гец» и «Вертер», как я сказал, были приняты публикой с восторгом, но скорее из-за сюжета, чем из-за их художественных достоинств, оценить которые не сумел никто. «Гец» был драматизированный рыцарский роман, какие пользовались успехом в это время. В «Вертере» видели только обработку действительного происшествия, а именно истории юного Ерузалема, юноши, покончившего с собой из-за любви, что в тогдашнем глубоком затишьи наделало много шуму; проливая слезы, читали его трогательные письма; проникательно замечали, что манера, с которою Вертер был удален из дворянского общества, усилила его отвращение к жизни; вопрос о самоубийстве усугубил толки по поводу книги; нескольким дуракам пришло в голову тоже уже заодно пустить и себе пулю в голову. Книга своим сюжетом произвела впечатление взрыва. Но романы Августа Лафонтена читались с такою же охотой, и так как он писал безостановочно, то прославился больше, чем Вольфганг Гете. Великим поэтом того времени был Виланд, соперничать с которым в поэзии мог разве лишь берлинский одописец г. Рамлер. Благоговейно был почитаем Виланд, более, чем когда-либо Гете. В театральной области царили Ифланд со своими слезливо-мещанскими драмами и Коцебу с пошлым остроумием своих фарсов.

Против этой-то литературы и поднялась в последние годы прошлого столетия в Германии школа, которую мы назвали романтической и в качестве руководителей которой представились нам гг. Август-Вильгельм и

Фридрих Шлегели. Иена, где временами проживали оба брата совместно со многими единомышленниками, была средоточием, откуда распространялась новая эстетическая доктрина. Я говорю «доктрина», потому что школа эта начала с оценки художественных произведений прошлого и с рецепта для изготовления художественных произведений будущего. В обоих этих направлениях шлегелевская школа может похвалиться большими заслугами в области эстетической критики. В оценке уже существующих художественных произведений раскрывались их недостатки и погрешности или освещались их достоинства и красоты. В полемике, в этом выяснении недостатков и погрешностей в искусстве, гг. Шлегели были целиком подражателями старого Лессинга, они завладели его большим боевым мечом; однако рука г. Августа-Вильгельма Шлегеля была слишком изнеженно-бессильна, а глаз его брата Фридриха слишком мистически-затуманен, чтобы один мог разить так мощно, а другой так метко, как Лессинг. Но в критике, которая дает репродукцию художественных произведений и наглядно выявляет их красоты, где важна тонкость чутья, схватывающая его своеобразие и где это своеобразие подлежит разъяснению, там гг. Шлегели решительно выше старого Лессинга. Но что мне сказать об их рецептах для изготовления совершенных произведений искусства? Здесь гг. Шлегели обнаружили бессилие, которое, пожалуй, встречается и у Лессинга. Насколько Лессинг силен в отрицании, настолько он слаб в утверждениях, редко умея установить принцип и еще реже — принцип правильный. Ему недостает твердой почвы определенной философской школы, недостает философской системы. У гг. Шлегелей это проявляется в еще более безнадежной степени. Болтают разное о влиянии фихтевского идеализма и шеллинговой натурфилософии на романтическую школу, которую даже целиком выводят из них. Но я нахожу здесь разве лишь влияние некоторых обрывков мыслей Фихте и Шеллинга, а никак не

влияние какой-либо философии. Однако г. Шеллинг, преподававший тогда философию в Иене, конечно, оказал большое личное влияние на романтическую школу; ведь он, что неизвестно во Франции, в некоторой степени также поэт и, говорят, еще колеблется, не опубликовать ли ему все свое философское учение в поэтическом, и даже в стихотворном виде. Такое колебание характеризует этого человека.

Если, однако, гг. Шлегели, давая поэтам своей школы заказ на создание высоких художественных произведений, не могли для этого предложить никакой определенной теории, то они заполняли этот пробел, восхваляя в качестве образца и делаая доступными своим ученикам лучшие произведения искусства прошлого. Это были, главным образом, создания христианско-католического искусства средних веков. Перевод Шекспира, который стоит на рубеже этого искусства, с протестантской ясностью улыбается уже нашей новой эпохе; этот перевод имел исключительно полемические цели, обсуждение которых слишком отвлекло бы нас в сторону. К тому же этот перевод был предпринят г. А.-В. Шлегелем в годы, когда увлечение не привело еще всех назад, в глубь средневековья. Впоследствии, когда это произошло, был переведен Кальдерон и превознесен много выше Шекспира; ведь у него поэзия средневековья оказалась выраженной в наиболее чистом виде, и как раз в обеих основных ее стихиях — рыцарстве и монашестве. Благочестивые комедии кастильского священника-поэта, у которого поэтические цветы окроплены святой водой и окурены ладаном, сделались теперь предметом подражания со всей их церковной торжественностью, со всею их жреческой пышностью, со всеми их сакраментальными юродствами; и вот, в Германии начался расцвет этих крикливо-набожных, глуповато-бессмысленных драм, где мистически влюблялись, как в «Поклонении кресту», или сражались во славу богоматери, как в «Стойком принце»; и Цахариас Вернер пошел в этом так далеко, как только можно идти, не

подвергаясь опасности угодить по приказу начальства в сумасшедший дом.

Поэзия наша дряхла, говорили гг. Шлегели; наша муза — старуха с прялкой, наш Амур не светлокудрый мальчуган, а морщинистый, седой карлик, наши чувства исчахли, фантазия высохла: нам необходимо освежиться, необходимо вновь отыскать засыпанные родники наивной простодушной поэзии средневековья; отсюда брызжет нам навстречу омолаживающая струя. И сухая, трезвая публика не потребовала повторения этих слов; особенно злосчастные пересохшие глотки, сидевшие в бранденбургских песках, вздумали вновь расцвести и помолодеть, и они ринулись к этим чудодейственным источникам, и пили, и хлебали, и глотали с беспредельной жадностью. Но с ними случилось то же, что со старой горничной, о которой рассказывают следующее: она заметила, что у ее хозяйки есть чудотворный эликсир, возвращающий молодость; в отсутствии хозяйки она взяла с ее туалетного стола пузырек с этим напитком. Вместо того, однако, чтобы принять несколько капель, она сделала такой основательный глоток, что от чрезмерной волшебной силы омолаживающего напитка не только просто помолодела, но обратилась в маленького ребенка. Поистине, как раз то же самое произошло с нашим превосходным г-ном Тиком, одним из лучших поэтов школы; он так перепился народными книгами и стихотворениями средних веков, что почти впал в детство и снизился до той лепечущей наивности, восхищение которою так трудно досталось г-же Сталь. Она сама признается, что курьезным кажется ей, когда действующее лицо драмы начинает монологом, открывающимся словами: «Я — достопочтенный Бонифаций, и я пришел сказать вам» и т. д.

Г. Людвиг Тик в романе «Странствия Штернбальда» и в изданных им «Сердечных излияниях монаха, любителя искусств», написанных неким Вакенродером, рекомендовал грубые, наивные зачатки искусства

в качестве образцов также и художникам-пластикам. Он советовал подражать благочестивости и детскому простодушию этих произведений, проявляющимся в технической беспомощности. Рафаэля совершенно отбрасывали, его учителя Перуджино едва признавали. Последнего ценили несколько выше, так как у него открывали остатки тех красот, пышному изобилию которых благоговейно изумлялись в бессмертных творениях фра Джованни-Анжелико да-Фиезоле. Чтобы составить понятие о вкусе тогдашних энтузиастов искусства, надо побывать в Лувре, где висят еще лучшие картины мастеров, окруженных в ту пору безусловным преклонением; а чтобы составить себе понятие о великом множестве поэтов, подражавших во всевозможных стихотворных размерах произведениям средневековой поэзии, надо побывать в шарантонском сумасшедшем доме.

На мой взгляд, впрочем, и эти картины в первом зале Лувра все еще слишком изящны, чтобы по ним можно было составить понятие о тогдашнем художественном вкусе. Надо вообразить себе эти староитальянские картины в старонемецком переводе. Ибо произведения старинных немецких художников считались еще гораздо более наивными и простодушными и, следовательно, еще более достойными подражания, чем староитальянские. Ибо ведь немцам — таково было убеждение — их Gemüt (слово, не имеющее соответственного на французском языке) дает возможность понять христианство глубже других народов, и Фридрих Шлегель со своим другом г. Иосифом Герресом копались в старых городах по Рейну, разыскивая там остатки старинных немецких картин и статуй, ставших предметом слепого преклонения наряду со священными реликвиями.

Я сравнил только что немецкий Парнас того времени с Шарантоном. Уверен, однако, что и здесь я был еще слишком мягок. Французское безумие далеко не так безумно, как немецкое, ибо в последнем, как сказал бы Полоний, есть система. С беспримерным педантством, с ужасающей добросовестностью, с основательностью,

о которой поверхностный французский сумасшедший не может иметь представления, совершалось это немецкое безумство.

Политическое состояние Германии особенно благоприятствовало этому христианско-старонемецкому направлению. «Нужда научает молиться», — говорит пословица, — и в самом деле, никогда нужда в Германии не была сильнее, и потому никогда народ не был более восприимчив к молитве, к религии, к христианству. Нет народа, более приверженного своим государям, чем немецкий, и невыносимейшим образом удручало немцев не столько печальное положение страны вследствие войны и чужеземного господства, сколько горестное зрелище их побежденных государей, пресмыкающихся у ног Наполеона; весь народ напоминал тех старых верных слуг в барских домах, которых унижения, выпавшие на долю их господ, удручают глубже, чем самих господ, и которые втайне проливают горчайшие слезы по поводу, например, распродажи хозяйского серебра и даже — как это достаточно трогательно изображается в старинных драмах — потихоньку трагят свои жалкие сбережения на то, чтобы на барском столе горели не мещанские сальные, а дворянские восковые свечи. Всеобщее уныние находило утешение в религии, и так зародилось пиетистское препоручение себя воле божьей, от которой только и остается ждать спасения. И в самом деле, от Наполеона не мог спасти никто, кроме господ бога. На земное воинство рассчитывать уже было нечего, — оставалось с надеждой возводить очи к небесам.

Мы спокойнейшим образом снесли бы и Наполеона. Но наши государи, при всей надежде, что бог избавит их от него, все же допускали и такую мысль, что объединенные силы их народов могли бы быть очень полезными в этом деле; для этой цели старались пробудить в немцах чувство единства, и вот даже высочайшие особы заговорили о германской национальности, об общем германском отечестве, об объединении христиан-

ско-германских племен, о единстве Германии. Нам был предписан патриотизм, и мы стали патриотами, ибо мы делаем все, что нам приказывают наши государи. Под этим патриотизмом, однако, не надо понимать чувство, носящее это имя здесь, во Франции. Патриотизм француза заключается в том, что сердце его согревается от этой теплоты, расширяется, раскрывается, так что своей любовью оно охватывает уже не только ближайших родичей, но всю Францию, всю страну цивилизации; патриотизм немца заключается, наоборот, в том, что сердце его суживается, что оно коробится, как кожа на морозе, что он ненавидит чужеземное, что он хочет уже быть не космополитом, не европейцем, а только узеньким немцем. Тут и узрели мы идеальную грубость, приведенную в систему г. Яном; началась жалкая, неуклюжая, хамская оппозиция против мировоззрения, представляющего собою высочайшее и святейшее из всего, порожденного Германией, а именно против той гуманности, против того всеобщего братства людей, против того космополитизма, поборниками которого всегда были наши великие умы — Лессинг, Гердер, Шиллер, Гете, Жан-Поль, все образованные люди Германии.

Что впоследствии затем в Германии, известно вам слишком хорошо. Когда бог, снег и казаки уничтожили лучшие войска Наполеона, получили и мы, немцы, высочайший приказ освободиться от чужеземного ига, и мы вспыхнули мужественным гневом к нашему долготерпению и рабству и воодушевились под влиянием прекрасных мелодий и плохих стихов кернеровских песен, и мы отвоевали свободу; ибо мы делаем все, что приказано нам государями.

В эпоху, когда подготовлялась эта борьба, школу, враждебно настроенную против всего французского и прославлявшую все национальное в искусстве и жизни, ждал самый пышный расцвет. Романтическая школа шла в ту пору рука об руку с стремлениями правительств и тайных обществ, и г. А.-В. Шлегель

конспирировал против Расина с теми же целями, с какими министр Штейн конспирировал против Наполеона. Школа плыла с потоком времени, а именно с потоком, возвращавшимся к своему истоку. Когда, наконец, немецкий патриотизм и немецкая национальность одержали полную победу, восторжествовала окончательно и народно-германско-христианско-романтическая школа, «новонемецкое религиозно-патриотическое искусство». Пал Наполеон, великий классик, столь же классический, как Александр и Цезарь, и гг. Август-Вильгельм и Фридрих Шлегели, маленькие романтики, столь же романтические, как «Мальчик с пальчик» и «Кот в сапогах», победоносно подняли голову.

Но и здесь не замедлила наступить реакция, неизменно следующая за всякими крайностями. Как спиритуалистическое христианство было реакцией против грубого господства римско-имперского материализма, как в пробужденной любви к жизнерадостному греческому искусству и науке нужно видеть реакцию против выродившегося в самое идиотическое умерщвление плоти христианского спиритуализма, как пробуждение средневековой романтики может равным образом считаться реакцией против рассудочного подражания античному, классическому искусству, — так и теперь начинается реакция против возрождения того феодально-католического мировоззрения, того рыцарства и поповства, которое проповедывалось словом и кистью, и при этом в условиях чрезвычайно странных. Дело в том, что, высоко прославляя и окружая восхищением старых художников средневековья в качестве образцов для подражания, их совершенства объясняли исключительно тем, что эти люди были проникнуты верой в предмет своего изображения, что в своей безыскусственной простоте они могли дать больше, чем позднейшие неверующие мастера, значительно опередившие их в технике, что вера сотворила в них чудо. И в самом деле, чем иным можно было объяснить

прелести какого-нибудь ф́ра Анжелико да-Фиезоле или поэму Отфрида? И вот, художники, видевшие в искусстве высокую цель, стремились воссоздать божественную неуклюжесть этих картин-чудес и священное косноязычие этих чудесных поэм-мифов — словом, всю неизъяснимую мистику старинных творений. Они решили отправиться к той же Иппокрене, в которой черпали старые мастера свое мистическое вдохновение; они отправлялись паломниками в Рим, где наместник христов должен был вновь подкреплять молоком своей ослицы чахоточное немецкое искусство; одним словом, они уходили в лоно единоспасающей римско-католической апостольской церкви. Для многих приверженцев романтической школы не потребовалось и формального перехода, они были, как, например, г. Геррес и г. Клеменс Брентано, католиками по рождению и только отреклись от свободомыслия своих прежних взглядов. Другие, однако, родились и были воспитаны в лоне протестантской церкви; таковы были, например, Фридрих Шлегель, г. Людвиг Тик, Новалис, Вернер, Шютц, Карове, Адам Мюллер и т. д., и их переход в католичество требовал публичного акта. Я назвал здесь только писателей; число художников, толпами отрекавшихся от евангелического вероисповедания и разума, было гораздо больше.

Увидав, как эти молодые люди выстроились в очередь перед римской церковью, протискиваясь к входу в старую темницу мысли, откуда отцы их освободились с таким усилием, в Германии с великой тревогой показывали головой. Но когда стало очевидным, что здесь орудует пропаганда попов и дворянчиков, состоящих в заговоре против религиозной и политической свободы Европы, что это иезуиты сладкими тонами романтики столь губительно заманивают немецкую молодежь — как некогда легендарный крысолов заманивал гамельнских детей, то среди поборников свободы духа и протестантства в Германии вспыхнуло великое негодование и пламенный гнев.

Я назвал рядом свободу духа и протестантство; хотя я в Германии принадлежу к протестантской церкви, но надеюсь, что меня не обвинят в партийном пристрастии к ней. Право, я без всякой партийности назвал рядом свободу духа и протестантство; и в самом деле, между ними есть в Германии дружественная связь. Они, во всяком случае, родственны, родственны, как мать и дочь. Несмотря на то что протестантской церкви ставят в упрек ее злополучную узость воззрений, необходимо все же к бессмертной ее славе признать, что, разрешив свободное исследование в христианском вероучении и освободив умы от ига авторитета, она дала возможность свободному исследованию вообще пустить корни в Германии и науке — развиваться самостоятельно. Немецкая философия, несмотря на то что она теперь ставит себя рядом с протестантской церковью и даже выше нее, является все же лишь ее дочерью; это всегда обязывает ее относиться к матери с бережной почтительностью, и интересы родства побудили их заключить союз, когда обeim стал угрожать общий их враг — иезуитство. Все сторонники свободы мысли и протестантской церкви, как скептики, так и ортодоксы, разом восстали против воскресителей католичества; и, само собой разумеется, либералы, которых занимали собственно не интересы философии или протестантской церкви, но интересы политической свободы, также примкнули к этой оппозиции. Но в Германии до сих пор либералы были одновременно школьными философами и богословами, и, заняты ли они вопросами чисто политическими, философскими или богословскими, они всегда отстаивают все ту же идею свободы. Это легче всего проследить на человеке, подрывавшем романтическую школу уже при возникновении ее, а теперь более всех содействовавшем ее ниспровержению. Это — Иоганн-Генрих Фосс.

Этот писатель совершенно неизвестен во Франции, а между тем мало кому немецкий народ больше обязан своим развитием, чем ему. После Лессинга он, быть

может, величайший гражданин в немецкой литературе. Это, во всяком случае, был большой человек, заслуживающий не только простого упоминания.

Биография этого человека есть почти общая биография всех немецких писателей старой школы. Он родился в 1751 году в Мекленбурге от бедных родителей, учился на теологическом факультете, потом бросил богословие, когда познакомился с поэзией и греками, углубился в то и другое, давал уроки, чтобы не умереть с голоду, сделался учителем в Оттерндорфе в Гадельнском округе, переводил древних классиков и, прожив всю жизнь бедным, скромным тружеником, умер на 75-м году жизни. Среди поэтов старой школы он пользовался большим почетом; но новые романтические поэты не устали пощипывать его лавры и много издевались над старомодным честным Фоссом, который на наивном, иногда даже простонародном нижненемецком языке воспевал мелкообывательскую жизнь в низовьях Эльбы и героями своих поэм избирал не средневековых рыцарей и мадонн, а скромного протестантского пастора и его добродетельное семейство; он был так здоров, так буржуазно прост и так естественен, между тем как они, эти новейшие трубадуры, были сомнамбулически-болезненны, рыцарски-важны и гениально-неестественны. Каким невыносимым должен был казаться он восторженному певцу распутно-романтической «Люцинды», Фридриху Шлегелю, этот трезвенный Фосс с его целомудренной «Луизой» и старым, достопочтенным «Грюнауским пастором». Г. Август Шлегель, никогда не увлекавшийся распутством и католичеством так искренно, как его брат, уже гораздо лучше умел ладить со старым Фоссом, и между ними было, собственно, только соперничество в области перевода, принесшее, впрочем, большую пользу немецкому языку. Еще до возникновения новой школы Фосс перевел Гомера, затем с неслыханным прилежанием взялся за перевод также прочих поэтов языческой древности, между тем как А.-В. Шлегель переводил христианских

поэтов романтико-католического времени. Оба труда определяются скрыто полемическими целями. Фосс стремился своими переводами внедрить классические воззрения и поэзию, а г. А.-В. Шлегель старался посредством хороших переводов сделать доступными читателям христианско-романтических поэтов, с целью подражания и просвещения. Антагонизм проявлялся даже в формах языка обоих переводчиков. В то время как г. Шлегель, шлифуя свои слова, делал их все слащавее и манернее, Фосс становился в своих переводах все жестче и грубее; позднейшие переводы его с нарочитыми шероховатостями почти неудобопроизносимы, и если на блестяще натертом скользком палисандровом паркете шлегелевских стихов легко было поскользнуться, то столь же легко спотыкался читатель о стихотворные мраморные глыбы старика Фосса. Наконец, Фосс из соперничества взялся и за Шекспира, которого г. Шлегель так превосходно перевел в первом периоде своей деятельности; но тут пришлось очень плохо старому Фоссу и еще хуже его издателю; перевод оказался совершенно неудачным. Где г. Шлегель переводит, быть может, слишком мягко, где стихи его подчас похожи на взбитые сливки, так что, поднося их ко рту, не знаешь, есть их или пить, там Фосс жесток как камень, и боишься, произнося его стихи, сломать себе челюсть. Но более всего отличала Фосса та мощь, с которою он преодолевал все трудности; а он боролся не только с немецким языком, но и с иезуитски-аристократическим чудовищем, высунувшим в ту пору свою отвратительную голову из сумрачной чащи немецкой литературы, и Фосс нанес ему здоровенную рану.

Г. Вольфганг Менцель, немецкий литератор, известный в качестве одного из ожесточеннейших противников Фосса, называет его нижнесаксонским мужиком. Вопреки оскорбительному намерению, это название очень метко. Фосс в самом деле был нижнесаксонским мужиком, как был им Лютер; не было в нем ничего рыцарского, ничего куртуазного, ничего грациозного;

он целиком принадлежал тому грубо-кряжистому мужественному племени, среди которого пришлось внедрять христианство огнем и мечом и которое лишь после трех поражений в боях покорилось новой вере; однако оно все еще сохраняет в своих нравах и обычаях великую долю североязыческого упорства и в своих боях, материальных и духовных, является столь же храбрым и непреклонным, как его старые боги. Прямо скажу, — когда я рассматриваю Иоганна-Генриха Фосса в его полемике и во всем его существе, то я как будто вижу перед собой самого старого одноглазого Одина, который, покинув свой замок Асгард, сделался учителем в Оттерндорфе, в Гадельнском округе, и обучает там белокурых гольштинцев латинским склонениям и христианскому катехизису, который в часы досуга переводит на немецкий язык греческих поэтов и занимается у Тора молот для сколачивания немецких стихов, а под конец, раздраженный утомительной работой, подымает молот и обрушивает его на голову бедного Фрица Штольберга.

Это была замечательная история. Граф Фридрих фон-Штольберг был поэт старой школы, весьма прославленный в Германии, быть может не столько благодаря своим поэтическим дарованиям, сколько благодаря графскому титулу, значившему в те времена в немецкой литературе гораздо больше, чем теперь. Но Фриц Штольберг был либеральный человек с благородным сердцем, и он был другом тех молодых бюргеров, которые основали в Геттингене поэтическую школу. Советую французским литераторам познакомиться с предисловием к стихотворениям Гельги, где Иоганн-Генрих Фосс изобразил идиллическое сожительство союза поэтов, к которому принадлежали он с Фрицем Штольбергом. В конце концов из всего молодого поэтического кружка в живых остались только они двое. И вот, когда Фриц Штольберг торжественно перешел в католичество, отрекся от разума и любви к свободе и обратился в поборника обскурантизма, соблазняя своим высоким примером многих слабых духом, — тогда Иоганн-Генрих

Фосс, семидесятилетний старик, публично выступил против своего друга юности, бывшего в столь же преклонном возрасте, и написал книжку под заглавием «Как Фриц Штольберг сделался рабом». Он проанализировал здесь всю его жизнь и показал, как аристократическая природа, настороженно затаившись, скрывалась всегда в побратавшемся с ним графе; как она все явственнее обнаруживалась вслед за событиями французской революции; как Штольберг тайно примкнул к так называемой «Дворянской цепи», вознамерившейся противодействовать французским освободительным началам; как эти дворяне вступили в союз с иезуитами; как предполагалось посредством восстановления католичества содействовать и дворянским интересам; как вообще добивались возрождения христианско-католического феодального средневековья и уничтожения протестантской свободы мысли и буржуазной гражданской ответственности. Немецкая демократия и немецкая аристократия, с такой юношеской непосредственностью братавшиеся до времен революции, когда одна ни на что еще не надеялась, а вторая ничего не опасалась, став старцами, стояли теперь друг против друга и бились насмерть.

Часть немецких читателей, не уразумевшая значения и жестокой необходимости этой борьбы, осуждала бедного Фосса за безжалостное разоблачение домашних дел, мелких житейских происшествий, которые, однако, в своей совокупности представляли убедительное целое. И здесь тоже, конечно, нашлись так называемые возвышенные души, которые со всей величавостью разглагольствовали о жалком копании в мелочах и обличали бедного Фосса в страсти к сплетням. Другие, мещане, встревоженные как бы когда-нибудь не была отдернута завеса с их собственного убожества, вопили о нарушении почтенной литературной традиции, строго возбраняющей всякие личные намеки, всякие разоблачения частной жизни. Когда же вскоре затем Фриц Штольберг умер, и считали, что умер от огорчения, а после его

кончины появилась даже «Книжка любви», где он в святошески-христианском всепрощающем, подлинно иезуитском тоне говорил о бедном ослепленном друге, — тогда хлынули слезы немецкого сострадания, ручьем заплакал немецкий Михель, против бедного Фосса накопилось много мягкосердечной ярости; главную долю ругательств получил он от тех самых людей, за духовное и светское спасение которых он боролся.

В Германии вообще можно рассчитывать на сострадание и слезные железы толпы, когда тебе в полемике хорошо намнут бока. Немцы похожи тогда на старых баб, которые ни за что не упускают случая поглазеть на казнь, протискиваются здесь вперед в ряды самых любопытных зрителей, а при виде осужденного и его страданий горько режут и даже защищают его. Но эти плакальщицы, так жалостно рыдающие при литературных экзекуциях, были бы чрезвычайно огорчены, если бы осужденный, порки которого они как раз ожидали, вдруг был бы помилован и им пришлось бы, ничего не повидав, вновь потащиться домой. В таких случаях их возросшая ярость обращается на того, кто обманул их ожидания.

Тем не менее выступление Фосса произвело на публику громадное впечатление и разрушило обуявшую общество тягу к средневековью. Полемика привела Германию в возбуждение, значительная часть публики объявила себя безусловной сторонницей Фосса, еще более значительная, однако, стояла лишь за его дело. Посылались статьи и возражения, и последние дни старика не в малой степени были отравлены этой склокой. Ему пришлось иметь дело с самыми скверными противниками, с попами, нападавшими на него под всякими масками. Не только тайные католики, но и пиэтисты, квиэтисты, лютеранские мистики, словом все супранатуралистические секты протестантской церкви, в своей среде разделяемые столь различными воззрениями, объединились все же в равно бешеной ненависти к Иоганну-Генриху Фоссу, рационалисту. Последним

названием обозначают в Германии людей, признающих права разума и в религии, в противоположность к супранатуралистам, в большей или меньшей степени отказавшихся здесь от познания посредством разума. Последние в своей ненависти к бедным рационалистам похожи на сумасшедших в сумасшедшем доме, которые, будучи безумными совершенно по-разному, все же сносно уживаются друг с другом, но с жесточайшим озлоблением относятся к тому человеку, которого считают своим общим врагом и который есть не кто иной, как психиатр, старающийся вернуть им разум.

Если, таким образом, разоблачение католических происков надорвало положение романтической школы в общественном мнении, то одновременно над ней было произнесено уничтожительное осуждение в ее собственном храме, и произнесено устами одного из богов, ею самую там воздвигнутых, а именно: сам Вольфганг Гете сошел с пьедестала и изрек обвинительный приговор Шлегелям, тем самым верховным жрецам, которые кадили ему столь усердно. Этот голос разогнал все наводнение; призраки средневековья разлетелись; совы вновь попрятались в сумрачных развалинах замков; воронье вновь унеслось на свои старые колокольни; Фридрих Шлегель перебрался в Вену, где ежедневно бывал у обедни и ел жареных каплунов по-венски; г. Август-Вильгельм Шлегель удалился в пагоду Браммы.

Откровенно сказать, Гете играл в это время весьма двусмысленную роль и никак не заслуживает безусловного одобрения. Правда, гг. Шлегели никогда по отношению к нему не были честны; быть может, лишь потому что в их полемике против старой школы им необходимо было выставить в качестве образца также живого поэта, а более подходящего, чем Гете, они не нашли, они, к тому же в расчете на его литературную поддержку, воздвигли ему алтарь и воскуряли фимиам и заставляли народ преклонять пред ним колени. Он вдобавок был таким близким их соседом. Из Иены

в Веймар ведет аллея прекрасных деревьев, на которых растут сливы, очень вкусные, особенно когда на солнечном припеке томит жажда; и по этой дороге очень часто ходили Шлегели и не раз беседовали в Веймаре с г. тайным советником фон-Гете, который всегда был большим дипломатом и спокойно слушал Шлегелей, одобрительно улыбался, иногда приглашал их к своему столу, случалось, что оказывал им и другие любезности и т. д. Они подбিরались и к Шиллеру, но тот был человек прямой и не пожелал иметь с ними дела. Переписка между ним и Гете, появившаяся три года назад, бросает свет на отношение обоих поэтов к Шлегелям. Гете свысока посмеивается над ними, Шиллер возмущен их наглой жаждой скандала, их манерой привлекать внимание посредством скандала, и он называет их «балбесами».

Сколько бы, однако, ни важничал Гете, тем не менее значительнейшей долей своей известности он обязан Шлегелям. Они ввели изучение его произведений и способствовали ему. Оскорбительная надменность, с которой он в конце концов отмахнулся от них, очень отдает неблагодарностью. Быть может, однако, проницательного Гете раздражило то, что Шлегели хотели лишь воспользоваться им как средством для своих целей; быть может, эти цели грозили скопрометировать его, министра протестантского государства, быть может даже, что в нем проснулся древний гнев языческого бога при виде темных католических происков: в противоположность Фоссу, который напоминал мрачного одноглазого Одина, Гете своим внешним обликом и взглядами был подобен Юпитеру. Тому, правда, пришлось хорошенько ударить молотом Тора; этому достаточно было сердито потрясти головой и умашенными амброзией кудрями — и Шлегели содрогнулись и уползли. Печатный документ этого порицания со стороны Гете появился во втором выпуске его журнала «Искусство и античность» под заглавием «О христианско-патриотическом новонемецком искусстве». Этой статьей

Гете произвел как бы свое 18 брюмера в немецкой литературе. Ибо, сурово изгнав из храма Шлегелей, привлекая лично к себе многих из их ревностнейших приверженцев, при общем одобрении публики, которой давно опротивела шлегелевская директория, он установил свое самодержавие в немецкой литературе. С этого часа не было больше речи о гг. Шлегелях; лишь изредка вспоминали о них, как вспоминают еще теперь иногда о Барра или Гоёе; кончились разговоры о романтизме и классической поэзии, речь шла о Гете — и только о Гете. Правда, за эти годы выступили на сцену некоторые поэты, силой и воображением не многим ему уступавшие, но они куртуазно признали его своим главой, окружили его поклонением, целовали у него руку, преклонялись пред ним колени; эти парнасские гранды отличались, однако, от толпы тем, что имели право и в присутствии Гете оставаться в лавровых венках. Иногда они фрондировали против него, но исполнялись негодованием, когда кто-либо не столь знатный тоже осмеливался ругнуть Гете. Как бы ни были злы аристократы на своего суверена, они все же возмущаются, когда чернь тоже восстает против него. А умственные аристократы в Германии в продолжение последних двух десятилетий имели очень основательные причины быть недовольными Гете. Как сам я в то время открыто высказал с достаточной горечью: Гете уподобился Людовику XI, который принижал высшее дворянство и возвышал *tiers état* *.

Это было несносно. Гете боялся всякого самостоятельного, оригинального писателя и славил и восхвалял всякую ничтожную умственную мелкоту; он зашел в этом так далеко, что в конце концов похвала от Гете считалась патентом на посредственность.

В дальнейшем я еще поговорю о новых поэтах, выступивших в период гетевской империи. Это молодой лес, стволы которого обнаруживают свою высоту лишь

* третье сословие.

теперь, с тех пор как рухнул столетний дуб, так размахисто покрывавший и осенявший их своими ветвями.

Как я сказал, не было недостатка в оппозиции, ожесточенно восставшей против этого могучего дерева, против Гете. Люди противоположнейших воззрений объединялись в этой оппозиции. Староверы, ортодоксы были раздражены тем, что в стволе этого лесного великана не было дупла с образом святого, что даже языческие дриады нагишом резвились среди его ветвей в колдовских игрищах, и эти люди охотно подрубили бы, подобно св. Бонифацию, священной секирой этот старый волшебный дуб. Поборники новой религии, приверженцы либерализма, наоборот, были раздражены тем, что это дерево нельзя обратить в дерево свободы и уж никак невозможно употребить на баррикаду. И действительно, дерево было слишком высоко, невозможно было посадить на его макушку красную шапку, а под ним плясать карманьолу. Но широкая масса чтила это дерево именно потому, что оно было так самобытно-прекрасно, что так упоительно наполняло оно весь мир своим благоуханием, что с таким великолепием простирались его ветви до самого неба, так что звезды казались лишь золотыми плодами исполинского чудесного дерева.

Оппозиция против Гете начинается, собственно, с появления так называемых «поддельных годов странствия», под заглавием «Годы странствий Вильгельма Мейстера», изданных Готфридом Бассе в Кведлинбурге в 1821 году, то есть вскоре после падения Шлегелей. Под этим именно заглавием Гете анонсировал выход в свет продолжения «Годов учения Вильгельма Мейстера», и по странному случаю продолжение это появилось одновременно с этим литературным двойником, где не только перенята была манера Гете, но в качестве действующего лица выступал герой гетевского романа. Это подражание свидетельствовало не столько о великом уме, сколько о великой ловкости, и любопытство публики было еще искусственно повышено тем, что

автор сумел сохранить некоторое время аноним, и все старания дознаться, кто он, были напрасны. Наконец выяснилось, что сочинителем является доселе неизвестный деревенский пастор, по фамилии Пусткухен, что по-французски значит *omelette soufflée* * — название, определяющее и все его существо. Эта книга была не что иное, как старое пизетистское кислое тесто, теперь эстетически раздувшееся. Здесь Гете предъявлялись обвинения в том, что его произведениям чужды моральные цели; что он неспособен создавать благородные образы, но лишь вульгарные фигуры; что, наоборот, Шиллер изображает идеально-благороднейшие характеры и потому он как поэт выше Гете.

Последнее, а именно то, что Шиллер выше Гете, и было главным предметом спора, вызванного этой книгой. Всех обуяла мания сравнивать создания обоих поэтов, и мнения разделялись. Сторонники Шиллера выдвигали нравственную привлекательность таких образов, как Макс Пикколомини, Текла, маркиз Поза и прочие герои шиллеровского театра, объявляя, напротив, таких героинь Гете, как Филина, Гретхен, Клерхен и подобные прелестные создания, безнравственными особами. Сторонники Гете с улыбкой замечали, что в этих женщинах, равно как в героях Гете, едва ли можно видеть воплощение морали, но что укрепление нравственности, которого требуют от произведений Гете, ни в коем случае не является целью искусства: ибо искусство не имеет никаких целей, подобно самому мирозданию, в которое лишь человеческая мысль вкладывает понятия «цель и средства»; искусство, как и вселенная, существует ради самого себя, и подобно тому как вселенная остается вечно неизменной, хотя в суждениях о ней воззрения людей меняются беспрестанно, так и искусство должно оставаться независимым от преходящих взглядов человеческих; поэтому особенно искусство должно оставаться независимым от морали,

* дутая яичница

которая всегда меняется на сей земле, меняется всякий раз, когда возникает новая религия и вытесняет старую. В самом деле, так как всякий раз по прошествии ряда столетий неизменно возникает новая религия и вследствие ее внедрения в нравы водворяется новая мораль, — то каждая эпоха должна была бы объявить еретически-безнравственными художественные произведения прошлого, если бы они оценивались по масштабу переходящей морали. Действительно, как приходилось уже нам видеть, добрые христиане, осуждающие плоть, как нечто дьявольское, всегда возмущались видом изваяний греческих богов; целомудренные монахи подвизывали античной Венере передничек, даже в наше время прикрывают смехотворным фиговым листочком наготу статуй; один благочестивый квакер пожертвовал все свое состояние на то, чтобы скупать и сжигать прекраснейшие мифологические картины Джулио Романо — поистине, он достоин быть за это вознесенным на небо и подвергаться там ежедневному сечению розгами. Если бы возникла религия, полагающая бога исключительно в материи и потому обожающая только плоть, то, перейдя в нравы, она породила бы мораль, одобрения которой удостаивались бы лишь те художественные произведения, в которых возвеличивается плоть, и, наоборот, создания христианского искусства, изображающие лишь ничтожество плоти, должны были бы быть осуждены как безнравственные. Да, художественные произведения, считающиеся в одной стране нравственными, рассматриваются как безнравственные в другой стране, где в нравах укоренилась другая религия, так, например, наши изобразительные искусства вызывают отвращение в правоверном мусульманине, и, наоборот, некоторые искусства, считающиеся совершенно невинными в восточном гареме, ужасают христианина. Так как нравы индусов не видят в промысле баядерки ничего позорящего, то драма «Васантасена», героиня которой продажная жрица любви — совершенно не считается безнрав-

ственной в Индии; а между тем, если бы эту пьесу осмелились поставить в Théâtre Français, весь партер закричал бы о безнравственности, тот самый партер, который ежедневно с удовольствием смотрит запутанные пьесы, где героинями выступают молодые вдовы, в финале весело выходящие замуж, вместо того чтобы, согласно требованию индусской морали, окончить жизнь на костре вместе со своими умершими мужьями.

Исходя из такого взгляда, сторонники Гете рассматривают искусство как независимый второй мир, который они ставят так высоко, что вся деятельность людей, их мораль, их религия, в смене и неустойчивости проходят под ним. Я не могу, однако, безусловно принять этот взгляд; он привел гетеанцев к тому, что они, провозгласив самое искусство наивысшим началом, отвергают требования того первого, действительного мира, которому все-таки принадлежит первенство.

Шиллер стал на сторону этого первого мира с гораздо большей определенностью, чем Гете, и в этом отношении мы должны воздать ему хвалу. Дух его времени со всей живостью захватил Фридриха Шиллера, он боролся с ним, он был им побежден, он пошел за ним в бой, он нес его знамя, и знамя это было то самое, под которым с таким воодушевлением сражались и по ту сторону Рейна и за которое мы попрежнему готовы проливать нашу лучшую кровь. Шиллер писал во имя великих идей революции, он разрушал Бастилии мысли, он участвовал в сооружении храма свободы, — того величайшего храма, который, как единая братская община, должен охватить все народы; он был космополит. Он начал с той ненависти к прошлому, которую мы видим в «Разбойниках», где он похож на маленького титана, что, убежав из школы и хлебнув водки, бьет стекла у Юпитера; он кончил той любовью к будущему, которая, подобно целому лесу цветов, распускается уже в «Дон Карлосе», и сам он — тот маркиз Поза, одновременно пророк и солдат, всегда готовый сразиться за то, что сам проповедует, и носящий под испанским

плащом лучшее сердце, какое когда-либо любило и страдало в Германии.

Поэт, малый воссоздатель, подобен господу богу и в том, что своих героев создает по образу своему и подобию. Если поэтому Карл Моор и маркиз Поза это сам Шиллер, то Гете подобен своему Вертеру, своему Вильгельму Мейстеру, своему Фаусту, по которым можно изучать фазы его духовного развития. Если Шиллер целиком уходит в историю, восхищен общественными завоеваниями человечества и воспекает всемирную историю, то Гете погружается больше в индивидуальные чувства или в искусство или в природу. В конце концов, естественная их история должна была сделаться главным предметом занятий пантеиста Гете, и результат своих изысканий он представил не только в поэтических произведениях, но и в научных трудах. Его индифферентизм есть также результат его пантеистического мировоззрения.

Увы, это верно, — мы должны сознаться, что пантеизм нередко делал людей индифферентными. Они полагали: если все есть бог, то безразлично, чем ни заниматься, — облаками или античными резными камнями, народными песнями или обезьяньими костями, людьми или комедиантами. Но в этом-то и ошибка: не все есть бог, а бог есть все; бог не в одинаковой степени проявляется во всех вещах; напротив, он в различной степени проявляется в различных вещах, и каждая стремится подняться на более высокую ступень божественности, и это есть великий закон прогресса в природе. Открытие этого закона, с наибольшей глубиной выраженного сенсимонистами, делает теперь пантеизм мировоззрением, ведущим никак не к индифферентизму, но к самоотверженнейшему стремлению вперед. Нет, бог не проявляется во всех вещах в равной степени, как полагал Вольфганг Гете, которого это и сделало совершенным индифферентистом, занятым не высшими интересами человечества, а только игрушками искусства, анатомией, учением о цветах, ботаникой и наблюдениями над

облаками: бог проявляется в вещах в большей или меньшей степени, он живет в этом непрестанном проявлении, бог есть в движении, в действии, во времени, его священное дыхание проносится по страницам истории; она и есть подлинная книга божья; и это ощущал и чувял Фридрих Шиллер, и он стал «пророком, обращенным к прошлому», и написал «Отпадение Нидерландов», «Тридцатилетнюю войну», «Орлеанскую деву» и «Телля».

Правда, и Гете воспел несколько великих историй освобождения, но он воспел их как художник. Так как он досадливо отвергал опостылевший ему христианский энтузиазм, а философского энтузиазма нашего времени не понимал или не хотел понять — из опасения, как бы это не вырвало его из душевного спокойствия, — то он вообще трактовал энтузиазм чисто исторически, как нечто данное, как сюжет, подлежащий обработке; дух под его руками становился материей, и он облакал его в прекрасную, привлекательную форму. Так стал он величайшим художником в нашей литературе, и все написанное им сделалось завершенным художественным созданием.

Пример учителя увлек последователей, и таким образом возникла в Германии литературная эпоха, некогда мною названная «эпохой искусств», причем я показл ее вредное влияние на политическое развитие немецкого народа. Нимало, однако, не отрицал я при этом самостоятельной ценности шедевров Гете. Они украшают наше дорогое отечество, как прекрасные статуи украшают сад, но это статуи. В них можно влюбиться, но они бесплодны: поэзия Гете не порождает действия, как создания Шиллера. Дело есть дитя слова, а прекрасные слова Гете бездетны. Это проклятие лежит на всем, что порождено только искусством. Статуя, изваянная Пигмалионом, была красавицей, сам художник влюбился в нее, она ожила под его поцелуями, но, сколько нам известно, детей так никогда и не имела. Кажется, г. Шарль Нодье высказал об этом

предмете нечто в таком роде, и это пришло мне в голову вчера, когда я, бродя по нижним залам Лувра, рассматривал древние статуи богов. Они стояли со своими немymi белыми глазами, с тайной меланхолией в мраморной улыбке, быть может, в смутном воспоминании о Египте, стране мертвецов, откуда они родом, или в страдальческом тяготении к жизни, из которой они ныне вытеснены другими божествами, или в тоске об их скончавшемся бессмертии: они как будто ждали слова, которое вновь вернуло бы их к жизни, которое высвободило их из их холодной, околелой неподвижности. Странно, — эти антики напомнили мне поэтические создания Гете, столь же законченные, столь же великолепные, столь же спокойные и как бы с тою же тоской чувствующие, что их неподвижность и холодность лежит между ними и нынешней оживленно теплой жизнью, что они не могут страдать и ликовать вместе с нами, что они не люди, а несчастные ублюдки божества и камня.

Эти немногие указания объясняют раздражение различных партий, выступивших в Германии против Гете. Правоверные были возмущены великим язычником, как принято называть Гете в Германии; они боялись его влияния на народ, которому он внушал свое мировоззрение через свою улыбчивую поэзию, через самые непритязательные из своих песенок; они видели в нем опаснейшего врага креста, который, по его же словам, противен ему, как клопы, чеснок и табачный дым: так приблизительно говорится в эпиграмме, которую Гете осмелился напечатать в самой Германии, объединенной Священным союзом, где повсюду царит эта погань — чеснок, табак и крест. Разумеется, вовсе не это было для нас, сторонников движения, неприемлемым в Гете. Как уже упомянуто, мы порицали бесплодность его слова, эстетизм, по его вине водворившийся в Германии, воспитавший молодежь в духе квиетизма, столь пагубного для политического возрождения нашей родины. Индифферентный пантеист сделался

предметом нападков с противоположнейших сторон; выражаясь по-французски, против него заключили союз крайняя правая и крайняя левая; и между тем как черный поп колотил его распятием, неистовый санкюлот лез на него с пикой. Г. Вольфганг Менцель, потративший на борьбу с Гете груды остроумия, достойного лучшей цели, не являлся столь односторонне в своей полемике ни христианским спиритуалистом, ни недовольным патриотом: в значительной доле своих нападков он опирался скорее на последние изречения Фридриха Шлегеля, который после своего падения изливал из глубин своего католического собора скорбь о Гете, «поэзия которого лишена средоточия». Г. Менцель пошел еще дальше и доказывал, что Гете не гений, а лишь талант, превозносил в противоположность ему Шиллера и т. д. Происходило это незадолго до Июльской революции, г. Менцель был в ту пору величайшим почитателем средних веков как в отношении произведений искусства, так и учреждений; с неутомимой яростью поносил он Иоганна-Генриха Фосса, с неслыханным воодушевлением прославлял г. Иосифа Герреса; поэтому его ненависть к Гете была неподдельна, и он нападал на него по убеждению, стало быть, не для того, чтобы, как многие думали, приобрести таким способом известность. Хотя сам я в то время был противником Гете, мне не нравилась жесткость, с которой г. Менцель критиковал его, и я сожалел об этом отсутствии благоговения. Я говорил: Гете все же король нашей литературы; если и поднимаешь на него критический нож, то необходимо делать это с надлежащей учтивостью, подобно палачу, которому предстояло отрубить голову Карлу I и который, прежде чем приступить к исполнению обязанности, преклонил пред королем колени и просил у него высочайшего прощения.

К противникам Гете принадлежали и пресловутый советник Мюльнер и единственный оставшийся ему верным друг г. профессор Шютц, сын старика Шютца. Кой-кто еще из носивших менее славные имена, напри-

мер, некий г. Шпаун, долго просидевший в тюрьме за политический проступок, также принадлежал к явным противникам Гете. Между нами говоря, это было очень пестрое общество. Что они ставили ему в вину, я указал с достаточной ясностью; труднее разгадать особые побуждения, под влиянием которых каждый отдельный участник мог выступать с открытым выражением своих противогетевских убеждений. Лишь относительно одного лица мне с совершенной точностью известен этот мотив, и так как лицо это — я, то признаюсь теперь откровенно: это была зависть. В похвалу себе должен, однако, напомнить еще раз, что никогда не нападал на поэта в Гете, но только на человека. Я никогда не порицал его произведений. Я никогда не мог видеть в них недостатки, подобно тем критикам, которые при помощи своих тонко отшлифованных оптических стекол и на луне открыли пятна. Дальнозоркие люди. Они принимали за пятна — цветущие леса, серебристые потоки, величавые горы, смеющиеся долины.

Нет ничего глупее недооценки Гете в пользу Шиллера, к которому совсем не относились искренно, всегда прославляя его для того, чтобы принизить Гете. Разве в самом деле было неизвестно, что изготовить эти высоко прославленные, высоко идеальные образы, эти священные изваяния добродетели и нравственности, созданные Шиллером, гораздо легче, чем те греховные, мелко житейские, порочные существа, которых Гете выводит в своих произведениях? Разве не знали они, что посредственные живописцы в большинстве случаев мажут на холсте святых угодников в натуральную величину, но требуется уже большой мастер для того, чтобы с жизненной правдивостью и техническим совершенством изобразить этакого испанского нищего мальчишку, ищущего вшей, нидерландского мужика, которого рвет или которому выдергивают зуб, или уродливых старух, каких мы видим на превосходных маленьких голландских картинках? Большое и страшное гораздо

легче изображать в искусстве, чем маленькое и забавное. Египетские чародеи могли воспроизвести вслед за Моисеем многие его кунштуки, например, змей, кровь, даже жаб, но когда он сотворил с виду гораздо более легкие чудеса, например, мошек, то они признали свое бессилие и не могли сделать маленьких мошек и сказали: «Это — перст божий». Обличайте сколько угодно грубости в «Фаусте», сцены на Брокене, в погребке Ауэрбаха, обличайте непристойности в «Мейстере», — ничего такого вы все же создать не сумеете. Это — перст Гете. Но вы и не собираетесь создавать что-либо такое, и я слышу, как вы с отвращением заявляете: «Мы не волшебники, мы добрые христиане». Знаю, знаю, что вы не волшебники.

Величайшая заслуга Гете заключается именно в законченности всего, что он изображает. Здесь нет частей более сильных, в то время как другие — слабы, здесь нет того, что одна сторона выписана до конца, а другая еле намечена, здесь нет замешательства, нет обычного литературного балласта, нет пристрастия к разрозненным подробностям. Всякое действующее лицо его романов и драм, когда бы оно ни выступало, он разрабатывает так, как будто это главный герой. Так оно у Гомера, так у Шекспира. В созданиях всех великих поэтов, в сущности, нет второстепенных персонажей, каждое действующее лицо есть на своем месте главный герой. Такие поэты подобны самодержавным государям, которые не признают в людях никакой самостоятельной ценности, но по собственному благоусмотрению жалуют их высшим достоинством. Когда французский посланник в разговоре с русским императором Павлом заметил однажды, что одна значительная особа в его стране интересуется каким-то предметом, то император строго прервал его достопримечательными словами: «В этом государстве нет значительных особ, кроме того, с кем я разговариваю, и лишь на то время, пока я с ним разговариваю». Самодержавный поэт, также получивший свою мощь милостью божьей, таким

же образом рассматривает как важнейшее в царстве его вымысла лицо всякого, кто в данный момент выступает у него с речью, кто попал под его перо, — и вот из такого художественного деспотизма возникает эта чудесная законченность малейших фигурок в произведениях Гомера, Шекспира и Гете.

Если я с некоторой резкостью говорил о противниках Гете, то мог бы еще гораздо резче отозваться о его защитниках. Большинство их наговорило в своем пылу еще больших глупостей. На границе смешного стоит в этом отношении некий г. Эккерман, не лишенный, впрочем, ума. В борьбе против Пусткухена добыл свои критические шпоры Карл Иммерман, ныне наш крупнейший драматург, выпустивший по этому поводу превосходную книжку. Особенно отличились при этом случае берлинцы. Виднейшим бойцом за Гете всегда был Фарнгаген-фон-Энзе, писатель, носящий в сердце мысли, обширные, как мир, и выражающий их в словах, драгоценных и изящных, как резные камни. Суждениям этого высокого ума Гете всегда придавал очень большое значение. Полезно, быть может, отметить здесь, что г. Вильгельм фон-Гумбольдт еще раньше написал превосходную книгу о Гете. За последние десять лет каждая лейпцигская ярмарка приносила несколько сочинений о Гете. Исследования г. Шубарта о Гете принадлежат к достопримечательностям высокой критики. Все, что сказано на страницах разных журналов о Гете г. Герингом, пишущим под именем Виллибальд Алексис, столь же веско, сколь проникательно. Г. Циммерман, профессор в Гамбурге, высказал в своих устных лекциях ряд весьма удачных суждений о Гете, изложенных и в его «Драматургических листках», правда, скуп, но тем глубокомысленнее. В различных немецких университетах читались курсы о Гете, из всех произведений которого публика занималась главным образом «Фаустом». Многократно писали к нему продолжения и комментарии, и он сделался светской библией немцев.

Я не был бы немцем, если бы при упоминании о «Фаусте» не высказал некоторых пояснительных мыслей об этом предмете. Ибо от величайшего мыслителя до незаметнейшего маркера, от философа до — по нисходящей — доктора философии, всякий испытывает свою проницательность на этой книге. Но, поистине, она также многообъемлюща, как Библия, и, подобно последней, охватывает небо и землю вместе с человеком и его истолкованиями. И здесь главной причиной такой популярности «Фауста» является сюжет; а то, что Гете выискал этот сюжет в народных сказаниях, свидетельствует именно о его бессознательном глубокомыслии, о его гении, всегда умевшем брать самое непосредственное и нужное. Я в праве предположить знакомство с содержанием «Фауста», ибо книга эта сделалась в последние годы знаменитой и во Франции. Но я не знаю, известно ли здесь и само старинное народное сказание, продается ли и здесь на ярмарках серая, скверно напечатанная на оберточной бумаге и украшенная лубочными картинками книжка, где обстоятельно рассказано, как великий чародей Иоганнес Фаустус, ученый доктор, изучив все науки, в конце концов выбросил все свои книги и заключил с чортом договор, по которому он может наслаждаться всеми плотскими утехами на земле, но при этом предает адской погибели свою душу. В средние века народ, видя где-либо большую умственную мощь, всегда приписывал ее союзу с дьяволом, и Альберт Великий, Раймунд Люллий, Теофраст Парацельс, Агриппа Неттесгеймский и в Англии Роджер Бекон слыли чародеями, чернокнижниками и заклинателями дьявола. Но гораздо более необычайные вещи распевают и рассказывают о докторе Фаустусе, потребовавшем от дьявола не только познания вещей, но и реальнейших наслаждений, и это тот самый Фауст, который изобрел книгопечатание и жил во времена, когда начали восставать против строгого авторитета церкви и исследовать вещи самостоятельно. Таким образом, Фаустом заканчивается

средневековая эпоха веры и начинается современная научнокритическая эпоха. Чрезвычайно показательно, в самом деле, что как раз в то время, когда, по народному убеждению, жил Фауст, начинается реформация и что именно ему приписывается изобретение искусства, принесшего знанию победу над верой, а именно книгопечатания, искусства, лишившего, однако, нас католической душевной безмятежности и повергнувшего нас в сомнения и революции, — другой на моем месте сказал бы — искусства, предавшего нас в конце концов во власть дьявола. Но нет, знание, познание вещей посредством разума, наука, дает нам, наконец, те наслаждения, которых так долго обманом лишала нас религия, католическое христианство; мы начинаем сознавать, что люди призваны не к одному небесному, но и к земному равенству; политическое братство, проповедуемое нам философией, благодетельнее для нас, чем чисто духовное братство, каким одарило нас христианство; и знание становится словом, и слово становится делом; и мы можем еще при жизни обрести блаженство на этой земле, — а если потом, после смерти, мы обретем вдобавок еще и небесное блаженство, столь определенно обещаемое нам христианством, то это совсем прекрасно.

Давно уже немецкий народ глубокомысленно предчувствовал это, ибо немецкий народ сам есть этот ученый доктор Фауст, этот спиритуалист, духом уразумевший, наконец, недостаточность духа и требующий материальных наслаждений и возвращающий плоти ее права. Однако, не сбросив еще оков символики католической поэзии, где бог есть представитель духа, а дьявол представитель плоти, уже в одном оправдании плоти видели отречение от бога, союз с дьяволом.

Но пройдет еще время, прежде чем осуществится в немецком народе то, о чем он с таким глубокомыслием пророчествовал в этой поэме, а именно — прежде чем путем духа сознает он узурпацию духа и потребует прав для плоти. Это будет революция, великая дочь реформации.

Менее, чем «Фауст», известен здесь во Франции «Западно-восточный диван» Гете, более поздняя книга, которой еще не знала г-жа Сталь и на которой мы должны остановиться здесь особо. В цветущих песнях и чеканных изречениях выражены здесь мысль и чувство Востока: и все исполнено благоухания и жара, подобно гарему влюбленных одалисок с черными подведенными газельими глазами и чувственно-белыми руками. Читателя охватывает содрогание сладострастия, испытанное счастливым Гаспаром Дебюро, когда он в Константинополе, стоя на верхней ступеньке лестницы, видел *de haut en bas* * то, что повелителю правоверных видно только *de bas en haut* **. Иногда читателю представляется, что он беспечно растянулся на персидском ковре и курит длинный кальян с желтым туркестанским табаком, а черная рабыня навевает на него прохладу пестрым опахалом из павлиньих перьев и прелестный мальчик подносит чашку настоящего мокасского кофе: захватывающее упоение жизнью перелил здесь Гете в стихи, столь легкие, столь удачные, столь эфирно-воздушные, что изумляешься, как возможно было нечто подобное на немецком языке. К этому он присоединяет превосходнейшие пояснения в прозе о нравах и быте Востока, о патриархальной жизни арабов, и здесь Гете всегда безмятежно улыбчив, беззаботен, как дитя, и исполнен мудрости, как старец. Эта проза прозрачна, как зеленое море в безветрии летнего полудня, когда взгляд проникает далеко в глубь морскую, где видны потонувшие города с их былым великолепием; иногда, однако, и эта проза так чародейственна, так полна тайны, как небо, когда спустился вечерний сумрак, и великие мысли Гете выступают, чистые и золотые, как звезды. Невыразимо очарование этой книги, это селям, посылаемый Западом Востоку, и причудливые цветы рассыпаны здесь: чувственно-

* сверху вниз

** снизу вверх

красные розы, гортензии, подобные обнаженной белой девичьей груди, забавная львиная пасть, пурпурная наперстянка, похожая на длинные пальцы, странно извитые крокусы, а посреди них, осторожно притаившись, тихие немецкие фиалки. Но этот селям означает, что Западу опостылел его тощий ледяной спиритуализм и ему хочется подкрепиться здоровым плотским миром Востока. Выразив в «Фаусте» свое недовольство абстрактно-духовным и свое тяготение к реальным наслаждениям, Гете, написав «Западно-восточный диван», как бы самым духом бросился в объятия сенсуализму.

В высшей степени показательно поэтому, что книга эта появилась вскоре после «Фауста». Это был последний фазис пути Гете, и пример его оказал большое влияние на литературу. Наши лирики принялись теперь воспевать Восток. Достойно упоминания, быть может, и то, что Гете, так радостно воспевавший Персию и Аравию, высказывал определеннейшее нерасположение к Индии. Его отталкивало причудливое, смутное, неясное в этой стране, и, быть может, эта неприязнь возникла оттого, что в санскритологии Шлегелей и господ их друзей он чуял католическую заднюю мысль. Дело в том, что для этих господ Индостан был колыбелью католического миропорядка; там они видели образец своей иерархии, там находили свою троицу, свое вочеловечение, свое покаяние, свое искупление, свое истязание плоти и всех прочих своих излюбленных коньков. Нерасположение Гете к Индии немало раздражало этих людей, поэтому-то г. Август-Вильгельм Шлегель сердито назвал его «язычником, обратившимся в ислам».

Среди книг о Гете, появившихся в этом году, почетнейшего упоминания заслуживает посмертное сочинение Иоганна Фалька: «Гете, изображенный по близким личным отношениям». Кроме обстоятельной статьи о «Фаусте» (нельзя же без этого), автор сообщает любопытнейшие сведения о Гете, изображая его со всех житейских сторон с совершенной верностью, совершен-

ным беспристрастием, со всеми его достоинствами и недостатками. Здесь мы видим Гете в его отношениях к матери, личность которой так удивительно отразилась на сыне; мы видим его в качестве естествоиспытателя, видим, как он наблюдает гусеницу, становящуюся куколкой, чтобы затем вылупиться в виде бабочки; мы видим его в беседе с великим Гердером, сердито его обличающим в индифферентизме, вследствие которого Гете не обращает внимания на развитие из куколки самого человечества; мы видим, как, весело импровизируя, восседает он среди белокурых фрейлин при дворе великого герцога Веймарского, подобно Аполлону среди овец царя Адмета; мы видим затем, как он с надменностью Далай-Ламы отказывается признать Коцебу и как последний, чтобы принизить его, устраивает публичное чествование Шиллера; но повсюду мы видим его умным, прекрасным, любезным, чарующе-привлекательным, подобным вечным богам.

В Гете, действительно, во всей полноте ощущалось то совпадение личности с дарованием, какого требуют от необыкновенных людей. Его внешний облик был так же значителен, как слово, жившее в его творениях; и образ его был гармоничен, ясен, радостен, благородно размерен, и на нем можно было изучать греческое искусство, как по греческой статуе. Принижающее христианское смирение никогда не горбило этого тела, исполненного достоинства; черты этого лица никогда не искажались христианским самоистязанием; эти глаза не косили с робостью христианского покаяния, не молитвословили, не вздымались ханжески к небесам, не бегали из стороны в сторону: нет, они были спокойны, как божьи очи. Это ведь вообще отличительный признак богов, — то, что взгляд их тверд и глаза не мечутся тревожно по сторонам. Поэтому, когда Агни, Варуна, Яма и Индра принимают облик Наля на свадьбе Дамаянти, то она узнает своего возлюбленного по миганию его глаз, ибо, как я напомнил, глаза богов всегда неподвижны. Это свойство имели и глаза Наполеона.

Поэтому я убежден, что он был бог. Взгляд Гете оставался в его преклонной старости таким же божественным, каким был в его юности. Время, правда, могло покрыть его голову снегом, но не пригнуть ее. Он нес ее все так же гордо и прямо и когда говорил, то всегда становился выше, и когда простирал руку, то казалось, будто он пальцами указывает звездам на небе путь, по которому должно им следовать. Говорят, в линии его рта была заметна холодная черточка эгоизма, но и эта черта свойственна вечным богам и особенно отцу богов, великому Юпитеру, с которым я сравнил выше Гете. Когда я был у него в Веймаре, то, стоя пред ним, я, право, невольно поглядывал по сторонам, не увижу ли подле него орла с молниями в клюве. Я едва было не заговорил с ним по-гречески; но, заметив, что он понимает по-немецки, я рассказал ему на немецком языке, что сливы по дороге между Иеной и Веймаром очень вкусны. Так часто в долгие зимние ночи я раздумывал о том, сколько возвышенного и глубокомысленного я сказал бы Гете, если бы мне довелось когда-нибудь его увидеть. А когда я, наконец, увидел его, я сказал ему, что саксонские сливы очень вкусны. И Гете улыбнулся. Он улыбнулся теми самыми губами, которыми некогда целовал прекрасную Леду, Европу, Данаю, Семелу и столь многих других принцесс, а то и простых нимф...

Les dieux s'en vont *. Гете умер. Он скончался 22 марта прошлого года, знаменательного года, в течение которого наша земля лишилась своих крупнейших знаменитостей. Как будто смерть в этом году сделалась внезапно аристократичной, как будто решила отметить выдающихся людей этой земли, разом отправив их в могилу. Быть может, она вздумала учредить перство в царстве теней, и, если так, то ее *fournée* ** подобрана

* Боги уходят.

** Буквально — «наполненная печь», в данном случае — пища, меню, жертвы.

очень хорошо. Или, наоборот, смерть старалась в минувшем году благоприятствовать демократии, погребая вместе с знаменитостями и их авторитет и таким образом содействуя установлению умственного равенства? Почтение или дерзость то, что смерть в минувшем году щадила королей? По рассеянности она уже занесла было косу над королем испанским, но во время одумалась и оставила его в живых. В минувшем году не умер ни один король. *Les dieux s'en vont*, — но короли остаются.

КНИГА ВТОРАЯ

I

Добросовестность, поставленная мною себе в закон, заставляет меня упомянуть здесь о слышанных мною от многих французов упреках в том, что я отозвался о Шлегелях, особенно о г. Августе-Вильгельме Шлегеле, в слишком резких выражениях. Полагаю, однако, что если бы здесь были лучше знакомы с историей немецкой литературы, эти упреки не имели бы места. Многие французы знают г. Августа-Вильгельма Шлегеля исключительно по книге г-жи Сталь, его благородной покровительницы. Большинству знакомо только его имя. Это имя звучит в их памяти как нечто почтенно-знаменитое, что-то вроде имени Озириса, о котором они тоже знают только то, что это был такой забавный бог, почитаемый в Египте. О том, какое другое сходство объединяет г. Августа-Вильгельма Шлегеля и Озириса, известно им меньше всего.

Так как я некогда принадлежал к университетским ученикам Шлегеля старшего, то, вероятно, меня считают обязанным к некоторой снисходительности по отношению к нему. Но были ли снисходителен г. Август-Вильгельм Шлегель к старому Бюргеру, своему литературному отцу? Нет, и он поступал согласно общепринятому обычаю, ибо в литературе, как в лесах

североамериканских дикарей, сыновья убивают отцов, как только те становятся стары и слепы.

Уже в первой книге я отметил, что Фридрих Шлегель был значительнее, чем Август-Вильгельм. И в самом деле, последний питался только идеями своего брата, владел лишь искусством развивать их. Фридрих Шлегель был глубокомысленный человек. Он постиг все величие прошлого и чувствовал все страдания настоящего. Но он не понимал святости этих страданий, их необходимости для будущего спасения мира. Он видел, что солнце заходит, и скорбно глядел на место этого захода, сокрушаясь о ночном мраке, приближение которого он видел; но он не замечал, что на противоположной стороне уже занималась новая заря. Ф. Шлегель назвал однажды историка «пророком навыворот». Это слово лучшее название для него самого. Современность была ему ненавистна, будущее пугало его, и лишь в прошлое, любимое им, проникали его пророческие очи ясновидца.

Бедный Фридрих Шлегель! В муках нашего времени он видел не муки нового рождения, а агонию смерти; в смертельном ужасе сбежал он в шаткие развалины католической церкви. Это было, конечно, самое подходящее убежище для его настроения. Он много проявил в жизни веселой дерзости, но он смотрел на нее как на нечто греховное, как на грех, требующий позднейшего покаяния и искупления — и автор «Люцинды» неизбежно должен был стать католиком.

«Люцинда» — роман; кроме его стихотворений и драмы «Аларкос», написанной по испанскому образцу, — это единственное оригинальное произведение, оставшееся после Фридриха Шлегеля. В свое время не было недостатка в хвалителях этого романа. Ныне высокопреподобный г. Шлейермахер выступил тогда с восторженными письмами о «Люцинде». Достаточно было также критиков, которые восхваляли этот роман как образцовое создание и со всей определенностью предсказывали, что он когда-нибудь будет считаться

лучшей книгой во всей немецкой литературе. Следовало бы, чтобы начальство засадило этих людей в тюрьму подобно тому, как в России пророков, предрекающих общественные несчастья, держат в остроге до тех пор, пока их предсказания не исполнятся. Нет, боги охранили нашу литературу от этого несчастья. Роман Шлегеля, вследствие его непристойного ничтожества, был вскоре отвергнут всеми и теперь совершенно забыт. Люцинда — имя героини этого романа; она чувственно-остроумная женщина, или, точнее, смесь чувственности и остроумия. Ее недостаток в том и заключается, что она не женщина, но очень неприятное соединение двух абстракций — остроумия и чувственности. Да простит богородица автору то, что он написал эту книгу; никогда этого не простят ему музы.

Такой же роман, под названием «Флорентин», приписывают покойному Шлегелю по ошибке. Книга эта, говорят, произведение его супруги, дочери знаменитого Моисея Мендельсона, которую он отбил у ее первого мужа и которая вместе с ним перешла в лоно католической церкви.

Я верю, что Фридрих Шлегель перешел в католичество по убеждению. По отношению ко многим его друзьям у меня нет этой веры. В этой области очень трудно установить истину. Религия и лицемерие — близнецы, настолько похожие друг на друга, что часто их невозможно различить. Та же наружность, одежда, язык. Только последняя из сестер несколько мягче растягивает слова и чаще твердит словечко «любовь». Я говорю о Германии, — во Франции одна из сестер умерла, а другая до сих пор ходит в глубочайшем трауре.

После появления книги г-жи Сталь «De l'Allemagne» Фридрих Шлегель подарил публике еще два больших труда, быть может, лучшие из его произведений, во всяком случае, заслуживающие самого хвалебного упоминания. Это его «Мудрость и язык индусов» и его «Лекции по истории литературы». Первая книга не только

ввела, но и утвердила у нас изучение санскрита. Шлегель сделался для Германии тем же, чем был Уильям Джонс для Англии. Талантливейшим образом изучил он санскрит, и немногие отрывки, приводимые в его книге, переведены мастерски. Благодаря своей глубокой способности созерцания он во всей полноте понял значение эпического размера индусов — «слоки», струящейся широко, как Ганг, священная, ясная река. Наоборот, каким маленьким оказался г. А.-В. Шлегель, когда перевел несколько отрывков с санскритского в гекзаметрах и при этом не мог достаточно нахвалиться тем, что в его перевод не проскользнул ни один трохей и что им воспроизведено немало метрических кунштюков александрийцев. Книга Фридриха Шлегеля об Индии, конечно, переведена на французский язык, и я могу избавить себя от дальнейших словословий. Упрека заслуживает только задняя мысль книги: она написана в интересах католицизма. Эти люди нашли в индийских поэмах не только мистерии, но еще и всю католическую иерархию и ее борьбу со светской властью. В «Махабхарате» и «Рамаяне» они усмотрели как бы слонов средневековья. И в самом деле, если в последней король Висвамित्रа враждует с жрецом Васиштой, то вражда эта относится к тем же интересам, из-за которых у нас боролись император с папой, хотя предмет раздора здесь, в Европе, называется инвеститурой, а там в Индии — коровой Сабалой.

Тот же упрек относится к лекциям Шлегеля о литературе. Фридрих Шлегель рассматривает здесь всю литературу с высокой точки зрения, но эта высокая точка зрения находится на вершине католической колокольни. И во всем, что говорит Шлегель, слышится этот католический трезвон; иногда слышно даже карканье воронья, летающего вокруг колокольни. Мне всегда кажется, что молебственным ладаном несет от этой книги и что из лучших мест ее высматривают мысли с выбритой тонзурой. Несмотря на такие недостатки, я не знаю в этой области лучшей книги. Только

работы Гердера по этому вопросу представляют, пожалуй, лучший обзор литературы всех народов. Ибо Гердер не восседал, подобно литературному великому инквизитору, судьей над различными народами, осуждая или оправдывая их, смотря по степени их религиозности. Нет, Гердер рассматривал все человечество, как великую арфу в руках великого мастера, каждый народ казался ему по-своему настроенной струной этой исполинской арфы, и он понимал универсальную гармонию ее различных звуков.

Фридрих Шлегель умер летом 1829 года, как говорят, вследствие гастрономической неводержанности. Ему было 57 лет. Его смерть вызвала один из отвратительнейших литературных скандалов. Его друзья, поповская партия, главной квартирой которых был Мюнхен, пришли в ярость по поводу откровенности, с которой либеральная печать говорила об этой смерти; поэтому они проклинали, поносили и ругали немецких либералов. Однако ни о ком из них они не могли сказать, что он «соблазнил жену в доме своего друга и долго еще потом жил подачками оскорбленного супруга».

Теперь, раз уж этого требуют, я должен говорить о старшем брате, г. А.-В. Шлегеле. Если бы я вздумал говорить о нем в Германии, то на меня взглянули бы там с изумлением.

Кто говорит еще теперь в Париже о жирафе?

Г. А.-В. Шлегель родился в Ганновере 5 сентября 1767 года. Я это знаю не от него. Я никогда не был так нелюбезен, чтобы спросить у него о его возрасте. Если не ошибаюсь, я нашел эту дату в «Словаре немецких писателей» Шпиндлера. Таким образом, г. А.-В. Шлегелю теперь 64 года. Г. Александр фон-Гумбольдт и другие естествоиспытатели утверждают, что он старше. Шамполлион был того же мнения. Если мне приходится говорить о его литературных заслугах, то я должен прежде всего опять воздать ему хвалу как переводчику. В этой области он, бесспорно, имеет чрезвычайные заслуги. Особенно мастерским, не знающим сопер-

ников, должно назвать его немецкий перевод Шекспира. Быть может, за исключением г. Гриса и графа Платена, г. А.-В. Шлегель вообще величайший метрик Германии. Во всех других областях он относится ко второму, а то, пожалуй, и к третьему разряду. В эстетической критике ему не хватает, как я уже сказал, философской основы, и здесь гораздо выше его другие современники, особенно Зольгер. В изучении древне-немецкого языка бесконечно выше его стоит г. Яков Гримм, освободивший нас, посредством своей немецкой грамматики, от той поверхностности, с которой толковались, по примеру Шлегелей, памятники древне-немецкого языка. Быть может, г. Шлегель мог бы пойти далеко в немецких древностях, если бы не переметнулся в санскрит. Но все древне-немецкое вышло из моды, санскритом же можно было снова привлечь к себе внимание. И здесь он остался в известной степени дилетантом; инициатива его мыслей принадлежит его брату Фридриху, а все научное, подлинное в его санскритских работах принадлежит, как всякому известному, г. Лассену, его ученому сотруднику. Подлинным санскритологом среди немцев является г. Франц Бопп, — в Берлине он первый в своей специальности. В исторической науке г. Шлегель однажды также пытался присосаться к славе Нибура, на которого он напал; но достаточно сравнить его с этим великим исследователем, или с Иоганном фон-Мюллером, или с Гереном, или с Шлоссером и подобными им историками, чтобы пожать плечами. Каково же значение его как поэта? Это трудно определить.

Скрипач Соломонс, обучавший короля английского Георга III, сказал однажды своему высочайшему ученику: «Скрипачи разделяются на три разряда; к первому разряду принадлежат те, которые совсем не умеют играть; ко второму принадлежат те, которые играют очень плохо, и, наконец, к третьему разряду принадлежат те, которые играют хорошо. Ваше величество уже дошли до второго разряда».

К какому же разряду принадлежит г. А.-В. Шлегель — к первому или ко второму? Одни говорят, что он совсем не поэт, другие говорят, что он очень плохой поэт. Сколько мне известно, он не Паганини.

Славою своей г. А.-В. Шлегель, собственно, обязан лишь неслыханной смелости, с которой он нападал на существующие литературные авторитеты. Он срывал лавровые венки со старых париков и при этом случае вздувал много пудры. Его слава — внебрачная дочь скандала.

Как я уже упоминал не раз, критика, которую г. Шлегель обращал на существующие авторитеты, совершенно не опиралась на философию. Придя в себя от изумления, в которое повергает нас всякая дерзость, мы до конца раскрываем всю внутреннюю пустоту так называемой шлегелевской критики. Так, например, желая принизить поэта Бюргера, он сравнивает его баллады со староанглийскими балладами, собранными Перси, и показывает, насколько последние проще, наивнее, стариннее и, следовательно, поэтичнее. Шлегель в достаточной степени понял дух прошлого, особенно средневековья, и поэтому ему удастся найти этот дух также и в художественных памятниках прошлого и показать их красоты с этой точки зрения. Но все, что относится к современности, остается ему непонятным; в лучшем случае удастся ему отметить что-нибудь в наружности, в некоторых внешних чертах современности, и это обыкновенно бывают менее прекрасные черты. Не понимая духа, оживляющего ее, он видит во всей нашей современной жизни лишь прозаическую харю. Вообще никто, кроме великого поэта, не может понять поэзию своего собственного времени. Поэзия прошлого открывается нам гораздо легче, познание ее легче передать другим. Поэтому г. Шлегелю удалось прославить перед толпой поэтические произведения, в которых погребено прошлое, за счет произведений, в которых живет и дышит наша современность. Но смерть не поэтичнее жизни. Старые английские баллады,

собранные Перси, передают дух своего времени, а стихотворения Бюргера передают дух нашего. Этого духа г. Шлегель не понял. Иначе в безудержности, с которой этот дух иногда прорывается в стихотворениях Бюргера, он ни в коем случае не услышал бы грубого окрика неотесанного школьного учителя, а скорей мучительный вопль титана, которого ганноверские аристократишки и школьные педанты загнали в могилу. Ибо такова была судьба автора «Леноры» и судьба столь многих других гениальных людей, которые бедствовали, голодали и умерли в нищете в качестве бедных геттингенских доцентов. Как мог знатный, охраняемый знатными покровителями, подновленный, баронизированный, обвешанный орденоскими лентами кавалер Август-Вильгельм фон-Шлегель понять стихи, в которых Бюргер громко восклицает, что честный человек должен скорее умереть с голоду, чем кланяться милости у сильных мира сего.

Имя Бюргера по-немецки равнозначно со словом *citoyen* *.

Славу г. Шлегеля еще больше повысило впечатление, произведенное им впоследствии во Франции, когда он начал нападать и на французские литературные авторитеты. С гордой радостью видели мы, как наш боевой земляк доказывает французам, что вся их классическая литература ничего не стоит, что Мольер балаганный фигляр, а не поэт, что Расин тоже никуда не годится, и что, наоборот, в нас, немцах надо видеть настоящих царей Парнаса. Его прилив был всегда один, что французы самый прозаический народ на свете и что во Франции вовсе нет поэзии. Это утверждал сей человек в эпоху, когда на его глазах еще продолжали живьем выступать многие корифеи Конвента, великой трагедии титанов, когда Наполеон ежедневно импровизировал по хорошей эпопее, когда Париж кипел героями, королями и богами... Однако г. Шлегель ничего этого не видел; когда он был здесь, он постоянно

* гражданин.

видел в зеркале только самого себя, а потому и понятно, что он во Франции не видел никакой поэзии.

Но г. Шлегель, как я уже сказал, всегда был способен понять только дух поэзии прошлого, а отнюдь не настоящего. Все, что есть в жизни живого, представляется ему прозаическим, и недоступной осталась для него поэзия Франции, родина современного общества. Первым из тех, кого он не мог понять, должен был явиться Расин. Ибо этот великий поэт стоит, как глашатай нового времени, рядом с великим королем, которым начинается современность. Расин был первым современным поэтом, как Людовик XIV первым современным королем. Корнель дышит еще средневековьем. В нем и во Фрозде хрипит еще, издыхая, старое рыцарство. Поэтому его называют иногда романтичным. В Расине окончательно угасло мировоззрение средних веков, в нем рождаются только новые чувства, он рупор нового общества; в груди его благоухали первые фиалки нашей современной жизни; здесь могли бы мы видеть даже первые почки тех лавров, которые так могуче распустились лишь позже, в наше время. Кто знает, сколько подвигов выросло из нежных стихов Расина! Французские герои, покоящиеся в могилах у пирамид, под Маренго, под Аустерлицем, под Москвой и под Ватерлоо, все они некогда слышали стихи Расина, и их император слышал их из уст Тальма. Кто знает, сколькими центнерами славы обязана собственно Вандомская колонна Расину! Кто более великий поэт — Еврипид или Расин, я не знаю, но знаю, что последний был живым источником любви и чувства чести, напоивший и восхитивший и вдохновивший своим напитком целый народ. Чего больше требовать от поэта? Все мы люди, мы сходим в могилу и оставляем на земле наше слово, и, если оно исполнило свое предназначение, то оно возвращается в лоно господне, в убежище поэтических слов, на родину всех гармоний.

Если бы г. Шлегель ограничился утверждением, что миссия расиновского слова исполнена и что ушедшее

вперед время требует совершенно иных поэтов, то его нападки имели бы некоторое основание; но они были неосновательны, когда он стремился доказать недостатки Расина посредством сравнения с древними поэтами. Он не только не почувствовал ничего в бесконечной прелести, в милой шутке, в подлинном изяществе, кроющихся в том, что Расин одел своих новых французских героев в античные наряды и воспроизведение современной страсти соединил с интересностью остроумного маскарада. Г. Шлегель был даже достаточно туп, чтобы принять это переодевание за чистую монету, чтобы судить о греках Версаля по грекам Афин, сравнивать «Федру» Расина с «Федрой» Еврипида. Эта манера мерить современность меркой прошлого так укоренилась в г. Шлегеле, что он постоянно хлестал по спинам новых поэтов лаврами из венка старого поэта, и чтобы принизить таким же образом самого Еврипида, он не мог найти ничего лучшего, как сравнивать его с его предшественником Софоклом или даже с Эсхилом.

Мы зашли бы слишком далеко, если бы я вздумал рассказывать здесь, как Шлегель, следуя этой манере, пытался принизить и Еврипида, совершая против него величайшую несправедливость, как некогда сделал это Аристофан. В этом отношении последний, Аристофан, стоял на точке зрения, представляющей величайшее сходство с точкой зрения романтической школы; в основании его полемики лежат сходные чувства и тенденции, и если г. Тика называли романтическим Аристофаном, то по справедливости можно назвать пародиста Еврипида и Сократа классическим Тиком. Как Тик и Шлегели, несмотря на свое собственное неверие, все же скорбели о гибели католичества; как они желали восстановить эту религию в массах; как они, посредством насмешки и клеветы, боролись с этой целью с протестантскими рационалистами, с просветителями подлинными еще более, чем с поддельными; как они питали самое злобное отвращение к людям, проводив-

шим в жизнь и в литературу самую благородную гражданственность; как они издевались над этой гражданственностью, изображая ее в виде обывательского филистерства, и, наоборот, неустанно воспевали и прославляли могучую героическую жизнь феодального средневековья, — так и Аристофан, сам подсмеивавшийся над богами, все же ненавидел философов, готовивших гибель всему Олимпу; он ненавидел рационалиста Сократа, проповедывавшего более высокую мораль; он ненавидел поэтов, уже находивших выражение для новой жизни, так же отличающейся от прежней эпохи греческих богов, героев и царей, как наша современность от феодального средневековья; он ненавидел Еврипида, который не был уже упоен греческим средневековьем, как Эсхил и Софокл, и приближался к мещанской трагедии. Сомневаюсь, чтобы г. Шлегель признавал истинные мотивы, по которым он так принизил Еврипида в сравнении с Эсхилом и Софоклом. Думаю, что им руководило бессознательное чувство. В старом трагике он почуял новую демократическую и протестантскую стихию, которая была уже так ненавистна рыцарскому и олимпийски-католическому Аристофану.

Быть может, однако, я оказываю г. А.-В. Шлегелю незаслуженную честь, подозревая его в определенных симпатиях и антипатиях. Возможно, что у него не было ни тех, ни других. В молодости он был эллинистом и только позже стал романтиком. Он сделался корифеем новой школы, от него и его брата она получила свое название, и сам он, быть может, меньше, чем кто-либо, придавал серьезное значение шлегелевской школе. Он поддерживал ее своими талантами, он целиком погрузился в изучение ее, она радовала его до тех пор, пока все шло хорошо, но когда для школы настал плохой конец, то он вновь перенес свои труды в другую область.

Однако, хотя школа пала, все же усилия г. Шлегеля принесли добрые плоды для нашей литературы. Главное, он показал, что можно излагать научные вещи

изящным языком. Раньше лишь немногие немецкие ученые осмеливались написать научную книгу ясным и привлекательным слогом. Писали на спутанном, сухом немецком языке, от которого отдавало сальными свечами и табаком. Г. Шлегель принадлежал к немногим немцам, не курящим табаку, — добродетель, которой он обязан обществу г-жи Сталь. Он вообще обязан этой даме внешним лоском, которым он с такой выгодой мог блистать в Германии. В этом отношении смерть почтенной г-жи Сталь была большой потерей для этого немецкого ученого, находившего в ее салоне столько случаев знакомиться с новейшими модами, видеть в ее свите высший свет всех европейских столиц и усвоить себе изысканнейшие светские нравы. Эти воспитательные отношения до такой степени сделались для него приятной жизненной потребностью, что он и после смерти своей благородной покровительницы был склонен предложить себя в спутники знаменитой Каталани в ее путешествиях.

Как я уже сказал, распространение изящества было главной заслугой г. Шлегеля, и благодаря ему и жизнь немецких поэтов больше приобщилась к цивилизации. Уже Гете дал поучительнейший пример того, что можно быть немецким поэтом и, однако, сохранять внешнюю пристойность. В прежнее время немецкие поэты относились с пренебрежением ко всем условным формам, и название «немецкий поэт» или даже «поэтический гений» было самой отрицательной характеристикой. Немецкий поэт в те времена был человеком, который ходит в истрепанном, поношенном сюртуке, сочиняет крестильные и свадебные стихотворения по талеру за штуку, и отсутствие хорошего общества, не принимавшего его в свою среду, он возмещает основательной выпивкой по вечерам, а иногда валяется даже пьяный в уличной канаве, нежно лобызаемый чувствительными лучами луны. В старости эти люди впадали еще глубже в нищету, но это была беззаботная нищета или нищета, единственная забота которой заключалась в том, чтобы

знать, где за наименьшее количество денег можно получить наибольшее количество водки.

Таким представлял и я себе немецкого поэта. Поэтому как приятно я был изумлен, когда в 1819 году, будучи очень молодым человеком и студентом Боннского университета, имел там честь увидеть лицом к лицу поэтического гения, г. поэта А.-В. Шлегеля. За исключением Наполеона, это был первый великий человек, которого я видел до тех пор, и я никогда не забуду этого величавого зрелища. До сих пор все еще ощущаю я священный ужас, пронизавший мою душу, когда я стоял перед его кафедрой и слушал его лекцию. Я носил тогда сюртук грубого белого сукна, красную шапку, длинные белокурые волосы и не имел перчаток. На г. А.-В. Шлегеле были лайковые перчатки, и он был одет по последней парижской моде. Он еще насквозь благоухал высоким обществом и *l'eau de mille fleurs* *; он был олицетворенное изящество и элегантность; когда он говорил об английском канцлере, то прибавлял «мой друг», и подле него стоял его слуга в баронской шлегелевской ливрее и поправлял восковые свечи, стоявшие в серебряных подсвечниках рядом со стаканом подсахаренной воды перед чудодеем на кафедре. Слуга в ливрее! Восковые свечи! Серебряные подсвечники! «Мой друг английский канцлер!» Лайковые перчатки! Сахарная вода! Какие неслыханные вещи в аудитории немецкого профессора! Этот блеск ослеплял нас, молодых людей, особенно меня, и я написал в ту пору три обращения к г. Шлегелю оды; каждая из них начиналась словами: «О ты, о ты, который» и т. д. Но лишь в поэзии осмеливался я говорить столь знатному человеку «ты». Его внешность в самом деле придавала ему известное благородство. На его маленькой головке блестели еще немногие серебряные волоски, а тельце его было так тонко, так измождено, так прозрачно, что он насквозь казался духом, что он, можно сказать, являлся символом спиритуализма.

* проточной водой

Несмотря на все это, он в те годы женился, и он, глава романтиков, женился на дочери церковного советника Паулуса в Гейдельберге, главы немецких рационалистов. Это был символический брак, романтика сочеталась здесь с рационализмом; но брак оказался бесплодным. Наоборот, противоречие между романтикой и рационализмом стало оттого еще больше, и уже на другое утро после свадьбы рационализм сбежал к себе домой и не хотел больше иметь ничего общего с романтикой. Ибо рационализм, как всегда рассудительный, не хотел только символического брака и, поняв все деревянное ничтожество романтического искусства, сбежал от него. Знаю, что говорю здесь темно и поэтому хочу высказаться со всей возможной ясностью.

Тифон, злой Тифон ненавидел Озириса (который, как вам известно, есть египетский бог) и, одолев его, разорвал на куски. Изида, бедная Изида, супруга Озириса, с большим трудом разыскала эти куски, скрепила их, и ей удалось вновь восстановить целиком разорванного супруга; целиком? Ах, нет, недоставало главного куска, которого не могла найти бедная богиня, бедная Изида! Ей пришлось поэтому удовлетвориться дополнением из дерева; но дерево есть только дерево, бедная Изида! Отсюда возник в Египте скандальный миф, а в Гейдельберге — мистический скандал.

С тех пор г. Шлегель исчез, и о нем совершенно забыли. Раздраженный таким забвением, он, наконец, после многолетнего отсутствия, вновь появился в Берлине, бывшей столице своего литературного блеска, и снова прочитал там несколько лекций по эстетике. Но за это время он ничему новому не научился и обращался теперь к публике, которая получила уже от Гегеля философию искусства, науку об эстетике. Слушатели смеялись и пожимали плечами. Он оказался в положении старой актрисы, которая после двадцатилетнего отсутствия вновь выступает на поприще своих былых успехов и не понимает, почему люди смеются, вместо того чтобы аплодировать. Шлегель страшно изменился

и в течение четырех недель потешал Берлин демонстрацией своих смешных сторон. Он сделался старым тщеславным фатом, который повсюду вызывает смех над собой. Об этом рассказывают невероятнейшие вещи.

Здесь, в Париже, я имел неудовольствие лично встретиться вновь с г. А.-В. Шлегелем. Поистине, об этой перемене я не имел никакого представления, пока не убедился в ней своими собственными глазами. Это было год тому назад, вскоре после моего приезда в столицу. Я как раз отправился смотреть дом, где жил Мольер: ибо я почитаю великих поэтов и с религиозным благоговением отыскиваю повсюду следы их земного пребывания. Это мой культ. По пути, недалеко от этого священного дома предстало предо мной существо; в неясных чертах его лица проявлялось некоторое сходство с бывшим А.-В. Шлегелем. Мне казалось, что я вижу пред собой его дух. Но это было лишь его тело. Дух умер, а тело блуждает еще призраком по земле и за это время порядочно-таки ожирело; тонкие спиритуалистические ножки опять обросли мясом; было заметно даже брюшко, повыше которого висело множество орденских ленточек. На некогда столь изящной седоволосой головке был золотистожелтый парик. Он был одет по последней моде того года, когда умерла г-жа Сталь. При этом он улыбался с такой стариковской слащавостью, как пожилая дама, держащая кусочек сахара во рту, и изгибался так юношески, словно кокетливое дитя. С ним в самом деле произошло странное омоложение; он как бы пережил забавное второе издание своей юности; он как бы снова расцвел, и румянец его щек внушал мне даже подозрение, что это не румяна, а здоровая ирония природы.

Мне показалось в этот миг, будто я вижу покойника Мольера в окне и будто он с улыбкой указывает мне на эту меланхолически-веселую фигуру. Вся забавность ее вдруг раскрылась передо мной с такой ясностью; я понял всю глубину и полноту шутовства, воплощенного в пей; я понял весь комедийный характер этого

баснословно-комического персонажа, к сожалению, не нашедшего великого драматурга-комика для того, чтобы он воспользовался должным образом его фигурой для сцены. Мольер — единственный, кто мог бы вывести такую фигуру на сцене Théâtre Français, только у него был необходимый для этого талант. И это с давних времен уже чувствовал г. А.-В. Шлегель, и он ненавидел Мольера по той причине, по которой Наполеон ненавидел Тацита. Как Наполеон Бонапарт, французский цезарь, чувствовал, что республиканский историк не нарисовал бы его в розовых тонах, так г. А.-В. Шлегель, немецкий Озирис, давно предчувствовал, что не ускользнул бы от Мольера, великого комика, если бы тот жил в наше время. Наполеон говорил о Таците, что он оклеветал Тиберия, и г. А.-В. Шлегель говорил о Мольере, что он был совсем не поэт, а только шут.

Г. А.-В. Шлегель вскоре после того покинул Париж, предварительно удостоенный его величеством Луи-Филиппом I, королем французов, ордена почетного легиона. «Moniteur» до сих пор медлит с достожданным извещением об этом событии; но Талия, муза комедий, поспешила занести его в свою записную книжку иронии.

II

После Шлегелей одним из деятельнейших писателей романтической школы был г. Людвиг Тик. За нее он боролся, для нее был поэтом. Он был поэтом, имя которого не заслуживал ни один из обоих Шлегелей. Он был настоящим сыном Феба-Аполлона, и, подобно своему вечно юному отцу, он выступал не только с лирой, но и с луком и с колчаном, полным звучнейших стрел. Он был упоен лирическим восторгом и критической жестокостью, подобно дельфийскому богу. Безжалостно ободрав, подобно ему, какого-нибудь литературного Марсия, он вновь весело хватался окровавленными перстами за золотые струны своей лиры и пел радостную любовную песнь.

Поэтическая полемика, которую г. Тик вел в драматической форме с противниками школы, принадлежит к самым незаурядным явлениям нашей литературы. Это сатирические драмы, которые обыкновенно сравнивают с комедиями Аристофана. Но они столь же не похожи на эти комедии, как софокловские трагедии не похожи на шекспировские, ибо если античные комедии во всей полноте сохраняют единство строения, строгость развития и утонченно выработанный метрический язык античной трагедии, пародией на которую они могут считаться, то драматические сатиры г. Тика так же причудливы, так же по-английски неправильны и так же метрически произвольны, как и трагедии Шекспира. Была ли эта форма изобретением г. Тика? Нет, она уже существовала в народе, именно в народе Италии. Знающие по-итальянски могут составить себе довольно точное представление о драмах Тика, если к пестрым, причудливым, венециански-фантастическим сказкам-комедиям Гоцци прибавят еще немножко немецкого лунного света. Даже большинство персонажей заимствовано г. Тиком у этого развеселого сына лагун. По его примеру многие немецкие поэты тоже усвоили эту форму, и у нас появились комедии, комическое действие которых не вызывается причудливым характером или забавной интригой, но которые непосредственно переносят нас в комический мир, в мир, где животные говорят и действуют, как люди, и где место естественного порядка вещей занято случайностью и произволом. То же находим мы и у Аристофана, только последний избрал эту форму, чтобы раскрыть пред нами глубины своего мировоззрения, как он это делает, например, в «Птицах», где изображено в забавнейшей пародии безумное поведение людей, их склонность строить великолепные замки в пустом воздухе, их дерзкий мятеж против вечных богов, их радость и восторг по поводу мнимых побед. Тем и велик Аристофан, что велико его мировоззрение, что оно было выше и даже трагичнее мировоззрения трагиков, что

его комедии были поистине трагедиями-шутками; ибо, например, Пайстетерос в конце пьесы изображен не в своем смешном ничтожестве, как изобразил бы его современный поэт, но, наоборот, он завладевает Базилеей, прекрасной, чудесной, могущественной Базилеей, он возносится с этой божественной супругой в свой воздушный город, боги принуждены подчиниться его воле, глупость празднует свой брак с силой, и пьеса заканчивается ликующими гимнами Гименею. Может ли для разумного человека быть что-нибудь более ужасающе трагичное, чем эта победа дурака и дурацкое торжество? Так далеко, однако, не шли наши немецкие Аристофаны; они воздерживались от всякого высшего мировоззрения; о двух важнейших сторонах жизни человека, о политике и о религии, они хранили молчание с величайшей скромностью. Только темы, положенной Аристофаном в основание его «Лягушек», они позволили себе коснуться. Главным предметом своей драматической сатиры они избрали самый театр, и недостатки нашей сцены они высмеивали с большим или меньшим юмором.

Надо, однако, принять во внимание также отсутствие политической свободы в Германии. Наши остроумцы, вынужденные воздерживаться от всяких намеков по отношению к действительным государям, ищут возмещения за это ограничение в королях театра и принцах кулис. Мы, не имевшие почти никаких газет с политической публицистикой, были тем более богаты множеством эстетических журналов, не содержавших ничего, кроме пустых сказок и театральных рецензий; так что всякому, видевшему наши журналы, должно было прийти в голову, что весь немецкий народ сплошь состоит из болтающих кормилиц и театральных рецензентов. Но это было бы несправедливо по отношению к ним. В сколь малой степени удовлетворяло нас такое жалкое бумагомарание, выяснилось после Июльской революции; тогда оказалось, что и в нашем дорогом отечестве может быть высказано свободное слово. Вме-



Г. ГЕЙНЕ
Бюст работы Арнольда Фрише

важно возник ряд газет, рецензировавших хорошую и дурную игру действительных королей; кое-кто из них, забывший свою роль, был освистан в собственной столице. Наши литературные Шехерезады, имевшие обыкновение усыплять своими маленькими ногеллами публику, этого грубого султана, должны были теперь умолкнуть, и актеры с изумлением увидели, что партер пуст, как бы они божественно ни играли, и что даже кресло страшного местного рецензента очень часто остается незанятым. В прежние времена добрые герои подмошток жаловались всегда, что они, и только они, бывают официальным предметом обсуждения и что даже их домашние добродетели разоблачаются в газетах. Как перепугались они, когда стало выясняться, что, пожалуй, о них вовсе не будет речи!

В самом деле, если бы в Германии разразилась революция, то пришел бы конец театру и театральной критике, и перепуганные беллетристы, актеры и театральные рецензенты с полным основанием опасались, что «искусство может погибнуть». Но мудрой мощью франкфуртского Союзного сейма был счастливо отвращен от нашего отечества этот ужас; надо надеяться, никакая революция не разразится более в Германии; мы ограждены от гильотины и от всех ужасов свободы печати; уничтожены даже палаты депутатов, конкуренция которых так вредила субсидируемым театрам, — и искусство спасено. Для искусства делается теперь в Германии все возможное, особенно в Пруссии. Музеи сверкают красочной пестротой, оркестры гремят, танцовщицы выплясывают свои сладостнейшие антраша, тысяча и одна новелла забавляют публику, и вновь расцвела театральная критика.

Юстин рассказывает в своей «Истории»: «Усмирив мятеж лидийцев, Кир обуздал беспокойный свободолобивый дух их только тем, что повелел им заниматься искусством и прочими развлечениями. С тех пор о бунтах в Лидии не было и речи, но тем более прославлены стали лидийские трактирщики, сводники и артисты».

Теперь у нас в Германии спокойно, театральная критика и новелла вновь стали главным делом, и так как г. Тик мастер в обеих этих областях, то все друзья искусства воздают ему должную дань восхищения. Он, в самом деле, лучший новеллист в Германии. Однако его повествовательные произведения неодинаковы и неравноценны. Как и у живописцев, у г. Тика можно различить много манер. Его первая манера еще целиком принадлежит прежней школе. Он писал тогда лишь по почину и заказу книгопродавца, который был не кто иной, как сам покойный Николай, непримиримейший чемпион просвещения и гуманности, великий враг суеверия, мистики и романтики. Николай был плохой писатель, прозаический парик, и он часто ставил себя в очень смешное положение тем, что повсюду вынюхивал иезуитов. Но мы, позже пришедшие, мы должны признать, что старый Николай был очень почтенный человек, искренно стремившийся к благу немецкого народа и из любви к священному делу истины не боявшийся даже худшего мученичества — стать смешным. Как рассказывали мне в Берлине, г. Тик жил раньше в доме этого почтенного человека, он жил этажом выше Николай, и новое время уже топало ногами над головой старого времени.

Произведения, написанные Тиком в его первой манере, главным образом — рассказы и большие длинные романы, среди которых лучший «Вильям Ловелль», очень незначительны и даже чужды поэзии. Как будто эта поэтически богатая натура скупилась в молодости и сохраняла все свои духовные богатства для будущего времени или, быть может, г. Тик сам не знал богатств, тающихся в его собственной груди, и лишь Шлегелям удалось открыть их своей волшебной палочкой. Едва г. Тик вошел в соприкосновение с Шлегелями, раскрылись все сокровища его воображения, его глубины и его остроумия. Здесь засверкали алмазы, посыпались чистейшие жемчуга, и здесь прежде всего заблестал алмаздин, легендарный драгоценный камень, о котором в то время так много говорили и пели романтические

поэты. Эта богатая душа была, собственно, той сокровищницей, из которой Шлегели оплачивали военные издержки своих литературных походов. Г. Тику пришлось одновременно писать для школы вышеупомянутые сатирические комедии и изготавливать по новейшим эстетическим рецептам множество поэтических произведений всех родов. Это — вторая манера г. Людвига Тика. Наилучшими его драматическими произведениями этой манеры являются: «Император Октавиан», «Святая Генофефа» и «Фортунат», три драмы, написанные по лубочным книжкам под тем же заглавием. Эти старые сказания, до сих пор хранимые немецким народом, одел здесь поэт в новые драгоценные одежды. Но, сказать по совести, мне они милее в старой наивной простодушной форме. Как ни прекрасна «Генофефа» Тика, мне гораздо милее старая, очень плохо напечатанная в Кельне, лубочная книжка, с ее плохими иллюстрациями, на которых, однако, так трогательно изображено, как бедная голая пфальцграфиня, целомудренно прикрытая только своими длинными волосами, кормит свое маленькое дитя грудью сострадательной лани.

Гораздо ценнее этих драм новеллы, написанные г. Тиком в его второй манере. Они также в большинстве случаев следуют за старинными народными сказаниями. Самые лучшие из них: «Белокурый Экберт» и «Руненберг». Тайнственная задумчивость царит в этих произведениях, своеобразное согласие с природой, особенно с миром растений и камней. Читатель чувствует себя здесь, как в заколдованном лесу; он слышит мелодическое журчание подземных родников; ему кажется, что временами в шелесте деревьев он слышит свое имя; временами широколиственные вьющиеся растения опутывают его ноги; чужеземные чудесные цветы вперяют в него свои пестрые томные глаза; невидимые губы целуют его щеки с игривой нежностью; высокие грибы, подобно золотым колокольчикам, звеня, растут у корней деревьев; большие птицы безмолвно качаются на ветвях и кивают вниз своими умными

длинным клювами; все дышет, все прислушивается, все полно жуткого ожидания: и вот, вдруг раздаётся звук мягкого лесного рожка, на белом иноходце проносится красавица с развевающимися перьями на шапочке, с соколом на руке. И эта прекрасная девица так прекрасна, так белокура, так синеглаза, так приветлива и в то же время так серьезна, так правдива и в то же время так иронична, так невинна и в то же время так страстно томна, как и фантазия нашего восхитительного Людвиг Тика. Да, его фантазия — прелестная рыцарственная девица, охотящаяся в волшебном лесу на сказочных зверей, быть может, даже на редкостного единорога, которого дано поймать лишь чистой девственнице.

Замечательнейшая перемена происходит, однако, теперь с г. Тиком, и она проявляется в его третьей манере. После долговременного молчания вслед за падением Шлегелей, он снова выступил, и в таком виде, какого меньше всего от него можно было ожидать. Былой энтузиаст, бросившийся некогда с фанатическим пылом в лоно католической церкви, мощно боровшийся против просветительства и протестантства, дышавший только средневековьем, только феодальным средневековьем, любивший искусство только в наивных излияниях сердца, — выступил теперь в роли изобразителя современной бюргерской жизни и противника восторженности, — как художник, требующий в искусстве ясности и сознательности, — словом, как разумный человек. Таким представляется он нам в ряде новейших новелл, из коих некоторые стали известны во Франции. В них заметно изучение Гете, да и вообще г. Тик в своей третьей манере является истинным учеником Гете. Та же артистическая ясность, жизнерадостность, спокойствие и ирония. Если раньше шлегелевской школе не удавалось привлечь Гете к себе, то теперь мы видим, как эта школа, в лице Людвиг Тика, пошла к Гете. Это напоминает магометанское предание. Пророк сказал горе: «Гора, приди ко мне». Но гора не пришла, и вот

произошло еще большее чудо — пророк пошел к горе.

Г. Тик родился в Берлине 31 мая 1773 года. Много лет тому назад он поселился в Дрездене, где посвятил себя главным образом театру, и он, неустанно издевавшийся в своих прежних произведениях над советником двора, как олицетворением всего смешного, сделался теперь сам королевским саксонским советником. Господь бог все еще больший насмешник, чем г. Тик.

Странное разногласие возникло ныне между рассудком и воображением этого писателя. Рассудок Тика — почтенный, трезвый обыватель, преклоняющийся перед полезностью и отворачивающийся от восторженности. Но воображение Тика — попрежнему все та же рыцарственная красавица с развевающимися перьями на шапочке и соколом на руке. Они живут в забавнейшем браке, и иногда даже печально видеть, как бедная высокородная женщина вынуждена помогать своему сухому мещанину мужу по хозяйству или даже в его сырной лавке. Но иногда, однако, по ночам, когда господин супруг спокойно храпит, надвинув бумажный колпак на голову, благородная дама поднимается с принудительного брачного ложа, садится на своего белого коня и вновь весело охотится, как некогда в романтическом волшебном лесу.

Не могу умолчать, что рассудок сделался еще суше в его последних новеллах и что фантазия его все больше и больше теряет свою романтическую природу и в холодные ночи с довольным зевком остается на брачном ложе и весьма любовно прижимается к тощему супругу.

Однако г. Тик все же остается большим поэтом. Ибо он может создавать образы и из его сердца вырываются слова, движущие нашими сердцами. Но робость, нечто неопределенное, неуверенное, известная слабость были ему присущи не теперь только, а всегда. Этот недостаток решительности и силы слишком сильно проявлялся во всем, что он делал и писал. Во всяком случае, во всем, что он писал, не проявлялось никакой самостоя-

тельности. В первой своей манере он просто ничто; его вторая манера показывает в нем лишь верного оруженосца Шлегеля; в третьей манере он является подражателем Гете. Его критические статьи, собранные им под заглавием «Драматургические страницы», — самое оригинальное из всех его произведений. Но это всего лишь критические статьи о театре.

Чтобы обрисовать Гамлета как вполне слабого человека, Шекспир выставляет его в диалоге с актерами хорошим театральным критиком.

Наукам г. Тик никогда не отдавался серьезно. Он изучал новые языки и старые памятники нашей отечественной поэзии. Изучение классической древности, говорят, было ему, как истинному романтику, всегда чуждо. Никогда не занимался он философией; она ему как будто даже была противна. На полях науки г. Тик срывал только цветы и тонкие прутья, и первыми он угощал носы своих друзей, а последними спины своих противников. Научному полководству он никогда не предавался. Его сочинения — букеты цветов и связки прутьев; нигде ни одного снопа колосьев.

Кроме Гете, г. Тик больше всего подражал Сервантесу. Юмористическая ирония, я мог бы также сказать — иронический юмор этих двух новейших поэтов распространяет свое благоухание даже в новеллах третьей манеры г. Тика. Ирония и юмор в такой степени слились здесь воедино, что кажутся одним и тем же. Об этой юмористической иронии много толкуют у нас. Гетевская художественная школа восхваляет ее, как особенную прелесть своего учителя, и она играет теперь большую роль в немецкой литературе. Но она только символ нашей политической угнетенности, и, как Сервантес в эпоху инквизиции вынужден был искать убежища в юмористической иронии для того, чтобы выразить свои мысли, скрывая уязвимые стороны от служителей священной инквизиции, так и Гете имел обыкновение выражать в тоне юмористической иронии то, что он, в качестве министра и придворного, не осме-

ливался высказать прямо. Гете никогда не скрывал правды, и в тех случаях, когда не мог показать ее во всей наготе, он облекал ее в юмор и иронию. Писатели, томящиеся под цензурным и всяким иным духовным гнетом и никогда не могущие отречься от своих заветных взглядов, особенно вынуждены прибегать к иронически-юмористической форме. Это единственный исход, остающийся для их честности, и в этом юмористически-ироническом наряде проявляется еще трогательнее эта честность. Это вновь вызывает в моей памяти чудака, принца датского. Гамлет — честнейшее существо на свете. Его притворство служит только заменой внешних приличий. Он чудачит, потому что чудачество все же меньше оскорбляет придворный этикет, чем решительная прямая откровенность. Во всех своих юмористически-иронических шутках он намеренно показывает всегда, что он только притворяется. Во всем, что он делает и говорит, ясно его настоящее мнение всякому, кто умеет видеть, и даже королю, которому Гамлет хоть и не может открыто высказать правды (потому что он слишком слаб для этого), но от которого он, однако, не хочет совсем скрывать ее. Гамлет насквозь честен. Только честнейший человек мог сказать: «Все мы обманщики»; и, притворяясь сумасшедшим, он тоже не хочет нас обмануть и в глубине души сам думает, что в самом деле сошел с ума.

Я должен в дополнение с похвалой упомянуть еще о двух работах г. Тика, которыми он особеннонискал благодарность немецких читателей. Это его перевод ряда английских драм дошекспировской эпохи и перевод «Дон-Кихота». Последний ему особенно удался. Никто не умел так хорошо понять нелепость грандеццы остроумного идадьго Ламанчского и так хорошо передать ее, как наш превосходный Тик.

Забавно, что из романтической школы вышел лучший перевод книги, где потешнее всего высмеяна ее собственная нелепость. Ибо эта школа страдала тем же безумием, которое вдохновило нашего благородного

ламанчского рыцаря на все его дурачества. И она стремилась восстановить средневековое рыцарство, и она стремилась вновь призвать к жизни умершее прошлое. Или, быть может, Мигель де-Сервантес-Саведра в своей шутовской эпопее хотел высмеять и других рыцарей, а именно всех людей, которые когда-либо боролись и страдали за идею? Не хотел ли он, в самом деле, в образе своего долговязого, тощего рыцаря дать пародию вообще на идеалистический энтузиазм, а в его толстом оруженосце — на реалистический рассудок? Так или иначе, последний играет более комическую роль; ибо положительному рассудку со всеми его поучительными поговорками, унаследованными от предков, все-таки приходится тащиться на своем спокойном осле за энтузиазмом; несмотря на свою рассудительность, ему и его ослу приходится делить все невзгоды, так часто выпадающие на долю благородного рыцаря; мало того, идеалистический энтузиазм так мощно увлекателен, что положительному рассудку невольно приходится постоянно следовать за ним вместе со всеми своими ослами.

Или глубокомысленный испанец хотел еще глубже осмеять человеческую натуру? Быть может, в образе Дон-Кихота он аллегорически изобразил наш дух, а в образе Санчо-Пансы наше тело, и вся поэма, в таком случае, является не чем иным, как великой мистерией, где вопрос о духе и материи обсуждается во всей его ужасающей правде. Одно ясно для меня в этой книге — что бедному материалисту Санчо приходится много выстрадать ради спиритуалистических донкихотств, что он из-за благороднейших намерений своего господина очень часто выносит самые неблагородные колотушки и что он всегда рассудительнее своего высоко заносящегося господина, ибо он знает, что колотушки очень неприятны, а колбаски в олья-потриде очень вкусны. Поистине, тело часто гораздо проникательнее духа, и человек часто гораздо правильнее мыслит спиной и желудком, чем головой.

III

Среди безумств романтической школы в Германии особого упоминания заслуживают неустанные хваления и превозношения в честь Якова Бёме. Это имя было как бы лозунгом этих людей. Произнося имя Якова Бёме, они строили самые глубокомысленные мины. Всерьез это было или в шутку?

Этот Яков Бёме был сапожник, увидевший свет в 1575 году в Герлице в Верхней Лузании и оставивший целую грудку теософических сочинений. Они написаны по-немецки, что делало их тем доступнее нашим романтикам. Был ли этот необычайный сапожник таким замечательным философом, как утверждали многие немецкие мистики, не берусь решать определенно, так как я его не читал; мое убеждение, что он не шил сапог так хорошо, как г. Сакоский. Сапожники вообще играют роль в нашей литературе, и Ганса Сакса, сапожника, родившегося в 1454 году в Нюрнберге и прожившего там всю жизнь, романтическая школа прославила как одного из наших лучших поэтов. Его я читал и должен сознаться, что сомневаюсь, писал ли когда либо г. Сакоский такие хорошие стихи, как наш старый милый Ганс Сакс.

О влиянии г. Шеллинга на романтическую школу я уже упомянул. Так как ниже мне придется остановиться на нем, то здесь я могу не вдаваться в подробности. Во всяком случае, этот человек заслуживает нашего величайшего внимания. Ибо в начале своей деятельности он произвел великую революцию в мире немецкой мысли, а в позднейшее время он так переменился, что люди не знающие впадают в величайшую ошибку, смешивая прежнего Шеллинга с нынешним. Прежний Шеллинг был смелый протестант, выступавший против фихтевского идеализма. Этот идеализм был странной системой, которая должна казаться французам особенно чуждой. Ибо в то время, как во Франции развивалась философия, как бы облекавшая

дух плотью, признававшая дух только одной из модификаций материи, одним словом, когда здесь получил господство материализм, в Германии возвысилась философия, которая, как раз наоборот, рассматривала лишь дух как нечто действительное, объявляя всякую материю лишь одной из модификаций духа и даже отрицая самое существование материи. Казалось, что дух по ту сторону Рейна старается отомстить за те оскорбления, которым он подвергался по эту сторону Рейна. Когда дух начали отрицать здесь, во Франции, он как бы эмигрировал в Германию и там стал отрицать материю. В этом отношении на Фихте можно смотреть как на герцога Брауншвейгского от спиритуализма, и в его идеалистической философии можно видеть не что иное, как манифест против французского материализма. Но эта философия, представляющая действительно вершину спиритуализма, была так же мало долговечна, как грубый материализм французов, и именно г. Шеллинг как раз и выступил с учением, что материя, или, как он называл ее, природа, существует не только в нашем духе, но и в действительности, что наше представление о вещах тождественно с самими вещами. Это и есть учение Шеллинга о тождественности, или, как его также называют, натурфилософия.

Это произошло в начале столетия. В те годы г. Шеллинг был великим человеком, но затем на философской арене появился Гегель; г. Шеллинг, в последнее время почти ничего не писавший, остался в тени. Мало того, он был предан забвению и сохранил лишь историко-литературное значение. Гегелевская философия сделалась господствующей; Гегель стал властелином в царстве умов, и бедный Шеллинг, павший медиатизированный философ, тоскливо бродил среди прочих медиатизированных господ в Мюнхене. Тут встретил я его однажды и чуть не пролил слезу при виде этого жалкого зрелища. И то, что он говорил, было еще более жалко, — это была завистливая брань по адресу Гегеля, занявшего его место. Как сапожник говорит о

другом сапожнике, которого обвиняет, что он украл у него кожу и сшил из нее сапоги, так, случайно встретив г. Шеллинга, я слышал как он разговаривал о Гегеле, — о Гегеле, который «взял его идеи». «Мои идеи взял он», и снова «мои идеи» — таков был постоянный припев этого бедного человека. Поистине, если некогда сапожник Яков Беме говорил, как философ, то философ Шеллинг говорит теперь, как сапожник.

Нет ничего смешнее предъявления прав собственности на идеи. Конечно, Гегель воспользовался очень многими шеллинговскими идеями для своей философии; но г. Шеллинг никогда не знал бы, что с ними делать, с этими идеями. Он всегда только философствовал, но никогда не смог создать философию. Но в таком случае надо определенно сказать, что г. Шеллинг больше заимствовал у Спинозы, чем Гегель у него. Когда впоследствии Спиноза будет высвобожден из его окаменевшей старокатоликанской, математической формы и сделается доступным широким кругам читателей, то тогда, быть может, выяснится, что он, больше чем кто-либо другой, в праве жаловаться на кражу его идей. Все наши новейшие философы, быть может, не отдавая себе в том отчета, смотрят сквозь очки, отшлифованные Барухом Спинозой.

Злоба и зависть привели даже ангелов к падению, и увы, это слишком несомненно, — досада при виде все возрастающего значения Гегеля привела бедного г. Шеллинга туда, где мы его теперь видим, а именно в сети католической пропаганды, главная квартира которой находится в Мюнхене. Г. Шеллинг предал философию католической религии. Все свидетельствует единогласно об этом, и давно уже можно было предвидеть, что этим дело кончится. Из уст разных властей имущих лиц в Мюнхене я так часто слышал слова о необходимости связать веру со знанием. Эта фраза была невинна, как цветок, но за нею таилась змея. Теперь я знаю, чего вы добивались. Г. Шеллинг должен теперь служить тому, чтобы всеми силами

своего ума оправдывать католическую религию, и все то, чему он теперь учит под названием философии, есть не что иное, как оправдание католицизма. При этом спекулировали еще на побочной выгоде, что такое прославленное имя заманит жаждущую мудрости немецкую молодежь в Мюнхен и что тем легче будет опутать ее иезуитской ложью в одежде философии. Благоговейно преклоняется эта молодежь перед человеком, которого считает верховным жрецом истины, и без подозрения принимает из его рук отравленное причастие.

Среди учеников г. Шеллинга с особой похвалой называют в Германии г. Стеффенса, ставшего теперь профессором философии в Берлине. Он жил в Иене, когда там орудовали Шлегели, и имя его часто встречается в летописях романтической школы. Впоследствии он написал также несколько новелл, в которых много острого ума и мало поэзии. Значительнее его научные труды, в особенности его «Антропология». Она полна оригинальных идей. В этом отношении он признан меньше, чем заслуживает. Другие сумели обработать его идеи и выдать их перед публикой за свои... Г. Стеффенс был бы больше в праве, чем его учитель, жаловаться, что у него крали его идеи. Но среди его идей была одна, которую никто у него не украл, и это его главная идея, возвышенная идея, а именно: «Г. Генрик Стеффенс, родившийся 2 мая 1773 года в Ставангаре у Трондгейма, в Норвегии, величайший человек своего столетия».

В последние годы этот человек попал в руки пиэтистов, и нынешняя его философия есть не что иное, как слезливая, подогретая водичка пиэтизма.

Умом того же склада обладает г. Иосиф Геррес, о котором я уже упоминал не раз и который также принадлежит к школе Шеллинга. Он известен в Германии под названием «четвертый союзник». Так некогда назвал его один французский журналист в 1814 году, когда он проповедывал, по поручению Священного союза,

ненависть против Франции. Этим комплиментом он питается до сего дня. Но в самом деле, никто не умел так сильно, как он, разжигать посредством национальных воспоминаний ненависть немцев к французам; и журнал, который он издавал для этой цели, «Рейнский Меркурий», полон таких заклинательных формул, которые могли бы, в случае новой войны, произвести еще некоторое действие. С тех пор г. Геррес был почти забыт. Государям он больше не был нужен, и они выгнали его. Так как он стал по этому случаю ворчать, то его даже подвергли преследованию. С ним вышло, как с испанцами на острове Кубе, когда они, воюя с индейцами, выучили своих больших собак набрасываться на голых дикарей и рвать их в клочья; однако, когда кончилась война и собаки, которым по вкусу пришлось человеческое мясо, стали по временам хватать за икры своих хозяев, то последним пришлось силой избавиться от своих кровавых псов. Когда г. Герресу, преследуемому государями, некого было больше кусать, он бросился в объятия иезуитов. Им он служит вплоть до нынешнего часа и представляет собою главную опору католической пропаганды в Мюнхене. Здесь видел я его несколько лет тому назад в расцвете его унижения. Перед аудиторией, состоявшей главным образом из католических семинаристов, читал он лекции по всеобщей истории и добрался уже до грехопадения. Что за ужасающий конец постигает врагов Франции! Четвертый союзник осужден теперь на то, чтобы целыми годами изо дня в день рассказывать католическим семинаристам, этой Ecole Polytechnique* обскурантизма, историю грехопадения. В лекциях его, как и в его книгах, царил величайшая сумятица понятий и слов, и не без основания часто сравнивали его с Вавилонской башней. Он в самом деле похож на громадную башню, где тысячи мыслей кишат и перекликаются, и бродят, и препираются, причем одна

* Политехнической школе

другой не понимает. Но иногда шум в его голове как будто смолкал на мгновение, и тогда он говорил долго, протяжно и скучно, и с его недовольных губ падали монотонные слова, как мутные капли дождя из свинцового жолоба.

Когда же подчас вновь просыпалась в нем старая демагогическая дикость, представлявшая отвратительный контраст его монашески-набожным, смиренным словам; когда он с кровожадной яростью метался взад и вперед, взвизгивая в избытке христианской любви, — тогда казалось, что видишь перед собой гиену в тонзуре.

Г. Геррес родился в Кобленце 25 января 1776 года.

От прочих частностей его жизни, как и жизни большинства его товарищей, я прошу меня избавить. Быть может, говоря о его друзьях, обоих Шлегелях, я переступил границы, в которых можно говорить о жизни этих людей.

Ах, как тоскливо становится, когда помотришь вблизи не только на этих диоскуров, но вообще на звезды нашей литературы! Но звезды, быть может, только потому и представляются нам такими прекрасными и чистыми, что мы видим их издали, не зная их частной жизни. Наверное и там, на небе, тоже есть звезды, которые лгут и клячат; звезды, которые лицемерят; звезды, которые вынуждены делать всевозможные гнусности; звезды, которые, целуясь, предают друг друга; звезды, которые льстят своим врагам и, что еще печальнее, даже своим друзьям, так же, как мы здесь, внизу. Кометы, которые мы видим иногда проносящимися, подобно небесным менадам, с распущенными гривами лучей, — это, быть может, распутные звезды, которые, в конце концов, покаянно святошески заползают в какой-нибудь темный уголок неба и ненавидят солнце.

Говоря о немецких философах, я должен исправить одно заблуждение, очень распространенное по отношению к немецкой философии здесь, во Франции. С тех

пор именно, как некоторые французы, занявшиеся философией Шеллинга и Гегеля, изложили результаты своих занятий на французском языке и даже применяясь к французскому пониманию, раздают жалобы друзьям ясного мышления и свободы, что из Германии ввозятся сумасброднейшие фантазии и софизмы, которые путают умы и умело облачают всякую ложь и всякий деспотизм видимостью истины и права. Одним словом, эти благородные люди, защищая интересы либерализма, жалуются на тлетворное влияние немецкой философии во Франции. Но бедная немецкая философия терпит понапрасну. Ибо, во-первых, то, что до сих пор поставлялось французам под этим наименованием, особенно г. Виктором Кузеном, совсем не немецкая философия. Г. Виктор Кузен преподавал очень много остроумной галиматии, но совсем не немецкую философию. Во-вторых, подлинной немецкой философией надо назвать ту, которая вышла непосредственно из «Критики чистого разума» Канта и, нося печать этого происхождения, мало заботилась о политических и религиозных отношениях, а заботилась прежде всего о первоосновах всякого познания.

Верно, что метафизические системы большинства немецких философов слишком походили на паутину, но что в этом было дурного? Ведь все-таки иезуитизм не мог воспользоваться этой паутиной для своих сетей лжи, и так же мало мог вить из нее деспотизм свои веревки для того, чтобы скрутить умы. Только со времен Шеллинга потеряла немецкая философия этот тонкий, но безобидный характер. С тех пор наши философы критиковали уже не первоосновы познания и бытия вообще; они перестали витать в идеалистических абстракциях, но искали обоснований для оправдания существующего, они сделались оправдателями того, что есть. В то время как наши прежние философы жили в нужде и в лишениях и, ютясь в жалких чердачных комнатушках, измышляли там свои системы, наши теперешние философы облечены в блестящие ливреи

власти, они стали государственными философами и занялись изобретением философских оправданий всех интересов государства, на службе у которого состояли. Так, например, Гегель, профессор в протестантском Берлине, включил в свою систему всю евангелически-протестантскую догматику, а г. Шеллинг, профессор в католическом Мюнхене, оправдывает в своих лекциях самые экстравагантные утверждения римской католическо-апостольской церкви.

Да, подобно тому как некогда александрийские философы тратили всю остроту своего ума на то, чтобы охранить падающую религию Юпитера от полной гибели, так и наши философы предпринимают нечто сходное для спасения религии Христа. Нам нет дела до того, есть ли у этих философов бескорыстные цели. Но если мы их видим в союзе с партией попов, материальные интересы которой связаны с сохранением католичества, то мы называем их иезуитами. Пусть они, однако, не воображают, что мы принимаем их за прежних иезуитов. Те были велики и могучи, полны мудрости и воли. О жалкие карлики, вообразившие, что они справятся с трудностями, перед которыми отступили даже те черные великаны! Никогда человеческий дух не придумывал более великих комбинаций, чем те, которыми старые иезуиты пытались спасти католичество. Но это им не удалось, потому что их вдохновляло только сохранение католичества, а не самое католичество. Последнее само по себе их, собственно, совсем не заботило. Поэтому они подчас профанировали самый принцип католицизма, лишь бы доставить господство католицизму; они заключали соглашения и с язычниками и с сильными мира сего, угождали их страстям, становились убийцами и торгашами, а где было нужно, там делались даже атеистами. Но напрасно давали их духовники дружеские отпущения грехов, и их казуисты любезничали со всеми пороками и преступлениями. Напрасно соперничали они с мирянами в искусстве и в науке для того, чтобы пользоваться

тем и другим, как средством. Здесь становится совершенно очевидным их бессилие. Они завидовали всем великим ученым и художникам, но не могли ни открыть, ни создать ничего чрезвычайного. Они сочиняли благоговейные гимны и строили соборы, но от их поэзии не веет свободным духом, она дышит лишь трепещущей покорностью начальству ордена, и даже в их сооружениях видишь лишь трусливую скованность, каменную приспособляемость, величие по приказу. Справедливо сказал однажды Барро: «Иезуиты не могли поднять землю на небо, они спустили небо на землю». Бесплодными были все их труды и дела. Из лжи не может расцвести жизнь, и бог не может быть спасен посредством дьявола.

Г. Шеллинг родился 27 января 1775 года в Вюртемберге.

VI

Об отношениях г. Шеллинга к романтической школе я могу сообщить лишь немного. Его влияние было по преимуществу личного свойства. Затем, с тех пор как благодаря ему получила значение натурфилософия, поэты стали гораздо глубже воспринимать природу. Одни всеми своими человеческими чувствами погрузились в природу, другие нашли некоторые чародейские формулы, чтобы проникнуть в природу, разглядеть ее и заставить ее заговорить по-человечески. Первые были собственно мистики и во многих отношениях походили на индийских подвижников, которые хотят раствориться в природе и, в конце концов, начинают ощущать себя частицей природной жизни. Другие были скорее заклинатели, — они по собственному желанию вызывали даже враждебных духов природы; они походили на арабского волшебника, который по своему желанию может одушевить каждый камень и окаменить всякую жизнь. Среди первых надо прежде всего назвать Новалиса, среди вторых — Гофмана. Новалису виделись повсюду лишь чудеса, и прелестные чудеса; он подслушивал разговоры растений, ему

раскрывалась тайна каждой юной розы, в конце концов он отождествлял себя с природой, и, когда пришла осень и опали листья, он умер. Гофман, напротив, видел повсюду лишь привидения. Они кивали ему из каждого китайского чайника, из каждого берлинского парика; он был чародей, превращавший людей в зверей, а последних даже в советников прусского королевского двора. Он мог вызвать мертвецов из могил, но сама жизнь отталкивала его от себя, как темное привидение. Он чувствовал это, он чувствовал, что сам становился призраком. Вся природа сделалась для него теперь кривым зеркалом, где он видел лишь свою собственную, тысячекратно исковерканную мертвую личину, и его сочинения представляют собой не что иное, как потрясающий крик ужаса в двадцати томах.

Гофман не принадлежит к романтической школе; он не состоял ни в какой связи со Шлегелями и еще меньше с их тенденциями. Я упомянул о нем лишь по противоположности его, с Новалисом, который является настоящим поэтом этой школы. Новалис меньше известен здесь, чем Гофман, представленный французским читателям Леве-Веймарсом в столь превосходном наряде и оттого получивший во Франции большую известность. У нас в Германии Гофман теперь совсем не *en vogue* *, но раньше он был в большой славе. В свое время он много читался, однако лишь людьми с нервами слишком сильными или слишком слабыми, чтобы поддаваться воздействию мягких аккордов. Действительно одаренные и поэтические натуры и слышать о нем не хотели. Им был гораздо милее Новалис, но, по совести говоря, Гофман как поэт был гораздо выше Новалиса. Ибо последний со своими идеальными образами постоянно витает в голубом тумане, тогда как Гофман со своими причудливыми карикатурами всегда и неизменно держится земной

* В данном случае: непопулярен, не в моде.

реальности. Но как гигант Антей оставался непобедимым, пока касался ногами матери-земли, и потерял силы, как только Гераклес поднял его на воздух, так и поэт бывает силен и могуч лишь до тех пор, пока не покидает почвы действительности, и становится бессильным, как только начинает парить в голубом тумане.

Великое сходство между обоими поэтами заключается в том, что их поэзия была, собственно, болезнью. Вот почему высказывалась мысль, что обсуждать их произведения дело не критика, а врача. Розовый налет на стихотворениях Новалиса не краска здоровья, а румянец чахотки, и багровая окраска в «Фантастических рассказах» Гофмана пламя не гения, а лихорадки.

Но имеем ли мы право на такие замечания, мы, не слишком одаренные здоровьем? Особенно теперь, когда литература похожа на большой лазарет? Или, быть может, поэзия есть болезнь человека, как жемчуг есть, собственно, болезненный нарост, которым страдает бедный слизняк?

Новалис родился 2 мая 1772 года. Его настоящее имя Гарденберг. Он любил молодую женщину, болевшую чахоткой и умершую от этого недуга. Во всем, что он писал, чувствуется эта печальная история, вся жизнь его была мечтательное умирание, и он умер от чахотки в 1801 году, раньше чем завершил двадцать девятый год своей жизни и свой роман. В нынешнем виде этот роман есть лишь отрывок большой аллегорической поэмы, которая, подобно «Божественной комедии» Данте, должна была прославить все земные и небесные вещи. Генрих фон-Офтердинген, знаменитый поэт, — герой этого романа. Мы видим его юношей в Эйзенахе, милом городке, расположенном у подножья того старого Вартбурга, где уже совершилось величайшее, но и глупейшее дело, а именно где Лютер перевел свою Библию и несколько тупоумных немецких националистов сожгли «Жандармский кодекс» г. Кампца. В этом самом Вартбурге происходило некогда состязание певцов, где среди прочих поэтов выступил и Генрих фон-Офтер-

динген и вступил с Клингсором Венгерским в опасный поэтический поединок, запечатленный в Манесевском сборнике. Голова побежденного должна была упасть под мечом палача, а судьей был ландграф Тюрингенский. Символически высится здесь Вартбург, поприще его поздней славы, над колыбелью героя, и начало романа Новалиса изображает его, как мы сказали, в отцовском доме в Эйзенахе. «Родители легли уже и уснули, стенные часы тикают однообразно, за хлопающими ставнями завывает ветер, неровно заливая светом комнату мерцание месяца.

«Юноша беспокойно метался на кровати, вспоминая пришельца и его рассказы. Не сокровища, — говорил он сам с собой, — пробудили во мне столь невыразимое стремление, мне чужда всякая корысть, но я жажду увидеть голубой цветок. Неизменно он захватывает мои мысли, ни о чем другом я не могу думать и мечтать. Так никогда еще не было у меня на душе. Мне кажется, что все предыдущее было сновидением, или же сон перенес меня в другой мир: ибо в том мире, где я жил до сих пор, кто стал бы беспокоиться о цветах; и о такой необычайной страсти к цветку я никогда там не слышал».

Такими словами начинается «Генрих фон-Офтердинген», и повсюду в этом романе светит и благоухает голубой цветок. Странно и многозначительно, что даже самые фантастические лица в этой книге кажутся нам такими знакомыми, словно мы уже в прежние времена были с ними близки. Оживают старые воспоминания, даже лицо Софии нам кажется знакомым, и в памяти встают целые буковые аллеи, где мы с ней гуляли и весело болтали. Но все это лежит позади нас в смутном тумане, как позабытый сон.

Муза Новалиса была стройная бледная девушка, с серьезными голубыми глазами, золотистыми гиацинтовыми локонами, улыбающимися устами и маленькой красной родинкой на левой стороне подбородка. Я ведь представляю себе музу поэзии Новалиса в виде той

самой девушки, которая впервые познакомила меня с Новалисом, когда я увидал в ее прекрасных руках красный сафьяновый, с золотым обрезом томик, который и был «Офтердинген». Она всегда ходила в голубом платье и называлась София. Жила она на расстоянии нескольких станций от Геттингена у своей сестры, г-жи почтмейстерши, веселой, полной краснощекой женщины, с высокой грудью; увенчанная зубцами накрахмаленных кружев, она имела вид крепости; но крепость эта была неприступна, г-жа почтмейстерша была Гибралтаром добродетели. Это была деятельная, хозяйственно-практическая женщина, однако единственным ее удовольствием было чтение романов Гофмана. В Гофмане нашла она человека, умевшего потрясать ее крепкую натуру и приводить в приятное волнение. Наоборот, ее бледную нежную сестру уже один вид книги Гофмана приводил в пренеприятное волнение, и если она нечаянно касалась такой книжки, то при этом вся содрогалась. Она была нежна, как мимоза, и слова ее были так благоуханны, так благозвучны; когда они слагались воедино, то выходили стихи. Я записал многое из того, что она говорила, и это — своеобразные стихи, совершенно в духе Новалиса, только еще более духовные, еще более замирающие. Особенно дорого мне одно из этих стихотворений, сказанное ею мне, когда я прощался с нею, уезжая в Италию. В осеннем саду, где кончилась иллюминация, слышится разговор между последней плошкой, последней розой и диким лебедем. Надвигается утренний туман, последняя плошка погасла, с розы упали лепестки, и лебедь расправляет свои белые крылья и улетает на юг.

Дело в том, что в Ганноверском крае много диких лебедей, которые осенью отлетают на теплый юг, а летом возвращаются к нам. Вероятно, они проводят зиму в Африке, потому что в груди убитого лебедя мы однажды нашли стрелу, которую проф. Блюменбах признал африканскою. Бедная птица со стрелой в груди вернулась все же в свое северное гнездо, чтобы

умереть здесь. Но не у одного из лебедей со стрелами в груди, вероятно, не хватило сил окончить свой перелет, и, беспомощный, он, верно, остался в раскаленной песчаной пустыне или сидит теперь с ослабевшими крыльями на какой-нибудь египетской пирамиде, устремив тоскливые глаза к северу, к прохладному летнему гнезду в стране Ганноверской.

Когда поздней осенью 1828 года я вернулся (тоже с жгучей стрелой в груди) с юга, мой путь привел меня в окрестности Геттингена, и я остановился у моей толстой приятельницы, содержательницы почтовой станции, чтобы переменить лошадей. Давным давно я не видал ее, и добродушная женщина очень переменилась с виду. Грудь ее все еще напоминала крепость, но снесенную; бастионы были разрушены, главные башни обратились в свисшие развалины, нет часовых у входа, и сердце, цитадель, было сломано. Как сообщил мне ямщик Пипер, она потеряла даже вкус к романам Гофмана, но тем основательней выпивала теперь перед сном водки. Оно и гораздо проще, ибо водка всегда есть в доме, а романы Гофмана надо было доставать из библиотеки Дейерлиха в Геттингене, куда четыре часа езды. Ямщик Пипер был коренастый человек с таким кислым видом, словно он напился уксусу и его всего перекосило от этого. Когда я спросил этого человека о сестре, г-жи почтмейстерши, он ответил: «Мадемуазель София скоро умрет, и уже теперь она ангел». Каким совершенством должно было быть существо, о котором даже кислый Пипер говорил, что она ангел! И он говорил это, разгоняя обутыми в высокие сапоги ногами кудахтавшую и метавшуюся вокруг куриную стаю. Здание почтовой станции, некогда весело белое, тоже изменилось вместе со своей хозяйкой. Оно болезненно пожелтело, в стенах залегли глубокие морщины. Во дворе валялись поломанные повозки, на шесте подле навозной кучи сушился насквозь промокший багрово-красный ямщицкий плащ. Мадемуазель София стояла у окна верхнего этажа и читала. Когда я под-

нялся к ней, я опять нашел в ее руках книгу в красном сафьяновом переплете с золотым обрезом, и это опять был «Офтердинген» Новалиса. Она все продолжала читать и читать эту книгу и дочиталась до чахотки и похожа была на светлую тень. Но теперь она была озарена духовной красотой, вид которой мучительно взволновал меня. Я взял ее бледные худенькие руки, посмотрел глубоко в ее голубые глаза и спросил, наконец: «Мадемуазель София, как вы себя чувствуете?» — «Хорошо, — ответила она, — а скоро будет еще лучше!» — и она показала в окно на новое кладбище, небольшой холмик неподалеку от дома. На этом обнаженном холме возвышался единственный, тощий, засохший тополь, на котором висело лишь несколько листьев, и он шевелился под осенним ветром не как живое дерево, а как призрак дерева.

Под этим тополем лежит теперь мадемуазель София, а оставленная мне на память книга в красном сафьяновом переплете с золотым обрезом, «Генрих фон-Офтердинген» Новалиса, лежит передо мной на письменном столе, и я воспользовался ею, когда писал эту главу.

КНИГА ТРЕТЬЯ

I

Знаете ли вы Китай, родину крылатых драконов и фарфоровых чайников? Вся страна — сплошной музеей редкостей, окруженный невероятно длинной стеной и охраняемый сотнями тысяч татарских часовых. Но птицы и мысли европейских ученых перелетают через стену, и, насмотревшись там досыта и вернувшись домой, они рассказывают нам занятнейшие вещи о необычайной стране и необычайном народе. Тамашняя природа, с крикливой необычностью ее явлений, фантастическими гигантскими цветами, карликовыми деревьями, вырезными горами, причудливыми сладострастными плодами, нелепо разряженными птицами,

так же фантастически карикатурна, как и тамошний человек, с его заостренной головой с косичкой, его поклонами, его длинными ногтями, старческой рассудительностью и детски односложным языком. Человек и природа не могут там смотреть друг на друга без внутреннего смеха. Но они не смеются громко, потому что оба слишком культурно-вежливы, и для того, чтобы подавить смех, они презабавно корчат важные рожи. Там нет ни теней, ни перспективы. На пестро-размалеванных домах во множестве громоздятся одна над другою крыши, похожие на раскрытый зонтик и обвешанные металлическими колокольчиками, так что даже ветер, проносясь мимо, становится смешным от этого ребяческого перезвона.

В таком доме с колокольцами жила некогда принцесса, ножки которой были еще меньше, чем у прочих китянок, маленькие косые глазки ее моргали еще сладостно-мечтательнее, чем глаза прочих дам Поднебесной империи, а в маленьком хихикающем сердечке гнездились прихотливейшие безумства. Ее высшим наслаждением было разрывать драгоценные шелковые и парчевые ткани. Когда ткань трещала и скрипела под ее разрывающими пальцами, она вскрикивала от восторга. Когда, наконец, она все свое состояние истратила на такую прихоть, когда она разорвала в куски все свое имущество, то, по совету всех мандаринов, ее заперли в круглую башню, как неизлечимо безумную.

Эта китайская принцесса, олицетворенный каприз, есть олицетворенная муза одного немецкого поэта, мимо которого нельзя пройти в истории романтической поэзии. Это — муза Клеменса Брентано, так безумно хохочущая из глубины его поэзии. Здесь разрывает она самые сверкающие атласные шлейфы, самые блестящие золотые поэументы, и ее страсть к разрушению очаровательна, и ее ликующе-цветущее безумие наполняет нашу душу жутким восторгом и сладостным ужасом. Но вот уже пятнадцать лет

г. Brentano живет, удалившись от света, запершись и даже замуравшись в своем католицизме. Уже не осталось ничего драгоценного, что бы он мог разорвать. Говорят, он разорвал сердца, любившие его, и все его друзья жалуются на его капризы и оскорбления. Больше всего он проявил свою страсть к разрушению на себе самом, на своем поэтическом даре. Обращаю особенное внимание на комедию этого поэта «Понсе-де-Леон». Нет ничего более разорванного, чем эта пьеса, как по мысли, так и по языку. Но все эти лоскутья живут и кружатся в пестром упоении. Точно видишь перед собой маскарад слов и мыслей. Все толпится здесь в сладостнейшей сумятице, связывая воедино лишь общее безумие. Подобно арлекинам, проносятся безумные каламбуры по всей драме, колотя по сторонам своими гладкими дубинками. Иногда выступает серьезное слово, но заикается при этом, как дотторе ди Болонья. Вот вяло выползает какая-нибудь фраза, точно белый пьеро, со слишком широкими болтающимися рукавами и слишком большими пуговицами на балахоне. Вот прыгают коротконогие горбатые остроты, вроде полишинелей. Слова любви, как игривые коломбины, порхают вокруг, с тоскою в сердце. Все это пляшет, и прыгает, и кружится, и кричит, покрываемое звуками труб, в вакхической жажде разрушения.

Большая трагедия того же поэта, «Основание Праги», тоже весьма замечательна. Там есть сцены, где чувствуешь таинственную жуть древнейших преданий. Здесь шумят темные богемские леса, здесь бродят еще гневные славянские боги, здесь еще заливаются языческие соловьи, но вершины деревьев уже озарены мягким рассветом христианства. Г. Brentano написал также несколько хороших рассказов, среди которых особенно хороша «История braveго Касперля и прекрасной Наннерль». Когда прекрасная Наннерль была еще ребенком и пошла со своей бабушкой в дом к палачу, чтобы добыть у него, как делает простонародье в Германии, верные лекарства, то вдруг в большом

шкафу, перед которым как раз стояла девочка, что-то зашевелилось, и ребенок с ужасом вскричал: «Мышь, мышь!» Но палач испугался еще больше и стал мрачен, как смерть, и сказал бабушке: «Милая моя! В этом шкафу висит мой меч для казни, и он шевелится сам всякий раз, когда к нему приближается кто-нибудь, кто когда-либо будет им обезглавлен. Мой меч жаждет крови этого ребенка. Позвольте мне слегка надцарапать им шейку девочки. Тогда меч удовлетворится капелькой крови и обойдется без дальнейших требований». Но бабушка не послушалась этого разумного совета и, вероятно, горько сожалела об этом впоследствии, когда прекрасной Наннерль, действительно, отрубили голову этим самым мечом.

Г. Клеменсу Брентано теперь, вероятно, около пятидесяти лет, и он живет во Франкфурте отшельником, как член-корреспондент католической пропаганды. Его имя в последнее время почти совершенно забыто и вспоминается изредка лишь тогда, когда идет речь о народных песнях, изданных им вместе с его умершим другом Ахимом фон-Арним. Под заглавием «Волшебный рог мальчика» они издали вдвоем собрание песен, частью подслушанных у народа, частью взятых из летучих листков и редких старопечатных книг. Не могу достаточно восславить эту книгу. В ней заключаются самые чарующие цветы немецкого духа. Кто хочет ознакомиться с немецким народом с его привлекательнейшей стороны, должен прочитать эти народные песни. В этот миг книга эта лежит передо мной, и мне кажется, что я вдыхаю благоухание немецких лип. Ведь липа играет огромную роль в этих песнях; в ее тени по вечерам милуются влюбленные, она их любимое дерево, быть может потому, что лист липы имеет форму человеческого сердца. Это замечание сделал однажды немецкий поэт, которого я люблю больше всех других, а именно я сам. На заглавном листе этой книги изображен мальчик, трубящий в рог; и когда немец на чужбине долго смотрит на эту кар-

тинку, ему начинает казаться, что он слышит хорошо знакомые звуки, и сердце его при этом, может быть, объято тоской по родине, как было со швейцарским ландскнехтом, который, стоя часовым на страсбургском крепостном валу, услышал издали пастушеский рожок, бросил свою пику, переплыл через Рейн, но затем был схвачен и расстрелян как дезертир.

В «Волшебном роге мальчика» есть эта трогательная песня:

В Страсбурге, на валу,
Тоска мне сжала грудь:
С той стороны звучал рожок пастуший;
Пустился вплавь — да не достиг я суши —
Прости, забудь!

И в тот же час ночной
Привел меня конвой,
И вот пред командиром я полка:
В волнах реки, как рыбка, я попал
В сеть рыбака.

На утро, в ранний час,
Поставлен я перед полком.
Увы, тяжка моя вина,
И плата горькая сполна
Мне суждена.

В последний раз
Я вижу, братцы, нынче вас.
Тому виною песня пастушка,
Родной напев альпийского рожка —
Моя тоска...

(Пер. Е. В. Дунаевского.)

Какое прелестное стихотворение! Эти народные песни полны странного очарования. Наши поэты стараются воспроизвести своим искусством эти естественные создания, подобно тому как изготавливаются искусственные минеральные воды. Но если посред-

ством химического анализа можно определить их составные части, то ведь в них нет главного — неразложимой, соединяющей силы природы. В этих песнях слышится биение сердца немецкого народа. Здесь раскрывается вся его сумрачная веселость, весь его дурачливый разум. Здесь грохочет немецкий гнев, здесь свищет немецкая насмешка, здесь целует немецкая любовь. Здесь сверкает неподдельное немецкое вино и искренняя немецкая слеза. Последняя подчас даже лучше первого; в ней много железа и много соли. Какое простодушие в верности! В неверности — какая честность! Какой честный малый этот бедняга Швартенгальс, хотя он и разбойник с большой дороги! Послушайте флегматически-трогательную историю, которую он сам о себе рассказывает:

Зашел дорогою в корчму,
Хозяйка мне: «А кто ты?» —
«Я просто бедный Швартенгальс,
Мне есть и пить охота».

Пустили в горницу меня
И выпить предлагали;
Хотел поднять я свой стакан,
И выронил, с печали.

Потом за стол сажают есть,
Как будто толстосума;
Но пусто было в кошельке,
Платить я и не думал.

А ночью надо было спать —
Открыли дверь сарая;
Уж видно, бедный Швартенгальс,
Судьба твоя такая!

Ложился я и так и сяк,
Вертелся то и дело:
Колол меня чертополох,
Репей впивался в тело.

Под утро заморозок был,
И я поднялся с зорькой,
И посмеялся над собой, —
Судьбой своею горькой.

Я прицепил тогда свой меч,
К ременной перевязи
И, так как не было коня,
Пешком пошел по грязи.

Пошел дорогою большой,
В открытом, чистом поле,
И купчик мне свою мошну
Оставил поневоле.

(Пер. В. А. Зоргенфрея.)

Этот бедный Швартенгалъс — настоящий немецкий характер, какой я только знал. Какое спокойствие, какое сознание силы царит в этом стихотворении. Но и с нашей Гретель надо вам познакомиться. Это правдивая девушка, и я очень люблю ее. Ганс сказал Гретель:

«Ну, Гретлейн, приоденсья
И путь со мной дели.
Убрали хлеб в деревне,
В подвал вино свезли».

А она довольная отвечает:

«Ах, Гензель, милый Гензель,
Останемся вдвоем,
Мы в будни за работой,
А в праздник — за вином».

Он взял ее за ручку,
За белую ручку повел,
Повел ее туда, где
Питейный дом стоял.

«Хозяюшка, подайте
Холодного вина,
Мы платья этой Гретлейн
Пропьем у вас сполна».

Тут стала плакать Гретлейн,
Тоска ее взяла,
Прозрачная слезинка
По щечкам потекла.

«Ах Гензель, милый Гензель,
Не так ты говорил,
Когда меня с собою
Из дома уводил».

Он взял ее за ручку,
За белую ручку повел,
Повел туда, где садик
В цветах благоухал...

«О чем ты плачешь, Гретлейн,
О чем ты слезы льешь.
Что вольно живешь, жалеешь
Иль честь назад зовешь?»

«Что вольно живу, не жалею
И чести назад не зову,
Мне жалко этих платьев,
Уж их я не наживу».

(Пер. В. А. Зоргенфрея.)

Это не гетевская Гретхен, и ее рассказание не сюжет для Ари Шеффера. Тут нет немецкого лунного сияния. Столь же мало сентиментальности там, где юный поклонник ночью требует от милой, чтобы она впустила его, но она прогоняет его, говоря:

Вернись-ка той дорогой,
Вернись на ту полянку.

Откуда явился ты;
Там камень есть большой,
Ты выплывишь, там сухо
Не наберешь ты пуха.

(Пер. *Е. В. Дунаевского.*)

Но лунным светом, лунным светом залито все, и,
переполняя душу, он сияет в песне:

Мне птичкою бы стать,
На крылышках к тебе
Взлететь, вспорхнуть,
Но крыльев нет, и мне
Заказан путь.

В разлуке мы с тобой,
Но я во сне с тобой,
Вся ночь с тобой;
А встану ото сна, —
И я одна.

Ты что ни час, во сне,
В мечтах приходишь мне,
Опять и вновь,
Даришь сто тысяч раз
Свою любовь.

(Пер. *В. А. Зоргенфрея.*)

На вопрос о том, кто сочинил эти песни, они сами,
пожалуй, отвечают в заключение:

Кто песню придумал, скажи, угадай!
Три гуся ее занесли в этот край,
Два серых гуся и белый.

Обыкновенно такие песни сочинял бездомный люд:
бродяги, солдаты, странствующие ученики или под-
мастерья. В большинстве случаев это были именно
бродячие подмастерья. Часто в моих пешеходных
странствиях я водил знакомство с этими людьми

и замечал, как они иногда, под влиянием какого-нибудь необычайного события, импровизировали отрывки народных песен или насвистывали на чистом воздухе. Это подслушивали птички, сидевшие на древесных ветвях, и если потом проходил мимо другой парнишка с посохом и ранцем, они насвистывали ему на-ухо эту песню, он допевал недостающие стихи, и вот песня готова. Слова ниспадают с неба таким парням прямо на губы, и им стоит их только высказать, и тогда они еще поэтичнее, чем все прекрасные поэтические фразы, которые мы так мучительно добываем из глубин нашего сердца. Образ этих немецких подмастерий живет и дышит в этих народных песнях. Это замечательный человеческий тип. Без гроша в кармане обходят эти подмастерья всю Германию, беззаботные, веселые и свободные. Обыкновенно они отправляются в такое странствие втроем. В этой тройке один всегда бывал резонер; он рассуждал юмористически обо всем, что проходило перед его глазами, о всякой пестрой птице, летавшей в воздухе, о всяком всаднике, проезжавшем мимо; а если случалось прийти в нехорошие места с нищими хижинами и ободранной беднотой, то он иронически замечал: «Господь бог создал свет в шесть дней, оно и похоже: все наспех сработано». Второй спутник лишь изредка вмешивается несколькими яростными замечаниями, он не может сказать ни слова не бранясь. Бешено ругает он всех хозяев, у которых работал, и постоянный припев его это, как он жалеет, что не оставил на память хозяйке в Гальберштадте, ежедневно потчевавшей его капустой и брюквой, добрую порцию колотушек. Но при слове «Гальберштадт» глубоко, глубоко вздыхает третий парень. Он младший из них и в первый раз совершает путешествие. Все еще думает он о темнокарих глазах своей милой, всегда держит склоненной голову и никогда не проронит ни слова.

«Волшебный рог мальчика» представляет собою слишком замечательный памятник нашей литературы и

оказал слишком значительное влияние на лириков романтической школы, особенно на нашего почтенного г. Уланда, чтобы я мог умолчать о нем. Эта книга и «Песнь о Нибелунгах» имели первенствующее значение в эту эпоху. О «Песни» также необходимо упомянуть здесь особо. В течение долгого времени у нас ни о чем не было речи, кроме как о «Нибелунгах», и филологи классики немало сердились, когда кто-нибудь сравнивал эту эпопею с «Илиадой» или когда возникал даже спор о том, какая из двух поэм лучше. А публика принимала такой вид, как мальчик, у которого серьезно спрашивают: «Что ты лучше любишь; лошадку или пряник?» Во всяком случае, эта «Песнь о Нибелунгах» исполнена громадной, могучей силы. Француз с трудом может составить себе о ней представление. Особенно о языке, которым она написана. Этот язык высечен из камня, и стихи подобны рифмованным глыбам. Здесь и там из расселин выглядывают красивые цветы, подобно каплям крови, или длинный плющ тянется, как зеленые слезы. Об исполинских страстях, сталкивающихся в этой поэме, вы, маленькие людишки, еще меньше можете иметь понятие. Представьте себе, что царила светлая летняя ночь, звезды, бледные, как серебро, но большие, как солнце, выступали на небесной синеве, и все готические соборы Европы сошлись на необъятно громадной равнине; и вот явились, спокойно выступая, Страсбургский собор, Кельнский собор, Флорентинская колокольня, Руанский собор и т. д. Все они благопристойно ухаживают за красавицей Notre Dame de Paris *. Правда, их походка немножко неуклюжа, некоторые из них очень неповоротливы, их влюбленное ковылянье подчас вызывает смех. Но смех этот непродолжителен; он прекращается, как только увидишь, в какую ярость они пришли, как они душат в схватке друг друга, как Notre Dame de Paris в отчаянии вздымает

* Собором парижской богородицы.

свои каменные руки к небу и вдруг хватает меч и сносит голову самому высокому собору. Но нет, вы и тогда не могли бы составить себе никакого представления о главных персонажах «Песни о Нибелунгах». Нет такой высокой башни, нет другого такого твердого камня, как злобный Гаген и мстительная Кримгильда.

Но кто же автор этой песни? Поэт, написавший «Песнь о Нибелунгах», так же мало известен, как автор народных песен. Странно, как редко известно имя создателя прекрасных книг, стихотворений, зданий и прочих памятников искусства. Как звался зодчий, в мысли которого возник Кельнский собор? Кто написал там запрестольный образ, на котором так красиво запортретированы прекрасная мать божия и три святых волхва? Кто автор книги Иова, утешавшей такое множество страждущих человеческих поколений? Как легко забывают люди имена своих благодетелей; имена добрых, благородных, работавшихся о благе своих сограждан людей мы редко встречаем в устах народов, и их грубая память хранит только имена их притеснителей да свирепых героев войны. Дерево человечества забывает о тихом садовнике, который пестовал его в стужу, поил в засуху и оберегал от вредителей; но оно верно хранит имя, безжалостно врезанное в его кору острой сталью, и передает его позднему поколению, еще умножая его славу.

II

В виду их совместной работы над изданием «Волшебного рога мальчика» обыкновенно имена Брентано и Арнима вообще называют вместе и, так как я говорил о первом, то тем меньше могу умолчать о втором, потому что он заслуживает нашего внимания в гораздо большей степени. Людвиг-Ахим фон-Арним — большой поэт и был одним из самых своеобразных умов романтической школы. Любителям фантастики этот

поэт пришелся бы больше по вкусу, чем какой бы то ни было другой немецкий писатель. Здесь он превосходит Гофмана, так же как Новалиса. Он мог еще глубже последнего вживаться в природу и уметь вызывать еще более жуткие привидения, чем Гофман. Да, при взгляде на самого Гофмана мне подчас казалось, что его сочинил Арним. В народе этот писатель остался совершенно неизвестным и пользовался известностью только у литераторов. Последние, очень высоко оценивая его, не воздали ему, однако, должной хвалы в печати. Мало того, некоторые писатели высказывались о нем даже с пренебрежением, и это были как раз те, которые подражали его манере. К ним можно было применить слово, сказанное Стивенсом о Вольтере, когда последний, воспользовавшись «Отелло» для своего «Оросмана», презрительно отзывался о Шекспире; он сказал: «Эти люди похожи на воров, которые, обокрав дом, поджигают его». Почему г. Тик никогда не говорил об Арнине как должно? Он, который мог сказать так много умного о всякой незначительной стряпне. Господа Шлегели равным образом игнорировали Арнима. Лишь после смерти удостоился он чего-то вроде некролога от одного из членов школы.

Мне кажется, слава Арнима не могла быть особенно большой, потому что он все еще оставался слишком протестантом для своих друзей, католической партии, тогда как протестантская партия с своей стороны считала его тайным католиком. Но почему отвернулся от него народ, народ, которому его романы и новеллы были доступны во всех библиотеках? О Гофмане тоже почти совсем не говорили в наших литературных газетах и эстетических листках; высокая критика хранила по отношению к нему барское молчание, и, однако, все его читали. Почему же немецкий народ пренебрег писателем, фантазия которого охватывала целый мир, задушевность которого полна самой жуткой глубины и изобразительный дар которого не мог быть превзойден? Чего-то недоставало этому поэту,

и это «что-то» есть как раз то, чего ищет народ в книгах: жизнь. Народ требует от писателей, чтобы они вживались в его повседневные страсти, чтобы они или приятно возбуждали или оскорбляли чувства в его собственной груди: народ хочет, чтобы его волновали. Но этой потребности не мог удовлетворить Арним. Он был не поэтом жизни, а поэтом смерти. Во всем, что он писал, царит лишь призрачное движение, образы порывисто сталкиваются, они шевелят губами, как будто говорят, но слова их лишь видны, а не слышны. Эти образы прыгают, борются, становятся на голову, таинственно приближаются к нам и тихо шепчут нам на ухо: «Мы умерли». Такое зрелище было бы слишком ужасно и тягостно, не будь изящества Арнима, лежащего на каждом таком произведении подобно улыбке дитяти, но мертвого дитяти. Арним умеет изображать любовь, иногда и чувственность, но даже здесь мы не можем сочувствовать; мы видим прекрасные тела, волнующиеся груди, тонко округленные бедра, но все это окутано холодным влажным саваном. Иногда Арним остроумен и вызывает нашу усмешку. Но мы смеемся так, как будто смерть щечочет нас своей косою. Обычно же он серьезен, и притом, как мертвый немец. Уже живой немец есть в достаточной степени серьезное существо, а что же сказать о мертвом немце? Француз не имеет понятия о том, как серьезны мы после смерти; наши лица вытягиваются еще длиннее, и, глядя на нас, впадают в меланхолию даже черви, поедающие нас. Французы воображают, что не может быть ничего более жуткого и мрачного, чем Гофман; но это детская игра в сравнении с Арнимом. Когда Гофман вызывает своих мертвецов и они встают из могил и пляшут вокруг него, тогда сам он содрогается от ужаса, сам пляшет среди них и корчит при этом безумнейшие обезьяньи гримасы. Но когда вызывает своих мертвецов Арним, то кажется, что это полководец производит смотр, и он так спокойно сидит на своем высоком белом призрачном коне и пропускает

мимо все страшные полки, и они трепетно смотрят на него вверх и как будто бояться его. Он же приветливо кивает им головой.

Людвиг-Ахим фон-Арним родился в 1784 году в Бранденбургской марке и умер зимой 1830 года. Он писал драматические произведения, романы и новеллы. Драмы его исполнены задушевной поэтичности, в особенности пьеса, под заглавием «Тетерев». Первая сцена достойна пера даже величайшего поэта. Как верно, как правдиво изображена здесь безысходнейшая скука! Один из трех побочных сыновей умершего ландграфа сидит в одиночестве в громадной осиротелой зале замка, зевая говорит сам с собой и жалуется, что его ноги под столом растут все длиннее и длиннее и что утренний ветер так холодно свищет сквозь его зубы. Медленно вваливается его брат, добродушный Франц, в платье покойного отца, слишком широко для него, и скорбно вспоминает, как обычно в этот час он помогал отцу одеваться, как тот бросал ему хлебную корку, которой не мог разгрызть своими старыми зубами, как иногда в досаде давал ему пинка; это последнее воспоминание волнует доброго Франца до слез, и он плачет, что вот отец умер и не даст ему больше пинка!

Романы Арнима называются: «Стражи короны» и «Графиня Долорес». Первый также начинается великолепно. Действие происходит наверху сторожевой башни города Вайблингена, в уютной комнатке стража и его почтенной толстой жены, которая, однако, не так уже толста, как толкуют внизу, в городе. Это клевета, в самом деле, вся эта болтовня о том, будто она так растолстела в своей башне, что не может больше спускаться по узкой лестнице и после смерти своего первого мужа, старого стража, была вынуждена выйти за нового стража. Немало жаловалась бедная женщина на такую злобную клевету; она ведь только потому не могла спускаться по лестнице, что страдала головокружениями.

Начало второго романа Арнима «Графиня Долорес» также великолепно: автор воспекает здесь поэзию бедности, именно дворянской бедности, которую он, сам живший тогда в величайшей нужде, часто избирал сюжетом. Каким мастером является здесь Арним в изображении разрушения! Мне кажется, у меня все еще стоит перед глазами пустынный замок юной графини Долорес, имеющий тем более пустынный вид, что старый граф строил его в жизнерадостном итальянском вкусе, но не достроил. Теперь это развалина новейших времен; в замковом парке все заброшено; подстриженные буковые аллеи одичали; деревья мешают друг другу расти; лавры и олеандры болезненно стелются по земле; прекрасные большие цветы опутаны противным бурьяном; статуи богов попадали с пьедесталов, и несколько озорных нищих ребятишек, усевшись на корточки вокруг бедной Венеры, лежащей в высокой траве, хлещут ее крапивой по мраморному заду. Вернувшись после долгого отсутствия в замок, старый граф поражен странным поведением своих домашних, особенно жены; за столом происходят разные необычайные вещи; причина всего этого в том, что бедная женщина умерла от горя и давно мертва вместе со своей прислугой. В конце концов, однако, граф начинает сам ощущать, что находится в обществе привидений. Никого не предупреждая, он потихоньку уезжает.

Из новелл Арнима самой ценной представляется мне «Изабелла Египетская». Здесь проходит перед нами скитальческая жизнь цыган, которых у нас во Франции называют *bohémiens* или *égyptiens*. Здесь живет и дышит этот странный сказочный народ, с его смуглыми лицами, приветливыми пророческими глазами и с его скорбной тайной. Великая мистическая печаль скрывается под причудливой играющей веселостью. Согласно преданию, прелестно рассказанному в этой новелле, цыгане осуждены на многолетнее скитание по миру в наказание за суровую неприветливость, с которой их предки некогда оттолкнули божью мать

с ее ребенком, когда она во время бегства в Египет просила пустить ее переночевать. По этой причине люди считают себя вправе обращаться с ними жестоко.

Так как в середине века не было еще последователей шеллинговской философии, то поэзии пришлось взять на себя оправдание самых недостойных и свирепых законов. Но ни к кому не были эти законы более варварски суровы, чем к бедным цыганам. В некоторых странах они разрешали повесить без суда и следствия каждого цыгана, заподозренного в краже. Так и был казнен их вождь Михаил, по прозванию «Герцог Египетский». Этим мрачным событием начинается новелла Арнима. Ночью цыгане снимают своего мертвого герцога с виселицы, возлагают на его плечи княжескую порфиру, увенчивают голову серебряной короной и погружают в Шельду, в твердом убеждении, что мило-сердная река принесет его домой, в возлюбленный Египет. Бедная цыганская принцесса Изабелла, его дочь, ничего не знает об этом печальном происшествии. Она живет одиноко в обветшалом доме на Шельде и ночью слышит, как странно плещет что-то в воде, и вдруг видит, как всплыл ее бледный отец в пурпурном саване, и месяц бросает свой болезненный свет на серебряную корону. Сердце милой девушки чуть не разрывается от невыразимой скорби. Напрасно пытается она удержать мертвого отца; он спокойно плывет дальше, в Египет, на свою волшебную родину, где ждут его прибытия, чтобы сообразно его сану похоронить его в одной из больших пирамид. Трогательно трапеза, которою бедное дитя чит умершего отца; она расстилает свое белое покрывало на камне в поле, ставит на нем кушанья и напитки и торжественно вкушает их. Глубоко трогательно все, что талантливый Арним рассказывает о цыганах, к которым он выказал уже свое сострадание в других местах, например, в «Послесловии» к «Волшебному рогу», где он утверждает, что мы обязаны цыганам очень многим хорошим и благодетельным, в частности большинством наших

лекарств. Между тем мы неблагоприятно изгнали и преследовали их. Несмотря на всю свою любовь, они, жалуются Арним, не смогли завоевать себе у нас родины. Он сравнивает их в этом отношении с маленькими гномами, о которых рассказывает предание, что они доставляли все, чего желали их большие могучие враги для пиршества, но однажды были жестоко побиты и изгнаны из страны за несколько горошин, как-то в нужде сорванных в поле. Грустное это было зрелище, когда бедные маленькие человечки ночью пробирались по мосту, подобно овечьему стаду, и каждый должен был положить по монетке, пока не наполнилась ими целая бочка.

Перевод новеллы «Изабелла Египетская» не только дал бы французам представление о произведениях Арнима, но и показал бы, что все страшные, мрачные и жуткие рассказы о привидениях, которые они с таким трудом выжимали из себя в последнее время, представляются лишь розовыми утренними грезами оперной танцовщицы в сравнении с созданиями Арнима. Во всей французской литературе ужасов не сконцентрировано столько жуткого, сколько в одной карете, которая у Арнима едет из Браке в Брюссель и в которой сидят следующие четыре osoby:

1. Старая цыганка, в то же время ведьма. Она похожа на восхитительнейший из семи смертных грехов и блистает самыми пестрыми нарядами, вся в золотом шитье и шелках.

2. Мертвец в медвежьей шкуре, вышедший из могилы, чтобы заработать несколько дукатов, и нанявшийся в услужение на семь лет. Это жирный труп в плаще из белой медвежьей шкуры, от которой и получил свое прозвание. Однако он всегда мерзнет.

3. Голем, то есть глиняная фигура, изображающая красавицу и держащая себя, как красавица. На лбу, закрытом черными кудерьками, начертано еврейским буквами слово «истина»; если стереть его, то вся фигура вновь безжизненно распадется в виде глины.

4. Фельдмаршал Корнелий Непот, не состоящий ни в каком родстве с знаменитым историком того же имени; мало того, не могущий даже похвалиться гражданским происхождением, так как он по рождению, собственно, корень альрауна, который французы называют мандрагорой. Этот корень произрастает под виселицей, там, где пролились самые двусмысленные слезы повешенного. Он издал жесточайший крик, когда прекрасная Изабелла вырвала его там в полночь из земли. С виду он похож на карлика, только у него нет ни глаз, ни рта, ни ушей. Милая девушка воткнула в его лицо два черных можжевельных зернышка и алый цветок шиповника, отчего возникли глаза и рот, затем она обсыпала голову человечка горсточкой проса, отчего выросли волосы, правда, немного всклокоченные; она баюкала уродца на своих белых руках, когда он пищал, как ребенок; своими прекрасными розовыми губками она зацеловала его рот-шиповник так, что он искривился; она почти высосала, любовно целуя, его можжевельные глазки, и противный гном так избаловался от всего этого, что в конце концов захотел стать фельдмаршалом и нарядиться в блестящий фельдмаршальский мундир и требовал, чтобы его непременно именовали господином фельдмаршалом.

Не правда ли, четыре весьма замечательные особы? Вы можете обойти весь морг, кладбище, *Cour des miracles* * и все чумные дворы средневековья и все-таки не соберете такого превосходного общества, как то, которое ехало в одной только карете из Браке в Брюссель. Вы, французы, должны, наконец, понять, что ужасы — не по вашей части и что Франция — неподходящая почва для привидений этого рода. Когда вы заклинаниями вызываете привидения, мы только смеемся. Да, мы, немцы, не улыбающиеся от самых веселых ваших остроумий, мы тем сердечнее смеемся при ваших страшных рассказах о привидениях. Ибо ваши при-

* Двор чудес

видения — это всегда французы, но в словах «французское привидение» — какое противоречие! В слове «привидение» заключено так много одинокого, неприятливого, немецкого, молчаливого; в слове «французское» — так много общительного, любезного, французского, говорливого! Как мог бы француз быть привидением, и вообще как могли бы в Париже существовать привидения, в Париже, в центре европейского общества! Между двенадцатью и часом, в пору, когда искони раз навсегда предоставлено появляться привидениям, все гремит живейшей жизнью на парижских улицах. В Опере шумит еще громогласнейший финал, из театров «Жимназ» и «Варьете» стремятся оживленные толпы; все это кишит, приплясывает, смеется, озорничает на бульварах, и все идет на вечер. Каким несчастным должно бы себя чувствовать бедное загробное привидение в этом веселом человеческом потоке! И как мог бы француз, даже мертвый, сохранить мрачность, необходимую для появления из могилы, когда вокруг него со всех сторон лекует самое пестрое народное веселье. Сам я, хоть и немец, если бы после смерти мне пришлось здесь, в Париже, бродить привидением, я разумеется не смог бы сохранить моего замогильного достоинства, если бы где-нибудь на перекрестке встретился с одной из тех богинь легкомыслия, которые так восхитительно умеют хохотать вам в лицо. Если бы в Париже в самом деле были привидения, то я убежден, что, при общительности французов, они бы даже в виде привидений собирались в кружки, устраивали бы балы привидений; они основали бы кафе мертвецов, издавали бы газету мертвецов, парижское обозрение мертвецов, скоро появились бы вечеринки мертвецов, *ou l'on fera de la musique**. Я убежден, что привидения здесь, в Париже, развлекались бы больше, чем у нас развлекаются живые. Что до меня, то если бы я знал, что можно продолжать существование

* где будет м ка.

в качестве привидения в Париже, то я перестал бы бояться смерти; я бы только постарался, чтобы в заключение я был похоронен на Пер-Лашез и чтобы я мог выходить на землю в Париже между двенадцатью и часом. Что за чудесный час! Немецкие земляки, если вы когда-нибудь приедете в Париж после моей смерти и встретите меня здесь ночью, не пугайтесь, — я выхожу из земли не на немецкий жутко-злополучный манер, я это делаю скорее для своего удовольствия.

Так как обыкновенно — это я читал во всех историях о привидениях — они бродят в местах, где зарыты деньги, то я предусмотрительно заранее закопаю несколько су где-нибудь на бульварах. До сих пор, правда, я в Париже убивал деньги, но никогда не хоронил их в земле.

О бедные французские писатели, вам следовало бы, наконец, понять, что ваши романы ужасов и рассказы о привидениях решительно неуместны в стране, где или совсем нет привидений, или они так же общительно-веселы, как и мы, живые люди. Вы кажетесь мне детьми, которые надевают на лицо маску, чтобы пугать друг друга. Это мрачная, жуткая маска, но сквозь отверстия для глаз глядят веселые детские глазки. Мы, немцы, наоборот, носим иногда приветливую юношескую маску, а из глаз высматривает седая смерть. Вы изящный, любезный, разумный и живой народ, и лишь прекрасное, благородное и человеческое входит в представления вашего искусства. Это понимали уже ваши старые писатели, и вы, новые, тоже в конце концов придете к этому убеждению. Бросьте все ужасающее и призрачное. Предоставьте нам, немцам, все ужасы безумства, бреда и чертовщины. Германия более подходящая страна для старых ведьм, мертвых медвежьих шкур, големов всякого пола, и, особенно, для таких фельдмаршалов, как маленький Корнелий Непот. Лишь по ту сторону Рейна житье таким привидениям, но никак не во Франции. Когда я ехал сюда, мои привидения сопровождали меня вплоть до французской

границы. Здесь они печально распрощались со мной, ибо вид трехцветного знамени разгоняет призраки всех родов. О, мне хотелось бы стать на верхушку Страсбургского собора с трехцветным знаменем в руке, простирающимся до Франкфурта. Верю, что если бы я распростер священное знамя над моим дорогим отечеством и произнес надлежащие слова заклинания, то старые ведьмы улетели бы на своих метлах, холодные медвежьи шкуры вновь полезли бы в свои могилы, големы вновь рассыпались бы в виде глины, фельдмаршал Корнелий Непот вернулся бы в место, откуда вышел, и все навождение исчезло бы навсегда.

III

Историю литературы так же трудно писать, как и естественную историю. Как здесь, так и там уделяется внимание особенно выдающимся явлениям. Но как в маленькой рюмке воды заключается целый мир необычайных маленьких животных, — которые так же свидетельствуют о могуществе божием, как и величайшие звери, — так самый маленький альманах муз иногда содержит в себе громадное множество поэтиков, которые представляются внимательному исследователю столь же интересными, как и величайшие слоны литературы. Велик господь!

Новейшие истории литературы, действительно, представляют нам историю литературы в виде благоустроенного зверинца и показывают нам в отдельных клетках эпических млекопитающих поэтов, лирических воздушных поэтов, драматических водяных поэтов, прозаических амфибий, сочиняющих как морские, так и сухопутные романы, юмористических моллюсков и т. д. Напротив, другие излагают историю литературы прагматически, начинают с первичных чувств человечества, выработавшихся в различные эпохи и, наконец, воплотившихся в форме искусства; они начинают *ab ovo*, как историк, начинающий Троянскую

войну рассказом об яйце Леды, и они поступают так же глупо, как и он. Ибо я убежден, что если бы яйцо Леды употребить на яичницу, то все же Гектор и Ахилл встретились бы у Скейских ворот и рыцарски схватились бы друг с другом. Великие явления и великие книги возникают не из мелочей, они неизбежны, они находятся в зависимости от круговоротов солнца, луны и звезд, быть может, возникают вследствие их влияния на землю. Факты суть только следствия идей... Но почему в известные времена так могуче значение известных идей, что они чудеснейшим образом преобразуют всю жизнь людей, их дела и помыслы, их размышления и сочинения? Быть может, настало время написать литературную астрологию и объяснить появление известных идей или известных книг, где эти идеи раскрываются, констелляцией, взаимным расположением светил.

Или, быть может, расцвет известных идей соответствует лишь временным потребностям людей? Ищут ли они всегда только идей, которые могут быть оправданы их пожеланиями данного времени? В самом деле, люди, по глубочайшему существу своему, сплошь доктринеры; они всегда умеют найти доктрины, оправдывающие их отречения или пожелания. В тяжелые постные дни, когда радость сделалась почти недостижимой, они исповедуют догмат воздержания и утверждают, что земной виноград зелен; но когда времена становятся побогаче и люди получают возможность протянуть руку к прекрасным плодам этого мира, тогда на свет появляется веселая доктрина, требующая от жизни всех ее сладостей и полного, неотъемлемого права на наслаждение.

Близок ли уже конец христианского поста и занялась ли уже розовая заря века радости? Как изменит будущность веселая доктрина?

В груди писателя известного народа уже запечатлен образ его будущности, и критик, которому удалось бы анатомизировать одного из новейших поэтов достаточно

острым ножом, мог бы легко, как бы по внутренностям жертвенного животного, пророчески предсказать, какой облик в дальнейшем примет Германия. С великим удовольствием я, подобно литературному Калхасу, критически заклал бы с этой целью нескольких наших новейших поэтов, если бы не боялся, что увижу в их внутренностях много такого, о чем не посмею говорить. Дело в том, что нашу новейшую немецкую литературу невозможно обсуждать, не вдаваясь в глубины политики. Во Франции, где представители художественной литературы стараются отойти от политического движения современности даже больше, чем это уместно, может быть, можно судить о современных художниках, оставляя в стороне самое время. Но по ту сторону Рейна писатели страстно увлекаются политическим движением, в отдалении от которого держались так долго. Вы, французы, в течение последних пятидесяти лет постоянно были на ногах и потому устали; мы, немцы, наоборот, сидели до сих пор у письменного стола и комментировали старых классиков, и теперь нам хочется немножко подвигаться.

Те же, указанные мною выше причины, мешают мне отдать должное писателю, о котором г-жа Сталь сделала лишь несколько беглых замечаний, но на которого с тех пор обращено особенное внимание французских читателей благодаря остроумным статьям Филарета Шаля. Я говорю о Жан-Поле-Фридрихе Рихтере. Его назвали единственным. Превосходное название, которое я вполне понимаю лишь теперь, после тщательного размышления о том, какое место в истории литературы следовало бы отвести ему. Он выступил почти одновременно с романтической школой, ни в малой степени не принимая в ней участия; столь же мало общался он впоследствии с художественной школой Гете. Он стоит совершенно обособленным в своем времени, именно потому, что он, в противоположность обоим этим школам, целиком отдался своему времени и сердце его было преисполнено им. Его сердце и его

сочинения всегда составляли одно целое. Это свойство, эту цельность мы находим также у писателей нынешней Молодой Германии, которые тоже не хотят различать жизнь от писательства, которые никогда не отделяют политики от науки, искусства и религии и которые одновременно являются художниками, трибунами и апостолами.

Да, я повторяю слово «апостолы», потому что не знаю более подходящего слова. Новая вера одушевляет их страстностью, о которой писатели предыдущего периода не имели никакого представления. Это вера в прогресс, вера, проистекающая из знания. Мы измерили страны, взвесили силы природы, исчислили средства промышленности — и вот, мы нашли, что эта земля достаточно велика; что каждому она предоставляет достаточно места, чтобы построить хижину своего счастья; что эта земля может всех нас пристойно прокормить, если мы все будем работать и никто не вздумает жить на счет другого; и что мы не имеем необходимости указывать самому большому и самому бедному классу на небеса. — Правда, число этих знающих и верующих еще невелико, но настало время, когда народы будут исчисляться не по головам, а по сердцам. И разве великое сердце одного лишь Генриха Лаубе не стоит гораздо больше, чем целый зверинец Раупахов и комедиантов?

Я назвал имя Генриха Лаубе, ибо как мог бы я говорить о Молодой Германии, не упомянув о великом, пламенном сердце, ярче прочих сверкающем из нее. Генрих Лаубе, один из писателей, выступивших после Июльской революции, имеет для Германии социальное значение, вес которого еще не может быть вполне измерен. Он обладает всеми достоинствами какие мы находим у писателей предыдущего периода, и соединяет с ними апостольский пыл Молодой Германии. При этом его мощная страстность смягчена и просветлена высоким художественным чутьем. Он вдохновлен красотой, так же как и добром; у него тонкий слух и острый глаз для благородной формы, и пошлые

натуры противны ему даже тогда, когда полезны родине в качестве бойцов за благородные убеждения. Этот художественный вкус, присущий ему, предохранил его также от великого заблуждения той патриотической черни, которая все еще не перестает хулить и поносить нашего великого учителя Гете.

В этом отношении величайшей похвалы заслуживает также другой писатель новейшего времени, г. Карл Гуцков. Если я упомянул о нем лишь после Лаубе, то это отнюдь не потому, чтобы я считал его менее даровитым, и еще меньше потому, чтобы его устремления были мне не так близки; нет, и за Карлом Гуцковым я должен признать прекраснейшие качества творческой силы и художественного суждения, и его произведения также радуют меня надлежащим пониманием нашего времени и его требований; но во всем, что пишет Лаубе, царит всеобъемлющее спокойствие, гордое величие, тихая уверенность, лично меня трогаящие глубже, чем живописная, красочная, пестрая и остро-пикантная подвижность духа Гуцкова.

Карлу Гуцкову, душа которого исполнена поэзии, пришлось своевременно, как и Лаубе, решительнейшим образом отмежеваться от фанатиков, поносящих нашего великого учителя. То же самое относится к гг. Людвигу Винбаргу и Густаву Шлезьеру, двум новейшим весьма выдающимся писателям, мимо которых я не могу пройти здесь, раз речь идет о Молодой Германии. Они действительно заслуживают быть названными среди ее корифеев, и имя их пользуется доброй славой на их родине. Здесь не место подробно останавливаться на их дарованиях и деятельности, я и так слишком отдалился от моей темы. Скажу только еще несколько слов о Жан-Поле.

Я упомянул уже, что Жан-Поль-Фридрих Рихтер в основном по своему направлению был предшественником Молодой Германии. Последняя, однако, под давлением требований жизни, сумела воздержаться

от странной запутанности, причудливого изложения и неудобоваримого стиля сочинений Жан-Поля. Ясная, благоустроенная французская голова не может составить себе никакого понятия об этом стиле. Периоды Жан-Поля состоят из маленьких комнатушек, иногда столь тесных, что когда там сталкивается одна идея с другой, то обе разбивают себе головы. Потолок покрыт крючками, на которых Жан-Поль развешивает всевозможные мысли, а по стенам устроены потайные ящички, куда он прячет чувства. Нет немецкого писателя, столь богатого мыслями и чувствами, но он никогда не дает им дозреть, и со всем богатством своего духа и своей сердечности он не столько удовлетворяет нас, сколько изумляет. Мысли и чувства, которые разрослись бы в целые исполинские деревья, если бы он дал им возможность пустить корни и распространиться со всеми своими ветвями, цветами и листьями, он вырывает, едва они стали маленьким кустиком, а часто даже еще в зародыше, и целые умственные леса подает он нам таким образом, в обыкновенной миске, в качестве салата. Это необыкновенное, неудобоваримое блюдо; ибо не всякий желудок способен переварить в таком количестве молодые дубы, кедры, пальмы и бананы. Жан-Поль — великий поэт и философ, но нельзя быть более антихудожественным, чем он в своем творчестве и мышлении. Он создал в своих романах истинно поэтические образы, но все эти порождения влачат за собой нелепую длинную пуповину и путаются, и давятся в ее петлях. Вместо мыслей он, собственно, предлагает нам самый процесс своего мышления, мы видим материальную деятельность его мозга; он предлагает нам, так сказать, скорее мозг, чем мысли; по всем направлениям скачут при этом его остроты, блохи его разгоряченного ума. Это самый веселый и в то же время самый сентиментальный писатель. Да, сентиментальность всегда одолевает его, и смех его внезапно превращается в плач. Иногда он надевает маску грубого нищего, но потом

вдруг, подобно принцу инкогнито, каких мы видим на сцене, расстегивает грубый балахон, и перед нами является сверкающая звезда.

В этом Жан-Поль вполне сходен с великим ирландцем, с которым его часто сравнивали. Автор «Тристрама Шенди», впадая в самые грубые тривиальности, умеет вдруг возвышенным переходом напомнить о своем царственном достоинстве, о своем равенстве по рождению с Шекспиром. Подобно Лоренцу Стерну, Жан-Поль в своих сочинениях предоставил собственную личность в наше распоряжение, он тоже раскрылся нам в своей человечнейшей наготе, но с известной неуклюжей робостью, особенно в половом отношении. Лоренц Стерн предстает перед публикой нагишом — он совершенно раздет; наоборот, у Жан-Поля только дыры в штанах. Неосновательно полагают некоторые критики, что у Жан-Поля было больше истинного чувства, чем у Стерна, потому что последний, как только предмет, трактуемый им, достигнет трагической высоты, внезапно перепрыгивает в самый шутливый, смеющийся тон, тогда как Жан-Поль, едва шутка становится серьезной, понемногу начинает скулить и спокойно дает излиться своим слезным желёзкам. Нет, чувства Стерна были еще, быть может, глубже, чем чувства Жан-Поля, ибо он более великий поэт. Как я уже сказал, он равен Вильяму Шекспиру, и его, Лоренца Стерна, также воспитали музы на Парнасе. Но, по женскому обычаю, они своими ласками рано испортили его. Он был баловнем бледной богини трагедии. Однажды в припадке жестокой нежности она стала целовать его юное сердце так сильно, так страстно, так любовно, что сердце начало истекать кровью и вдруг поняло все страдания этого мира и исполнилось бесконечным состраданием. Бедное юное сердце поэта! Но младшая дочь Мнемозины, розовая богиня шутки, быстро подбежала и, схватив страждущего мальчика на руки, старалась развеселить его смехом и пением, и дала ему вместо игрушки комическую маску и шу-

товские бубенцы, и ласково целовала его в губы, и запечатлела на них все свое легкомыслие, всю свою озорную веселость, всю свою остроумную шаловливость.

И с тех пор сердце и губы Стерна впали в странное противоречие: когда сердце его бывает трагически взволновано и он хочет выразить свои глубочайшие, кровью истекающие, задушевные чувства, с его уст, к его собственному изумлению, вылетают забавнейше-смешные слова.

IV

В средние века в народе существовало поверие, что когда собираются построить здание, то необходимо зарезать что-нибудь живое и на крови его заложить первый камень; от этого здания будет стоять твердо и нерушимо. Произошло ли это представление о чудесной силе крови от посвящения кровью, об этой вере в кровь из древнеязыческого суеверия, что благосклонность богов приобретает кровавыми жертвами, или оно было извращением христианского учения об искуплении, — все равно: оно господствовало, и в песнях и преданиях живут жуткие рассказы о том, как резали детей или животных для того, чтобы их кровью укрепить великие сооружения. В наши дни человечество стало умнее. Мы не верим больше в волшебную силу крови, будь то кровь дворянина или бога; толпа верит только в деньги. Заключается ли нынешняя религия в превращении бога в деньги или в превращении денег в бога, так или иначе, люди верят только в деньги; только чеканному металлу, серебряным и золотым святым дарам приписывают они волшебную силу; деньги — начало и конец всех их деяний, и если им предстоит воздвигнуть здание, то они очень заботятся о том, чтобы под фундамент было положено несколько золотых, ящичек с разными монетами.

Да, подобно тому как в средние века все — начиная с отдельных сооружений и кончая всеми государствен-

ными и церковными зданиями — покоилось на вере в кровь, так все наши нынешние учреждения покоятся на вере в деньги, в реальные деньги. Там господствовало суеверие, здесь чистый эгоизм. Первое было разрушено разумом, второе будет разрушено чувством. Основы человеческого общества станут со временем лучше, и все великие сердца Европы заняты мучительными поисками этой новой лучшей системы.

Быть может, некоторых немецких поэтов романтической школы, искренне ищущих, впервые принудило бежать от современной действительности и стремиться к возрождению средневековья недовольство нынешней религией денег, озлобление против эгоизма, особенно скалившего на них свои зубы. Это отнесется, вероятно, прежде всего к тем, которые не принадлежали к котерии. В последнюю входили писатели, разобранные мною во второй книге по отдельности, после того как в первой я сказал о романтической школе в общем. Лишь то историческое значение, которое они имеют, а не их ценность по существу, заставило меня говорить впервые и подробно об этих участниках котерии, действовавших совместно. Меня поймут поэтому, если о Цахариасе Вернере, бароне де-ла-Мотт-Фуке и г. Людвиге Уланде я говорю позже и короче. По их значению эти три писателя, наоборот, заслуживали бы гораздо более подробного обсуждения и оценки. Ибо Цахариас Вернер был единственным драматургом школы, пьесы которого исполнялись в театре и вызывали рукоплескания партера. Барон де-ла-Мотт-Фуке был единственным эпическим поэтом школы, романы которого нравились всем читателям. И г. Людвиг Уланд — единственный лирик школы, песни которого проникли в сердца широких масс и до сих пор еще живут в людских устах.

В этом отношении указанные три поэта выше г. Людвиг Тика, о котором я отозвался как об одном из лучших писателей школы. Дело в том, что г. Тик, хотя театр его конек и хотя он с детства до нынешнего дня

занимался актерским миром и всеми его мелочами, все же никогда не мог волновать людей со сценических подмостков, как это удавалось Цахариасу Вернеру. Г. Тикю всегда приходилось иметь свой домашний партер, которому он самолично декламировал свои произведения и на рукоплескания которого можно было рассчитывать с уверенностью.

Между тем как г-на де-ла-Мотт-Фуке с одинаковым удовольствием читали все — от герцогини до прачки — и он сиял как солнце библиотек для чтения, — г. Тик был только астральной лампой эстетических чайных кружков, которые при свете его поэзии с совершенным спокойствием попивали свой чай под чтение его новелл. Сила этой поэзии выступала тем ярче, чем больше она контрастировала со слабостью чая, и в Берлине, где принято пить самый жидкий чай, г. Тик должен был казаться одним из самых сильных поэтов. Между тем как песни нашего превосходного Уланда раздавались в лесах и долинах и до сих пор еще орут их неистовые студенты и лепечут нежные девушки, ни одна песня г. Тика не проникала в нашу душу, ни одна песня г. Людвига Тика не осталась в наших ушах, широкие массы не знают ни одной песни этого великого лирика.

Цахариас Вернер родился в Кенигсберге в Пруссии 18 ноября 1768 года. Его связь с Шлегелями была не личной близостью, но лишь сочувствием на расстоянии. Он издали понял, чего они добиваются, и сделал все возможное, чтобы творить в их духе. В возрождении средневековья его вдохновляла однако лишь одна сторона, а именно иерархически-католическая; феодальная сторона не так волновала его душу. На этот счет его земляк Т.-А. Гофман дает в «Серапионовых братьях» любопытное объяснение. Он рассказывает здесь, что мать Вернера была душевно больная и во время беременности вообразила, что она богородица и должна родить спасителя. Дух Вернера носил всю жизнь родимое пятно этого религиозного безумия,

Самый чудовищный религиозный бред находим мы во всех его произведениях. Только «Двадцать четвертое февраля» свободно от него и принадлежит к самым ценным созданиям нашей драматической литературы. На сцене оно вызвало наибольший восторг из всех прочих пьес Вернера. Другие его драматические произведения меньше нравились толпе, потому что у поэта, при всей его мощной напористости, не было почти никакого знакомства с условиями театра.

Биограф Гофмана, г. уголовный советник Гитциг, описал также жизнь Вернера. Добросовестный труд, столь же интересный для психолога, как и для историка литературы. Как недавно мне рассказывали, Вернер жил некоторое время также здесь, в Париже, где особенным расположением его пользовались перипатетические философы, гулявшие тогда по вечерам в блестящих нарядах в галлереях Пале-Рояля. Они постоянно бегали за ним, и дразнили его, и высмеивали его комическую одежду и его еще более комические манеры. То было доброе старое время! Увы, так же как Пале-Рояль, изменился впоследствии и Цахариас Вернер; угас последний огонь наслаждения в душе омраченного человека. В Вене вступил он в орден лигорианцев, и в соборе св. Стефана проповедывал ничтожество всего земного. Он открыл, что все это суета сует. Пояс Венеры, утверждал он теперь, есть лишь отвратительная змея, а величаяя Юнона носит под белым одеянием пару замшевых, не совсем чистых ямщицких штанов. Патер Цахариас бичевал теперь себя, постился и неистовствовал, обличая нашу закоренелую страсть к мирским радостям. «Плоть проклята!» — кричал он так громко и с таким резким восточнопрусским акцентом, что статуи святых содрогались в соборе и венские гризетки восхитительно улыбались. Кроме этой важной новости, он постоянно сообщал нам, что он великий грешник.

При ближайшем рассмотрении мы видим, что этот человек всегда оставался последовательным и что в

ранние времена он лишь воспевал то, что осуществил впоследствии. Герои большинства его драм — это уже монашески отрекающиеся от мира влюбленные, аскетические сладострастники, открывшие в воздержании утонченное блаженство, истязанием плоти спиритуализирующие свою жажду наслаждения, ищущие в глубинах религиозной мистики самых жутких упоений, святые распутники.

Незадолго до его смерти в Вернере вновь воскресло тяготение к драматическому творчеству, и он написал еще одну трагедию, под заглавием «Мать Маккавеев». Здесь, однако, дело было не в том, чтобы расцветить романтическими шутками мирскую жизненную серьезность; для священного сюжета он избрал и церковный торжественный тон; ритмы, торжественно размеренные, подобно колокольному перезвону, подвигаются медленно, как крестный ход в страстную пятницу; все в целом — это палестинская легенда в форме греческой трагедии. Пьеса имела ничтожный успех у людей на земле; понравилась ли она больше ангелам на небесах, не знаю.

Но патер Цахариас умер вскоре после этого, в начале 1823 года, после 54-летнего скитания на этой грешной земле.

Оставим этого покойника почивать в мире и обратимся ко второму поэту романтического триумvirата. Это — превосходный писатель барон Фридрих де-ла-Мотт-Фуке, родившийся в Бранденбургской марке в 1777 г. и получивший университетскую кафедру в Галле в 1833 г. Прежде он состоял майором на королевской прусской военной службе и принадлежит к тем героям песнопения или к тем песнопевцам героев, лира и меч которых громче всего звучали во время так называемой освободительной войны. Его лавры подлинны, он настоящий поэт, и благодать поэзии осеняет его голову. Немногие писатели пользовались столь всеобщим признанием, как некогда наш превосходный Фуке. Теперь он имеет читателей только в лице абонентов библиотек

для чтения. Но публика эта достаточно многочисленна, и г. Фуке может похвалиться тем, что он единственный представитель романтической школы, сочинения которого пришлось по вкусу также низшим классам. В то время когда в эстетических чайных кружках Берлина пожимали плечами при упоминании об опустившемся рыцаре, я в одном маленьком городке в Гарце встретился с прехорошенькой девушкой, которая с захватывающим восторгом говорила о Фуке и, краснея, признавалась, что охотно отдала бы год жизни за возможность хоть один раз поцеловать автора «Ундины». А у этой девушки был самый прелестный рот, какой мне приходилось видеть.

Но что за чудесная поэма эта «Ундина»! Сама поэма есть поцелуй; гений поэзии поцеловал спящую весну, и весна, улыбаясь, раскрыла глаза, и все розы заблагоухали, и все соловьи запели, и это благоухание розы и пение соловьев облек наш милейший Фуке в слова и назвал это «Ундина».

Не знаю, переведена ли эта повесть на французский язык. Это история о прекрасной водяной фее, лишенной души, получающей душу лишь оттого, что она влюбилась в рыцаря... Но, увы, вместе с этой душой достались ей и наши человеческие страдания. Ее рыцарственный супруг изменил ей, и она зацеловала его насмерть. Ибо смерть в этой книге тоже только поцелуй.

В этой «Ундине» можно видеть музу поэзии Фуке. Хотя красота ее беспредельна, хотя она так же страдает, как и мы, и земные скорби так же удручают ее, как и нас, она все же не принадлежит к человеческой породе. Между тем наше время отталкивает от себя всякие такие воздушные и водяные создания, даже самые прекрасные. Оно требует подлинно жизненных образов и меньше всего требует оно русалок, влюбленных в высокородных рыцарей. В этом все дело. Ретроградное направление, неустанные хваления в честь родовой знати, непрерывное возвеличение старого феодализма,

вечная возня с рыцарством в конце концов опротивели образованным буржуа в среде немецких читателей, которые и отвернулись от несвоевременного певца. В самом деле, это постоянное воспевание рыцарей, боевых коней, владельцев замков, достопочтенных цеховых мастеров, карликов, оруженосцев, замковых часовен, любви, веры — и как там еще называется вся эта средневековая ветошь — в конце концов стало нам в тягость и когда остроумный идальго Фридрих де-ла-Мотт-Фуке погрузился еще глубже в свои рыцарские книги и в грезах о прошлом потерял пониманис действительности, то, покачивая головой, отвернулись от него даже его лучшие друзья.

Сочинения, написанные им в эту позднейшую эпоху, неудобочитаемы. Недостатки его прежних произведений доведены здесь до последней крайности, его рыцарские образы состоят исключительно из железа и чувств; у них нет ни мяса, ни ума. Его женские портреты это только картинки, или, вернее, только куклы, золотые кудри которых изящно ниспадают на миловидные цветочные лица. Подобно сочинениям Вальтер-Скотта, рыцарские романы Фуке напоминают тканые обои, которые мы называем гобеленами и которые пышностью рисунка и роскошью красок больше восхищают наш глаз, чем нашу душу. Все это — рыцарские торжества, пастушеские игры, поединки, старинные одежды, столь мило перемешанные, — занимательно, но лишено сколько-нибудь глубокого смысла и представляет собой одну лишь пеструю поверхность. У подражателей Фуке, как и у подражателей Вальтер-Скотта, эта манера изображать вместо внутренней природы человека и вещей только их видимость и наряд получила еще более печальное развитие. Этот плоский стиль и легкие приемы свирепствуют теперь в Германии, равно как в Англии и во Франции. И даже тогда, когда произведение посвящено не прославлению рыцарских времен, а нашей современности, — это все еще та же прежняя манера, вместо существа явлений

схватывающая только случайные черты. Вместо знакомства с человеком наши новые романисты обнаруживают лишь знакомство с платьем, руководствуясь, быть может, пословицей «По платью встречают». Совсем не так было у старых романистов, особенно у англичан. Ричардсон дает нам анатомию чувства. Гольдсмит прагматически рассматривает душевные побуждения своих героев. Автор «Тристрама Шенди» изображает сокровеннейшие глубины души, он открывает в душе просвет, дает заглянуть в ее бездны, рай и грязные уголки и вновь закрывает их завесой. Мы смотрели на этот удивительный театр спереди, освещение и перспектива произвели на нас соответственное действие, и так как нам кажется, что мы узрели самое бесконечное, то чувства наши расширяются до бесконечности, становятся поэтическими. Наоборот, Филдинг сразу ведет нас за кулисы, он показывает нам фальшивые румяна на всех чувствах, грубейшие пружины нежнейших поступков, показывает канифоль, которая в дальнейшем сверкнет молнией воодушевления, литавры с мирно покоящейся на них палочкой, которая в дальнейшем выколотит могучие громы страсти; одним словом, он показывает нам весь тот внутренний механизм, ту великую ложь, от которой люди кажутся нам не тем, что они есть в действительности, и от которой исчезает всякая радостная реальность жизни. Но не к чему брать в пример англичан, когда наш Гете в своем «Вильгельме Мейстере» представил нам лучший образец романа.

Число романов Фуке — легион; он один из самых плодovitых писателей. Особенно хвалебного упоминания заслуживают «Волшебное кольцо» и «Тиодольф Исландец». В его стихотворных драмах, не предназначенных для сцены, скрываются большие красоты. Особенно смелым произведением является «Сигурд-Драконоубийца», где отражено древнескандинавское героическое предание со всем его миром великанов и волшебства. Главный герой драмы, Сигурд — исполинский образ. Он могуч, как норвежские скалы, и неукро-

тим, как море, бушующее вокруг них; у него отваги, как у сотни львов, и ума, как у пары ослов.

Г. Фуке писал также песни. Это сама прелесть. Они так легки, так пестры, так весело порхают: это восхитительные лирические колибри.

Но истинный поэт песен — г. Людвиг Уланд, родившийся в Тюбингене в 1787 году и проживающий теперь в Штутгарте в качестве адвоката. Этот писатель написал том стихов, две трагедии и два сочинения о Вальтере фон-дер-Фогельвейде и о французских трубадурах. Это небольшие исторические исследования, свидетельствующие о прилежном изучении средних веков. Трагедии называются «Людвиг Баварский» и «Герцог Эрнст Швабский». Первой я не читал; она, как говорили мне, и не считается лучшей. Вторая же заключает высокие красоты и радует благородством чувств и достоинством помышлений. В ней веет сладостное дыхание поэзии, которого никогда не находишь в пьесах, встречающих теперь на нашей сцене такое одобрение. Немецкая верность — тема этой драмы, и здесь, могучая, как дуб, противостоит она всем бурям; едва заметная, расцветает немецкая любовь вдали, но ее фиалковое благоухание так трогательно, что проникает в наше сердце. В этой драме, или, вернее, в этой песне, есть места, принадлежащие к прекраснейшим жемчужинам нашей литературы. Но театральная публика отнеслась к пьесе равнодушно, или, скорее, отрицательно. Не стану слишком порицать за это добрых людей партера. У этих людей есть определенные требования, удовлетворения которых они требуют от поэта. Создания поэта должны соответствовать не влечениям его собственного сердца, но желаниям публики. Последняя совершенно похожа на голодного бедуина в пустыне, который, найдя мешок, думал, что это горох, поспешил раскрыть его, но увы, там оказался только жемчуг. Публика с наслаждением поглощает сухие горошины г. Раупаха и скверные бобы г-жи Бирх-Пфейфер; жемчуг Уланда кажется ей несъедобным.

Так как французы, по всей вероятности, не имеют понятия о том, кто такие м-те Бирх-Пфейфер и г. Раупах, то я должен здесь сообщить, что это — божественная пара, эти божества связаны друг с другом, как брат и сестра, как Аполлон и Диана, и почитаются больше всего в храмах нашего драматического искусства. Да, г. Раупаха столь же можно сравнить с Аполлоном, как г-жу Бирх-Пфейфер с Дианой. Что касается их действительного положения, то последняя служит в Вене в качестве императорской австрийской артистки, а последний — в Берлине в качестве королевского прусского театрального поэта. Названная дама написала уже множество драм, в которых выступает самолично. Не могу не упомянуть по этому случаю об одном явлении, которое покажется французам почти невероятным: большинство наших актеров в то же время драматурги и сами пишут для себя свои пьесы. Говорят, это бедствие вызвано одним неосторожным заявлением г. Людвига Тика. В одной из своих критических статей он заметил, что актеры всегда лучше играют в плохих пьесах, чем в хороших; опираясь на эту аксиому, актеры толпами схватились за перья и написали много множество трагедий и комедий, так что иногда нам трудно решить, сочинил ли тщеславный комедиант свою пьесу преднамеренно скверно, чтобы хорошо играть в ней, или, наоборот, он играл скверно в такой самодельной пьесе для того, чтобы уверить нас, что пьеса хороша. Актеры и поэты, до сих пор состоявшие в известной коллегияльной связи (приблизительно, как палач и его жертва), вступили теперь в открытую вражду. Актеры старались совершенно вытеснить поэтов из театра под предлогом, что те ничего не понимают в требованиях подмостков, не понимают ничего в сильных эффектах и театральных неожиданностях, которые практически изучили актеры и умеют применять в своих пьесах. Актеры, или, как они охотнее называют себя, артисты, выступали поэтому преимущественно в своих собственных произведениях или, по крайней мере, в произ-

ведениях, написанных одним из их братьев, артистом. И действительно, эти пьесы вполне соответствовали их потребностям; здесь находили они свои излюбленные костюмы, свою поэзию, одетую в трико телесного цвета, свои уходы под аплодисменты, свои традиционные гримасы, свои мишурные обороты, все свое напыщенное искусственное богемство: язык, на котором говорят только на сцене, цветы, растущие только на этой лживой почве, плоды, вызревающие только в свете рампы, природу, над которой веет дыхание не господя, но суфлера, потрясающее кулисы бешенство, нежную печаль под щекочущие переливы флейты, нарумяненную невинность с соблазнами порока, казенные чувства, соразмерные с месячным окладом, фанфары туша и т. д.

Таким образом, актеры в Германии эмансипировались от поэтов, а равно и от поэзии. Только посредственности разрешают они еще выступать в их области. Но строго следят они при этом, чтобы в плаще посредственности не проник к ним ни один истинный поэт. Через сколько испытаний пришлось пройти г. Раупаху, прежде чем ему удалось стать твердой ногой в области театра! И теперь еще они зорко наблюдают за ним, и когда случается ему написать пьесу не совсем и окончательно плохую, то он вынужден из страха перед остракизмом комедиантов тут же поскорей накропать дюжину образцов самой жалкой стряпни. Вас удивляет слово «дюжина»? Здесь нет никакого преувеличения. Этот человек способен в самом деле ежегодно писать по дюжине драм, и эта производительность вызывает изумление. Но «здесь нет никакого чародейства», — говорит Янтъен Амстердамский, знаменитый фокусник, когда мы удивляемся его фокусам: «Здесь нет никакого колдовства, а только быстрота».

Преуспеяние г. Раупаха на немецкой сцене имеет, впрочем, еще одну особую причину. Этот писатель, немец по рождению, прожил много лет в России, там он закончил свое образование, и в поэзию его посвя-

тила московитская муза. Эта муза; красавица в соболях с восхитительно вздернутым носиком, поднесла нашему поэту полную водочную чару вдохновения, повесила на его плечи колчан с киргизскими стрелами остроумия, в руки его вложила трагический кнут. Как потряс он нас, когда впервые ударил им по нашим сердцам! Странность всего его облика немало должна была изумить нас. Этот человек, конечно, не пришелся нам по вкусу, нам, в культурной Германии; но его сарматское неистовство, его неуклюжая взвинченность, какая-то ворчливая решительность во всех его поступках ошеломили публику. Своеобразным зрелищем было, во всяком случае, когда г. Раупах мчался на своем славянском Пегасе, маленьком резвом коньке, по степям поэзии, подложив, по настоящему башкирскому обычаю, свои драматические сюжеты под седло, где они и созревают. Это встретило одобрение в Берлине, где, как вам известно, радушно принимается все русское; г. Раупаху удалось стать здесь твердой ногой, он сумел сговориться с актерами, и с некоторого времени, как я уже сказал, в храме драматического искусства божески чтится Аполлон-Раупах, рядом с Дианой-Бирх-Пфейфер. Тридцать талеров получает он за каждый акт, написанный им, и пишет сплошь шестиактные пьесы, называя первый акт прологом. Всевозможные сюжеты подкладывал он уже под седло своего Пегаса и изготовлял, сидя на них. Ни один герой не может считать себя обеспеченным от такой трагической участи. Даже «Зигфрида-Драконоубийцу» положил он под себя. Муза немецкой истории в отчаянии. Подобно Ниобее, в мрачной скорби взирает она на своих благородных детей, так чудовищно обработанных Раупахом-Аполлоном. О Юпитер! Он осмелился даже поднять руку на Гогенштауфенов, наших старых излюбленных швабских императоров! Мало было того, что г. Фридрих Раумер исторически заклал их, теперь приготовил их для сцены г. Раупах. Деревянные фигуры Раумера он покрывает сапожной кожей своей поэзии, своей русской юфтой, и самый

вид таких карикатур и их злобное в конце концов отравят нам воспоминание о прекраснейших и благороднейших императорах немецкого отечества. И полиция не воспрещает такого кощунства? Чего доброго, она сама принимает в этом участие. Новые восходящие династии не любят воспоминаний в народе о старых императорских родах, место которых они хотят занять. Ни Иммерману, ни Граббе, ни даже Ихтрицу, но г. Раупаху закажет берлинская театральная дирекция Барбароссу. Но строго запрещается г. Раупаху заткнуть под седло кого-нибудь из Гогенцоллернов, а вздумается ему когда-нибудь сделать это, то его немедленно отведут вместо Олимпа в кутузку.

Ассоциация идей по контрасту виновна в том, что я, предположив говорить о г. Уланде, внезапно наткнулся на г. Раупаха и m-me Бирх-Пфейфер; но хотя эта божественная пара, наша театральная Диана, еще меньше чем наш театральный Аполлон, и не принадлежит к подлинной литературе, мне все же надо было поговорить о них, так как они представляют нынешний мир подмостков. Во всяком случае, своим долгом перед нашими подлинными поэтами я считал: хоть в немногих словах рассказать в этой книге о том, что представляют собой те люди, которые узурпировали у нас господство над сценой.

V

Одно затруднение смущает меня в эту минуту. Я не могу обойти молчанием собрание стихотворений г. Людвига Уланда, а между тем мое теперешнее настроение отнюдь не благоприятствует беседе о них. Молчание могло бы показаться здесь трусостью или вероломством, а честная откровенность могла быть истолкована как недостаток любви к ближнему. Действительно, тот восторг, который я испытываю сейчас, мне едва ли удастся передать и им удовлетворить близких и дальних родственников Уландовой музыки и прихлеба-

телей его славы. Но прошу вас, примите в должное соображение место и время, когда я пишу эти строки. Двадцать лет тому назад, когда я был мальчиком, дело другое, — о, с каким необузданным воодушевлением мог бы я тогда славить Уланда! Я ощущал в то время его прелесть, пожалуй, лучше, чем теперь, он был мне ближе по чувствам и мысли. Но с тех пор произошло столько событий! То, что мне представлялось таким великолепным, весь этот мир куртуазности и католичества, эти рыцари, рубящие и колящие друг друга на дворянских турнирах, эти кроткие пажы и целомудренные знатные девицы, эти скандинавские витязи и миннезингеры, эти монахи и монахини, эти прародительские склепы с их таинственной жутью, эти вялые самоотречения под колокольный перезвон, это непрестанное тоскливое нытье, — как все это опротивело мне с тех пор! Да, не так было прежде. Как часто сидел я на развалинах старого замка в Дюссельдорфе на Рейне и декламировал лучшую из песен Уланда:

Шел пастушок весенним днем
У королевского дворца,
Принцесса видит — и огнем
Зарделись их сердца.

«О если б мне, в весенний зной,
К тебе спуститься с высоты!
Как овцы блещут белизной,
Алеют как цветы!»

А он: «О да, побудь со мной,
Направь ко мне свой легкий шаг!
Как руки блещут белизной,
Алеют щеки как!»

И с болью в сердце по утрам
Он появлялся у окна,
И ввысь глядел, и видел: там
Ждала его она.



Г. ГЕЙНЕ
Статуетка скульптора Теодора Гозена

«Привет принцессочке, привет!» —
Вывал он, строен и высок,
И голос сладостный в ответ:
«Спасибо, пастушок!»

Сменила вновь весна весну,
Цветы алеют по лугам,
Пастух является к окну,
Но нет принцессы там.

«Привет, принцессочка, привет!»
Кричит он, чуя горький рок,
И голос призрачный в ответ:
«Прости, мой пастушок!»

(Пер. В. А. Зоргенфрея.)

Сию я этак на развалинах старого замка и декламирую эту песню, и слышится мне, бывало, как русалки в несущемся мимо Рейне передразнивают мои слова, и с комическим пафосом неслись из волн стоны и дыхания:

И голос призрачный в ответ:
«Прости, мой пастушок!»

Но я не смущался такими проказами русалок даже тогда, когда они иронически хихикали в ответ на лучшие места из стихотворений Уланда. Это хихикание я относил в ту пору к себе, особенно под вечер, когда спускался мрак, и я декламировал несколько повысив голос, чтобы тем победить таинственный ужас, внушаемый мне развалинами замка. Ходило ведь предание, что там по ночам бродит дама без головы. Иногда мне чудился шелест ее длинного шелкового шлейфа, и сердце мое билось... Таково было место и время моего увлечения «Стихотворениями Людвига Уланда».

Опять в моих руках эта книга, но двадцать лет пронеслось с тех пор; за это время я много, очень много слышал и видел и уже не верю в людей, ходящих без

головы, и старая чертовщина уже не производит впечатления на мою душу. Дом, где я сижу теперь и читаю, находится на бульваре Монмартр; и здесь ездымаются самый бурный прибой современности, здесь орут самые неистовые голоса нового времени; смех, брань, бой барабанов; боевым шагом проходит национальная гвардия; и всякий говорит по-французски. Разве это место для чтения Уланда? Трижды вновь продекламировал я конец приведенного стихотворения, но совсем не ощущаю уже той несказанной тоски, которая овладевала мной, когда умерла королевская дочь и прекрасный пастушок так жалобно взывал к ней: «Привет, принцессочка, привет!»

И голос призрачный в ответ:

«Прости, мой пастушок!»

Быть может, я несколько охладел к таким стихам с тех пор и потому, что по опыту узнал: есть любовь гораздо мучительнее, чем та, в которой не осуществилось обладание любимым существом или оно потеряно вследствие смерти. В самом деле, гораздо мучительнее, когда любимое существо дни и ночи лежит в наших объятиях, но постоянным противоречием и идиотскими капризами отравляет эти дни и ночи, так что нам приходится вышвырнуть из нашего сердца то, что оно больше всего любит, и самолично усадить проклятую любимую женщину в почтовую карету и отправить ее...

Прощай, принцессочка, прощай!

Да, мучительнее утраты, вызываемой смертью, утрата вызываемая жизнью, — например, когда возлюбленная по безумному легкомыслию отворачивается от нас, когда ей во что бы то ни стало хочется пойти на бал, куда ни один порядочный человек не может сопроводить ее, и когда она в сумасбродно-крикливом наряде и вызывающей причёске протягивает руку первому попавшемуся проходивцу и поворачивает нам спину.....

Прости, мой пастушок!

Быть может, и с г. Уландом произошло то же, что с нами. Его настроение тоже, вероятно, несколько изменилось с тех пор. Вот уж двадцать лет, как он, за немногими исключениями, не выступал с новыми стихотворениями. Я не верю, чтобы эта прекрасная поэтическая душа была так скупо одарена от природы и имела одну лишь весну. Нет, я объясняю себе молчание Уланда скорее противоречием, возникшим между склонностями его музыки и требованиями его политического положения. Элегический поэт, воспевавший в таких прекрасных балладах и романах феодально-католическое прошлое, Оссиан средневековья, выступая в вюртембергском собрании государственных чинов, сделался с тех пор ревностным представителем народа, смелым поборником гражданского равенства и свободы духа. Неподдельность и искренность этих демократических и протестантских убеждений г. Уланд доказал тем, что принес им великие личные жертвы; если некогда он стяжал поэтические лавры, то теперь завоевал и дубовый венок гражданской доблести. Но именно потому, что он честно относится к новому времени, не мог он с прежним воодушевлением петь старые песни о старых временах; и так как Пегас его был всего лишь рыцарским конем, который охотно бежал назад, в прошлое, но становился на дыбы, как только его пробовали гнать вперед, в современность, то честный Уланд с улыбкой сквозь слезы спокойно приказал расседлать и отвести норовистого одра в конюшню. Там он и стоит до сего дня и, подобно своему коллеге, коню Баяру, имеет всевозможные достоинства и лишь один единственный недостаток: он издох.

От наблюдателей, более прозорливых, чем я, не укрылось, что высокий рыцарский конь, с его пестрыми попонами в гербах и горделивыми султанами, никогда по-настоящему не подходил своему штатскому наезднику, у которого на ногах вместо запог с золотыми шпорами были лишь туфли и шелковые чулки, а на голове вместо шлема — шапочка тюбингенского доктора прав.

По их уверениям, они открыли, что никогда и не было полной гармонии между г. Людвигом Уландом и его темой; что наивные, жутко-мощные тона средневековья он, собственно, не передает с идеализирующей правдой, но скорее растворяет их в болезненно-сентиментальной меланхолии; что он как бы разварил могучие звуки героического сказания и народной песни в своей задумчивости, чтобы приноровить их ко вкусу современной публики. И в самом деле, при внимательном взгляде на женщин Уландовой поэзии видишь, что это лишь прекрасные тени, воплощенный лунный свет, с молоком в жилах, со сладкими слезинками в очах, — сладкими, то есть без соли. Когда сравниваешь Уландовых рыцарей с рыцарями старинных песен, то кажется, что они состоят из жестяных лат, в которые одеты цветы, а не мясо и кости. Оттого-то Уландовские рыцари много благоуханнее для нежных носов, чем старые бойцы, которые ходили в толстых железных штанах и много жрали и еще больше пьянствовали.

Но это не упрек. Г. Уланд совсем не собирался представить нам немецкую старину в точной копии, он, быть может, хотел лишь позабавить нас ее отблеском; и он доброжелательно отразил ее на туманной плоскости своего духа. Это, пожалуй, и сообщает его стихам особенную прелесть и привлекает к ним любовь многих мягкосердечных и добрых людей. Образы прошлого оказывают свое волшебное действие, даже когда являются в виде туманнейших призраков. Борцы, ставшие на сторону нового времени, все же сохраняют всегда тайное тяготение к преданиям старины; удивительно волнуют нас эти голоса призраков даже в их слабых отзвуках. И легко понять, что баллады и романсы нашего прекрасного Уланда встречают наилучший прием не только у патриотов 1813 года, у набожных юнцов и неземных дев, но и у многих людей более жизненно сильных и тяготеющих к новизне.

Я присоединил к слову «патриоты» 1813 год для того, чтобы отличить их от нынешних преданных друзей

родины, уже не питающихся воспоминаниями о так называемой освободительной войне. Те, прежние патриоты, должны с наслаждением упиваться музой Уланда, потому что большинство его стихотворений насквозь проникнуто духом их времени, того времени, когда сами они были переполнены чувствами молодости и гордых упований. Это пристрастие к стихам Уланда они передали своим подголоскам, и было время, когда патриотом считался всякий парнишка из гимнастического кружка, если покупал себе томик стихов Уланда. Он находил здесь песни, лучше которых не смогли бы создать даже Макс фон-Шенкендорф и Эрнст-Мориц Арндт. И в самом деле, какого внука победоносного Арминия и светлокудрой Туснельды не удовлетворит такое стихотворение Уланда:

Дальше, дальше и вперед,
Так Россия нас зовет:
Вперед!
Слышит Пруссия, вперед!
И другим передает:
Вперед!
В мощи, Австрия, воспрянь!
За свободу с нами стань,
Вперед!
Ты, саксонский древний край,
Поднимись и выступай!
Вперед!
Вы, баварцы, с нами в строй!
Швабы, франки, к Рейну, в бой,
Вперед!
Нидерланды, близок враг!
Крепче меч и выше стяг!
Вперед!
И Швейцария за нас!
Лотарингия, Эльзас!
Вперед!

К нам, Британия, примкни!

Руку братьям протяни!

Вперед!

Дальше, дальше и вперед!

Близок радостный исход!

Вперед!

Зов раздался: «Выступить!»

Дальше, доблестная рать!

Вперед!

(Пер. В. А. Зоргенфрея.)

Повторяю, люди 1813 года встречают в стихотворениях г. Уланда дух своего времени в драгоценнейшей сохранности, и не только дух политический, но и моральный и эстетический. Г. Уланд — представитель целой эпохи, которую представляет теперь почти единолично, так как прочие ее представители забыты и действительно находят общее выражение в этом писателе. Тон, господствующий в песнях, балладах и романах Уланда, был тоном всех его романтических современников, а некоторые из них дали кой-что если не лучшее, то столь же хорошее. Здесь уместно воздать должное еще кой-кому из поэтов романтической школы, по материалу и манере являющим, как было упомянуто, решительное сходство с г. Уландом, не уступая ему в поэтической значительности и отличаясь разве меньшей уверенностью в форме. Действительно, какой превосходный поэт барон Эйхендорф! Песни, впечатленные им в его роман «Предчувствие и действительность», невозможно отличить от уландовских, и даже от лучших из них. Разница, пожалуй, разве лишь в более свежей лесной зелени и более кристальной правдивости стихов Эйхендорфа. Г. Юстинус Кернер, почти совершенно неизвестный, также заслуживает здесь хвалебного упоминания; и он писал прекраснейшие песни в том же тоне и той же манере; он — земляк г. Уланда. То же надо сказать о г. Густаве Швабе, поэте более известном, также уроженце швабской

земли, до сих пор всякий год улаждающем нас очаровательными, благоуханными песнями. Особенное дарование проявляет он в балладе, и в этой форме он превосходно воссоздал местные сказания. Равным образом должен быть здесь упомянут Вильгельм Мюллер, в расцвете радостной юности унесенный от нас смертью. В воспроизведении немецкой народной песни он совсем созвучен с г. Уландом; мне кажется даже, что он в этой области иногда бывает удачливее и превосходит Уланда естественностью. Он глубже понял дух старинных песенных форм и оттого не прибегал к внешнему подражанию им; поэтому мы встречаем у него более свободное обращение с переходами и разумное отсутствие всяких устаревших оборотов и выражений. Не могу также не напомнить здесь о забытом и неизвестном ныне покойном Ветцеле; он также был сродни по духу нашему прекрасному Уланду, которого в некоторых песнях, известных мне, он превосходит нежностью и томной глубиной. Эти песни, полуцветы, полубабочки, увяли, потеряв аромат и краски в одном из первых выпусков «Урании» Брокгауза. Что г. Клеменс Брентано большинство своих песен писал в том же тоне и духе, что и г. Уланд, понятно само собой; оба они черпали из одного источника, из народной песни, и оба предлагают нам один и тот же напиток; только чаша, то есть форма, более округлена у Уланда. Адальберта фон-Шамиссо мне, собственно, не приходится здесь касаться, хотя в качестве современника романтической школы он принимал участие в ее движениях; сердце этого писателя так чудесно помолодело за последнее время, что он перешел к совершенно новым тональностям, проявил себя как один из самых своеобразных и значительных современных поэтов и гораздо больше принадлежит молодой, чем старой Германии. Но в песнях его ранней поры живо то же дыхание, каким веет на нас от стихов Уланда: тот же звук, те же краски, тот же аромат, та же печаль, те же слезы... Слезы Шамиссо, быть может, трогатель-

нее, потому что они, подобно роднику, бьющему из скалы, вырываются из гораздо более сильного сердца.

Стихотворения, написанные г. Уландом в южных метрических формах, точно так же глубоко родственны сонетам, ассонансам и октавам его товарищей по романтической школе, и их невозможно различить ни по форме, ни по тону. Но, как было уже указано, большинство современников Уланда забыто вместе с их стихами, которые теперь лишь с трудом можно разыскать в забытых сборниках, как «Лес поэтов», «Странствие певцов», в некоторых женских альманахах и альманахах муз, в старых журналах, особенно в «Утешительном одиночестве» Ахима фон-Арнима и в «Волшебном пруте», выходившем под редакцией Генриха Штраубе и Рудольфа Христиани, в тогдашних газетах и бог знает еще где!

Г. Уланд не отец школы, как Шиллер и Гете или еще другие, которые задали особенный тон, нашедший определенный отзвук в поэзии их современников. Г. Уланд не отец, но сам лишь дитя школы, передавшей ему тон, равным образом не ею созданный, но с усилием ею выжатый из прежних поэтических произведений. Но в возмещение этого недостатка оригинальности, своеобразной новизны, поэзия г. Уланда полна достижений, столь же превосходных, сколь редких. Он — гордость счастливой швабской земли, и все соборять его по немецкому языку радуются этой благородной поэтической душе. В нем подведен итог большинству его лирических товарищей по романтической школе, которую читатели любят и чтят теперь в лице одного единственного человека. И, быть может, мы любим и чтим его теперь тем глубже, что собираемся расстаться с ним навеки.

Ах, не из легкомысленной прихоти, но подчиняясь закону необходимости пришла Германия в движение... Благочестивая, миролюбивая Германия!.. Со скорбным взором, устремленным в прошлое, оставшееся позади, она еще раз взволнованно склоняется над

старинной, в такой смертельной бледности глядящей на нас из стихотворений Уланда, и целует на прощание. И еще один поцелуй, — пожалуй, даже еще слеза! Но не надо застывать в этой бездейственной растроганности...

Дальше, дальше, все вперед,
Так нас Франция зовет!
Вперед!

VI

«Посетив по прошествии многих лет гробницу, где покоились останки Карла, император Оттон III, в сопровождении двух епископов и графа фон-Лаумеля (рассказавшего обо всем этом), вошел в склеп. Труп не лежал, как прочие мертвецы, но сидел прямо, как живой, на стуле. На голове была золотая корона, скипетр он держал в руках, покрытых перчатками, но ногти проросли сквозь кожу. Свод склепа был очень прочно сложен из мрамора на извести. Для того чтобы проникнуть туда, пришлось проломать отверстие; едва вошли во внутрь, почувствовали острый запах. Все преклонили колена и оказали усопшему почести. Император Оттон надел на него белое облачение, обрезал ногти и приказал исправить все повреждения. Из членов ни один не сгнил, только недоставало кушочка на кончике носа; Оттон приказал сделать его из золота. Наконец, он взял изо рта Карла один зуб, повелел опять замуровать склеп и вышел. — Той же ночью, говорят, явился ему во сне Карл и возвестил, что Оттон не доживет до старости и не оставит наследника».

Так рассказывают нам «Немецкие сказания». Но это не единственный пример этого рода. Ваш король Франциск таким же образом приказал раскрыть гробницу знаменитого Роланда, чтобы лично удостовериться был ли этот герой так исполински высок, как славят поэты. Произошло это незадолго до сражения при

Павии. Себастьян Португальский, перед отъездом в Африку, раскрыл могилы своих предков и смотрел на мертвых королей.

Странное, жуткое любопытство, часто побуждающее людей заглядывать в могилы прошлого! Это происходит в необыкновенные периоды, после завершения какой-нибудь эпохи или незадолго до катастрофы. Мы пережили в наши дни подобное явление: великий монарх — французский народ внезапно испытал желание раскрыть могилы прошлого и рассмотреть при свете дня давно закопанные, забытые времена. Не было недостатка в ученых могильщиках, которые не замедлили явиться с лопатами и ломами, чтобы разрыть старый мусор и взломать гробницы. Почувствовался острый запах, очень приятно щекотавший, как готический *haut gout*, носы, пресыщенные розовым маслом. Французские писатели благоговейно преклонили колена перед открытым средневековьем. Один возложил на него новое одеяние, другой остриг ему ногти, третий приделал ему новый нос; наконец, явилось и несколько поэтов, которые вырвали у средних веков зубы, — все, как император Оттон.

Явился ли во сне дух средневековья этим зубоде-рам и предсказал ли всему романтическому господству ранний конец, не знаю. Я вообще упоминаю об этом эпизоде во французской литературе лишь потому, что ни прямо ни косвенно не имею в виду борьбы с ним, обсуждая в этой книге в несколько резких выражениях подобное же явление, имевшее место в Германии. Писатели, вызвавшие из могилы средние века в Германии, задавались, как явствует из этих страниц, другими целями, и действие, которое они могли произвести на толпу, было опасно для свободы и благоденствия моего отечества. У французских писателей были только художественные интересы, и французская публика стремилась только удовлетворить свое внезапно возникшее любопытство. Большинство заглядывало в могилы прошлого лишь с целью выискать

себе там интересный костюм для карнавала. В самом деле, мода на готику была во Франции только модой, служившей лишь для того, чтобы повысить наслаждение настоящим. По-средневековому отпускают на голове длинные волосы и в ответ на самое беглое замечание парикмахера, что это не к лицу, их приказывают обстричь коротко вместе со связанными с этим средневековыми идеями. Ах, в Германии все по-иному! Может быть, именно потому, что средние века не окончательно умерли и истлели там, как у вас. Немецкое средневековье не лежит сгнившим в гробу, наоборот, его воскрешает иногда злое привидение, и среди белого дня оно вступает в нашу среду и высасывает из нас горячую кровь и жизнь.

Ах, разве вы не видите, как печальна и бледна Германия? Особенно немецкая молодежь, еще недавно ликовавшая в таком воодушевлении. Разве вы не видите; как окровавлены уста полномочного вампира, избравшего своим местопребыванием Франкфурт и с такой жуткой медлительностью и тоскливостью сосущего там сердце немецкого народа?

То, что я сказал о средних веках вообще, имеет особое значение в отношении религии. Лояльность требует от меня самым определенным образом отграничить партию, которую здесь называют католической, от жалких субъектов, носящих это имя в Германии. Только о последних говорил я на этих страницах, и, сознаюсь, в выражениях, все еще кажущихся мне слишком мягкими. Это враги моего отечества, пресмыкающаяся сволочь, лицемерная, лживая и непреодолимо трусливая. Они шипят в Берлине, они шипят в Мюнхене; гуляя по бульвару Монмартр, ты вдруг чувствуешь укус в пятку. Но мы раздавим ей голову, этой старой змее. Это партия лжи, это клеветы деспотизма, восстановители всякого убожества, всех ужасов и нелепостей прошлого. Как бесконечно выше их та партия, которую здесь называют католической, и вожди которой принадлежат к талантливейшим писателям

Франции! Если их нельзя назвать нашими соратниками, то мы все же боремся за одни и те же интересы, а именно за интересы человечества. В любви к нему мы едины; мы различны только во взгляде на то, что нужно человечеству; они думают, что человечество нуждается лишь в духовном утешении, мы же, наоборот, считаем, что ему нужно скорей материальное счастье. Если эта католическая партия во Франции, не уразумев сама своего собственного значения, заявляет себя партией прошлого, восстановительницей веры, то нам приходится, вопреки ее собственным заявлениям защищать ее. Восемнадцатое столетие так основательно раздавило католицизм во Франции, что от него не осталось почти никакого живого следа, и тот, кто собирается восстановить во Франции католицизм, проповедует как бы совершенно новую религию. Под Францией я понимаю Париж, а не провинцию, ибо как думает провинция — совершенно так же безразлично, как то, что думают наши ноги; голова есть средоточие наших мыслей. Мне говорили, что в провинции французы хорошие католики; не могу ни утверждать, ни отрицать этого; люди, с которыми я встречался в провинции, все похожи на верстовые столбы, на челе которых обозначено большее или меньшее их отдаление от столицы. Тамашние женщины ищут, быть может, утешения в христианстве по той причине, что не могут жить в Париже. В самом Париже христианство прекратило свое существование с революции и уже раньше потеряло здесь всякое реальное значение. Оно притаилось, это христианство, в отдаленном уголке церкви, насторожилось, словно паук, и время от времени стремительно выскакивает, когда можно схватить дитя в колыбели или старца в гробу. Да, только в два момента француз попадал во власть католического священника — при появлении на свет и при разлуке с ним; в течение всего промежутка он был в своем уме и издевался над святой водой и помазанием. Но разве это можно назвать господством католичества? Именно

потому, что оно совершенно угасло во Франции, удавалось ему при Людовике XVIII и Карле X прелестью новизны привлечь к себе даже некоторые бескорыстные умы. Католичество было тогда чем-то таким неслыханным, таким свежим, таким изумительным! Религией, господствовавшей тогда во Франции, была классическая мифология, и эту прекрасную религию с таким успехом проповедывали французскому народу его писатели, поэты и художники, что в конце прошлого столетия французы как в действиях, так и в мыслях носили совершенно языческий наряд. Во время революции классическая религия расцвела во всем своем мощном великолепии; это не было александрийское обезьянничанье — Париж был естественным продолжением Афин и Рима. Во время империи вновь угас этот античный дух. Греческие боги царили еще только на театре, и римские доблести владели только полем битвы; возникла новая вера, и она выражалась в одном священном имени: Наполеон! Эта вера царит до сих пор в массе. Поэтому кто говорит, что французский народ нерелигиозен, потому что он больше не верит в Христа и его святых, неправ. Скорее надо сказать: нерелигиозность французов заключается в том, что вместо того чтобы верить в бессмертность богов, они верят теперь в одного человека. Надо сказать: нерелигиозность французов заключается в том, что они больше не верят в Юпитера, не верят в Диану, не верят в Минерву, не верят в Венеру. Последний пункт сомнителен, насколько мне известно: по отношению к грациям французенки все еще остаются правоверными.

Надеюсь, что эти замечания не будут поняты ошибочно. Их назначение именно в том, чтобы предохранить читателя этой книги от одного досадного заблуждения.

П Р И П И С К А

Я был бы в отчаянии, если бы немногие замечания (книга 2-я глава III), вырвавшиеся у меня по адресу

великого эклектика, не были поняты. Право, я очень далек от намерения умалить г. Виктора Кузена. Чины и звания этого знаменитого философа даже обязывают меня к хвале и прославлению. Он принадлежит к тому живому пантеону Франции, который мы называем перством, и его остроумный прах покоится на бархатных скамьях люксембургского дворца. При этом он любвеобилен, но не любит ничего банального, — которое способен любить всякий француз, — например, Наполеона; он не любит даже Вольтера, которого, конечно, не так легко любить... Нет, сердце г. Кузена подвергает себя труднейшему испытанию: он любит Пруссию. Я был бы злодеем, если бы предполагал умалить такого мужа, я был бы чудовищем неблагодарности... Ибо ведь я сам пруссак. Кто будет нас любить, когда перестанет биться великое сердце Виктора Кузена?

Право, мне приходится насильственно подавить все личные чувства, которые могли бы привести меня к чрезмерному энтузиазму; ведь я не хотел бы также быть заподозренным в сервилизме; ибо благодаря своему положению и красноречию г. Кузен чрезвычайно influential в государстве. Это соображение могло бы даже заставить меня так же свободно высказаться о его недостатках, как и о его достоинствах. Отнесется ли он сам к этому с неодобрением? Разумеется, нет! Я знаю, что нельзя почтить высокие умы лучше и прекраснее, чем освещая их недостатки так же добросовестно, как и их добродетели. Когда воспеваешь Геркулеса, то необходимо упомянуть, как он однажды сбросил с себя львиную шкуру и уселся за прялку; ведь и после этого он еще остается Геркулесом. Сообщая такие вещи о г. Кузене, мы должны еще, в виде тонкой похвалы, присовокупить: если г. Кузен сейчас иногда болтает за прялкой, то он никогда не снимал с себя львиной шкуры.

Развивая это сравнение с Геркулесом, мы должны упомянуть еще об одном лестном различии, а именно: народ приписывал сыну Алкмены те деяния, которые

были свершены различными его современниками; деяния же г. Кузена так громадны, так изумительны, что народ никогда не мог понять, как один человек мог совершить нечто подобное, и возникла легенда, что произведения, появившиеся под именем этого господина, принадлежат многим его современникам.

То же самое произойдет некогда с Наполеоном; уже теперь мы не можем понять, как один герой мог совершить столько чудесных подвигов. Как теперь уже о великом Викторе Кузене говорят, что он умел эксплуатировать чужие дарования и выдавать их работы за свои, — так некогда будут утверждать о бедном Наполеоне, что не он сам, а бог знает кто, может быть, даже г. Себастиани, выиграл сражение при Маренго, Аустерлице и Иене.

Великие люди действуют не только своими деяниями, но и своей личной жизнью. В этом отношении г. Кузен заслуживает безусловной похвалы. Здесь он предстает в своем безукоризненнейшем великолепии. Собственным примером он содействовал разрушению предрассудка, который, быть может, до сих пор препятствовал большинству его соотечественников серьезно отдаться изучению философии, одному из важнейших стремлений. Здесь ведь господствовало мнение, будто изучение философии делает человека непригодным для практической жизни, что метафизические спекуляции отбивают вкус к промышленным спекуляциям и что, если хочешь быть большим философом, необходимо, отказавшись от всякого блеска, санов и почестей, жить в простодушной бедности и в отдалении от всяких интриг. Это предубеждение, которое заставляло столь многих французов держаться вдали от области отвлеченного, счастливо разрушил г. Кузен, и своим собственным примером он показал, что можно сделаться бессмертным философом и одновременно пожизненным *pair de France*.*

Правда, некоторые вольтерианцы объясняют этот феномен простым обстоятельством: что из этих двух

* паром Франции

достоинств г. Кузена, несомненно только последнее. Возможно ли более бездушное, более нехристианское объяснение? Только вольтеррианцы способны на такую фривольность!

Но какому великому человеку удавалось когда-либо избежать насмешек своих современников? Разве афиняне пощадили великого Александра своими аттическими эпиграммами? Не распевали разве римляне издевательских песен о Цезаре? Не сочиняли разве берлинцы пасквилей на Фридриха Великого? Г. Кузена постигает та же участь, которая постигла уже Александра, Цезаря и Фридриха и которая ожидает еще многих великих мужей в Париже. Чем крупнее человек, тем легче попадают в него стрелы насмешек. В карликов попасть гораздо труднее.

Но масса, народ, не любит насмешек. Народ, как гений, как любовь, как лес, как море, серьезен, он не склонен к ядовитому салонному остроумию, и великие явления объясняет он глубокомысленно, мистически. Все его толкования носят поэтический, чудесный, легендарный характер. Так, например, изумительную игру Паганини на скрипке народ старается объяснить тем, что этот музыкант убил из ревности свою возлюбленную, просидел за это много лет в тюрьме, где единственным его развлечением была скрипка, и, упражняясь на ней день и ночь, он, наконец, достиг высшего мастерства на этом инструменте. Философскую виртуозность г. Кузена народ старается объяснить подобным же образом и рассказывает, что однажды немецкие правительства, усмотрев в нашем великом эклектике героя свободы, посадили его в тюрьму, где он не получал для чтения никакой другой книги, кроме «Критики чистого разума» Канта, что от скуки он неустанно изучал ее и, таким образом, достиг той виртуозности в немецкой философии, которая снискала ему впоследствии в Париже столько рукоплесканий, когда он публично исполнял из нее труднейшие пассажи.

Это прекрасная народная легенда, сказочная и необычайная, и как сказание об Орфее, о Валааме, сыне Веоровом, о мудреце Квазере, о Будде, и каждое столетие преобразует ее по-своему, пока, наконец, имя Кузена не получит символического значения и мифологи будут видеть в г. Кузене не действительное лицо, а олицетворение мученика свободы, который, сидя в заключении, находит утешение в мудрости, в критике чистого разума. Будущий Балланш увидит в нем, быть может, аллегория его времени, времени, когда критика и чистый разум и мудрость обыкновенно сидели в тюрьме.

Что касается реальности этой истории о тюремном сидении г. Кузена, то она имеет совсем не аллегорическое происхождение. Заподозренный в демагогии, он в самом деле провел некоторое время в немецкой тюрьме, точно так же как Лафайет и Ричард Львиное Сердце. Но чтобы, располагая там досугом, г. Кузен занимался изучением «Критики чистого разума» Канта — сомнительно по трем основаниям. Во-первых: эта книга написана по-немецки. Во-вторых: для того, чтобы читать эту книгу, надо знать немецкий язык. И в-третьих: г. Кузен не знает немецкого языка.

Я говорю это отнюдь не для порицания. Величие г. Кузена выступает перед нами в тем более ярком свете, когда видишь, что он изучил немецкую философию, не понимая языка, на котором она изложена. Насколько он, этот гений, стоит выше нас, обыкновенных людей, которым лишь с величайшим напряжением удастся понимать эту философию, хотя мы с детства хорошо знакомы с немецким языком! Существо такого гения всегда останется для нас необъяснимым; это одна из тех интуитивных натур, которым Кант приписывает способность спонтанного понимания вещей в их совокупности, в противоположность нам, обыкновенным аналитическим натурам, которые способны понимать вещи лишь в их раздельной последовательности и посредством комбинирования отдельных частей.

Кант как бы уже предчувствовал появление такого человека, который некогда поймет его «Критику чистого разума» простым интуитивным созерцанием, без дискурсивно-аналитического изучения немецкого языка. Быть может, однако, французы вообще счастливее организованы, чем мы, немцы. Я заметил, что достаточно сообщить им лишь немного о какой-нибудь доктрине, об ученом исследовании, о научном воззрении, и они так превосходно умеют комбинировать и перерабатывать в своем уме это немного, что вскоре гораздо лучше понимают дело, чем мы, и могут поучать нас относительно нашего собственного знания. Иногда мне кажется, что головы французов, совершенно как их кафе, сплошь увешаны внутри зеркалами, так что всякая идея, попадающая в их голову, отражается там бесчисленное множество раз: оптическое устройство, посредством которого самые ограниченные и бедненькие головы представляются обширными и блестящими. Эти лучезарные головы, как и сверкающие кафе, обыкновенно очень ослепляют бедных немцев, когда они впервые попадают в Париж.

Боюсь, что из сладких вод хваления незаметно перехожу в горькое море порицания. Да, не могу воздержаться от горького укора г. Кузену вследствие одного обстоятельства: он любит истину еще больше, чем Платона и Теннемана, и он несправедлив к самому себе, он клеветает на себя, пытаюсь уверить нас, что он заимствовал разные вещи из философии Шеллинга и Гегеля. Я должен взять г. Кузена под защиту от этого самообвинения. Честное и благородное слово! Этот честный человек ни ничтожнейшей малости не украл из философии гг. Шеллинга и Гегеля, и если он привез домой что-нибудь на память от них обоих, то это была исключительно их дружба. Но психология полна примерами таких ложных самообличений. Я встречал человека, который признавался, что, будучи за обедом у короля, он украл серебряную ложку, и, однако, все мы знали, что бедняга не имеет доступа ко двору и

обвиняет себя в покраже ложки лишь для того, чтобы уверить нас, будто был в гостях во дворце.

Нет, г. Кузен был в немецкой философии неизменно верен шестой заповеди: здесь он не украл ни единой идеи, ни даже чайной ложечки идеи. Все свидетели утверждают, что г. Кузен в этом отношении, — повторяю, в этом отношении, — есть сама честность. И это удостоверяют не только его друзья, но и его противники. Тот же отзыв находим мы, например, в журнале «Берлинский ежегодник научной критики» нынешнего года, и так как автор этого документа, великий Гинрихс, отнюдь не хвалитель, и его слова тем менее подозрительны, то я впоследствии приведу их целиком. Теперь дело идет о том, чтобы очистить великого мужа от тяжкого обвинения, и лишь поэтому я упоминаю о свидетельстве «Берлинского ежегодника», правда, неприятно задевающего мою собственную душу несколько насмешливым тоном, в котором он говорит о г. Кузене. Ибо я настоящий почитатель великого эклектика, как я высказал на этих страницах, где сравнил его со всеми возможными великими людьми: с Геркулесом, Наполеоном, Александром, Цезарем, Фридрихом, Орфеем, Валаамом, сыном Веора, мудрым Квазером, Буддой, Лафайетом, Ричардом Львиное Сердце и Паганини.

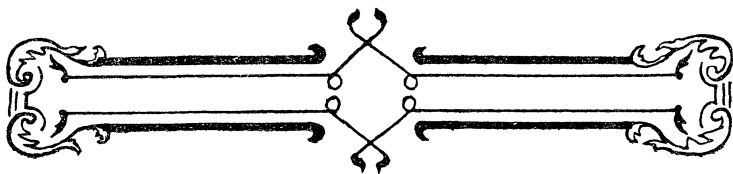
Я, быть может, первый, присоединивший к этим великим именам имя Кузена. «Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas!» * скажут, конечно, его враги, его безбожные враги, те вольтеррианцы, для которых нет ничего святого, которые не знают никакой религии и не веруют даже в г. Кузена. Но не в первый уже раз случается, что лишь благодаря чужестранцу нация научается ценить своих великих людей. Я, быть может, имею заслугу перед Францией в том, что оценил достоинства г. Кузена в современности и его значение для будущего по достоинству. Я показал, как народ уже при жизни поэтически разукрашивает его и рассказывает

* «От великого до смешного один шаг!»

о нем небылицы. Я показал, как он постепенно расплывается в легенду и как настанет некогда время, когда имя Виктора Кузена станет мифом. «Оно уже теперь миф», — хихикают вольтеррианцы.

О вы, хулители трона и алтаря, вы, злодеи, всегда, как поет Шиллер, «чернящие блестящее и влекущие возвышенное в грязь», предсказываю вам, что слава г. Кузена, подобно французской революции, совершит кругосветное путешествие! — Слышу ядовитое продолжение: «Слава г. Кузена в самом деле совершает кругосветное путешествие, и из Франции она уже отбыла».

ДУХИ СТИХИЙ



ДУХИ СТИХИЙ *

...Говорят, в Вестфалии есть старики, еще знающие, где сокрыты старинные идолы; на смертном одре они сообщают это младшему из внуков, который и носит эту драгоценную тайну в своем скрытном саксонском сердце. В Вестфалии, бывшей Саксонии, не все умерло, что погребено. Бродя по ее старым дубовым рощам, слышишь голоса бывшего, слышишь еще отзвуки тех глубокомысленных заклинаний, в которых сильнее бьет жизненная полнота, чем во всей бранденбургской литературе. Тайнственное благоговение охватило мою душу, когда я много лет назад, скитаясь по этим лесам, проходил мимо древнего замка Зигбурга. «Здесь, — сказал мой проводник, — жил некогда король Видекинд», — и глубоко вздохнул при этом. Это был простой дровосек, и в руке его был большой топор.

Я убежден: этот человек и сегодня, если понадобится, будет биться за короля Видекинда; и горе черепу, на который обрушится его топор!

То был черный день для земли саксонской, когда Видекинд, ее храбрый герцог, был разбит императором Карлом при Энгтере. «Когда он, обращенный в бегство, отходил к Эллербруху, и все с женами и детьми столпились у переправы, одна старуха уж не в силах была итти дальше. Но чтобы она не попала в руки врагу, саксы живою закопали ее в песчаном холму подле Бельманс-Кампа, приговаривая при этом по-своему: «Ступай

* Здесь некоторая игра слов: *Elementargeister* может значить не только «стихийные духи, духи стихий», но и «элементарные, простейшие духи», о которых и идет речь у Гейне.

в землю, ступай в землю, ты не жилища на свете, эта толкотня не по тебе».

Говорят, эта старуха еще жива. Не все умерло в Вестфалии, что погребено.

Братья Гриммы рассказывают эту историю в своих «Немецких сказаниях»; в моем дальнейшем изложении я не раз буду пользоваться добросовестными, прилежными изысканиями этих почтенных ученых. Неопенима заслуга обоих исследователей в науке о немецких древностях. Один Якоб Гримм сделал для языкознания больше, чем вся ваша Французская академия со времен Ришелье. Его немецкая грамматика — исполинский труд, готический собор, под сводами которого все германские племена, словно гигантские хоры, поднимают голоса, каждое на своем наречии. Якоб Гримм, быть может, продал чорту душу, чтобы тот доставлял ему материалы и был пособником в этом необъятном лингвистическом сооружении. В самом деле, человеческого жизни и человеческого терпения не могло хватить, чтобы собрать эти глыбы учености и чтобы скрепить их воедино цементом из сотен тысяч цитат.

Основным источником в изучении древнегерманских народных верований служит Парацельс. Я уже неоднократно упоминал о нем. Его сочинения переведены на латинский язык недурно, но с пробелами. Читать его в немецком подлиннике трудно; стиль сумбурен, но временами выступают большие мысли, сказанные большими словами. Это натурфилософ в самом современном значении слова. Его терминологию не надо всегда понимать в ее общепринятом смысле. В своем учении о духах стихий он говорит о нимфах, ундинах; сильванах, саламандрах, однако лишь потому, что эти названия в ходу у его читателей, но не потому, чтобы они обозначали как раз то, о чем он хочет сказать. Вместо того чтобы произвольно сочинять новые слова, он предпочел приискать для своих идей старые выражения, имевшие до сих пор сходное значение. Поэтому его часто толковали неправильно, и многие обвиняли его в издева-

тельстве, а то и в неверии. Одни говорили, что он хочет шутки ради свести в систему старые детские сказки, другие, порицали то, что он, вразрез с христианской точкой зрения, не согласен признать духов стихий сплошь нечистой силой. «У нас, — говорит он где-то, — нет никаких оснований считать, что эти существа порождение дьявола; да и что такое дьявол, мы тоже не знаем до сих пор». По его утверждению, духи стихий такие же настоящие божьи создания, как мы, только они, в противоположность нам, ведут свой род не от Адама и пребывают, по воле божьей, в четырех стихиях. Их телесное строение соответствует этим стихиям. И Парацельс распределяет различных духов по четырем стихиям, предлагая здесь определенную систему.

Но привести народные верования в систему, как пытались сделать некоторые, так же бессмысленно, как вправить в рамку проносящиеся облака. Самое большое, что можно сделать, это сгруппировать сходное по рубрикам. Это и попытаемся мы сделать по отношению к духам стихий.

О кобольдах была речь выше. Это — привидения, помесь умерших людей и бесов; их следует точно отличать от собственно духов земли. Те живут по преимуществу в горах, и их называют гномами, металлариями, малым народцем, карлами. Сказание об этих карлах сходно со сказанием о великанах и указывает на существование двух различных племен, некогда более или менее мирно сожительствовавших в стране, но с тех пор исчезнувших без следа. Великаны навсегда скрылись из Германии. Карлы же иногда еще встречаются в рудниках, где в одежде маленьких рудокопов они добывают дорогие металлы и драгоценные камни. Искони карлы всегда владели множеством золота, серебра и алмазов, ибо могли невидимо проникать куда угодно, и не было столь малого отверстия, сквозь которое они не могли бы пробраться, если только оно ведет к богатствам в недрах земли. Исполны же всегда были бедны, и если бы могли они брать у кого-нибудь взаймы, они бы

оставили исполинские долги. Старинные песни часто с похвалой упоминают об искусстве карлов. Они ковали лучшие мечи, но только великаны умели биться этими мечами. Были эти великаны в самом деле так огромны? Пожалуй, страх увеличил их рост на несколько локтей. Такие вещи бывали не раз. Византиец Никита, описывающий взятие Константинополя крестоносцами, рассказывает совершенно серьезно, что один из этих железных витязей севера, гнавший перед собою все и всех, казался им в эту страшную минуту в полсотни локтей ростом.

Обиталища карлов, как я уже сказал, расположены были в горах. Маленькие щели в скалах народ до сих пор зовет карликовыми норами. Я много их видел в Гарце, особенно в Боденской долине. Кое-какие сталактиты, встречающиеся в горных пещерах, а равно разные причудливые заостренные скалы народ называет карликовой свадьбой. Это карлы, превращенные злыми колдунами в камни в тот самый момент, когда они семена ножками возвращались домой после венчания из своей маленькой церковки или благодумствовали за свадебным угощением. Легенды о таких превращениях людей в камни распространены на севере, как и на востоке, где невежественный мусульманин все статуи и кариатиды, находимые в развалинах древнегреческих храмов, считает окаменелыми людьми. В Бретани, как и в Гарце, я не раз видел причудливо расставленные группы камней, которые называются у крестьян карликовыми свадьбами; камни у Лок-Мариа-Кер — это обиталища Торриганов, Курилов — так там именуют этот «маленький народец».

Карлы ходят в маленьких колпачках, делающих их невидимыми; их называют шапками-невидимками или туманными шапочками. Раз один крестьянин, молотя, сбил цепом шапку-невидимку с карлика; тот, став видимым, юркнул в расщелину земли. Иногда карлы и добровольно показывались людям, охотно входили с ними в общение и удовлетворялись уже тем, что те

их не обижали. Но мы, по нашей злой природе, не раз играли с ними злые шутки. В «Народных сказаниях» Висса рассказана следующая история:

«В легкую пору толпа карликов часто спускалась с горных круч в долину, либо помогая в работе, либо только поглядывая, присоединяясь к людям, особенно к косарям при уборке сена. Весело усаживались они тут на длинной и толстой ветке клена в тенистой зелени. Но раз пришли злые люди и ночью подпилили ветку, так что она еле держалась на стволе, и когда на утро ничего не подозревавшие человечки уселись на ней, ветка сломалась, карлы попадали на землю под смех окружающих, очень рассердились и причитали:

«О, как небо высоко
И измена велика!
Теперь вон — и навсегда!»

С тех пор они, говорят, покинули эту местность. Есть, впрочем, еще два другие предания, тоже связывающие уход карликов с нашим издевательством и злобой. Одно из них так рассказано в упомянутых «Народных сказаниях»:

«Карлы, жившие в пещерах и расщелинах скал вокруг людей, были всегда к ним дружелюбны и расположены и по ночам, когда люди спали, делали за них тяжелые работы. Ранним утром, когда крестьяне, выехав с телегами и орудиями, изумлялись, что все уже сделано, карлики громко смеялись, притаившись в кустах. Не раз, найдя на поле сжатым незрелый хлеб, крестьяне сердились, но когда вслед затем налетала буря с градом и они убеждались, что без этого, быть может, не уцелело бы ни колоска, они сердечно благодарили предусмотрительных карлов. Но в конце концов люди за свои злые шутки потеряли милость и благосклонность карликов; они исчезли, и ни один глаз с тех пор не видел их. Вышло это так. У одного пастуха росло на горе прекрасное вишневое дерево. Однажды летом, когда ягоды поспели, оказалось, что в три ночи рядом

дерево обобрано, а все ягоды снесены в корзинки и решета, где пастух всегда хранил вишни. В деревне говорили: «Этого никто не мог сделать, кроме честных карлов, они ночью в длинных плащах, обмотав подошвы, легко как птички, прокрадываются и прилежно делают работу за людей; раз уже случилось их втайне выследить, но им не мешают и дают делать свое дело». Этот рассказ вызвал любопытство в пастухе, которому захотелось узнать, зачем карлы так тщательно прячут свои ноги и такие ли у них ноги, как у людей. В следующем году пришло опять лето, и настала пора, когда карлы стали тайно собирать вишни и сносить их в амбар; тут пастух взял мешок золы и рассыпал вокруг горы. На утро с рассветом он поспешил к дереву, которое оказалось совершенно обобраным, а на золе отпечатались следы множества гусиных лапок. Пастух расхотался и издевался над карликами, что их тайна раскрыта. Но вслед затем они разрушили и опустошили свои жилища и бежали дальше в горы, рассердились на род людской и перестали помогать ему. Пастух, предавший их, стал чахнуть и в безумии влачил свои дни до самой смерти».

Другое предание, рассказанное в «Народных сказаниях» Отмара, носит гораздо более мрачный и суровый характер:

«Между Валькенридом и Нейгофом, в графстве Гогенштейн, было некогда у карлов два царства. Как-то один обитатель этой местности заметил, что его овощи по ночам исчезают с поля, открыть же злоумышленника не удавалось. Наконец, по совету одной умной женщины, он стал в сумерках ходить по своему гороховому полю и бить тонким прутом по воздуху над ним. Немного времени прошло, и он увидел пред собой нескольких карлов. Он незаметно сбил с них шапки-невидимки. Дрожа упали они перед ним и сознались, что это их народ грабит крестьянские поля, но что к тому понуждает их крайняя нужда. Весть о пойманных карлах привела в волнение всю округу. Наконец, карлы

прислали выборных с предложением принять выкуп за себя и их захваченных братьев, после чего они навеки покинут страну. Но условия их ухода вызвали новые споры. Местное население не хотело отпустить народ карлов со всеми их накопленными и припрятанными сокровищами, а карлы не хотели, чтоб их видели при уходе. В конце концов сошлись на том, что карлы будут уходить по одному узенькому мостыку близ Нейгофа и что каждый из них должен при этом положить в виде выходной пошлины известную часть своего достояния в поставленную у моста бочку, причем людей там быть никого не должно. Так и было сделано, но несколько любопытных спрятались под мостом, чтобы по крайней мере слышать уход карлов. И в продолжение многих часов они слышали топот маленьких человечков, — словно через мост проходит громадное стадо овец».

Согласно одному варианту, каждый уходящий карлик обязан был бросить лишь одну монету в поставленную у моста бочку; и на другое утро бочка оказалась доверху наполненной старинными золотыми. Перед тем, будто, приходил к жителям сам царь карлов с просьбой не выгонять его народец. С мольбой вздымал он свои ручонки к небу и плакал жалобными слезами, как некогда дон Исаак Абарбанель перед Фердинандом Арагонским.

От карлов, духов земли, надо точно отличать эльфов, духов воздуха, более известных также во Франции, и особенно в английской поэзии прославляемых так восхитительно. Если бы эльфы не были бессмертными по своей природе, их обессмертил бы уже Шекспир. В летнем ночном сне поэзии они будут жить вечно.

Вера в эльфов, по моему мнению, скорее кельтского, чем скандинавского происхождения. Поэтому на западном севере больше сказаний об эльфах, чем на восточном. В Германии мало знают об эльфах, и все это здесь лишь тусклый отзвук бретонских саг; таков, например, «Оберон» Виланда. То, что у народа в Германии называется эльфами, или эльбами, — жуткое отродье ведьм

от их связи с злым духом. Родина подлинных сказаний об эльфах — Ирландия и северная Франция; донесшись отсюда до Прованса, они смешались здесь со сказаниями Востока о феях. Из такого смешения расцвели великолепные «ле» о графе Ланвале, которого прекрасная фея осчастливила своей благосклонностью, под условием, что он будет молчать о своем счастье. Но когда однажды король Артур на пиршестве в Кардюэле назвал свою супругу Джиневру прекраснейшей из женщин, граф Ланваль не смог больше молчать; он проговорился — и счастьем его, по крайней мере на земле, пришел конец. Немногим счастливее была судьба рыцаря Грюэлана; и он не смог умолчать о блаженстве своей любви, возлюбленная фея исчезает, и в поисках ее он долго и тщетно скитается на своем коне Жедефер. Но в стране фей Авалое несчастные рыцари вновь находят своих возлюбленных. Здесь граф Ланваль и рыцарь Грюэлан могут болтать сколько их душе угодно. Здесь и датчанин Эгир может отдохнуть от богатырских странствований в объятиях своей Морганы. Вам, французам, известны все эти рассказы. Вам известен Авалон, но известен он и персу, только под названием Джиннистана. Это страна поэзии.

С наружностью эльфов и их повадкой вы также в общем знакомы. «Царица эльфов» Спенсера давным давно перелетала к вам из Англии. Кто не знает Титании? Кто так туп, что временами не слышит веселого звона ее полета со свитой? Но верно ли, что увидеть своими глазами эту царицу эльфов, а то и получить от нее привет — предвестие смерти? Я хотел бы знать это наверное, ибо:

Раз в лесу, при лунном свете,
Видел я, как эльфы мчались;
Колокольчики звенели,
И рожки переливались.

Кони в дрожках волоченых
Вдаль неслись неумоимо;

Легкой стаей лебединой
Промелькнули эльфы мимо.

И с улыбкой королева
Мне кивнула, как герою.
Знак ли это — вновь влюбиться,
Или смерть не за горою?

(Пер. В. А. Зоргенфрея)

Среди датских народных песен есть два сказания об эльфах, точнее всего отражающих существо этих воздушных духов. Одна песня повествует о сношении одного юнца, который прилег на вершине Эльверскё и постепенно уснул. Снится ему, что он стоит, опершись на свой меч, а эльфы пляшут вокруг него и ласками и обещаниями стараются вовлечь его в свой хоровод. Одна из пляшущих, приблизившись к нему, треплет его по щеке и шепчет: «Попляши с нами, юный красавчик, и мы споем тебе сладчайшую песнь, какую только жаждет твое сердце». И тут раздаются напевы, полные столь непреодолимого любовного зова, что стремительный поток, воды которого обычно бурно несутся вдаль, вдруг стихает и из спокойных вод его всплывают рыбки и весело играют своими хвостиками. Другая нашеншывает: «Попляши с нами, юный красавец, мы научим тебя заклинаниям рун, при помощи которых ты сможешь одолеть медведя и дикого вепря, а также змея, стерегущего золото; его золото достанется тебе». Но юнец не поддается всем этим соблазнам, и рассерженные девы, наконец, грозят ему пронзить его сердце холодной смертью. Уже сверкают их острые ножи, но тут, к счастью, закричал петух, и молодец проснулся цел и невредим.

Другое стихотворение не так бестелесно; эльфы появляются не во сне, а в действительности, и тем резче выступает перед нами то страшное привлекательное, что есть в их существе. Это песня о рыцаре Олуфе, который выехал поздним вечером созвать гостей к себе на свадьбу. Припев все один: «Но пляска так быстро несется

чрез лес». Как бы слышатся жуткие, страстные напевы, а между ними хихикание и шопот зазорных девушек. Наконец, пред Олуфом четыре, пять, много танцующих девушек, и дочь лесного царя протягивает ему руку. С великой нежностью приглашает она его вступить в круг и потанцевать с нею. Но рыцарь отказывается танцевать и в извинение говорит: «Завтра моя свадьба». Ему предлагают соблазнительнейшие подарки, но ни сафьяновые сапоги, что так пришлось бы ему по ноге, ни золотые шпory, что так хорошо бы пристегнуть к сапогам, ни белоснежная шелковая рубашка, выбеленная самою царицей эльфов на лунном свете, ни даже серебряная перевязь, тоже восхваляемая пред ним как драгоценность, — ничто не может заставить его принять участие в хороводе эльфов. Он все повторяет свое извинение: «Завтра моя свадьба». Тут эльфы, конечно, теряют наконец терпение, наносят ему в сердце такой удар, какого он никогда не получал, и, вновь усадив поверженного на землю рыцаря на его коня, язвительно приговаривают: «Так поезжай же к своей невесте». Ах, когда он возвратился в свой замок, щеки его были очень бледны, а тело охвачено недугом, и когда на другой день утром с музыкой и песнями прибыла невеста с провожатыми, то рыцарь Олуф был безмолвен, ибо он лежал мертвый под красным покровом.

Но пляска так быстро несется чрез лес.

Пляска — необходимая особенность духов воздуха. Они существа слишком эфирные, чтобы передвигаться по этой земле прозаически-обычной походкой, подобно нам. Однако, как они ни нежны, их ножки оставляют некоторые следы на лужайках, где они вели свои ночные хороводы. Эти выдавленные круги народ называет кольцами эльфов.

В Австрии существует в одной местности сказание, представляющее известное сходство с предыдущим, хотя имеет славянское происхождение. Это сказание о

призрачных плясунях, известных там под названием «вил». «Вилы» — невесты, умершие до свадьбы. Несчастные юные создания не могут спокойно лежать в могиле, в их мертвых сердцах, в их мертвых ногах живо еще то тяготение к пляске, которое им не пришлось удовлетворить при жизни, и в полночь они встают из могил, собираются толпами на больших дорогах, и горе тому молодому человеку, который там с ними встретится! Он должен пуститься с ними в пляс, они обнимают его с необузданным неистовством, и он пляшет с ними без удержу, без передышки, пока не упадет замертво. В венчальных платьях, в венках с развевающимися лентами на головах, сверкающими перстнями на пальцах, пляшут вилы, подобно эльфам, при свете месяца. Лицо, хотя и бледное, как снег, — юношески прекрасно; они смеются с таким жутким весельем, с такой зловещей прелестью, они кивают с такой сладострастной таинственностью, с такой заманчивостью; нет сил устоять против этих мертвых вакханок.

Народ, видя смерть невест в расцвете молодости, никогда не мог поверить, что юность и красота так внезапно падают жертвой черного уничтожения, и так легко возникла вера, что невеста после смерти ищет недоставшихся ей наслаждений.

Это приводит на память одно из прекраснейших стихотворений Гете, «Коринфская невеста», с которым давно познакомила французских читателей г-жа де-Сталь. Сюжет этого стихотворения относится к глубокой древности, теряясь в ужасах фессалийских сказок. Элиан рассказывает его, и нечто в этом роде сообщает Филострат в биографии Аполлония Тианского. Это мрачная свадебная история, где невеста — лампа.

Характерной чертой народных сказаний является то, что самые страшнейшие катастрофы в них обычно разражаются на свадебных торжествах. Внезапная жуть тем резче и ужаснее противопоставлена радостной обстановке, приготовлениям к празднеству, веселой музыке. Пока край кубка не коснулся губ, драгоценный напиток

может еще пролиться. Мрачный, никем не званный свадебный гость может появиться — и, однако, ни у кого не хватает мужества выгнать его. Он шепчет невесте словечко на ухо, и она бледнеет. Он делает еле заметный знак жениху, и тот выходит за ним из зала, следуя за ним во тьму ночи, и уж никогда не возвращается. Обыкновенно тут есть в прошлом любовный обет, и оттого ледяная рука призрака вдруг различает невесту и жениха. Сидя за свадебным столом и бросив случайный взгляд вверх, рыцарь Петер фон-Штауфенберг внезапно увидел маленькую белую ножку, просунувшуюся сквозь потолок столовой. Он узнает ножку русалки, с которой он был раньше в нежнейшей любовной связи, и по этому предвещанию он понял, что жизнью заплатит за измену. Он посылает за духовником, причащается и готовится к смерти. Об этом происшествии еще много рассказывают и поют в немецких землях. Рассказывают также, что обиженная русалка, составаясь невидимой, обняла неверного рыцаря и удушила его этим объятием. Глубоко волнует женщин этот трагический рассказ. Но наши юные вольнодумцы насмешливо улыбаются по этому поводу и отказываются верить, что русалки так опасны. Горько раскаются они впоследствии в своем неверии.

Русалки имеют очень большое сходство с эльфами. И те и другие обольстительны, задорны и любят пляски. Эльфы пляшут на болотах, зеленых лужайках, лесных прогалинах и всего охотнее под старыми дубами. Русалки пляшут у прудов и рек; случалось видеть их пляски на поверхности вод вечером, перед тем, как кому-нибудь суждено там утонуть. Часто появляются они также там, где пляшут люди, и принимают участие в их плясках, как наш брат. Русалок узнают по подолу их белого платья, который всегда влажен, а также по тонкой ткани их покрывал и по благородному изяществу их таинственного существа. Водяного — соответствующего русалке мужского пола — узнают по зеленым зубам, очень похожим на рыбью кость. Жутко

становится, когда коснешься его чрезвычайно мягкой ледяной руки. На голове у него обыкновенно зеленая шляпа. Горе девушке, которая, не признав его, беспечно пустится с ним в пляс. Он затащит ее в свое влажное царство. У Марск-Стига, цареубийцы, было две красавицы-дочери, из коих младшая попала во власть к водяному, и притом, когда была в церкви. Водяной явился в виде великолепного рыцаря; его мать сделала ему коня из чистой воды, а седло и поводя из белейшего песку, и красавица, ничего не подозревая, радостно отдала ему руку. Будет ли она на дне морском хранить обещанную ему верность? Не знаю; но знаю сказание о другом водяном, который тоже добыл себе жену с суши и был ею обманут коварнейшим образом. Это сага о Росмере, водяном, который сам того не подозревая, взвалил к себе на спину в ящике свою жену и отнес ее к ее матери. Горьчайшие слезы лил он после этого.

В свою очередь и водяным обитателям часто приходится платиться за то, что они развлекались общением с людьми. И об этом я знаю одну историю, многократно воспетую немецкими поэтами. Но всего трогательнее звучит она в простом рассказе братьев Гримм, в их «Немецких сказаниях».

«С незапамятных времен в деревне Эпфенбах под Зинцхеймом каждый вечер на посиделки являлись три юные красавицы в белом. Они всегда приносили новые песни и новые напевы, знали всякие занятные сказки и игры; в их прылках и веретенах тоже было что-то особенное, и ни одна пряжа не могла сравниться с ними в тонкости пряжи и быстроте работы. Но ровно в одиннадцать часов они вставали, складывали свои прылки, и никакая просьба не могла их удержать ни на мгновение дольше. Неизвестно было, откуда они приходят и куда уходят: называли их девами с озера или сестрами с озера. Парни рады были им и влюблялись в них, а особенно сын учителя приходской школы. Он не мог наслушаться их и наговориться с ними, и всего мучи-

тельнее было для него то, что каждый вечер они так рано уходят. И вот однажды пришла ему в голову мысль: он переставил деревенские часы на час назад, и вечером среди непрерывных разговоров и шуток никто не заметил, что время прошло. А когда на часах пробило одиннадцать, между тем как на самом деле уже было двенадцать, три девушки встали, сложили свои прялки и ушли. На другое утро несколько человек, проходя мимо озера, услышали оттуда стоны и увидели на поверхности его три кровавых пятна. С тех пор сестры никогда не появлялись на посиделках. А сын учителя стал чахнуть и вскоре умер».

Есть что-то таинственное в поведении этих водяных духов. Человек может вообразить под этой водной поверхностью сколько угодно блаженств и столько же ужасов. Рыбы, которые одни только могут знать об этом что-нибудь, немые. Или они молчат из благоразумия? Боятся они тяжкого наказания, если выдадут тайны тихого водного царства. Своими сладострастными тайнами и скрытыми ужасами такое водяное царство напоминает Венецию. Не была ли сама Венеция таким царством, случайно всплывшим из пучин Адриатического моря на поверхность со всеми своими мраморными дворцами, своими дельфиноглазыми куртизанками, с фабриками коралловых и стеклянных бус, с государственными инквизиторами, с учреждениями для тайного утопления, со смехом пестрых масок. Если Венеции придется когда-нибудь вновь исчезнуть в глубине ее лагун, ее история будет звучать, как русалочья сказка, и нянька будет рассказывать детям о великом водяном народе, настойчивостью и хитростью овладевшем даже сушей, но в конце концов заклеванном насмерть двуглавым орлом.

Таинственность есть особенность водяных духов, как мечтательное веселье — особенность эльфов. Быть может, в первичном сказании между ними не было особенного различия, и лишь позднейшие времена начали разделять их. Названия их не дают твердых указаний.

В Скандинавии все духи называются эльфами, эльфами, и их подразделяют на белых и черных эльфов; последние суть, собственно, кобольды. Домашних кобольдов, домовых, называют в Дании также никсами, или, как я уже говорил, ниссами.

Существуют, однако, и водяные чудища, имеющие человеческий облик лишь до пояса, а ниже заканчивающиеся рыбьим хвостом, или русалки, в верхней половине тела представляющие собою красавицу, а в нижней — чешуйчатую змею, как ваша Мелузина, возлюбленная графа Раймонда де-Пуатье.

Счастливец Раймонд, — его возлюбленная была только наполовину змея!

Часто бывает также, что подводные обитатели, вступая в любовные связи с людьми, не только требуют тайны, но и просят никогда не расспрашивать их об их происхождении, о родине и родных. Они никогда не называют своего настоящего имени, но в людской среде выступают, так сказать, под псевдонимом. Супруг принцессы Клевской называл себя Гелиас. Был он водяной или эльф? Как часто, спускаясь по Рейну и проезжая мимо Лебединой башни в Клеве, я вспоминал о таинственном рыцаре, с такой болезненной строгостью охранявшем свое инкогнито и одним вопросом о его происхождении навеки вырванном из объятий любви. Когда принцесса, не будучи в силах совладать со своим любопытством, однажды ночью обратилась к своему супругу с вопросом: «Ради наших детей, не скажете ли вы, господин, кто вы?» — он со вздохом поднялся с ложа, взшел снова на свою ладью, везомую лебедем, уехал по Рейну и скрылся навеки. В самом деле, чрезмерные расспросы женщин докучны. Пользуйтесь вашими губками, красотки, не для вопросов, а для поцелуев. Молчание — важнейшее условие счастья. Если мужчина выбалтывает все о своем счастье или женщина с любопытством выпрашивает о тайнах ее счастья, оба они лишаются этого счастья.

Эльфы и русалки умеют колдовать, умеют принять

любой вид; иногда, однако, и их самих превращает в разные отвратительные чудовища заклятие более сильных духов или некромантов. Но любовь снимает это заклятие, как, например, в сказке о Земире и Азоре. Стоит трижды поцеловать жабообразное чудовище, и оно превращается в прекрасного принца. Преодолей свое отвращение к уродству и даже полюби его, и уродство тотчас превратится в прекрасное. Никакое заклинание не устоит против любви. Любовь сама есть высшее заклятие, всякое иное волшебство уступает ей. Пред одной только силой она бессильна. Какая же это сила? Это не огонь, не вода, не воздух, не земля со всеми ее металлами, — это время.

Замечательнейшие сказания о духах стихий можно найти у доброго старого Иоганна Преториуса, книга которого, «*Anthropodemus plutonicus* или Новое всемирное описание всякого рода необычайных людей», вышла в 1666 году в Магдебурге. Самый год уже замечателен; это год, которому предрекали светопредставление. Содержание книги — груда бессмыслицы, отовсюду надерганных суеверий, сумбурных и фантастических рассказов и ученых цитат, хлама и белиберды. Излагаемые предметы расположены по алфавиту названий, также подобранных в высшей степени произвольно. Забавны и рубрики. Так, предполагая говорить о призраках, автор подразделяет их следующим образом: 1) призраки действительные и 2) призраки поддельные, то есть обманщики, переодевшиеся в призраков. Но он дает массу сведений, и в этой книге, как и в других его работах, сохранились предания, отчасти очень важные для изучения древнегерманских верований, отчасти очень интересные просто в качестве курьезов. Никому из вас, я в этом убежден, неизвестно, что существуют морские епископы. Сомневаюсь даже, чтобы это было известно «*Gazette de France*». И все же кое-кому было бы важно знать, что христианство имеет приверженцев даже в глубинах океана, и, разумеется, в большом количестве. Быть может, обитатели морских пучин

в большинстве христиане, во всяком случае, такие же христиане, как и большинство французов. Я охотно умолчал бы об этом, чтобы не привести этим сообщением католическую партию во Франции в восторг, но раз речь у нас зашла о русалках и водяных, то немецки добросовестная основательность требует от меня упоминания о морских епископах. Дело в том, что Преториус рассказывает следующее:

«По сообщению голландских летописей, Корнелиус Амстердамский писал в Рим врачу, по имени Гельберт, что в 1531 году в Северном море близ Эльпах был пойман водяной, имевший вид епископа римской церкви. Его отправили королю польскому. Но так как он не хотел ничего есть из того, что ему предлагали, то умер на третий день, ничего не говоря, лишь тяжело вздыхая».

На следующей странице Преториус приводит еще пример:

«В 1433 году в Балтийском море у польского побережья выловили морского человека, совсем похожего на епископа. Он был в епископской митре, с епископским посохом в руке и в ризе. Он позволял дотрагиваться до себя, в особенности если это делали тамошние епископы; он воздал им должную честь, но безмолвно. Король хотел держать его в заключении, но он жестами воспротивился этому и просил епископов отпустить его в его стихию, что и было исполнено, причем два епископа сопровождали его туда; он высказывал при этом радость. Очутившись в воде, он перекрестился и нырнул и больше уже не показывался. Об этом читаем в «Flandr. Chronic.», в «Hist. Ecclesiast. Spondani», равно как в «Memorabilia Wolfii».

Я дословно передал оба рассказа и точно указал источник, чтобы кому-нибудь не пришло в голову, будто я выдумал морских епископов. Стал бы я выдумывать еще новых епископов!

Некоторым англичанам, с которыми мне пришлось вчера беседовать о реформе англиканско-епископальной

церкви, я дал совет всех их земных епископов превратить в водяных.

Чтобы восполнить предание о водяных и эльфах, я должен упомянуть еще о девах-лебедях. Здесь сказание очень неопределенно и слишком покрыто сумраком таинственности. Водяные ли это духи? Или воздушные? Волшебницы ли они? Иногда они прилетают по воздуху в виде лебедей, сбрасывают с себя белую пернатую оболочку, как одежду, превращаются в юных красавиц и купаются в тихих водах. Захваченные там каким-нибудь любопытным парнем, они стремительно выскывают из воды, наскоро облачаются в свои перья и вновь в виде лебедей несутся по воздуху. Достоинейший Музеус рассказывает в своих «Народных сказках» прекрасную историю о юном рыцаре, которому удалось похитить один из таких лебединых нарядов; окончив купание, девушки быстро надели свои лебединые одежды и улетели; лишь одна, напрасно поискав свою одежду, осталась. Она не может улететь, разливается в слезах, она восхитительно прекрасна собой, и хитрый рыцарь женится на ней; семь лет живут они счастливо; но однажды, роясь в отсутствии супруга в тайных шкафах и сундуках, жена находит свой старый лебединый наряд; мигом надевает она его и улетает.

В старинных датских песнях часто идет речь о таком лебедином наряде, но в очень неясной туманной форме. Здесь мы встречаем следы древнейшего волшебства. Здесь слышатся звуки северного язычества, находящиеся, подобно полузабытым снам, чудесный отзвук в нашем воспоминании. Не могу не привести здесь старинную песню, где не только говорится о перьяном покрове, но и о ночных воронах, выступающих рядом с девами-лебедями. Эта песня так зловеща, так мрачна, так исполнена ужаса, как скандинавская ночь, и все же в ней пылает любовь, по дикой сладости, по захватывающей иступленности не имеющая равной, любовь, которая, все мощнее разгораясь, взматывается, наконец, кверху, как северное сияние, заливая своими стра-

стными лучами все небо. Сообщая здесь эту могучую поэму любви, я должен предварительно заметить, что позволил себе лишь несколько метрических изменений и слегка кой-что подправил во внешней форме, в оболочке. После каждой строфы повторяется припев: «Так он над морем летит!»

Король с королевой пустились в путь
Вдвоем, в открытое море;
И то, что король не один отплыл,
На горе вышло, на горе.

Внезапно корабль на месте стал,
И тщетны все были усилья;
А сверху ворон кружил ночной,
Злорадно расправив крылья.

«Быть может, кто под волнами скрыт
И держит на привязи судно?
Я дам ему золота и серебра —
Нам с места сдвинуться трудно.

А если ты это, ворон ночной,
Не дай опуститься на дно нам,
Я дам тебе золота и серебра,
В тяжелых слитках, со звоном».

«Не надо мне золота и серебра,
Иная нужна мне награда:
Того, что под поясом носишь ты,
Того, королева, мне надо».

«Охотно отдам, что под поясом есть,
Отдам охотно, не споря,
Лишь сделай так, чтоб не сгинуть нам
В бездонной пучине моря».

И бросила ворону связку ключей,
Не чая ущерба иного,
И ворон, довольный, крылами взмахнул —
Он взял с королевы слово,

Так кончилось плавание, и король
Домой с королевой вернулся,
И сразу же Герман, отважный боец,
Под сердцем у ней шевельнулся.

Пять месяцев минуло с той поры,
Слегла королева, и вскоре
Красавец-мальчик родился у ней, —
И вышло это на горе.

Родился он в глухую ночь,
А утром его крестили,
И именем Германа нарекли,
И думали — сына скрыли.

А мальчик рос, он скакал верхом,
Владел оружием искусно,
И матери делалось всякий раз
При виде Германа грустно.

«О мать моя, дорогая мать,
Когда мимо вас прохожу я,
О чем вы печалитесь всякий раз
И слезы льете, тоскуя?»

«Так знай же, Герман, веселый боец,
Осталось жить тебе мало:
Еще до рожденья, под сердцем, тебя
Я ворону обещала».

«О мать моя, дорогая мать,
Откиньте печаль, что вас гложет!
Того, что написано нам на роду,
Никто изменить не может».

То было в ненастный осенний четверг,
Вставало утро седое,
Покой королевский открыт был, и вдруг
Раздалось карканье злое.

Ужасный ворон влетел в окно
И сел с королевой в зале:
«Отдайте мне сына, того, что вы
Когда-то мне обещали».

И господом-богом в чертогах небес
И сонмом святых заедино
Клялась королева, что нет у нее
Ни дочери в мире, ни сына.

И яростно ворон крылами взмахнул
И каркнул, в ярости черной:
«Так где же Герман, веселый боец?
Он мой по праву, бесспорно».

А Герману минул пятнадцатый год,
И он задумал жениться;
Послы его в Англию прибыли; там
Ждала невеста-девица.

Король согласился отдать свою дочь,
И Герман собрался на остров:
«Но как мне к невесте добраться скорей —
Вода преграждает доступ?»

И то был Герман, веселый боец,
Он в алый цвет обрядился
И в пурпурно-алой одежде своей
Пред матерью ниц склонился.

«О мать моя, дорогая мать,
Я с просьбою к вам большою:
Отдайте свое оперенье, лететь —
На остров лететь, над водою».

«Мое оперенье висит в углу,
И ткань уж очень стара ведь;
Придется, пожалуй, ее к весне
Слегка подновить, подправить».

И крылья притом чересчур широки,
Осядут в тучах, над морем —
И если тыпустишься в путь, то я
Умру, сраженная горем».

В ее оперенье облекся он
И взмыл над морскою пучиной,
И видел, поднявшись, как ворон ночной
Сидел на скале пустынной.

Над гладью морскою он неся вдаль,
Влетая выше и выше,
И вдруг позади себя хлопанье крыл
И голос хриплый услышал.

«Здорово, Герман, веселый боец,
Скучаю давно по тебе я;
Когда мне тебя обещала мать,
Ты меньше был и нежнее».

«О дай лишь до острова мне долететь,
Сказать два слова невесте,
И я с тобой встречусь (слово даю!)
На этом же самом месте!»

«Тогда я отмечу тебя, чтоб узанать,
Потом, при свиданье, снова,
И пусть это памятью будет тебе,
Что дал ты ворону слово».

Он выклевал Герману правый глаз
И выпил крови немало,
И витязь явился к невесте своей
Истерзанный, исхудалый.

В девичьем покое уселся он,
Весь в ранах и бледен ликом,
Подруги невесты, при виде его,
В смущенье смолкли великом.

Подруги невесты забыли про смех,
Застыли в немом молчанье:
Но гордая дева Аделуц
Отбросила вышиванье.

Он ввысь взмывал и книзу слетал
В объятьях дальних просторов;
Она неотступно летела вслед,
С него не спуская взоров.

«Здорово, Герман, веселый боец,
Где вам довелось порезвиться?
Как вышло, что так побледнели вы
И кровь по платью струится?»

«Простите, гордая Аделуц,
Связал меня клятвою ворон,
Он выклевал глаз мне и выточил кровь,
И ждет меня до сих пор он».

Она его голову в руки берет
И гладит волосы нежно;
Пригладит волос, один, другой,
И слезы льет неутешно.

Пригладит одну за другою прядь
И слезы льет неутешно,
И мать проклиная, по чьей вине
Он муку принял, безгрешный.

Принцесса гордая Аделуц
К нему стирает руки:
«Проклятье матери вашей, той,
Что нас обрекла на муки».

«Постойте, гордая Аделуц,
Оставьте ваши проклятья:
Того, что написано мне на роду,
Никак не мог избежать я».

В свое оперенье облекся он
И к новым ринулся бедам;
Она в оперенье свое облеклась,
За ним полетела следом.

Он ввысь взмывал и книзу слетал,
В объятиях дальних просторов;
Она неотступно летела вслед,
С него не спуская взоров.

«Вернитесь, гордая Аделуц,
Вернитесь, вас дома заждались;
Открыта настежь в покои дверь,
Ключи на полу остались».

«Пусть настежь открыта в покои дверь,
Ключи пусть топчут ногами —
Туда, где мучения приняли вы,
Лечу я, следом за вами».

Он книзу слетал и ввысь взмывал,
Над морем сумрак сгустился,
Тянулись туманы, гряда за грядой,
И Герман с глаз ее скрылся.

Всех птиц, встречавшихся ей в пути,
Она разрезала на части,
Но дикий ворон никак не мог
Попастся ей, по несчастью.

Принцесса гордая Аделуц
На берег низкий слетела:
Там не было Германа — только рука,
Рука от Германа тела.

И в гневе она поднялась опять,
Чтоб ворона встретить ночного,
На запад летела и на восток,
Его умертвить готова.

Всех птиц, встречавшихся ей в пути,
Колола она и терзала;
Когда же ей встретился ворон, она
В куски его изорвала.

Рвала и терзала, и вскоре сама,
Устав, испустила дыхание.
Она ради Германа, ради бойца,
Приняла такое страданье.

(Пер. В. А. Зоргенфрея.)

Весьма многозначительно в этой песне не только упоминание об одежде из перьев, но самое летание. Во времена язычества именно о королевах и знатных дамах говорили, что они умеют летать по воздуху, и это волшебное искусство, тогда считавшееся чем-то почетным, стало в христианскую эпоху представляться одним из мерзостных свойств ведьмы. Народная вера в полеты ведьм перелицована из древнегерманского поверья, и она обязана своим происхождением совсем не христианству, как ошибочно полагали на основании того места из Библии, где сатана носит по воздуху нашего Спасителя. Однако это место из Библии могло бы, во всяком случае, служить оправданием народного верования, так как им подтверждается то, что дьявол в самом деле в состоянии носить людей по воздуху.

Некоторые отождествляют дев-лебедей, о которых я говорил, с скандинавскими валькириями, также оставившими значительные следы в народных верованиях. Ведьмы, выведенные в «Макбете» Шекспиром, изображены в гораздо более благородном виде в древнем сказании, которое очень широко использовано поэтом. Согласно этому сказанию, герою перед самым сражением встретились в лесу три загадочные девы, предсказавшие ему судьбу и бесследно исчезнувшие. Это были валькирии или даже норны, эти парки Севера. Последних напоминают также три волшебные пряжи,

известные нам из старых детских сказок; у одной плоская стопа, у другой широкий большой палец, у третьей отвислая губа. По этим признакам узнают их всегда, появляются ли они в дряхлом или омоложенном виде.

Не могу не упомянуть здесь об одной сказке, действие которой разыгрывается на моей рейнской родине, в расцвете и радости встающей при этом в моем воспоминании. И здесь выступают три женщины, о которых я не могу определенно сказать, относятся ли они к стихийным духам или они колдуньи, а именно колдуньи древнеязыческого толка, так сильно отличающиеся своим поэтическим благообразием от позднейших ведьм. Эта история не сохранилась во всей точности в моей голове; если не ошибаюсь, она подробнейшим образом изложена в «Рейнских сказаниях» Шрейбера. Это сказание о долине Висперталь, «шепчущей» долине, расположенной неподалеку от Лорха. Название это долина получила от голосов, шепчущих там на ухо прохожему нечто подобное тому таинственному «Пст! Пст!», которое обыкновенно слышишь, проходя вечером по известным переулкам столицы. По этой Виспертальской долине проходили как-то трое странствующих подмастерьев; они были в очень хорошем настроении и захотели обязательно узнать, что же может означать это непрестанное «Пст! Пст!». Наконец, старший и самый смекалистый из них, по ремеслу оружейник, громко воскликнул: «Это, конечно, голоса таких уродливых баб, что они не смеют показаться!» Едва он произнес эти хитро вызывающие слова, как перед ним вдруг явились три чудесные красавицы, изящными жестами приглашая его и обоих его спутников отдохнуть в их замке от тяжелого пути и вообще поразвлечься. Замка этого, расположенного поблизости, парни сначала совсем не заметили, быть может потому, что он не вышался в открытом месте, а был высечен в скале, так что снаружи видны были только маленькие стрельчатые окна да широкий проезд. Войдя в замок, они немало были удивлены великолепием, отовсюду свер-

кавшим им навстречу. Три дефы, обитавшие там, как видно, в полном одиночестве, угостили их прекрасной трапезой, причем сами наливали им вино. Никогда в жизни парни, в груди которых все веселее смеялось сердце, не видели таких прекрасных и прелестных женщин и они обручились с ними в пламенных лобзаниях. На третий день красавицы сказали: «Если вы, милые женихи, хотите жить с нами всегда, то раньше вы должны пойти еще раз в лес и узнать там, что поют и говорят птицы; когда узнаете и поймете смысл того, что говорят воробей, сорока и сын, тогда возвращайтесь в наши объятия».

Три парня отправились в лес и, пробравшись через заросли и кривые сучья, исцарапавшись в колючках, натываясь на пни, они подошли к дереву, на котором сидел воробей, прочировавший им:

«Трое глупых парнишек, не труся,
К берегам кисельным пустились;
Пролетели три жирных гуся
Мимо носа у них — и скрылись.
А он: «Разнесчастный народ,
Ничего-то в толк не возьмет.
Гусь, он должен быть со щепотку,
Здесь гусь не лезет нам в глотку».

«Вот, вот, — воскликнул оружейник: — совершенно верно сказано! Да, хоть бы у дурака жареные гуси летали мимо пасти, ему все равно пользы от того не будет! Пасть у него мала, а гуси велики, и справиться ему никак невдомек!»

Отправившись дальше, пробравшись сквозь заросли и кривые сучья, исцарапавшись в колючках, натываясь на пни, пришли три парня к дереву, по веткам которого прыгала сорока и стрекотала: «Моя мать была сорока, моя бабушка тоже была сорока, моя прабабушка тоже была сорока, и моя прапрабабушка была сорока, и если бы моя прапрабабушка не померла, то была бы в живых».

«Вот, вот, — воскликнул оружейник: — это я понимаю! Ведь это всемирная история. Это в конце концов итог всех наших исследований, и больше люди ничего на свете не узнают».

Отправившись дальше, пробравшись сквозь заросли и кривые сучья, исцарапавшись в колючках, натыкаясь на пни, пришли три парня к дереву, в дупле которого сидел сыч и бормотал про себя: «Кто говорит с одной бабой, того надует одна баба, кто говорит с двумя бабами, того надуют две бабы, кто говорит с тремя бабами, того надуют три бабы».

«Ого! — сердито закричал оружейник: — эй ты, поганая птица с твоей поганой жалкой мудростью, которую за грош можно купить у всякого нищего горбуна. Это старая, отвергнутая клевета. Ты бы много лучше думал о женщинах, если бы был пригож и весел, как мы, или если бы знал наших невест, прекрасных, как солнце, и верных, как золото!»

Тут три парня пустились в обратный путь, и, пройдя некоторое время с веселым посвистом и песнями, они вновь очутились пред замком в скале и в безудержной радости запели они озорную песню:

Дверь закрыта на замок,
Что ты делаешь, дружок?
Спишь или встаешь ты?
Плачешь иль поешь ты?

Ликуя, стояли наши ребята перед въездом в замок, как вдруг над воротами открылись три окошечка, и из каждого выглянула на них старушонка: все три длинноносые, со слезящимися глазами, они радостно кивали седыми головами и, раскрыв беззубые пасти, хрипло кричали: «Вот они наши милые женихи. Погодите, милые женихи, сейчас отопрем вам ворота и встретим вас поцелуями, и вы насладитесь счастьем в объятиях любви!»

До смерти перепуганные парни не стали ждать, пока распахнутся ворота замка и раскроются пред ними

объятия возлюбленных и наслаждения, сулимые им в этих объятиях, но пустились во весь дух удирать, и так бежали, что в тот же день добрались до города Лорха. И вечером, сидя в кабачке за вином, они должны были осушить не одну кружку, пока окончательно не оправились от перепуга. Но оружейник орал и заверял, что сыч да сова — умнейшие на свете птицы и недаром считаются символом мудрости.

Я коснулся здесь лишь вскользь темы, представляющей многотомный материал для интереснейших исследований, а именно вопроса о том, как христианство стремилось либо истребить, либо растворить в себе древнегерманскую религию и как следы ее сохранились в народных верованиях. Известно, как велась эта война на уничтожение... Когда народ, привыкший к былому поклонению силам природы, сохранял и после обращения старинное благоговение к известным местам, то такое преклонение старались обратить на пользу новой религии или оставить как происки злого духа. У родников, которые язычество почитало как божественные, строил христианский священник свою хитрую церковку, и сам он теперь освящал воду и эксплуатировал ее чудодейственную силу. До нынешнего дня ходит народ на богомолье к старым милым родникам незапамятной древности и с верой черпает в них исцеление. Священные дубы, не поддавшиеся христианским топорам, были оклеветаны; под этими деревьями, стали говорить теперь, колдует по ночам нечистая сила, и ведьмы предаются адскому распутству. Но дуб остался все же любимым деревом народа немецкого, дуб до сих пор есть символ немецкой национальности: это высочайшее и самое мощное во всем лесу дерево; корни его проникают в самую глубь земли; зеленым знаменем гордо развевается в воздухе его листва; поэтические эльфы гнездятся на его стволе; священно-премудрая омела обвивает его ветки; только плоды его мелки и несъедобны для человека.

В древнегерманских законах много еще запретов: нельзя молиться пред реками, деревьями и камнями,

так как люди держались еретического взгляда, будто в них обитает божество. Карлу Великому пришлось в своих «Капитуляриях» определенно запретить приношение жертв камням, деревьям, рекам; нельзя там также возжигать освященные свечи.

Эти три предмета, камни, деревья и реки, являются основными моментами германского богослужения, чему соответствует вера в существа, живущие в камнях, а именно в карлов, в существа, живущие в деревьях, а именно эльфов, в существа, живущие в воде, а именно водяных и русалок. При желании установить здесь систему, это распределение представляется гораздо более целесообразным, чем расположение по различным стихиям, причем для огня принимается четвертый разряд духов стихий, а именно саламандры. Народ, обходящийся всегда без системы, никогда ничего о них не знал. В народе существует, собственно, только сказание о животном, которое способно жить в огне и называется саламандрой. Все мальчики — завзятые естествоиспытатели, и я, будучи малышом, пытался раз исследовать, в самом ли деле саламандры могут жить в огне. Когда моим школьным товарищам удалось как-то поймать такое животное, я поспешил бросить его в печь, где оно сперва стало брызгать в огонь белой слезью, потом зашипело, все тише, тише, и наконец испустило дух. С виду зверек напоминает ящерицу, но он шафранно-желтого цвета с черными крапинками, а белая жидкость, которую он испускает в огне и посредством которой, может быть, иногда гасит пламя, пожалуй, и послужила источником веры, будто саламандра может жить в огне.

Огненные люди, бродящие по ночам, не духи стихий, но призраки покойников, мертвых ростовщиков, бессердечных чиновников и злодеев, переставлявших межевые камни. Блуждающие огоньки тоже не принадлежат к духам. Нельзя точно сказать, что они представляют собою; они заманивают путника в трясины и болота. Как я уже сказал, народу неизвестен весь

разряд духов огня, описываемый Парацельсом. Об одном лишь огненном духе упоминает он, и это не кто иной, как Люцифер, сатана, дьявол. В старинных балладах он выступает под именем огненного царя, и его появление или уход неизменно сопровождается неизбежными огненными языками. Так как он есть, таким образом, единственный дух огня и является пред нами представителем всего разряда таких духов, то мы займемся им подробнее.

В самом деле, если бы дьявол не был огненным духом, то как бы мог он выдержать пребывание в аду? Он существо настолько холодное, что даже не может себя нигде хорошо чувствовать, кроме как в огне. На эту холодность дьяволовой природы жаловались все женщины, имевшие несчастье вступать с ним в близкие отношения. Удивительно единогласны в этом отношении дошедшие до нас показания ведьм в колдовских процессах всех стран. Эти признававшиеся в плотской связи с дьяволом дамы, даже под пыткой неизменно рассказывают о холоде его объятий; ледяными — плакались они — были проявления этой дьяволовой нежности.

Дьявол холоден, даже в качестве любовника. Но он не безобразен, так как может принимать любой вид. Нередко он облачается в личину женской прелести, чтобы помешать какому-нибудь набожному инок в исполнении его покаянного подвига или даже вовлечь его в соблазн плотского наслаждения. Другим, кого он желал бы только напугать, он являлся в образе зверином, он и его адские подручные. В хорошем настроении, нажравшись и выпивши, он охотно является в виде животного. Был, например, один дворянин в Саксонии, который пригласил к себе друзей попить. Когда стол был накрыт, и пришло время обеда, и все было готово, гости не явились, и один за другим прислали извиниться, что не могут прибыть. В гневе вырвались у него слова: «Если ни один человек не хочет прийти, то пусть чорт у меня обедает вместе со всем адом!» Сказав это, он покинул дом, чтобы рассеять

досаду. Тем временем во двор въехало несколько рослых черных всадников; они приказали слуге дворянина отыскать барина и сообщить ему, что прибыли гости, которых он пригласил напоследок. После долгих поисков слуга находит, наконец, господина, возвращается вместе с ним, но оба не отваживаются войти в дом. Ибо они слышат, как там все безумнее гремит разгул, песни и крики, и, наконец, они видят как перепившиеся бесы в образе медведей, кошек, козлов, волков и лисиц подходят к открытым окнам, держа в лапах полные кубки или дымящиеся тарелки и, весело скаля зубы, кланяются лоснящимися мордами стоящим внизу.

Что дьявол в образе черного козла председательствует на шабаше ведьм, известно всем и каждому. Позже, рассказывая о ведьмах и колдовстве, я остановлюсь на роли, которую он играет в этом обличье. В достопримечательной книге, где глубоко ученый Георгиус Годельманус дает правдивый и основательный обзор этого предмета, сказано также, что дьявол нередко является в образе монаха. Он приводит следующий пример:

«В бытность студентом юридического факультета в знаменитом Виттенбергском университете, помню, не раз приходилось мне там слышать от профессоров моих, что пришел к дверям Лютера некий монах; когда в ответ на его сильный стук слуга открыл ему и спросил, чего ему надо, монах спрашивает, дома ли Лютер. Узнав об этом, Лютерус впустил его, потому что уж некоторое время не видал монахов. Войдя, тот сказал, что заметил несколько папистских ошибок, по поводу которых хотел бы поговорить с ним, и предъявил ему несколько силлогизмов и тезисов, и когда Лютерус без труда разрешил их, он выставил новые, не столь уже легкие, почему у Лютера, пришедшего в некоторое раздражение, вырвались слова: «Ты мне докучаешь, я ведь занят другими делами!» — и встав показал ему в Библии ответ на вопрос, предложенный монахом. И как заметил он в этом разговоре, что руки

у монаха были вроде птичьих когтей, то сказал: «Да ты не тот ли? Постой, слушай-ка, вот этот приговор против тебя произнесен!» и показал ему изречение в Бытии, первой книге Моисея: «Семя жены сотрет главу змею». Побезженный этим изречением, дьявол пришел в ярость и ушел ворча, швырнул чернильницу за печку и распространил зловоние, которое еще несколько дней держалось в комнате».

В приведенном рассказе можно заметить одно свойство дьявола, обнаружившееся в давние времена и удержавшееся до нынешнего дня. Это его страсть к препирательствам, его софистика, его «силлогизмы». Дьявол знаток логики, и уже восемьсот лет тому назад испытал это к своей невыгоде папа Сильвестр, знаменитый Герберт. Будучи еще студентом в Кордове, он заключил с сатаной договор и при его адовой помощи изучил геометрию, алгебру, астрономию, ботанику, всякие полезные искусства, в том числе искусство сделаться папой. Согласно договору он должен был окончить свои дни в Иерусалиме. Конечно, он остерегался попасть туда. Но однажды, когда он служил обедню в одной римской часовне, дьявол явился за ним; папа противится, однако тот доказывает ему, что часовня, в которой они находятся, называется Иерусалимом, что условия старого договора исполнены и что он должен теперь следовать за ним в ад. И дьявол увлек папу, со смехом нашептывая ему на ухо: «*Tu non pensavi ch'io loico fossi!*» *

Дьявол искусник в логике, он мастер в метафизике и своими ухищрениями и толкованиями всегда умеет перехитрить вступивших с ним в соглашение. Если они не были достаточно внимательны, то, позже перечитывая договор, к своему ужасу открывали, что дьявол вместо годов проставил лишь месяцы или недели или даже дни, и внезапно он налетает на них и доказывает, что условленный срок истек. В одной старинной пьесе куколь-

* «Ты не подумал, что я логик» (Данте, «Ад», 27)

ного театра, изображающей договор с сатаной, мерзостную жизнь и жалкий конец доктора Фауста, мы находим ту же черту. Фауст, пожелавший получить от дьявола земные наслаждения, продал ему за это свою душу и обязался отправиться в ад, как только совершит третье убийство. Он убил уже двух человек и убежден, что не попадет в руки к дьяволу, пока не убьет третьего. Но дьявол доказывает ему, что именно договор с дьяволом, убийство собственной своей души, должно считаться третьим убийством, и путем этой проклятой логики забирает его в преисподнюю. В какой мере использовал Гете эту характерную черту — софистику — для своего Мефистофеля, может судить каждый. Нет ничего занятнее чтения сохранившихся от времен колдовских процессов договоров с дьяволом, где договаривающийся предусматрительнейшими оговорками обеспечивает себя от всех придиорок и боязливейшим образом вторично определяет все условия.

Дьявол — логик. Он не только представитель мирской полноты жизни, чувственных наслаждений, плоти, но он также представитель человеческого разума, именно потому, что разум отстаивает все права материи; и он, таким образом, является противоположностью Христу, который есть представитель не только духа, аскетического подавления чувственности, небесного спасения, но и веры. Дьявол не верит, он не опирается слепо на чужие авторитеты, он доверяет только собственному мышлению, он орудует разумом! Это, разумеется, ужасно, и римско-католическо-апостольская церковь, прокляв самостоятельное мышление, как дьявольщину, дьявола, представителя разума, объявила отцом лжи.

О внешнем облике дьявола нельзя сказать ничего точного. Одни, как я уже упомянул, утверждают, что у него нет определенного облика и что поэтому он может являться в любом виде. Это вероятно. Так, в «Демонии» Горста говорится, что дьявол может обернуться даже сзлатом. Одна монахиня, в общем достопочтенная,

но не вполне соблюдавшая устав своего ордена и недостаточно часто осенявшая себя крестным знамением, как-то ела салат. Едва откушав его, она ощутила некоторые волнения, доселе чуждые ей и никоим образом не совместимые с ее саном. Странная истома овладевала ею теперь по вечерам, при свете месяца, когда так сильно благоухали цветы и соловьи разливались такими томительно-рыдающими напевами. Вскоре затем свел с ней знакомство один привлекательный юноша. Когда они сблизились, как-то спрашивает ее красавчик: «А ты знаешь, кто я такой?» — «Нет», — ответила несколько встревоженная монахиня. — «Я дьявол, — сказал он: — помнишь тот салат? Салат это был я!»

Некоторые утверждают, что у дьявола всегда звериный вид, и что если мы видим его в другом образе, то это только навязкивание. Конечно, в дьяволе есть нечто циническое, и никто не осветил эту особенность дьявола лучше нашего поэта Вольфганга Гете. Превосходно, с этой точки зрения, изобразил дьявола также другой немецкий писатель, крупный как в своих недостатках, так и в достоинствах, и во всяком случае, имеющий право быть причисленным к поэтам перворазрядным, — г. Граббе. Он равным образом отлично понял холодность в натуре дьявола. В одной драме этого гениального писателя дьявол является на землю потому, что его мать моет пол в аду; по принятому у нас способу убирать комнаты, пол обливается кипятком и натирается грубой тряпкой, отчего в комнате стоит шипенье и разносится теплый пар, так что существо разумное не может оставаться дома. Поэтому дьявол вынужден сбегать из хорошо натопленной преисподней наверх, на холодную землю, и здесь, хотя на дворе стоит жаркий июльский день, бедного дьявола бросает в такой озноб, что он чуть не замерзает и лишь с помощью врача спасается от этого окоченения.

Мы только что видели, что у дьявола есть мать; многие утверждают, что у него собственно есть только

бабушка. Она тоже иногда поднимается на землю, и к ней, быть может, относится пословица: «Где чорту самому не управиться, старую бабу пошлет». Но обыкновенно она в преисподней хлопочет в кухне или сидит в красном кресле, и, когда по вечерам дьявол, усталый от дневных забот, возвращается домой, он жадно пожирает то, что настряпала ему мать, а потом кладет ей на колени голову, и она ищет у него в голове; и он засыпает, она же мурлычет ему песню, начинающуюся словами:

В соборе, в соборе,
Там роза расцвела,
Как кровь, она ала.

Странное дело — писательство. Одному посчастливится в нем, другому не повезет. Худшую неудачу испытал, пожалуй, мой несчастный приятель Генрих Кицлер, геттингенский *magister artium*. * Нет там, в Геттингене, никого, более ученого, более богатого идеями, более усидчивого, чем этот друг, и, однако, по сей час ни одна книга его сочинения не появилась на лейпцигской ярмарке. Старик Штифель в библиотеке, бывало, всегда улыбается, когда Генрих Кицлер просит у него книгу, крайне необходимую ему для труда, который он как раз теперь заканчивает. «Долго еще будет он ее заканчивать!» — бормотал старый Штифель, подымаясь к полке по лесенке. Улыбались даже кухарки, приходившие в библиотеку за книгами: «Для Кицлера». Все считали его ослом, а он по существу был только честным человеком. Никто не знал истинной причины, почему из-под пера его не вышла ни одна книга, и лишь случайно открыл я эту причину, однажды зайдя к нему в полночь зажечь мою свечу, — мы ведь были соседями

* магистр искусств

по комнатам. Он только что закончил свой большой труд о преимуществах христианства; но он как будто совсем не радовался и скорбно смотрел на рукопись. «Наконец-то, — сказал я, — твое имя будет красоваться в лейпцигском ярмарочном каталоге в перечне законченных книг!» — «О нет, — ответил он с глубоким вздохом, — и это сочинение придется мне бросить в огонь, как и предыдущие...» И он поверил мне свою страшную тайну. Действительно, худшая неудача постигала злополучного магистра всякий раз, когда он работал над книгой, а именно: развив все доводы за положение, которое он предположил доказать, он считал своим долгом привести также все возражения, которые мог бы выставить возможный противник; тут, став на эту противоположную точку зрения, он придумывал остроумнейшие аргументы и, так как они вне его сознания укоренялись в его душе, выходило всегда, что к тому времени, когда книга была готова, воззрения ее автора постепенно изменялись и в уме его возникало убеждение, совершенно противоположное его книге. Тут-то делом его честности — и таким же образом поступил бы французский писатель — становилось для него пожертвовать лаврами литературной славы на алтарь истины, то есть бросить рукопись в огонь. Поэтому-то он так глубоко вздыхал, доказав преимущества христианства. «Вот, — говорил он печально, — накопил я двадцать корзин выписок из отцов церкви; целые ночи корпел, сгорбившись над письменным столом и читая «Acta Sanctorum», между тем как в твоей комнате распивали пунш и распевали «Landesvater»; вот, заплатил я Ванденгуку и Рупрехту тридцать восемь с трудом заработанных талеров за богословские новинки, необходимые мне для моего сочинения, вместо того чтобы купить себе на эти деньги трубку; два года я работал, как собака, два драгоценных года... и все для того, чтобы стать смешным, чтобы, подобно уличенному хвостуну, опускать глаза, когда госпожа консисториальная советница Планк спросит меня: «А когда выйдут в свет ваши преимущества христиан-

ства?» — Ах, книга готова, — продолжал бедняга, — и пришлось бы читателям по вкусу, ибо я возвеличил в ней победу христианства над язычеством и доказал, что, таким образом, истина и разум одержали также верх над лицемерием и безумием. Но я, несчастный, в глубине души я чувствую, что...»

«Остановись! — воскликнул я в справедливом негодовании, — не дерзай, ослепленный, чернить возвышенное и повергать во прах блистательное! Ты отрицаешь чудеса евангельские — пусть, но ты не можешь отрицать, что самая победа Евангелия была чудом. Кучка безоружных людей вторглась в великий мир римлян, несмотря на их палачей и на их мудрецов, и восторжествовала единою силой слова. Но какого слова! Подгнившее язычество содрогнулось и надломилось при слове этих пришлых мужчин и женщин, возвещавших новое царствие небесное и не страшившихся ничего на этой старой земле, — ни когтей диких зверей, ни ярости еще более диких людей, ни меча, ни огня... ибо они сами были меч и пламя, меч и пламя господни! Этот меч обрубил увядшую листву и сухие ветви с древа жизни и тем исцелил его от разъедающей гнили; это пламя вновь согрело изнутри оковевший ствол, так что он покрылся свежей листвой и душистыми цветами... Это первое выступление христианства, его борьба и его победа, есть потрясающе-возвышеннейшее событие всемирной истории».

Я произнес эти слова с тем более благородной выразительностью, что накануне вечером выпил очень много аймбекского пива, и тем звучнее раздавался мой голос.

Но нимало этим не смущенный, Генрих Кидлер с иронически-болезненной улыбкой возразил: «Милый друг, не трудись понапрасну. Все что ты тут говоришь, я изложил в этой рукописи гораздо лучше и гораздо основательнее. Я дал здесь ярчайшую картину отвратительного состояния мира в эпоху язычества и льщу себя уверенностью, что смелые взмахи моей кисти напоминают творения лучших отцов церкви. Я показал,

как порочны стали греки и римляне, благодаря дурному примеру, поданному богами, позорное поведение которых едва давало бы им право называться людьми. Без обиняков я прямо заявил, что даже Юпитер, высший из богов, сто раз заслужил, по королевскому ганноверскому уголовному уложению, если не виселицу, то каторжную тюрьму. В противоположность этому, я как следует пересказал все моральные изречения, находящиеся в Евангелии, и показал, как первые христиане, по примеру своего божественного прообраза, несмотря на унижения и гонения, которые они за это претерпели, проповедывали и в жизни осуществляли лишь прекраснейшую чистоту нравов. Лучшая часть моего труда та, в которой я вдохновенно повествую, как юное христианство, подобно маленькому Давиду, вступает в бой со старым язычеством и убивает этого громадного Голиафа. Но, увы, теперь этот поединок представляется мне в некотором странном свете... Ах, всякое увлечение моей апологией иссякло у меня в груди, когда я начал живо представлять себе, как стал бы изображать торжество Евангелия какой-нибудь противник. К несчастью, в мои руки попали некоторые писатели недавнего прошлого, вроде Эдуарда Гиббона, которые как раз не слишком благосклонно отзываются об этой победе и как будто не очень умиляются тем, что там, где недостаточными оказывались меч духовный и духовное пламя, христиане прибегали к светскому мечу и светскому пламени. Да, я должен признаться, что в конце концов мною овладело жуткое сострадание к остаткам язычества, к этим прекрасным храмам и статуям, ибо они принадлежат уже не религии, которая была мертва задолго до рождения христового, но искусству, которое живет вечно. Слезы выступили однажды у меня на глазах, когда я случайно в библиотеке прочитал «Речь в защиту храмов», где древний грек Либаний скорбно умолял набоянных варваров попадать драгоценные создания искусства, которыми пластическое творчество эллинов украсило мир. Но тщетно! Невоз-

вратно уничтожены были мрачным разрушительным рвением христиан эти памятники весны человечества, которая не повторится и могла расцвести лишь однажды. . .

«Нет, — продолжал свою речь магистр, — не хочу изданием этой книги принять позднее участие в таком кощунстве, нет, ни за что не хочу... И вам, разбитые изваяния красоты, вам, тени усопших богов, вам, ставшим лишь чарующими грезами в царстве поэтических призраков, вам приношу эту книгу в жертву!»

При этих словах Генрих Кицлер швырнул свою рукопись в пламя камина, и от преимущества христианства осталась лишь серая зола.

Произошло это в Геттингене, зимою 1820 года, за несколько дней до той роковой ночи под Новый год, когда так ужасно поколотили педеля Дориса и между корпорациями и землячествами было определено восемьдесят пять дуэлей. Ужасны были эти колотушки, словно деревянным ливнем сыпавшиеся в тот час на широкую спину бедного педеля. Но в качестве доброго христианина он удовлетворился убеждением, что некогда на небесах мы будем вознаграждены за страдания, незаслуженно испытанные нами здесь внизу. Давно это было. Старый Дорис давным давно отстрадал и спит в своей тихой могиле у Вендских ворот. Два великие лагеря, некогда наполнявшие шпажным бряцанием своей полемики поля битв Бофендена, Ритшенкруга и Разенмюле, давно в ощущении своего обоюдного ничтожества выпили нежнейший брудершафт, и на пишущем эти строки власти закона времени также отразилась сильнейшим образом. В моем мозгу играют менее веселые краски, чем в те времена, и на сердце у меня не так легко; где я некогда смеялся, там ныне лью слезы, и в раздражении сжигаю запрестольные образа моей былой набожности.

Было время, когда я при встрече на улице благоговейно целовал руку у каждого капуцина. Я был ребенком, и отец смотрел на это сквозь пальцы, отлично зная,

что мои губы не всегда будут удовлетворяться капуцинским мясом. И в самом деле, я подрост и целовал красивых женщин... Но подчас они смотрели на меня с такой бледной скорбью, и я вздрагивал от испуга в объятиях наслаждения... Здесь таилось зло, невидимое никому, хотя каждый болел им, и я раздумывал о нем. Я думал также о том, в самом ли деле должно предпочитать лишения и отречения всем наслаждениям земным и будут ли те, кто здесь довольствовался терниями, тем обильнее накормлены там ананасами? Нет, кто питался терниями, тот осел, и кому достались колотушки, тот при них и останется. Бедный Дорис!

Мне не позволено, однако, говорить здесь определенными словами обо всех вещах, над которыми я размышлял, и еще меньше позволено мне делиться результатами моего размышления. Придется ли и мне, как и столь многим другим, сойти в могилу с замкнутыми устами?

Но, быть может, мне разрешат привести здесь несколько банальных фактов, чтобы связать с побасенками, которые я здесь перебираю, некоторую разумность или хоть ее видимость. Эти факты относятся как раз к торжеству христианства над язычеством. Я совсем не разделяю мнения моего друга Киплера, что иконоборство первых христиан достойно столь горького порицания. Они не могли и не должны были шатавать древние храмы и статуи, ибо там жила еще старая греческая веселость, та жизнерадостность, которая христианину представлялась дьявольским навождением. В этих статуях и храмах христиан видел не просто предметы чужого культа, ничтожного заблуждения, отрешенного от всякой действительности: эти храмы он считал крепостями подлинных демонов, а богам, изображаемым этими статуями, он приписывал бесспорное реальное бытие; для него ведь это были сплошь бесы. Когда первые христиане отказывались преклонять колена и приносить жертвы пред изваяниями богов и за это подвергались преследованиям и суду, они всегда

отвечали, что не могут поклоняться демонам! Они предпочитали мученичество необходимости совершить ничтожнейший обряд преклонения пред дьяволом Юпитером или дьяволицей Дианой или, наконец, пред архидьяволицей Венерой.

Бедные греческие философы! Они никак не могли понять это противоречие, как и впоследствии никогда не могли понять, что в полемике с христианами им приходится защищать совсем не старую умершую веру, но гораздо более живучие вещи. Дело было совсем не в том, чтобы неоплатоническими ухищрениями доказать наличие более глубокого смысла в мифологии, влить в умерших богов свежую кровь символов и изо дня в день тянуть возню с неуклюжими, грубыми возражениями первых отцов церкви, осыпавших чуть не вольтеровскими насмешками моральный облик богов; необходимо было отстаивать самый эллинизм, греческий образ мышления и чувствования, и бороться с распространением иудаизма, иудейского образа мышления и чувствования. Вопрос стоял, кому властвовать в этом мире — мрачному, тощему, враждебному плоти сверхдуховному иудаизму назареев или эллинской веселости, любви к красоте и цветущей жизнерадостности. Не в этих прекрасных богах было главное; никто уже больше не верил в благоухающих амброзией обитателей Олимпа, но божественно-упоительно было в их храмах, на их праздничных играх, на их мистериях. Здесь украшали голову цветами, здесь плясали в прелестной торжественности, здесь возлежали за веселыми пиршествами, а то и среди более сладостных наслаждений.

Все эти радости, весь этот веселый смех давно отзвучали, и в развалинах древних храмов, по народному воззрению, все еще проживают древнегреческие божества, но победа Христа лишила их всей их мощи; это жалкие бесы, днем гнездящиеся среди сов и жаб в темных развалинах их бывшего великолепия, ночью же выходящие оттуда в соблазнительном облике, чтобы обма-

нуть и заманить какого-нибудь неосторожного путника или бесшабашного смельчака.

С этой народной верой связаны чудеснейшие сказания, и отсюда черпали новейшие поэты мотивы прекраснейших своих созданий. Действие происходит обыкновенно в Италии, и героем выступает какой-нибудь немецкий рыцарь, вследствие его юношеской невинности, а то и стройности, опутываемый прекрасными дьяволицами посредством особенно сладостных чар. Вот прекрасными осенними днями бродит он со своими одинокими мечтаниями, быть может, вспоминает, легкомысленный ветреник, о дубовых чащах на далекой родине и о русокудрой девушке, оставленной там! Вдруг он останавливается пред мраморной статуей, видом которой почти ошеломлен. Это, быть может, богиня красоты, и он стоит пред нею лицом к лицу, и сердце юного варвара тайне охвачено былым волшебством. Что же это такое? В жизни не видал он таких стройных членов, и в этом мраморе чувствуется ему более живая жизнь, чем та, которую он когда-либо находил в красных щеках и губах, во всей телесности своих землячек. Эти белые глаза смотрят на него с таким вожделением и, однако, с такой жуткой тоскою, что его сердце переполнено любовью и жалостью, жалостью и любовью. И все чаще уходит он бродить среди старинных развалин, и земляки удивляются, что его почти не видно на пирушках и на рыцарских игрищах. Станные слухи идут о его скитаниях среди остатков язычества. Но однажды утром он, бледный, с искаженным лицом врывается в гостиницу, расплачивается по счету, подвязывает свою котомку и спешит назад за Альпы. Что с ним произошло?

Рассказывают, будто однажды вечером он отправился к своим любимым развалинам позже обыкновенного, после захода солнца, но из-за спустившейся темноты не мог найти места, где привык проводить долгие часы в созерцании статуи прекрасной богини. После долгих блужданий, уже к полуночи, он вдруг очутился пред

виллой, которой никогда до сих пор не видал в этой местности, был чрезвычайно удивлен, когда ему навстречу вышли с факелами слуги, приглашая его от имени своей повелительницы переночевать здесь. Как велико, однако, было его изумление, когда, войдя в обширный освещенный зал, он увидел здесь даму, в одиночестве расхаживавшую взад и вперед и поразительно фигурой и чертами лица похожую на прекрасную статую, которую он так любил. Да, сходство ее с тем мраморным изваянием было тем больше, что вся она была в ослепительно белой кисее и лицо ее было необычайно бледно. Когда рыцарь, учтиво склонившись, приблизился к ней, она долго и безмолвно смотрела на него без улыбки, но, наконец, приветливо спросила, не голоден ли он? Хотя сердце дрожало в груди у рыцаря, однако желудок у него был все-таки немецкий, после долгого скитания ему очень хотелось подкрепиться, и он охотно последовал за прекрасной дамой в столовую. Она ласково взяла его руку и повела по высоким гулким покоем, исполненным, несмотря на все великолепие, какой-то жуткой пустынности. Призрачно бросали канделябры тусклый свет на стены, нестрая роспись которых изображала разные языческие любовные эпизоды, например, Париса и Елену, Диану и Эндимиона, Калипсо и Улисса. Громадные причудливые цветы, стоявшие у окон в мраморных вазах, поражали такой пугающей пышностью и испускали такой одуряющий, такой трупный запах. При этом ветер стонал в каминах, как страдающий человек. Наконец, в столовой прекрасная дама, усевшись напротив рыцаря, наливала ему вино и с улыбкой предлагала лучшие куски. Кой-что конечно, смущало рыцаря за этим ужином. Когда он попросил соли, которой не оказалось на столе, белое лицо красавицы передернулось почти искажающим недовольством, и лишь после повторного требования она с явным раздражением приказала, наконец, слугам подать солонку. Дрожащими руками поставили они ее на стол, причем рассыпали чуть не половину. Но доброе

вино, огнем вливавшееся в глотку рыцаря, смягчило тайный ужас, временами охватывавший его; понемногу в нем пробудилась доверчивость и заиграла кровь, и когда дама спросила, знает ли он, что такое любовь, он ответил ей пламенными поцелуями. Опыянный любовью, а, может быть, и сладким вином, он вскоре уснул на груди у своей нежной хозяйки. Но дикие сны метались в его голове, призрачные личины, какие пугают нас в лихорадочном полусне нервной горячки. То чудилось ему, что он видит свою старую бабушку, как она сидит дома в красном кресле и судорожно шепчет молитву дрожащими губами. То слышал он, доносящееся сверху, насмешливое хихиканье больших летучих мышей, мечущихся вокруг него с факелами в когтях; но когда он лучше присмотрелся к ним, ему стало казаться, что это челядь, прислуживавшая за столом. В конце концов пригрезилось ему, что красавица-хозяйка вдруг превратилась в отвратительное чудовище, и, намерть перепуганный, он выхватил меч и отрубил ей голову. — Лишь поздним утром, когда солнце уже высоко стояло на небе, пробудился рыцарь от сна. Но он лежал не в великолепной вилле, где, казалось, он провел ночь, а среди хорошо известных ему развалин, и с ужасом увидел он, что прекрасная статуя, которую он так любил, упала с пьедестала и что ее отрубленная голова валяется у его ног.

Такой же характер имеет легенда о юном рыцаре, который, играя как-то на одной вилле в окрестностях Рима с приятелями в мяч, снял с пальца перстень, мешавший ему при игре, и, чтобы не затерять его, надел на палец одной мраморной статуе. Однако, возвратившись по окончании игры к статуе, изображавшей какую-то языческую богиню, он с ужасом увидел, что палец мраморной женщины, на который он надел перстень, не вытянут прямо, как было раньше, а крепко согнут, так что невозможно снять перстень с пальца, не разбив руки, чего, однако, не позволяло ему какое-то странное сострадание. Подойдя к прочим участникам

игры, чтобы рассказать им об этом чуде, он предложил им убедиться в нем своими глазами. Но когда он вернулся с друзьями к статуе, она опять держала палец прямо, как всегда, а перстень исчез. Спустя некоторое время после этого происшествия рыцарь решил вступить в брак и отпраздновал свою свадьбу. Но в брачную ночь, когда он уже собрался лечь на ложе, вдруг пред ним явилась женщина, фигурой и лицом совершенно подобная упомянутой статуе, и стала настаивать на том, что, надев перстень на ее палец, он обручился с нею и принадлежит ей как законный ее супруг. Напрасно возражал рыцарь против этого притязания; всякий раз как он хотел приблизиться к обвенчанной с ним жене, язычница становилась между ним и нею, так что он вынужден был на эту ночь отказаться от всяких супружеских наслаждений. То же произошло и на вторую ночь, и на третью, и глубокая тоска объяла рыцаря. Никто не мог помочь ему, и даже набожнейшие люди пожимали плечами. Наконец, дошел до него слух об одном священнике, по имени Палумнус, который не раз уже оказывал большую помощь против языческих дьяволовых козней. Долго пришлось его упрашивать, прежде чем он обещал рыцарю содействие; это, по его словам, грозит величайшими опасностями ему самому. Затем священник Палумнус написал несколько странных знаков на клочке пергамента и дал рыцарю следующее указание: он должен явиться в полночь на один перекресток в окрестностях Рима; здесь пред ним пройдут всякие необычайные явления; но пусть остается спокойным, ни в малой степени не смущаясь ничем из того, что услышит и увидит. Лишь когда он заметит женщину, на палец которой надел перстень, он должен подойти к ней и вручить ей исписанный пергамент. Этому предписанию подчинился рыцарь, но не без бие-ния сердца стоял он в полночь на указанном перекрестке, где перед ним потянулось странное шествие. Это были бледные мужчины и женщины, пышно разодетые в праздничные наряды времен язычества; у одних были

короны, у других лавровые венки на головах, скорбно опущенных однако; тут же с боязливой торопливостью несли и разные серебряные сосуды, кубки и утварь, необходимую для старинного богослужения; виднелись в толпе и большие быки с вызолоченными рогами, обвитые гирляндами цветов; наконец, на высокой триумфальной колеснице, сверкая пурпуром и в венке из роз, явилась величавая, божественная красавица. Тут рыцарь, подойдя к ней, подал ей пергамент священника Палумнуса; ибо в ней он узнал мраморную статую, владеющую его перстнем. Увидев знаки, которыми исписан был пергамент, красавица со стоном подняла руки к небу, слезы хлынули из ее глаз, и с жестом отчаяния она вскричала: «Жестокосердый священник Палумнус! Все еще мало тебе того зла, что ты причинил нам! Но скоро придет конец твоим преследованиям, жестокосердый священник Палумнус!» Сказав это, она протянула рыцарю его перстень, и на следующую ночь тот не встретил никакого препятствия к вступлению в свои супружеские права. Но священник Палумнус умер на третий день после этого.

Эту историю я прочел впервые в «*Mons Veneris*» Корнмана. Недавно я наткнулся на нее также в абсурдной книге о колдовстве Дель-Рио, позаимствовавшего ее из книги одного испанца; она, очевидно, испанского происхождения. Современный немецкий писатель барон Эйхендорф восхитительно использовал ее в превосходном рассказе. Предыдущая история тоже переработана немецким писателем Вилибальдом-Алексисом в новеллу, принадлежащую к его поэтически острейшим созданиям.

Упомянутое сочинение Корнмана «*Mons Veneris*», или «Венерина гора», является важнейшим источником излагаемого мною здесь предмета. Много времени прошло с тех пор, как мне случилось однажды держать ее в руках, и я лишь по воспоминаниям могу говорить о ней. Но и теперь встает в моей памяти эта маленькая книжка, страниц в двести пятьдесят, с ее прелестным

старым шрифтом; она напечатана, вероятно, около половины XVII века. Учение о стихийных духах изложено в ней со всею основательностью, и автор увязывает с ним свои необычайные сообщения о Венериной горе. Именно следуя примеру Корнмана, я счел нужным по поводу стихийных духов говорить о преображении древнегреческих богов. Они не призраки, потому что, как я неоднократно указывал, они не умерли; это не созданные и не умирающие существа, которые после победы Христа вынуждены были удалиться в подземные убежища. Пребывая здесь с прочими духами стихий, они занимаются своими демоническими делами. Всего своеобразнее, романтически-чудесно звучит в немецком народе легенда о богине Венере, которая, после низвержения ее храмов, нашла убежище в недрах неведомой горы, где она совместно с разудалой воздушной братией, с прекрасными лесными и водяными нимфами, а также с некоторыми знаменитыми, внезапно исчезнувшими на земле героями, ведет жизнь, полную самых рискованных наслаждений. Уже издали, приближаясь к горе, слышишь радостный смех и сладостные звуки цитры, словно невидимой цепью обвивающие твоё сердце и увлекающие в горную глубь. К счастью, неподалеку от входа стоит на страже старый рыцарь, по прозвищу верный Эккарт; опираясь на свой большой боевой меч, он неподвижен, как изваяние, но его честная, седая голова непрестанно покачивается, и он скорбно предупреждает тебя о любовных опасностях, ожидающих тебя в недрах горы. Кое-кто во-время внял предупреждению, кое-кто, напротив, не послушался гнусавого голоса старого стража и слепо ринулся в бездну проклятой похоти. Вначале все прекрасно. Но человек не всегда расположен смеяться, он бывает тих временами и сосредоточен и возвращается мыслью к прошлому; ибо прошлое есть подлинная родина его души, и его охватывает тоска по чувствам, некогда испытанным, хотя бы это были болезненные чувства. Так оно и произошло с Тангейзером, согласно рассказу одной песни,

принадлежащей к замечательнейшим памятникам языка, сохранившимся в устах немецкого народа. Впервые я прочитал эту песню в упомянутом сочинении Корнмана. У него почти дословно взял ее Преториус; из «Блоксберга» Преториуса перепечатали ее собиратели «Волшебного рога», и лишь по списку, взятому из последней книги и, быть может, неточному, приходится мне привести ее здесь:

Итак, начну, благословясь,
Споем о Тангейзере песню,
Как он с Венерой долго жил
И натворил чудес с ней.

Тангейзер, рыцарь удалой,
Прельстился дивным дивом —
Пошел к Венере и к ее
Прислужницам красивым.

«Тангейзер, помните, что вас
Я нежно полюбила,
Вы дали клятву жить со мной,
Быть верным до могилы».

«Такой я клятвы не давал,
К чему попреки эти!
От вас я слышу от одной,
Всевышний мне свидетель!»

«Тангейзер, что за странная речь!
Останьтесь здесь, со мною,
И будет одна из моих подруг
Законной вашей женою».

«Когда женюсь я не на той,
Кого люблю сердечно,
В геенне огненной горе
И мучиться мне вечнс»;

«К чему о геенне толкуешь ты,
Ведь ты не видел геенны,
А эти алые уста
Смеются неизменно».

«Мне ваши алые уста
Немилы и отвратны.
Позволь, прелестная, мне уйти,
По чести уйти обратно».

«На то согласья я не даю,
Тангейзер, славный витязь.
Останьтесь лучше здесь, со мной,
И жизнью насладитесь».

«От этой жизни я зачах,
Клянусь самым всевышним!
Расстаться с вами я решил
И с телом вашим пышным».

«Тангейзер, что за вадорная речь!
Нашло на вас затмение.
Пойдемте, чтоб отдаться вновь
Любовным наслаждениям».

— «От них уж мне немоготу,
И я хочу жениться
На чистой девушке, а вы,
Венера, — дьяволица!»

«Тангейзер, ах, как дерзки вы!
Бранитесь как поносно!
Когда б остались вы у нас,
Раскаяться б пришлось вам.

Тангейзер, раз нам суждено
Расстаться, уходите
А вы повсюду мне хвалу
В дороге возносите!»

Тангейзер, гору покинул он,
Раскаяньем терзаясь.
«Направлю в Рим свои стопы
И папе во всем покаюсь.

Я с чистым сердцем в путь пушусь,
Господь нас не отринет.
Там, в Риме, папа есть, Урбан,
Мою он исповедь примет. —

Святейший папа, властелин
И мой отец духовный,
Я к вам покаяться пришел
В провинности греховой.

Я жил с Венерой целый год,
Прельщен красой великой,
И каюсь в том, да узрю свет
Его святого лика».

В руках у папы посох был
Из жесткой древесины.
«Пусть прорастет он, и тогда
Твои простятся вины».

«Когда б мне жить остался год,
Лишь год один, не доле,
Я, каюсь, прожил бы его,
Покорен божьей воле».

И он стопы направил вспять,
В отчаяньи и муке.
«Мария чистая, с тобой
Отныне я в разлуке.

К Венере в гору я вернусь,
Навеки, без возврата.
Так перст господень указал,
Его веленье свято».

«Привет, Тангейзер, я по вас
Скучала дни и ночи,
Привет, мой рыцарь, знала я,
Что вы ко мне вернетесь».

На третьи сутки посох вдруг
Пророс — господне чудо! —
Гонцов послали, чтоб искать
Тангейзера повсюду.

А он в горе у Венеры был,
Томился безысходно
И ждал последнего суда,
— А там — как богу угодно.

Не должно пастырям земным
От павших отрекаться,
Кто покаяние несет,
Тому грехи простятся.

(Пер. В. А. Зоргенфрея.)

Вспоминаю, что, прочитав впервые в указанной книге Корнмана эту песню, я по началу поражен был противоположностью между ее языком и педантически латинизированной тяжеловесной прозой XVII века, которою написана эта книга. Словно в подземном сумраке рудника я вдруг наткнулся на богатую золотую жилу, и гордые в своей простоте, могучие в своей первобытности слова засверкали предо мною так ярко, что сердце чуть не было ослеплено этим неожиданным блеском. Я тотчас ощутил, что из этой песни говорит мне хорошо знакомый голос радости; я услышал здесь голоса тех ославленных еретическими соловьев, которые в продолжение всего великого средневекового поста вынуждены были прятаться со своими умолкшими клювиками и лишь изредка, где их меньше всего ожидали, например, за монастырской стеной, прорывались несколькими ликующими звуками. Читал ты «Письма Элоизы к Абелару»? На ряду с «Песнью песней» великого

царя (я говорю о царе Соломоне) я не знаю более пламенной песни любви, чем диалог между Венерой и Тангейзером. Эта песня подобна любовной битве, и в ней струится самая багровая кровь сердца.

Было бы трудно с точностью установить возраст песни о Тангейзере. Мы находим ее уже в летучих листках древнейшей печати. Молодой немецкий поэт г. Бехштейн, любезно вспомнивший в Германии, что при встрече нашей в Париже у моего друга Вольфа эти старинные летучие листки были предметом нашей беседы, прислал мне на днях один из таких листков, под заглавием «Песнь о Дангейзере». Лишь устарелость языка удержала меня от сообщения здесь этого древнейшего варианта вместо вышеприведенного позднейшего. Первый, отличающийся многими вариантами, по моему мнению, гораздо поэтичнее.

Случайно в мои руки попала недавно еще одна образотка той же песни, где едва сохранена внешняя рамка старейших версий, внутренние же мотивы изменены необычайнейшим образом. В прежнем виде стихотворение, бесспорно, гораздо красивее, проще и величавее. Лишь известная правдивость чувства сближает эту новую версию со старой, и так как я, без всякого сомнения, — владелец единственного ее экземпляра, существующего на свете, то я приведу здесь и ее:

Бегите дьявольских сетей,
Кто чаёт искупленья!
Я про Тангейзера спою,
Чтоб вам не впасть в искушенье.

Тангейзер, рыцарь отважный, мнил
В любви сыскать усладу,
К Венере в гору он пошел,
Семь лет там пробыл сряду.

«Венера, дивная жена,
Прости, моя дорогая!
Я больше быть с тобой не хочу,
Хочу уйти от тебя я».

«Тангейзер славный, ты меня
Не целовал уж сутки;
Целуй скорей и говори:
К чему такие шутки?

Не я ли изо дня в день тебя
Вином сладчайшим поила?
Не я ли изо дня в день тебе
Венки из роз подносила?»

«Венера, дивная жена,
От сладких вин и лобзаний
Вконец я духом изнемог
И горечи жажду, терзаний.

Мы слишком долго смеялись с тобой,
Теперь мне милее слезы,
Колючие тернии подойдут
Мне много больше, чем розы».

«Тангейзер славный, ты со мной
Браниться, видно, намерен,
А клялся много тысяч раз,
Что мне останешься верен.

Пойдем, потешимся с тобой
В укромной нашей келье;
Лилейно-белое тело мое
Вернет тебе веселье».

«Венера, дивная жена,
Пребудешь ты вечно прекрасной,
И многим дано, как и встарь, пылать
К тебе любовью страстной.

Но слишком уж много богов и царей
Красою этой владело,
И мне отвратно стало твое
Лилейно-белое тело.

Лилейно-белое тело твое
Томит меня страхом гнетущим,
Как только подумаю, скольким дано
Вкусить от него в грядущем!»

«Тангейзер славный, как ты мог
Промолвить слово такое?
Уж лучше б побои ты мне нанес,
Как прежде случалось с тобою.

Уж лучше б побои ты мне нанес,
Чем так оскорблять меня мерзко,
Чем так унижить, христианин
Неблагодарный, дерзкий!

Я слишком сильно любила тебя,
И вот награда за это —
Прощай, ты свободен, иди на все
Четыре стороны света».

В священном городе Рима трезвон
И пенье и благовест ныне:
Торжественный вершится ход,
И папа посредине.

Благочестивый папа Урбан
В сиянии тройной короны,
На нем одеянье пурпурное, шлейф
Несут на руках бароны.

«Святейший папа, отец Урбан,
Я милости чаю господней,
Прими мою исповедь, дай уйти
От вечных мук преисподней!»

Народ, смутясь, расступился вкруг,
Умолкли слова песнопений:
«Кто этот паломник, что бледен лицом,
Пред папой пал на колени?»

«Святейший папа, отец Урбан,
Дана тебе власть разрешенья,
Избавь от лукавого меня,
От ада и от мученья.

Я рыцарь Тангейзер, тот, что мнил
В любви сыскать усладу,
К Венере в гору я пошел,
Семь лет там пробыл сряду.

Венера, дивная жена,
Прелестна ликом и статна,
И голос ее, как весенний цвет,
Как цвет весны ароматный.

И, как бабочка вьется вокруг цветка,
Чтоб нежным соком упиться,
Так я дыханьем розовых уст
Искал всегда насладиться.

Прелестный лик ее обрамлен
Волною шелковых прядей,
А очи — взглянет, и замер ты
При томном этом взгляде.

Лишь взглянет томно на тебя —
И ты в оковах Венеры;
И я с превеликим трудом бежал
Сюда из ее пещеры.

Бежал из ее пещеры я,
Но всюду, неотвратно,
Меня преследует дивный взгляд,
Взывая: «Вернись обратно!»

Злосчастливым призраком я брожу
И оживаю лишь к ночи,
И вижу — как она сидит
Со мною и хохочет.

Хохочет звонко, блаженно так,
И зубы так ярко сверкают!
Лишь только вспомню я этот смех,
Как слезы к глазам подступают.

Всесильна страсть моя, и ей
Неведома преграда!
Она — как дикий поток, как вихрь
Гремящего водопада.

Свергается от скалы к скале,
Бурлит и вскипает пеной,
Исходит силами, но бег
Свершает свой неизменно.

Будь небо моим, поспешил бы его
Венере одной отдать я;
Я б отдал ей солнце, я б отдал луну
И звезды все без изъятья.

Всесильна страсть моя, она
Вскипает огнем палящим —
Ужели же это костер сатаны
И мука, — уже в настоящем?

Святейший папа, отец Урбан,
Дана тебе власть разрешенья,
Избавь от лукавого меня,
От ада и от мученья».

И папа руки со скорбью воздел
И молвил со скорбью и с жаром:
«Тангейзер, злосчастлива твоя судьба,
Подпал ты всесильным чарам.

Тот дьявол, чье имя Венера, страшной
Всех прочих, миру известных.
Я сил не имею тебя спасти
Из цепких когтей, прелестных.

Ценою души бессмертной тебе
Досталась плоти улада.
Иди, ты отринут и обречен
На вечные муки ада».

Тангейзер, он торопливо бредет,
В крови усталые ноги;
К полуночи близилось время, когда
Вернулся рыцарь с дороги.

Венера воспрянула ото сна,
С постели проворно вскочила,
В объятия белых рук своих
Любимого заключила.

Пошла от волненья носом кровь
И хлынули слезы бессильно;
Слезами и кровью любимого лик
Она оросила обильно.

Улегся рыцарь отдыхать,
Он слова не мог промолвить;
Венера на кухню отправилась суп
Любимому приготовить.

Дала ему супу и хлеба дала,
И ноги в ранах обмыла,
И волосы расчесала, и так
Смеялась при этом мило.

«Тангейзер славный, долго ты
В дороге оставался,
Поведай, где ты пропадал,
В каких ты странах скитался».

«Венера, дивная жена,
По делу был я на юге —
В Италии, в Риме; потом поспешил
Обратно, к своей подруге.

Построен Рим на семи холмах,
И Тибр среди них протекает;
Мне в Риме и папу пришлось повидать.
Тебе он поклон посылает.

Флоренцией я на обратном пути,
Миланом полюбовался,
И после, недолго думая, вверх,
На самые Альпы взобрался.

С высот Сан-Готарда слышал я храп
И сразу понял в чем дело:
Внизу, под охраной трех дюжин князей,
Германия мирно храпела.

У швабов я в школу поэтов забрел —
Напрасная, право, забота —
Крупнейшего стоит увидеть, а там
К другим пропадет охота.

Во Франкфурт я к шабашу подоснел
И ел там клецки и шалет;
Религия ваша удачнее всех,
А гуся — кто не похвалит!

Мне в Дрездене встретился старый пес,
Когда-то рвавший на части;
Теперь он лишь лает да мочится — нет
Зубов у бедняги в пасти.

Скорбит и стонет Веймар, муз
Обитель, отныне вдовья:
Скончался Гете, а Эккерман
Живет себе на здоровье!

В Потсдаме слышал я шум и крик,
Спросил, дивясь, о причине:
— А это о веке минувшем Ганс
Доклад читает в Берлине.

Цветет наукой Гёттинген,
Плодов не видно, однако.
Я темною ночью по городу шел,
Но свет не рассеивал мрака.

В остроге, в Целле, сидят одни
Ганноверцы — печально!
О немцы, нам нужен острог и кнут
Единый, национальный.

Спросил я в Гамбурге: почему
Воняет в каждой аллее?
— А это каналы! — мне хором в ответ
Крещеные и евреи.

В чудесном городе Гамбурге
Мошенников очень много;
На бирже я думал, что в Целле попал
Обратно, в стены острога.

В чудесном городе Гамбурге
Уж мне не бывать, конечно!
С Венерой, дивною женой,
Останусь отныне вечно».

(Пер. В. А. Зоргенфрея.)

ДОПОЛНЕНИЯ И ВАРИАНТЫ



К ИСТОРИИ РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИИ В ГЕРМАНИИ

Стр. 9. *Первое издание книги «De l'Allemagne» («О Германии», 1835), куда входили и «К истории и философии в Германии» и «Романтическая школа», открывалось следующим посвящением:*

Просперу Анфантену
в Египте.

Вы выразили желание познакомиться с развитием идей в Германии за последнее время и с отношениями, связывающими умственное движение в этой стране с конечными выводами доктрины.

Благодарю вас за честь, оказанную мне обращенным ко мне предложением ознакомить вас с этим предметом, и очень рад случаю войти с вами в общение через разделяющее нас пространство.

Разрешите поднести вам эту книгу; я хотел бы верить, что она сможет удовлетворить потребности вашей мысли. Во всяком случае, позвольте просить вас принять ее как выражение почтительного расположения.

Генрих Гейне.

Второе французское издание (1855), где опущено это посвящение известному сенсимонисту, открывается следующим предисловием:

Ограниченные размеры предисловия не позволили бы мне представить здесь обстоятельное изложение всего, что я предполагал сообщить читателю вначале. Поэтому я предпочел поместить эти авторские признания целиком в заключение моей работы, и сказал бы даже, что любезный читатель поступит неплохо, начав чтение с этой последней части. Предупреждение

это необходимо. Лицам, случайно знакомым с первым изданием моей книги, будет с первого взгляда ясно, что новое издание расширено более чем в полтора раза, что значительное число статей выброшено из него, так что книга эта, «De l'Allemagne», приобрела совершенно иной облик, и что это уже не та же книга.

В большинстве новых отделов, прибавленных теперь, особенно в составляющих весь второй том, я поставил себе задачей раскрыть пред французскими читателями то, что у немецкого народа есть самого задушевного и самого национального и в чем выражается, так сказать, вся его мечтательная и в то же время могучая душа. Я говорю о преданиях и сказаниях, которые живут в устах простонародья и лучшие и своеобразнейшие из которых никогда не были записаны. Кое-что из приводимого здесь собрал я сам в бедных хижинах, у очага, где рассказывал их какой-нибудь нищий бродяжка или бабушка, дряхлая и слепая; но причудливый и таинственный отблеск пылающих сучьев, озарявший подчас лицо рассказчика, и биение сердца аудитории, внимавшей в благоговейном безмолвии, — передать все это не было у меня средств, и вот эти грубые, чуть не варварские рассказы остаются лишенными их чудеснейшего первичного очарования.

Воздерживаюсь от всяких замечаний по поводу сокращений, которым подверглась моя книга. Таким образом я избегаю по крайней мере опасности провиниться в бестактности. Я устранил разглагольствования, продиктованные в свое время юношеской и несправедливой язвительностью, и так же поступил я с почтительным посвящением, которое явилось бы анахронизмом в наши дни, и несвоевременная форма которого произвела бы, особенно теперь, впечатление, совершенно противоположное тому, какое имел в виду автор в ту пору, когда вышло первое издание его книги. В то время имя, к которому обращено было это посвящение, было, так сказать,шиболетом и являлось названием наиболее передовой партии освобождения человечества, только что разгромленной жандармами и прихвостнями старого строя. Поддерживая побежденных, я бросал гордый вызов их противникам и открыто заявлял свое сочувствие мученикам, бывшим в это время жертвой тяжких оскорблений и предметом

беспощадной травли в газетах и в обществе. Я не побоялся показаться смешным, хотя налет смешного, надо сознаться, лежал на их правом деле. С тех пор положение изменилось: бывших мучеников никто не поворит и не преследует, они не несут креста — кроме разве креста почетного легиона; они не скитаются босиком по пустыням Аравии в поисках свободной женщины; эти борцы против супружеских цепей, эти сокрушители брачных оков переженились по возвращении с востока и стали самыми бестрепетными женихами запада; и у них есть сапоги. В большинстве эти мученики теперь преуспели; многие из них — неомиллионеры, и не один из их числа добрался до самых почетных и самых прибыльных должностей — быстра езда по железным дорогам. Эти отставные апостолы, мечтавшие о золотом веке для всего человечества, удовлетворились поведением века денежного,* царства бога-злата, он же есть отец и мать всего сущего; это, быть может, тот самый бог, которого проповедуют, возвещая: «Все в нем, ничто вне его, ничто без него». — Но не этому богу поклоняется пишущий эти строки; я предпочитаю ему бедного назарейского бога, у которого не было ни гроша и который был богом нищих и страждущих. Принадлежа отчасти к последней категории, я сделал бы большую глупость, если бы вздумал запоздалыми хвалениями превозносить надменных триумфаторов, счастливых дня, которым они и не нужны.

Со всей настойчивостью подчеркиваю, что не предполагал представить полную картину Германии. Я хотел только приподнять в некоторых местах завесу, скрывающую эту таинственную страну; и если читатель не увидит всего или увидит лишь малую долю, то, по крайней мере, он увидит эту малую долю в ее естественной правде, тогда как он вынесет очень мало или ничего не вынесет из книг, в которых ему обещают наиполнейшую осведомленность и которые в конце концов представляют собою лишь перечень и номенклатуру, пусть точные и искренние, но сухие и бесплодные. В частности, что касается немецкой литературы, книга моя ограничивается историей так называемой романтической школы, почему, поставив себе задачей сообщить

* Игра слов: argent по-французски значит и «серебро» и «деньги».

возможно более точные сведения о писателях, принадлежащих к ней, я был вынужден говорить о них более обстоятельно, чем о немецких поэтах высшего разряда и гораздо более даровитых, но не относящихся к романтической школе. Я даже обошел молчанием многих крупных писателей, иногда причисляемых к этой школе, но, на мой взгляд, ни в малой степени не принадлежащих к ней, например о Генрихе фон-Клейсте и покойных друзьях моих Карле Иммермане и Христиане Граббе, трех поэтах большого дарования. В сравнении с писателями романтической школы, о которых я говорю в этой книге, это великаны, могущие бесспорно считаться наиболее выдающимися поэтами Германии гетевской эпохи. Они, во всяком случае, остаются непревзойденными в дальнейшем, хотя немецкая драма наших дней в лице моих друзей, Фридриха Геббеля, автора «Юдифи», и Альфреда Мейснера, автора «Жены Урии», гордится двумя поэтами редкого достоинства. Первый состоит в умственном родстве с Клейстом и Граббе, и с оценкой его мысли не смог бы справиться заурядный критик; второй, Альфред Мейснер, гораздо более доступен пониманию масс, круг его читателей шире; это страстная душа, и я убежден, что некогда он завоеует популярность Фридриха Шиллера, возможным наследником которого в Германии он является.

Я заметил, что не мог говорить в моей книге о многих больших наших поэтах, потому что они не входят в рамки моей задачи, ограниченной исключительно романтической школой. Среди этих больших поэтов есть также несколько лириков, близких к этой школе по направлению их духа, проникнутого романтизмом. Их и называют подчас, по ошибке, романтиками. Из них четверо, равные по дарованию крупнейшим нашим поэтам, суть: покойный друг мой, Адальберт фон-Шамиссо, француз по рождению; затем великолепный Фридрих Рюккерт, воображение которого запечатлено пышностью роскошной и восточной; третий — мой друг граф Ауэрсперг, известный под именем Анастасия Грюна, лирический поэт, чрезвычайно, быть может слишком, богатый образностью, исполненный душевной высоты и благородства; наконец, четвертый и самый молодой — Фердинанд Фрейлиграт, первоклассный талант, мощный и весьма своеобразный колорист,

В другой работе, которую я не отчаялся довести до конца, я буду иметь случай говорить пространно о многих немецких писателях, бывших моими современниками и не упомянутых в моей книге о Германии. Я с лихвой искуплю тогда пробелы последнего труда и ручаюсь, что ни читатели, ни писатели, которыми я не мог заняться теперь, ничего не потеряют, дожидаясь ее.

Генрих Гейне.

Париж, 15 января 1855 г.

Стр. 9. В тексте журнала *«Revue des deux Mondes»* (1834), где впервые появились эти статьи, во введении к ним говорилось: Приступая к беседе о Германии и немецкой литературе, в целях лучшего уяснения этой литературы я должен предварительно остановиться на религии. Не только в прошлом сообщала религия форму и движение нашей жизни, социальной и политической, но она все еще продолжает оказывать громадное влияние на современность. Мне приходится, таким образом, говорить вообще о христианстве и в частности о протестантстве; затем я покажу, как из него проистекли вся наша нынешняя литература, науки и искусства.

К Н И Г А П Е Р В А Я

Стр. 17. Во французском тексте книги *«De l'Allemagne»* (1-е и 2-е изд.) главы о религии и философии открываются следующими строками:

После продолжительной работы над распространением понимания Франции в Германии, над разрушением национальных предрассудков, которыми так умело пользуются деспоты к своей выгоде, я приступаю теперь к работе, сходной и не менее полезной, имеющей целью уяснение Германии французам.

Провидение, возложившее на меня эту задачу, просветит меня должным образом. Я совершаю дело, полезное обеим странам, и исполнен веры в мое предназначение.

Самое совершенное невежество царило некогда во Франции по отношению к умственной жизни Германии, и невежество это становилось пагубным во время войны. Теперь, наоборот, возникает полужнание, превратное толкование немецкого духа, пу-

танное представление о германских доктринах, грозное и очень опасное во время мира.

Большинство французов вообразило, что достаточно знакомства с главными созданиями немецкого искусства для понимания немецкой мысли; но искусство есть лишь одна грань этой мысли, и для того чтобы понять ее, необходимо узнать две прочие грани немецкой мысли: религию и философию.

Только история религиозной реформы, возвещенной Лютером, объясняет, каким образом могла развиться у нас философия, и только изложение наших философских систем дает возможность оценить эту великую литературную революцию, которая, начавшись с теории, с основ новой критики, создала романтизм, вызвавший такое восхищение у вас. Вы восхищались цветами, не зная ни их корней, ни их символического языка. Вы видели только краски, вы обоняли только благоухание.

Итак, чтобы скинуть покров с немецкой мысли, мне придется прежде всего сказать о религии. Эта религия — христианство.

Стр. 37. *Уточнение терминов «спиритуализм» и «сенсуализм» проведено во французском тексте несколько иначе:*

Я употребил только что слова спиритуализм и сенсуализм. Я объясню их позже, когда перейду к немецкой философии. Здесь удовлетворюсь замечанием, что употребляю эти выражения не в том смысле, какой им придается в философских системах, но исключительно для различения двух социальных систем, из коих одна, спиритуализм, исходит из принципа, что должно отвергнуть все требования чувств для того, чтобы предоставить полнейшее господство духу, что должно умерщвлять, клеймить, уничтожать нашу плоть, чтобы тем выше восславить душу; другая же система, сенсуализм, отстаивает права плоти, утверждая, что не следует и невозможно отвергнуть их.

К Н И Г А В Т О Р А Я

Стр. 59. *В рукописи, которую Гейне предполагал положить в основу второго издания, но не смог получить, так как она затерялась в бумагах издателя Кампе (и была найдена лишь после смерти автора), за словами верховенство религии следует*

зачеркнутое место: И обе эти системы противостоят друг другу с незапамятных времен! Ибо во все времена бывают люди с неполной способностью к наслаждению, с увечными чувствами, с умерщвленной плотью, люди, которым кисел всякий виноград в сем божьем вертограде, которые за всяким райским яблоком видят змия-соблазителя и в отречении ищут победы, а в страданиях — сладострастия. И наоборот, во все времена есть стройно сложенные, гордые телом натуры, высоко несущие голову; сочувственно улыбаются они всем звездам и розам, радостно внимают напевам соловья и Россини; они любят прекрасное счастье и тицианово тело, и хмурому святоше, которому все это только соблазн, они отвечают, как шекспировский дурак: «Ты думаешь, что если ты добродетелен, то на свете нет сладкого вина и пирожков?»

Стр. 83. *Во французском тексте вместо фразы:* В моих нынешних... жив его дух *говорится:* Протестантство было для меня больше чем религия; это была миссия; и вот уж четырнадцать лет как я веду борьбу против махинаций немецких иезуитов. Впоследствии, правда, угасло мое рвение к догме, и я открыто заявил в моих сочинениях, что все мое протестантство заключалось только в том, что я был записан евангелическим христианином в книгах лютеранской общины... Но тайное пристрастие к делу, за которое мы некогда боролись и терпели, остается в нашем сердце, и мои нынешние религиозные убеждения по-прежнему проникнуты духом протестантства.

К Н И Г А Т Р Е Т Ь Я

Стр. 129. *К словам:* «Адского ключа» *во французском тексте прибавлено:* старинной колдовской книги, которую мне пришлось когда-то видеть в монастырской библиотеке, где она была прикована цепью, на заглавной странице изображен нечистый, на губах которого висит замок, а на голове стоит ворон с магическим прутом в клюве.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Стр. 155. *Вместо предисловия, данного в окончательном тексте (1836) первого немецкого издания, вышедшего в 1833 г. под заглавием «Zur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland» («К истории новейшей художественной литературы в Германии»), было предпослано другое, озаглавленное «Предварительное сообщение»:*

Хотя эти страницы, написанные для здешнего журнала «Europe littéraire», представляют собой лишь введение в дальнейшие статьи, я вынужден теперь же познакомиться с ними отечественных читателей, чтобы никто посторонний не оказал мне чести перевести меня с французского на немецкий.

В «Europe littéraire» пропущено несколько отрывков, которые я воспроизвожу здесь целиком; недостаток места в журнале потребовал некоторых незначительных купюр. На опечатки немецкий наборщик был так же щедр, как и французский. Положенная здесь в основу книга г-жи Сталь называется «De l'Allemagne». Не могу не внести одновременно поправку в примечание, которым редакция «Europe littéraire» сопровождала эти страницы. Она указала, что здесь предполагается «изобразить католической Франции немецкую литературу с протестантской точки зрения». Тщетны были мои возражения, что «нет никакой католической Франции; я не пишу для католической Франции; достаточно моего упоминания о том, что я причислен в Германии к протестантской церкви; упоминание это, служащее выражением того факта, что я имею удовольствие парадировать в лютеранской церковной книге в качестве христианина-евангелиста, не лишает меня возможности излагать в научных книгах любое мнение, хотя бы оно противоречило протестантскому догмату: наоборот, указание, что я пишу мои статьи с протестантской точки зрения, наложило бы на меня догматические оковы». — Напрасно:

редакция оставила без внимания эти сублильные немецкие различия. Я сообщаю об этом отчасти во избежание обвинений в непоследовательности, отчасти также, чтобы не подвергнуться бессмысленному подозрению, будто я придаю значение церковным различиям.

Так как французы незнакомы с нашей ученой терминологией, то при изложении некоторых соображений, касающихся существа бога, я пользовался выражениями, с которыми они освоились благодаря апостольскому рвению сенсимонистов; и так как эти выражения отражают мои мнения со всей неприкрытостью и определенностью, то я сохранил их и в немецком тексте. Пусть попы и дворянчики, в последнее время больше, чем когда-либо, боявшиеся силы моего слова и потому старавшиеся лишить меня популярности, извращают эти выражения для того, чтобы с мнимой основательностью обвинять меня в материализме или даже в атеизме; пусть они меня изображают евреем или сенсимонистом; пусть обвиняют меня пред своей чернью во всевозможных ересьях, — никакие трусливые соображения не могут меня заставить скрывать, посредством обиходных двусмысленностей, мои взгляды на религиозные вопросы. Пусть и друзья сетуют, что я недостаточно прячу мои мысли, что я беспощадно разоблачаю деликатнейшие вещи, что я делаю скандал: — но ни злонамеренность моих друзей, ни плутовская глупость моих врагов не могут меня удержать от открытого и прямого выражения моих убеждений в вопросе, важнейшем для человечества, вопросе о существовании бога.

Я не принадлежу к материалистам, облакающим дух плотью; я, напротив, возвращаю плоти ее дух, я одухотворяю, я освящаю ее.

Я не принадлежу к атеистам, ибо они отрицают; я же утверждаю.

Индифферентисты и так называемые умные люди, не желающие высказаться о боге, суть, по существу, отрицатели бога. Такое молчаливое отрицание становится теперь даже гражданским преступлением, так как потворствует распространению ложных понятий, до сих пор неизменно служащих поддержкой деспотизма.

Начало и конец всех вещей — в господе.

Генрих Гейне.

Париж, 2 апреля 1833 года.

Второй части этого издания (вышла в том же 1833 году) также предпослано небольшое предисловие:

Предисловие к первой части этой книги может служить оправданием появлению второй. Там говорилось об истории романтической школы вообще, здесь говорится о вожжах ее в частности. В третьей и четвертой частях пойдет дополнительно речь о прочих героях шлегелевского эпического цикла, затем о драматургах конца гетевского периода и, наконец, о писателях моего времени.

Настоятельно прошу снисходительного читателя не забывать, что страницы эти я писал для «Europe littéraire» и в известной степени вынужден был подчиняться ограничениям, поставленным этим журналом по отношению к политике.

Так как я сам держал корректуру этой книги, то прошу извинить, пожалуй, чрезмерное количество опечаток. Уже при поверхностном взгляде на прокорректированные листы я вижу, что не обошлось и без промахов. Без всяких шуток я должен сообщить здесь, что император Генрих не внук Барбароссы и что г. Август Шлегель на год моложе, чем я указал здесь. Неверно указан также год рождения Арнима. И если я утверждал на этих страницах, что высокая критика в Германии совсем не занималась Гофманом, то я забыл упомянуть об одном исключении, а именно, что Виллибальд-Алексис, автор Кабаниса, написал характеристику Гофмана.

Пар ж, 30 июня 1833 г.

К Н И Г А П Е Р В А Я

Стр. 159. *Характеристика христианства как религии умерщвления плоти расширена в первом французском издании:* Возвышенная и божественная в основе, но, увы, слишком мало занятая этим несовершенным миром, искаженная и уведенная в сторону от своих истоков, религия эта сделалась надежнейшим оплотом для деспотов, сумевших использовать к своей выгоде это безусловное отрицание земных благ, это наивное смирение, это блаженное долготерпение, эту небесную безропотность, проповедуемые святыми апостолами. Впоследствии явились менее благодушные проповедники, и в своих страшных притчах

они показывают практические трудности и социальные опасности назарейских доктрин.

Стр. 163. *После слов:* скучноватый Вигалуа *в рукописи следовало:* В самом деле, хотя некогда в Геттингене профессор Бенеке (со всей своей лингвистической проницательностью) со всем богатством своих древненемецких лингвистических познаний объяснил мне Вигалуа, я все же находил его скучноватым. Я, впрочем, уверен, что прекрасным дамам в средневековых замках это чтение было гораздо больше по душе, уже из-за красочных описаний нарядов, и, вероятно, эти поэты замечали нынешние модные журналы.

Стр. 164. *После слов:* они вдруг прекратили чтение *в рукописи следовало:* Не могу не отметить, что хотя Готфрид повсюду в своей поэме нападает на христианский спиритуализм, он все же часто бессознательно исповедует его, — когда, например, изображает чувственную любовь как следствие языческого любовного напитка, заставляет видеть в ее наслаждениях грехи и искупать эти грехи постройкой монастырей и, наконец, сажает на могиле возлюбленных розу и виноград, в чем вольно потом находить всяческие христианские назидательности.

Стр. 167. *Вместо употребленного в немецком тексте как определения роли мадонны в католической церкви французского выражения* *dame du comptoir* *во французском тексте, быть может, как уступка католическому читателю —* *dame châtelaine*. *

Стр. 169. *Вместо* христианский кошмар *во французском первом издании —* иудейско-католический кошмар.

Стр. 173—174. *После слов:* никак не влияние философии *в рукописи следовало:* И это очень просто объясняется тем обстоятельством, что в это время философия Фихте уже находилась в состоянии распада, и сам Фихте, примешав к ней шеллингянские теории, сделал ее неприемлемой, с другой же стороны тем, что г. Шеллинг никогда не давал философской системы, но распространял лишь смутное философствование, неуверенное импровизирование поэтических философов. Быть может, из фихтевского идеализма, этой глубокой иронической системы, где Я про-

* хозяйка замка

тивопоставлено не-Я и уничтожает его, и почерпала романтическая школа учение об иронии, которое особенно было развито покойным Зольгером и по началу и гг. Шлегелям казалось существом искусства; в дальнейшем, однако, они решили, что оно бесплодно, и заменили его более позитивными аксиомами шеллинговского учения о тождестве.

Стр. 175. *После слов:* угодить... в сумасшедший дом *в рукописи следующее зачеркнутое место:* Бедной г-же Сталь пришлось восхвалять этого Цахариаса Вернера, как величайшего нашего драматурга после Шиллера. Я, однако, убежден, что эти хваления оказались недостаточными, так как романтическая школа ставила этого писателя гораздо выше Шиллера, не выходявшего за тесные пределы старых форм. Драма должна быть расширена изнутри, — таково было общее требование романтиков, и их друг Цахариас сумел удовлетворить это требование. Способ, примененный им, был приблизительно тот же, какой некогда изобрел один тюремщик в ответ на жалобу, что в одной из его тюремных камер слишком тесно; доблестный ключарь согласился, что это верно, и чтобы справиться с таким недостатком, набил в эту камеру еще больше заключенных, предположив, что от этого она расширится изнутри. Полагаю, что стены тюрьмы не раздались, а большинство стиснутых в камере людей задохлось; так и в трагедиях Вернера: драматические формы нимало не расширены, а сжатые в них персонажи душат друг друга. У г. Людвига Тика оказалось больше такта, да он и от природы был вообще более разумным человеком, только гг. Шлегели заморочили его. Он доказал это в последнее время, когда, освободившись от оков романтической школы, создал произведения, любовь и уважение к которым мы выразим в других статьях. Но в ту пору, когда он состоял еще под опекой гг. Шлегелей, он писал драматические поэмы, частности (содержание) которых, правда, обличали большого поэта, но по форме и выражению были совершенно младенческие. Больше всего раздражала нарочитость этого младенчества.

Стр. 176. *После слов:* наряду со священными реликвиями *в рукописи следовало зачеркнутое затем место:* Подчеркну, что коллекция гг. Буассере и Бертрама, которую эти романти-

ческие торговцы ухитрились навязать королю баварскому по вдутой цене, представляла собою еще нечто лучшее в своем роде: правда, многие вещи из коллекции совсем не относились к этому роду, так как это собственно не немецкая, а нидерландская живопись, жанровые картины на религиозные темы, по техническому совершенству весьма схожие со светским жанром какого-нибудь Мириса или Нетшера, но во всех отношениях отличающиеся от картин так называемой верхненемецкой школы, от настоящей старонемецкой живописи.

Стр. 176. *После слов:* Французское безумие далеко не так безумно, как немецкое, *в рукописи прибавлено:* Вспоминаю, что, зайдя в те годы к одному из наиболее сухих ученых, я застал его занятым тем, что он сравнивал варианты двадцати различных изданий «Тили Эйленшпигеля», лежавших пред ним на столе, со всеми их забавными беспашабными иллюстрациями, — и делал это без намека на усмешку, с боязливой сосредоточенностью, точно он сравнивает манускрипты Аристотеля. А «Тиль Эйленшпигель» — это старинная народная книжка, полная лукавого веселья и сальных шуток.

Стр. 177. *После слов:* возводить очи к небесам *в рукописи следовало зачеркнутое место:* Приходилось с христианским самообладанием терпеть эти испытания, и пруссаки в особенности удовлетворялись христианской добродетелью. Обернувшись под Иеной к французам спиной, они бросились в объятия религии. После такого потерянного сражения в самом деле нет религии лучше христианской. Особенно король прусский уже самой природой созданный больше для веры, чем для знания, нашел в этой религии наилучшее утешение; пример его спасителя укрепил его и руководил им; ибо и его царство было уже не от мира сего, и он, как добрый христианин, тоже простил своим врагам, двухсоттысячная армия которых занимала в эту пору Пруссию. Французы содействовали подъему христианства и в населении остальной Германии, особенно посредством земных тягот, как военные постой и контрибуции. В качестве таких косвенных миссионеров действовали в Германии на пользу религии как раз те французы, которые лично были весьма неверующими и, если не ошибаюсь, посейчас остаются атеистами.

Но французы гораздо легче могут обойтись без христианства, чем немцы, которым теперь живется, правда, гораздо лучше, чем тогда, но которые все еще состоят под властью тридцати шести самодержавных государей. Да, знайте, французские республиканцы, которым и одного короля слишком много, — есть за Рейном страна, под названием Германия, спокойно сносящая тридцать шесть королей. Но люди в этой стране добрые христиане. Они правы, строго держась религии; страна, где правит тридцать шесть королей, не может обойтись без христианства...

С т р. 178. *После слов:* все образованные люди Германии *в рукописи следовало зачеркнутое место:* Лучшим среди тогдашних так называемых патриотов этот патриотизм представлялся лишь животной привязанностью к Германии, вроде той, какую, например, чувствует осел к своему стойлу. Конечно, как бы пламенно ни воодушевляли осла ясли его господина, в конце концов он готов жрать и из других яслей; осел не стал бы отдавать жизнь и достояние за то, чтобы быть битым прусской, а не французской палкой; таких ослов нет среди ослов.

С т р. 181. *После слов:* принадлежу к протестантской церкви *в рукописи следовало:* эта принадлежность означает всего только, что имя мое занесено в лютеранскую церковную книгу, а это последнее имеет меньшее значение, чем запись в грессбухе.

С т р. 186. *После слов:* ревут и даже защищают его *в рукописи следовало:* Что собственно сделал этот бедняга? Отправил на тот свет только жалкого старика, больного падучей и такого дряхлого, что он, может быть, умер бы еще раньше, если бы не был убит.

С т р. 194. *Мысль о пантеизме сенсимонистов развита в рукописи иначе:* Но бог не только заключается в субстанции, как понимали его древние, а, как выражался Гегель и как мыслят его сенсимонисты, он в «процессе». Этот бог сенсимонистов, который не только направляет прогресс, но сам есть прогресс и так же отличается от старого замурованного в субстанции языческого бога, как и от христианского Dieu pur esprit, * который с высоты своего неба любвеобильным свирельным

* бог - чистый дух

голосом правит субстанцией: этот Dieu progrès * делает теперь пантеизм и т. д.

С т р. 197. *После слов:* санкюлот лез на него с пикой *в рукописи следовало:* В дальнейших статьях я должен буду с большим признанием отозваться о г. Герресе, одном из превосходнейших (умов) писателей, которыми может гордиться Германия.

К Н И Г А В Т О Р А Я

С т р. 207. *После слов:* известно им меньше всего *во французском тексте следует:*

Хотя в настоящее время есть немало немецких писателей, которые более Шлегелей заслуживают пространного упоминания, я вынужден посвятить последним еще несколько строк, чтобы ответить на дошедший до меня упрек в суровости. К сожалению, и эти соображения также мало будут похожи на панегирик.

С т р. 231. *После слов:* перевод «Дон-Кихота» *во французском тексте следует:* Среди этих драм некоторые носят то же название и написаны на тот же сюжет, что и драмы Шекспира. Мы находим здесь ту же интригу, то же сценическое развитие, словом, всю шекспировскую трагедию, — за исключением поэзии. Некоторые комментаторы вообразили, что это черновики великого поэта, так сказать, его драматические эскизы; и если не ошибаюсь, то сам г. Тик утверждал, что «Король Джон», относящийся к числу этих старинных пьес, принадлежит Шекспиру, который предварял им свое великое создание, известное нам под этим заглавием; но это ошибка. Эти трагедии — старые пьесы, целиком или отчасти переделанные, как это установлено теперь, Шекспиром, сообразно потребностям театральных директоров, плативших ему за такую работу 12—16 шиллингов. Этот жалкий приспособитель был не ниже самых царственных величин современной литературы. Не лучше была в действительной жизни доля другого великого поэта, Мигеля Сервантеса. Эти два человека, автор «Гамлета» и автор «Дон-Кихота», — величайшие поэты, созданные новым временем. Но Сервантес захватывает мою душу еще более невыразимым очарованием,

* бог - прогресс

чем сладостный Вильям. Я люблю его до слез. Любовь эта очень давняя. *Затем следуют посвященные «Дон-Кихоту» страницы из «Города Лукки», гл. XVI («Путевые картины»).*

Стр. 231—232. *Размышления о сходстве между безумием Дон-Кихота и безумием романтической школы (Забавно... страдали за идею) заменены во французском тексте следующими замечаниями:*

Эта книга читается по-немецки, как в подлиннике; и наряду с «Гамлетом» и «Фаустом» это, быть может, любимейшее у немцев поэтическое произведение. Дело в том, что в этих двух чудесных и глубоких созданиях, как и в «Дон-Кихоте», мы нашли трагедию нашего собственного ничтожества. Молодые немцы любят «Гамлета», так как они ощущают, что «время вышло из колеи», они также томятся тем, что они призваны наладить его; они чувствуют в то же время свою невероятную слабость и декламируют о «быть или не быть». Людям зрелым, напротив, больше по душе «Фауст». Их душевное расположение привлекает их к этому смелому искателю, вступившему в договор с миром духов и не устранившемуся от дьявола. Но те, кто понял, что все суета, что тщетны все порывы человеческие, предпочитают роман Сервантеса; они видят в нем насмешку над всяким энтузиазмом, и все наши нынешние рыцари, борющиеся за идею, представляются им Дон-Кихотами. Подозревал ли Мигель де-Сервантес, какое применение получит его роман в позднейшую эпоху?

Стр. 233. *По поводу влияния Шеллинга на романтическую школу во французском тексте говорилось:*

Он жил тогда в Иене, где была главная квартира школы. Г. Шеллинг писал, — что неизвестно публике, — также стихи, под псевдонимом Бонаventura; назову из них «Последние слова Трондгеймского пастора». Эта поэма недурна; она мистична, мрачна и сильна. Это история протестантского священника, которого в полночь уводят из его дома замаскированные рыцари; с завязанными глазами приводят его в старинную церковь, где заставляют обвенчать молодую чету, преклонившую колени перед алтарем. Невеста — редкая красавица, но печальна и бледна, как смерть. И едва обряд окончен, замаскированные

люди отрубают ей голову. Пастора доставляют домой, после того как он поклялся никогда не выдавать того, что он видел; и он рассказал об этой тайне лишь на смертном одре.

Стр. 239. *Вместо указаний на рационалистические стихи немецкой философии во французском тексте читаем:*

Я говорил здесь только о двух учениках г. Шеллинга, выдвинувшихся в романтическом движении; но это совсем не самые выдающиеся головы из школы бывшего Шеллинга. Во избежание всякого недоразумения я должен, между прочим, указать, что гг. Окен и Франц Бадер выше прочих своих живых сотоварищей. Первый, знаменитый Окен, остался верен первоначальному учению своего учителя; другой, г. Бадер, к несчастью, слишком увлечен мистицизмом; сомневаюсь, однако, чтобы он, как утверждают, был глубоко втянут в ультрамонтанскую интригу. Он и держится несколько в стороне от этой благочестивой мюнхенской братии, вздумавшей спасти религию посредством философии.

Стр. 241. *После слов: бог не может быть спасен посредством дьявола во французском тексте приписка:*

Предоставим иезуитам покоиться в их могилах и сострадатально пожмем плечами при виде новых иезуитов. Те умерли, а эти — лишь черви, расплзающиеся из их трупов. Они так же мало похожи на старых иезуитов, как нынешний г. Шеллинг на прежнего Шеллинга.

ДУХИ СТИХИЙ

Стр. 311. *Во французском тексте (1-е и 2-е изд.) и в немецкой черновой рукописи статья открывалась строками:* Вы, верно, вспомните, что я сделал все возможное для того, чтобы вывести средневековые тенденции нашей романтической школы не только из сомнительных источников. Наиболее сильные доказательства я привел в книге третьей («К истории религии и философии в Германии»), где указал, что тяга к средневековью была, быть может, в конечном счете лишь бессознательной любовью к древнегерманскому пантеизму, так как в народных верованиях средних веков сохранились остатки этой древнейшей религии. Раньше, в первой книге я говорил уже, в каком виде сохранились эти остатки, а именно в опозоренном и изуродованном образе колдовства и чародейства. Да, они сохранились в памяти народа, в его обычаях, в его языке... Новое вероучение не погасило все (первобытные) костры зимнего солнцеворота, и мальчики все еще прыгают в Германии через веселый их огонь. Хлебопек в Германии все еще выдавливает на своих хлебах древнейший магический символ, и хлеб наш насущный попрежнему заклеен знаком священной древности.

Во французском тексте следует еще добавление: Как глубоко различие между этим действительным хлебом и вымышленным, сухим и лишенным питательных соков хлебом, которым кормит нас христианский спиритуализм!

Нет, память о древних германских верованиях не угасла окончательно!

Стр. 314. *После слов:* в полсотни локтей ростом *во французском тексте (1-е и 2-е изд.) следует:* И позже великаны так и не захотели принять христианство. Я вывожу это из одной старинной датской баллады, заканчивающейся собранием и свадьбой великанов. Невеста уже за завтраком поглощает четыре бочки мясного варева, шестнадцать говяжьих вырезок и восем-

надцать свиных грудинок и запивает эту еду семью бочками пива. «Поистине, — говорит жених, — не случилось мне видеть девушку с таким добрым аппетитом». Среди пирующих был и карлик Миммеринг, маленький рост которого особенно выделялся в сравнении с этими великанами. И песня заканчивается словами: «Маленький Миммеринг был единственным христианином во всем этом языческом собрании».

Что касается свадеб у этого «малого народца», как иногда называют карлов в Германии, то о них сохранились прелестнейшие сказания; вот, например, одно из них:

Маленький народец вздумал однажды отпраздновать свадьбу в замке Эйленбург в Саксонии, и вот среди ночи они сквозь замочную скважину и оконные щели пробрались в залу и прыгали там по натертому полу, как горошины на току. Это разбудило старого графа, спавшего на возвышении под пологом в этой зале, и он был изумлен видом этой толпы маленьких человечков. Тут один из них в богатом одеянии герольда, подойдя, вежливо в учтивых словах пригласил его принять участие в их празднике. «Но просим вас, — прибавил он, — об одном: вы должны быть здесь один; никто в вашем доме не должен одновременно с вами смотреть на празднество, даже единого взгляда не должен бросить». Старый граф дружелюбно ответил: «Так как вы нарушили мой сон, я ваш гость». Тут подвели к нему маленькую женщину; заняли места маленькие факельщики, и заиграла тихая таинственная музыка. Графу очень трудно было не потерять в танце свою маленькую даму, так легко ускользавшую от него в круговороте; в конце концов она так завертелась с ним, что он едва мог дышать. Вдруг в разгаре этой оживленной пляски все останавливаются; музыка смолкла, и вся толпа бросилась к дверным щелям, к мышинным норкам, ко всем дырочкам, сквозь которые можно было пройти. Но молодые, герольды и танцующие подняли глаза к отверстию в потолке залы и увидели там лицо старой графини, тайком смотревшей на веселое общество. Тут все они склонились перед графом, и тот, который приглашал его, снова выступил, благодаря его за гостеприимство. «Но так как, — прибавил он, — наше торжество и наше веселье было нарушено тем, что еще один взгляд человеческий видел их, то впредь в вашем роду никогда не будет одновременно

больше шести Эйленбургов». Затем они поспешно разбежались, все снова стихло, и старый граф остался в одиночестве в потемневшей комнате. Проклятие имеет силу до сих пор, и один из шести живых рыцарей Эйленбургов всегда умирает, когда на свет появляется седьмой. *Вместо следующего затем рассказа об окаменевших карлах во французском тексте прибавлено:* В связи с этим сообщу еще один рассказ о свадьбе:

«В Богемии, недалеко от Эльнбогена, в диком, но красивом ущелье, в глубине которого змеится Эгер, извиваясь вплоть до окрестностей Карлсбада, есть знаменитая пещера карликов. Жители соседних городов и деревень рассказывают следующее: с незапамятных времен в скалах этих обитали горные гномы, ведя там тихий образ жизни. Они никому не делали зла и, напротив, в случае нужды и затруднений помогали своим соседям. В течение долгого времени они были под властью одного могущественного чародея; но однажды, когда они отправились в свою маленькую церковь, чтобы обвенчать там кого-то, чародей страшно разъярился и обратил их в камни, или, вернее, так как это были бессмертные духи, заключил их в камни. Это скопище скал до сих пор называется «свадьба заколдованных гномов», и они видны там, на вершинах горы, в разных образах. Посреди одной скалы показывают фигуру гнома, который, в то время как прочие пытались сбежать от чародейства, слишком долго задержался в своем жилище и окаменел в тот миг, когда в поисках спасения выглянул в окошко».

Стр. 314. *После рассказа о крестьянине, сбившем шапочку с карлика, во французском тексте (1-е и 2-е изд.) говорится:* Впрочем, посредством заклинаний можно сделать карликов видимыми.

Был в Нюрнберге человек, по имени Пауль Крейц, который применил здесь особенное заклинание. Он поставил на площадке совершенно новый маленький столик, покрытый белой скатертью, а на нем две мисочки молока, два горшочка меда, две тарелочки и девять ножиц. Потом он взял черную курицу и перерезал ей горло над кухонной плитой, так, чтобы кровь полилась в кушанья. Затем он бросил один кусок на восток, один на запад и приступил к заклинанию. Произнеся его, он побежал и спря-

тался за большим деревом и видел, как два карлика вышли из-под земли, уселись за стол и вдыхали благоухание драгоценной курильницы, которую он поставил тут же. Потом он начал их расспрашивать, и они отвечали на его вопросы, и после нескольких таких угощений они так освоились, что приходили в гости в его дом. Когда он не проявлял должной заботы, они не показывались или почти тотчас же скрывались. Наконец, он добился появления их царя, который пришел один, в маленькой красной мантии, под которой оказалась книга; книгу эту он бросил на стол и позволил своему заклинателю читать ее сколько угодно. И человек этот почерпнул в ней великую мудрость и узнал особенные тайны.

Стр. 315. *После слов:* покинули эту местность *во французском тексте (1-е и 2-е изд.) следовало:* Сомневаюсь, чтобы люди были на взгляд карликов добрыми духами; несомненно, поступки наши не говорили им о нашем божественном происхождении. Существа, отличающиеся природою от нас, не могут иметь о нас хорошее мнение, и дьявол считает нас наихудшими из всех созданий. Мне пришлось однажды видеть в деревенском амбаре представление комедии о докторе Фаусте. Фауст заклинанием вызывает дьявола и, убежденный в своем бесстрашии, требует, чтобы дьявол явился ему в самом ужасающем виде, в образе самого страшного из созданий... и дьявол, подчиняясь ему, является в виде человека. Точно неизвестно, почему карлы в конце концов навсегда покинули нас.

Стр. 319—320. *Вместо передачи содержания песен о сповидании парня и о рыцаре Олуфе во французском тексте (1-е и 2-е изд.) дан полный (прозаический) перевод этих песен:*

Лишь два сказания об эльфах могут считаться чисто скандинавского происхождения, и так как они короче и лучше рассказаны в датских песнях, то я приведу их в этой версии. Вот первая:

Я склонил голову на холме эльфов, мои глаза слипались;
Тут пришли две молодые женщины, заговорившие со мной
Лишь в этот первый раз я их видел.
Одна потрепала меня по белой щеке, другая шепнула мне на
ухо:

«Встань, пригожий молодец, если хочешь подготовиться к
пляске».

Лишь в этот первый раз я их видел.

«Проснись, пригожий молодец, если хочешь попрыгать в пляске;
Мои юные дочери споют тебе приятнейшие вещи, которые
сладостно тебе будет слушать».

Лишь в этот первый раз я их видел.

И вдруг повыше всех женщин раздалась песня,
Остановился вдруг пенистый поток, хотя привык струиться,
Лишь в этот первый раз я их видел.

Остановился вдруг пенистый поток, хотя привык струиться.
Маленькие рыбки играли, плавая в его волнах,
Лишь в этот первый раз я их видел.

Они играли своими хвостиками, все рыбки в потоке;
Все птички, летавшие в воздухе, запели в долине,
Лишь в этот первый раз я их видел.

«Послушай, пригожий молодец, хочешь остаться у нас?
Мы научим тебя вырезать руны, читать их и писать».
Лишь в этот первый раз я их видел.

«Я научу тебя привязывать медведя и вепря к стволу дуба;
Змей, лежащий на куче золота, убежит из страны из страха
пред тобой».

Лишь в этот первый раз я их видел.

Они плясали вверху, они плясали внизу, в хороводе эльфов.
Я, пригожий молодец, стоял, твердо опершись на мой меч.
Лишь в этот первый раз я их видел.

«Послушай, пригожий молодец, — если не хочешь разговаривать
с нами,

Острым ножом дадим мы тебе полный покой».
Лишь в этот первый раз я их видел.

Когда б господь не направил мою звезду так, что петух в этот
миг захлопал крылом,
Я, конечно, остался бы на холме эльфов с этими молодыми
женщинами.

Лишь в этот первый раз я их видел.

И всякому доброму молодцу, который едет ко двору, скажу,
Чтобы он не ехал через холм эльфов и не ложился там спать.
Лишь в этот первый раз я их видел.

Стр. 323. *Перед рассказом о Марск-Стиге во французском тексте (1-е и 2-е изд.) длинная вставка: Рассказывают следующую историю:*

В Лайбахе, в реке, носящей то же название, жил водяной дух, которого называли Никс, или водяной. Он являлся ночью рыбакам и лодочникам, а днем и другим людям, так что всякий мог рассказать, как он вышел из воды и явился в человеческом образе. В 1547 году, в первое воскресенье июля, все окрестное население собралось по стародавнему обычаю в Лайбахе на старом рынке у фонтана, приветливо осененного прекрасной липой. Отобедав под музыку вместе с друзьями, они пустились в пляс. Спустя некоторое время приходит молодой парень, хорошо сложенный и хорошо одетый, который, казалось, непрочь был принять участие в пляске. Он вежливо раскланялся с собравшимися и каждому дружески подал руку, которая была наощупь мягка и холодна, как лед, и при прикосновении вызвала странную дрожь; потом он пригласил на танец одну молодую девушку, красивую и нарядную; она была свежа, развязна и легкомысленна и звалась Урсула Шефер; она умело приспособилась к его ухваткам и вместе с ним проделывала его забавные выходки. С жаром проплясав некоторое время, они, вертясь, выскользнули из круга обступивших место танцев, все дальше и дальше, сперва от липы до Зиттихенгофа, потом еще дальше, до Лайбаха, где он, на виду у многих лодочников, бросился с нею в реку, и оба скрылись.

Липа эта стояла до 1638 года, когда ее срубили вследствие ее старости.

Краткая передача содержания песни о Марск-Стиге замечена во французском тексте переводом самой песни:

Это сказание ходит в разнообразнейших вариантах. Самый красивый — датский — в цикле песен, прославляющих гибель цареубийцы Марск-Стига и всего его рода. Водяной обращается к своей матери:

Дорогая матушка, дайте мне сейчас же совет,
Как бы мне овладеть дочерью «Марск-Стига».
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Она сделала ему коня из чистой воды,
Седло и удила были тончайшего песка;
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Она превратила его в прекрасного рыцаря;
И он направился к собору св. Марии.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Он привязал коня своего у церковных врат
И трижды обошел вокруг церкви.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Водяной человек вошел в церковь,
И все лица святых отвернулись.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Священник пред алтарем сказал:
«Что это за прекрасный рыцарь?»
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Дочь Марск-Стига засмеялась под своей фатою:
«Пусть бы небо сделало этого рыцаря моим».
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Он прошел одну скамью, потом прошел две:
«О дочь Марск-Стига, поклянись мне в верности!»
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Он прошел четыре скамьи и прошел пять;
«О дочь Марск-Стига, следуй за мной в мой дом».
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Дочь Марск-Стига протянула ему руку:
«Клянусь тебе и следую за тобой».
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Тогда вышло из церкви свадебное шествие
И они весело плясали, не боясь ничего.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Они дошли в пляске до реки.
Наконец, уж никого не было подле них.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

«О дочь Марск-Стига, поддержи моего коня,
Пока я построю тебе красивый корабль».
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

И когда они пришли на белый песок,
Все кораблики повернули к берегу.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

И когда они были на середине Зунда,
Дочь Марск-Стига упала в море.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

С берега они долго слышали,
Как кричала в воде дочь Марск-Стига.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Я советую молодым девушкам
Не пускаться так пылко в пляс.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.

Мы тоже дадим некоторым молодым девушкам разумный совет не пускаться в пляс с первым попавшимся. Однако юные особы всегда опасаются, как бы у них не оказалось мало кавалеров, и чем подвергаться опасности быть неприглашенными, они охотно бросятся в объятия водяного.

С т р. 327. *Характеристика книги Преториуса продолжена в рукописи и во французском тексте (1-е и 2-е изд.):* Вся книга напоминает лавчонку антиквария на набережной Вольтера или Малаке: мусор всех исчезнувших религий, реликвии из сказочных стран и баснословных эпох, священные чудища Индии и Китая, китайские и японские фарфоровые пагоды, разбитые антики, монгольские идолчики попеременно с распятиями и выцветшими мадоннами.

С т р. 335. *Сближение дев-лебедей с северогерманскими галькириями продолжено во французском тексте (1-е и 2-е изд.):* Это женщины, рассекающие воздух своими белыми крыльями, обычно накануне битвы, исход которой определяется их тайными решениями. Они имеют также обыкновение являться витязям на уединенных лесных тропинках и предсказывать им победу или поражение. У Преториуса рассказано:

Случилось однажды, что король Швеции и Дании Готер, занесенный конем на охоте, заблудился в тумаче, далеко от своих, увидел пред собою девушек, которые звали его, привет-

ствовали назвав по имени, и заговорили с ним. И на его вопрос, кто они, они ответили ему, что в их руках победа над врагом на войне; что они всегда на войне и что они помогают в бою, хотя и остаются сами невидимы; что тот, кому они даруют победу, разбивает и покоряет врагов и остается победителем на поле битвы и враг не может повредить ему.

Сказав это, они исчезли на его глазах со всем, что было вокруг, и король остался один в чистом поле... В основе рассказ этот напоминает нам появление трех ведьм пред Макбетом. Вера в валькирий перешла здесь в веру в ведьм. Равным образом находим мы в германских преданиях трех норн, но в виде старых колдуний или причудливых прях, из коих одна сучит льняную нить, другая ее смачивает, а третья вертит прялку. Эти северные парки обычно являются в детских сказках, из коих привожу самую милую из книги Гримма:

Жила-была ленивая девушка, которая не хотела пряхть. Как ни убеждала ее мать, она не могла ее уговорить взяться за работу. Наконец, однажды, рассердившись и потеряв терпение, мать побила ее, отчего девушка громко расплакалась. В это время проезжала королева и, услышав плач, приказала остановиться и спросила мать, за что она так бьет дочь, что плач слышен на улице. Матери стыдно было рассказать про лень дочери, и она сказала: «Не могу оторвать ее от прялки; всегда и вечно хочет она пряхть; но я бедна и не могу достать сколько надо льна». — «Вот как, — сказала королева: — нет для меня большего удовольствия, чем слушать, как прядут, и ничему не восхищаюсь я больше, чем верчением прялок; отдайте мне вашу дочь. У меня в замке довольно льна; она сможет пряхть, сколько захочет». Матери это пришлось очень по сердцу, и королева взяла девушку с собой. Когда они приехали в замок, королева привела девушку в три комнаты, сверху донизу наполненные самым лучшим льном: «Спряди мне этот лен, — сказала она, — и когда ты кончишь, мой старший сын женится на тебе. Хотя ты бедна, мне это все равно. Твое неутомимое прилежание — достаточное приданное». Девушка перепугалась в глубине души, так как всего этого льна ей было не спрясть, хотя бы она прожила триста лет и работала бы ежедневно с утра до вечера. Оставшись одна, она расплакалась и три дня просидела, сложа

руки. На третий день пришла королева и, видя, что ничего не сделано, удивилась; но девушка оправдывалась, говоря, что горе, причиненное ей разлукой с материнским домом, мешало ей работать. Королева поверила, но, уходя, сказала: «Значит, завтра примешься за работу».

Оставшись снова одна, девушка не знала, на что решиться и что делать, и в горести подошла к окну. Тут она увидела трех старух, у одной из которых была плоская стопа, у другой нижняя губа свешивалась на подбородок, а у третьей был широкий большой палец. Проходя пред окном, они остановились, посмотрели вверх и предложили девушке помочь ей, говоря: «Если ты пригласишь нас на свадьбу, не будешь нас стыдиться, а будешь называть нас тетушками, мы спрядем твой лен, и очень скоро». — «Ах, от всей души, — ответила она, — войдите и примитесь сейчас за работу». Вот она впустила этих трех странных женщин и в первой комнате очистила место, где они уселись и принялись прясть. Одна тянула нитку и вертела колесо, другая смачивала нитку, а третья сучила ее и постукивала пальцем по столу, и всякий раз, как она стучала, на землю падал моток тончайшей пряжи. Она скрыла от королевы трех прях, и когда та пришла, показала ей громадную кучу пряжи, так что королева не могла нахвалиться. Когда первая комната была пуста, пришла очередь второй, потом третьей, и она скоро была кончена. Тогда три женщины распрощались с девушкой, сказав ей: «Не забывай же о своем обещании; в этом твое счастье».

Когда девушка показала королеве пустые комнаты и груды ниток, та устроила свадьбу, и жених радовался, что у него будет такая трудолюбивая жена, и очень хвалил ее: «У меня три тетушки, — сказала девушка: — они мне много сделали добра, я не хотела бы их забывать в счастье; пусть сядут с нами за стол». Королева и жених согласились. Когда началось празднество, вошли три женщины в странных нарядах, и невеста сказала: «Добро пожаловать, дорогие тетушки!» — Ах, — сказал жених, — отчего у тебя такие некрасивые друзья? И, обратившись к первой, он спросил ее, отчего у нее такая плоская стопа. «От нажима на прялку, от нажима», — ответила она. «Отчего у вас отвислая губа?» — спросил он у второй. «От лизания, — ответила она, — от лизания». Потом он спросил

у третьей: «Отчего у вас такой широкий палец?» — «От сучения, — ответила она, — от сучения». Тогда королевский сын испугался и вскричал: «Если так, то моя прекрасная невеста никогда не прикоснется к прялке». Таким образом она избавилась от этой проклятой работы.

А мораль? Французы, которым я рассказывал эту сказку, неизменно спрашивали меня, в чем ее мораль. Вот в этом-то, друзья мои, и состоит разница между вами и нами. Мы требуем морали только в действительной жизни, но отнюдь не в поэтических вымыслах. Вы, во всяком случае, можете вывести из этого рассказа, что можно заставить прясть за себя других и все же сделаться принцессой. Очень благородно со стороны кормилицы, если она во-время сообщит детям, что есть нечто еще более действенное, чем труд, а именно счастье. У нас ходит поверье о счастливчиках, которые родились в рубашке и которым потом везет во всем на свете. Вера в удачу как нечто приобретенное или случайно подаренное имеет языческое происхождение и составляет восхитительный контраст христианским воззрениям, согласно которым страдания и лишения рассматриваются как наивысшие милости небес.

Задачей, назначением язычества было завоевание счастья. Греческий герой называл его золотым руном, герой германский — сокровищем Нибелунгов. Напротив, задачей христианства было отречение, и его герои проходили через подвиг мученичества: они сами возлагали на себя крест, и величайшая их борьба всегда увенчивалась лишь завоеванием могилы.

Нельзя, правда, не вспомнить, что как золотое руно, так и сокровище Нибелунгов принесли своим обладателям великие несчастья. Но в самом деле ошибкой этих героев было то, что они приняли золото за счастье. По существу, они были правы. Человек должен стремиться к счастью на этой земле, к сладостному блаженству, а не к кресту... Увы, он может дожидаться того времени, когда будет на кладбище: там поставят на его могиле этот крест.

Стр. 339. *После слов:* считаются символом мудрости *во французском тексте следует еще несколько северных сав:* Я связал этот рассказ со сказкой о трех пряках. По мнению некоторых

ученых эллинистов, это три парки; но наши патристические знатоки древности, не слишком сочувствующие тому, что отдает классической наукой, изъявляют права на этих трех женщин от имени скандинавской мифологии, утверждая, что это три норны. Эти две гипотезы применимы также к трем виспертальским женщинам. Трудно определить, что представляют собою скандинавские норны. Их можно сближать с валькириями, о которых уже была речь. «Саги» исландских поэтов рассказывают об этих валькириях самые необычайные вещи: то они носятся верхом по воздуху в разгаре битв, исход которых они решают; то это — всадницы, известные под названием девушек со щитами и бьющиеся за своих возлюбленных; то они являются в образе женщин-лебедей, некоторые черты коих я привел выше. Эти сказания смутны и туманны, как северное небо. Такого рода валькирией была доблестная Сигруна; в саге, рассказывающей о ней, есть трогательный эпизод, напоминающий «Ленору» Бюргера. Но она очень слаба в сравнении с героиней скандинавской поэмы. *Дальше следует перевод саги о Хельге и Сигруне.*

С т р. 339. *После слов:* Известно, как велась эта война на уничтожение... *в рукописи было прибавлено:* Где христианским жрецам не удавалось (*франц.:* шарлатанскими) чудесами перехитрить языческих жрецов, там любезно пособлял меч мирян. Менее известна история превращения древних суеверий. *Во французском тексте прибавлено:* Значительнейшая часть обращений была совершена при посредстве христианских принцесс, вышедших замуж за языческого вождя, и в течение некоторых столетий вся история церкви есть сплошь история браков.

С т р. 340—341. *Сообщение о духах огня сопровождается во французском тексте (1-е и 2-е изд.) замечаниями:* Что касается подлинных духов огня, т. е. способных жить в огне, то их существует, быть может, только два, а именно: бог и дьявол.

Так как у вас во Франции об этих персонажах или известно мало или же о них сохранились только неясные воспоминания, то, быть может, вы попытаетесь узнать, что говорят об этом народные верования в Германии.

Что бог есть огненный дух, утверждают уже древние философы, например Порфирий, по учению которого душа наша есть лишь эманация огненной души бога. Древние маги поклонялись огню как самому божеству. Моисей видел Иегову в неопалимой купине... Если бы он не был огненным духом, то как мог бы он пребывать там? Но величайшим авторитетом является тут та маленькая девочка, которой богоматерь разрешила пройтись по небу. Посмотрев двенадцать покоев, в каждом из которых восседал апостол, она добралась, наконец, до комнатки, куда богоматерь строго-настрого запретила ей входить. Но она не могла побороть свое любопытство, открыла дверь и что же она увидела? Пресвятую троицу среди славного яркочерного пламени... Но между тем как господу богу огонь не страшен, потому что сам он есть дух огненный, дьявол его выносит потому, что по своей природе он так холоден, что только в огне чувствует себя хорошо.

Стр. 346. *За стихами во французском тексте (1-е и 2-е изд.) следует:* Многие утверждают, что когда бедное дитя не может уснуть, добрая старушка обычно читает ему берлинскую «Церковную евангелическую газету».

Обиход дьявола устроен в аду в полном соответствии с обиходом Христа на небе. Последний также живет холостяком со своей матерью; царица небесная и ангел — его домочадцы, как дьяволы — домочадцы сатаны. Дьявол и его прислужники — черны: Христос и его ангелы — белы. В северных немецких народных песнях всегда говорится о белом Христе. Мы обычно называем дьявола черным, князем тьмы. К этим двум персонажам, Христу и дьяволу, тот же народ присоединил еще две фигуры, столь же бессмертные, столь же непреходящие: смерть и вечного жиды. Средние века завещали искусству нового времени эти четыре типа как олицетворение добра, зла, разрушения и человечества. Вечный жид, скорбный символ человечества, никем не понят глубже, чем Эдгаром Кине, одним из величайших поэтов Франции. Мы, немцы, недавно переведя его «Агасфера», немало были изумлены, встретившись со столь исполинским замыслом у француза.

Быть может также, французам суждено дать наиболее пра-

вильное объяснение средневековым символам. Французы давно вышли из средневековья, они смотрят на него спокойно и могут оценить его красоты без предвзятости философской или эстетической. Мы, немцы, сидим еще в нем по шею, в этом средневековьи: мы боремся еще с его одряхлевшими представителями; мы, стало быть, не можем восхищаться им с особенным пылом. Нам, наоборот, необходимо распаляться односторонней ненавистью для того, чтобы не была парализована наша разрушительная энергия.

Вы, французы, можете любоваться рыцарством и любить его. У вас от него не осталось ничего, кроме красивых летописных сказаний и железных доспехов. Вы ничем не рискуете, развлекая таким образом ваше воображение, удовлетворяя ваше любопытство. А у нас, немцев, летопись средних веков не закончена; самые новейшие ее страницы еще залиты кровью наших близких и друзей, и эти блестящие панцыри еще прикрывают живые тела наших палачей. Ничто не мешает вам, французам, ценить формы старинной готики. Для вас в больших соборах, вроде собора Парижской богородицы, нет ничего, кроме архитектуры и романтики; для нас это самые страшные крепости наших врагов. Для вас сатана с его адскими приспешниками — только поэзия; у нас есть еще мошенники и дураки, старающиеся философски обосновать веру в дьявола и в inferнальные злодеяния ведьм. Пусть это происходит в Мюнхене, — это в порядке вещей; но когда в просвещенном Вюртемберге делается попытка оправдать старинные колдовские процессы, когда выдающийся писатель, г. Юстин Кернер, старается воскресить веру в одержимых духом, то это столь же прискорбно, сколь отвратительно.

О черные плуты! И вы, дураки всех цветов! Кончайте свое дело, зажгите мозг народа отжившими суевериями, столкните его на путь фанатизма; вы сами когда-нибудь станете его жертвами; вы не избегнете участи неумелых колдунов, которые не смогли справиться с вызванными ими духами и были разорваны ими на куски.

Быть может, бог революции неспособен поднять народ германский посредством разума, быть может, свершение этого трудного дела — задача безумия? Когда, вскипев, кровь бро-

сится ему в голову, когда он вновь почувствует биение своего сердца, народ не станет слушать ни благочестивого лепета баварских святош, ни мистического бормотания швабских пустозвонов; ничто не будет больше слышно его уху, кроме мощного голоса одного человека.

Кто этот человек?

Это человек, которого ждет народ германский, человек, который возвратит ему, наконец, жизнь и счастье, счастье и жизнь, по которым он так долго томится в своих сновидениях. Как медлишь ты, кого с таким пламенным вожделением возвещали старики, кого юность ждет с таким нетерпением, ты, несущий волшебный скипетр свободы и императорскую корону без креста!

Однако здесь не место взывать, тем более, что я уклонился от моей темы. Я должен говорить лишь о невинных преданиях, о том, что рассказывается и распевается за немецкими печками: Вижу, что дал очень скудные сведения о духах, живущих в горных недрах, например, ничего не сказал о Кифгейзере, где пребывает император Фридрих. Он, правда, не стихийный дух, а я занят в этой части только ими. Но предание слишком мило и восхитительно; всякий раз, когда я вспоминал о нем, душа моя содрогалась от священного вожделения, от мистической надежды. Не только сказка заключена, разумеется, в веру, что император Фридрих, старый Барбаросса, не умер, но когда попы сделались ему неспособны, сбежал в недра горы, которая называется Кифгейзер. Рассказывают, что он скрывается там вместе со своим двором до тех пор, когда вновь появится, чтобы ошастливить народ германский. Гора эта находится в Тюрингии, неподалеку от Нордгаузена. Я много раз проходил мимо нее и как-то в прекрасную зимнюю ночь больше часа стоял там, многократно восклицая: «Приди, Барбаросса, приди!», и сердце огнем горело в моей груди, и слезы лились по щекам. Но он не пришел, дорогой император Фридрих, и я мог облобызывать только скалу, где он живет.

Молодой пастух, живущий по соседству, был счастливее. Он пас овец подле Кифгейзера, заиграл на свирели и, решив, что заслужил доброй награды, громко воскликнул: «Император Фридрих, для тебя я сыграл эту серенаду!» Говорят, император

вышел на это из горы, явился пред пастухом и сказал ему: «Бог в помощь, юноша; для кого ты играл?» — «Для императора Фридриха». — «Если так, то пойдем со мною, он наградит тебя». — «Я не могу оставить овец». — «Следуй за мной, ничего дурного не будет с твоими овцами».

Пастух пошел за императором, который за руку привел его к расщелине в горе. Они подошли к железной двери, и, когда она распахнулась, пред ними открылась большая красивая зала, где было много рыцарей и добрых слуг, с почетом их встретивших. Затем император, высказывая ему благоволение, спросил его, какой он желает награды.

Пастух ответил: «Никакой». Тогда император сказал ему: «Иди и возьми в награду одну из ножек моего золотого кувшина». Пастух сделал то, что было ему приказано, и хотел идти; но император показал ему еще множество диковинного оружия, латы, мечи, аркебузы и велел ему рассказать людям, что он собирается этим оружием завоевать гроб господний.

Пастух, несомненно, плохо понял его. Барбаросса помышлял о совсем иных завоеваниях, чем гроба господня. А то, может быть, пастух, боясь быть брошенным в качестве демагога в темницу, слегка прикрасил истину. Не гробницу, холодное обиталище мертвеца, хочет завоевать старый Барбаросса, но блистательное жилище для живых, теплое царство света и наслаждения, где он мог бы радостно царить, с волшебным скипетром свободы в руке, увенчанный императорской короной без креста.

Что касается пастуха, то в заключение истории рассказывается, что он в радости и добром здравии вышел из недр горы и на другой день отнес золотых дел мастеру ножку кувшина, подаренную ему. Мастер признал, что она сделана из лучшего золота и купил у него подарок императора за триста добрых дукатов.

Рассказывают также о другом крестьянине, из деревни Реблинген, видевшем императора в Кифгейзере и получившем от него прекрасный подарок. Знаю одно, что если бы меня привела моя звезда во внутрь этой горы, я не просил бы у Барбароссы ни золотых ваз, ни подобных игрушек, а если уж он хочет дать мне что-нибудь, то я попросил бы у него его книгу

«De tribus impostoribus». * Я тщетно разыскивал эту книгу в библиотеках и уверен, что автор ее, старая Рыжая Борода, сохраняет несколько экземпляров в Кифгейзере.

Многие уверяют, что император в своей горе сидит за каменным столом и спит или размышляет о способах обратно отвоевать империю. Он непрестанно покачивает головой и моргает глазами. Борода его выросла теперь до земли. Иногда, словно во сне, он протягивает руку и как бы хочет опять схватить свой меч и щит. Говорят, что, когда император вернется на землю, он повесит этот щит на высохшем дереве, и тогда дерево начнет распускаться и зеленеть, и лучшие времена вернутся тогда в Германию. Что касается меча, то, говорят, его будет нести крестьянин в полотняной рубаше, и этим мечом отрубят голову тем, кто по глупости посмеет считать, что он по крови выше крестьянина. Но старые рассказчики прибавляют, что никто точно не знает, когда и как это произойдет.

Передают еще, что, когда один пастух, введенный гномом, вошел в глубь Кифгейзера, император поднялся и спросил, летают ли еще вороны вокруг горы. И после утвердительного ответа пастуха он со вздохом вскричал: «Значит, мне надо спать еще сто лет».

Увы, несомненно, вороны все еще летают вокруг горы, столь хорошо известные нам черные вороны, набожное каркание которых мы все еще слышим. Но время ослабило их, и есть хорошие стрелки, бьющие их на лету. Я знаю одного из этих стрелков, который проживает теперь в Париже и отсюда умело бьет воронов, летающих вокруг Кифгейзера. Когда император возвратится на свет, он найдет на своем пути не одного ворона, убитого стрелами этого стрелка. И старый государь заметит, посмеиваясь, что у того был славный самострел.

Вторая часть «Духов стихий» имеется только во 2-м издании «De l'Allemagne». Там начинается так: Мы уходим, уходим все, — люди и боги, верования и предания... Быть может, доброе дело — сохранить эти последние от полного забвения, балъзамируя их не по отвратительному способу Ганналя, но посредством тайных снадобий, какие есть лишь в аптеке поэта.

* «О трех обманщиках»

Да, уходят верования, и с ними уходят сказания. Они исчезают не только в наших культурных странах, но и в самых северных областях на земле, где некогда процветали самые колоритные суеверия. Миссионеры, объезжающие эти холодные места, жалуются на неверие их обитателей. В сообщении о путешествии на север Гренландии, совершенном одним датским пастором, он рассказывает, что спросил одного старика о нынешних верованиях гренландского народа. «Прежде, — ответил тот, — верили хоть в луну, а теперь ни во что не верят».

Стр. 359. *Во французском тексте (2-е изд.) старинной песни о Тангейзере предшествует несколько замечаний:* Я не хочу обманывать читателей ни в стихах, ни в прозе и откровенно признаюсь, что стихотворение, только что прочитанное ими, вышло из моей мастерской и что оно не принадлежит никакому средневековому миннезингеру. Тем не менее мне хочется привести здесь первоначальную песню, в которой старинный поэт обработал тот же сюжет. Это сопоставление будет весьма интересно и весьма поучительно для критика, который пожелал бы взглянуть, каким различным образом два поэта двух совершенно противоположных эпох обработали одну и ту же легенду, сохраняя ту же манеру, тот же ритм и почти тот же план. Дух обеих эпох отчетливо выясняется из такого сопоставления, представляющего как бы опыт сравнительной анатомии в литературе. В самом деле, читая одновременно обе эти версии, можно видеть, как у старого поэта преобладает древняя вера, тогда как у современного поэта, родившегося в начале XIX века, проявляется скептицизм его времени; здесь видишь, как последний, не подчиненный никакому авторитету, дает волю воображению и, когда поэт, имеет одну-единственную цель: хорошо выразить в своих стихах чисто-человеческие чувства. Напротив, старинный поэт остается под гнетом авторитета церкви; он задается дидактической целью, он хочет иллюстрировать религиозный догмат, он проповедует добродетель милосердия, и главное назначение его песни — доказать действительную силу раскаяния в отпущении всякого греха; сам папа порицается за забвение этой высокой христианской истины, и сухой посох, вновь покрывшийся листвой в его руках, заставляет его вспо-

мнить, но слишком поздно, о безмерной глубине божественного милосердия.

И дальше, после текста средневекового «Тангейзера»:

Как это великолепно! Уже в самом начале поэмы мы встречаемся с чудесным эффектом. Поэт дает нам ответ госпожи Венеры, не сообщая предварительно просьбы Тангейзера, которую вызван этот ответ. Благодаря такому умолчанию воображение наше получает больше простора, подсказывая нам все, что Тангейзер мог бы сказать и что, быть может, очень трудно было бы выразить в нескольких словах. Несмотря на свою средневековую набожность и душевную ясность, старинный поэт сумел нарисовать роковую обольстительность и бесстыдные замашки Венеры. Писатель современный и извращенный не сумел бы лучше изобразить облик этой женщины-демона, этой дьяволицы, которая, несмотря на свою олимпийскую надменность и величавость страсти, не перестает быть галантной женщиной; это небесная куртизанка, надущенная амброзией, это богиня с камелиями и, так сказать, богиня-содержанка. Порывшись в воспоминаниях, я нахожу, что как будто уже встречал ее однажды, проходя по площади Бреда: я вижу как она пересекает площадь восхитительно легкой походкой; на ней была маленькая изысканно простенькая серая шляпа, и от пят до подбородка она была закутана в великолепную индийскую шаль, бахрома которой касалась мостовой. «Определите мне эту женщину», — обратился я к г. де-Бальзаку, шедшему со мной. «Содержанка», — ответил романист. — «Мне казалось бы, что это скорее герцогиня». Осведомившись у одного общего приятеля, подошедшего к нам, мы узнали, что оба правы.

Так же удачно, как портрет Венеры, сумел старинный поэт дать изображение доблестного рыцаря Тангейзера — средневекового кавалера де-Грие. Как хорошо также то, что в середине песни Тангейзер вдруг обращается к читателям от своего лица и рассказывает нам о том, что, в сущности, должен был бы рассказывать поэт, — а именно о том, как он в отчаянии скитается по свету! Нам это может представляться неловкостью необразованного поэта, но такие приемы производят в своей наивности чудесные эффекты.

Песня о Тангейзере написана, по всем вероятностям, незадолго

до реформации; легенда, лежащая в основании ее сюжета, немногим старше и, пожалуй, создана всего лет за сто до нее. Таким образом Венера лишь очень поздно появляется в немецких народных сказаниях, между тем как другие божества, например Диана, известны с начала средних веков. В VI и VII столетиях Диана уже упоминается в качестве злого духа в епископских декретах. С тех пор ее обыкновенно изображают верхом на коне, ее, которая некогда, в изящной обуви и легкая, как бегущая от нее лань, пешком пробегала леса древней Греции. В продолжение пятнадцати веков это божество последовательно облакали в различнейшие образы, и в то же время личность его претерпевает полное преобразование. Здесь встает в моей мысли одно соображение, развитие которого могло бы стать предметом любопытнейших изысканий. Ограничусь, однако, тем, что наметчу его и таким образом открою путь безработным ученым, труженикам мысли, ищущим занятия.

Во французском тексте (2-е изд. книги «De l'Allemagne», т. II), где «Духи стихий» и «Боги в изгнании» слиты в одну статью, это замечание служит связующим звеном между ними.

КОММЕНТАРИИ



К ИСТОРИИ РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИИ В ГЕРМАНИИ

Работа Гейне «К истории религии и философии в Германии» впервые появилась на французском языке в журнале «Revue de deux Mondes» за 1834 г., под названием «De l'Allemagne depuis Luther» («О Германии со времен Лютера»): первая часть — «La Révolution religieuse et Martin Luther» («Религиозная революция и Мартин Лютер») — в номере от 1 мая; вторая часть — «Les précurseurs de la Révolution philosophique, Spinoza et Lessing» («Предшественники философской революции, Спиноза и Лессинг») — в номере от 15 ноября; третья часть — «La Révolution philosophique, Kant, Fichte, Schelling» («Философская революция, Кант, Фихте, Шеллинг») — в номере от 15 декабря. Но хотя работа эта и появилась впервые на французском языке и предназначалась для французского читателя, все же следует думать, что написал ее Гейне по-немецки (и только потом перевел на французский), как это доказано Hüffer'ом относительно аналогичного произведения «Романтическая школа».

На немецком языке работа Гейне о философии вышла в свет в конце января 1835 года как составная часть второго тома «Салона», куда, кроме нее, вошло и большинство стихотворений цикла «Новая весна» (при втором издании «Салона» — в 1852 году — эти стихи были поэтом оттуда изъяты). Немецкое издание книги причинило Гейне много неприятностей. Для него началась полоса усиленных цензурных притеснений, на которые он отныне почти непрерывно жалуется в письмах к своему издателю — Кампе. Второй том «Салона» появился в безобразно изуродованном виде, и Гейне был этим тем более поражен и рассержен, что, по его мнению, книга не заключала в себе особых политических «грехов». Когда она вышла в свет и — правда, только через два месяца — попала в руки к автору, он ужаснулся, обнаружив в ней грубейшие искажения и пропуски, и тотчас же опубликовал во «Всеобщей газете» (от 23/III 1835 г.) следующее:

«О б ъ я с н е н и е

Автор второй части «Салона Г. Гейне», вышедшей в свет у Гофмана и Кампе в Гамбурге, извещает публику, что эта книга,

самовольно сокращенная и подстриженная издательством, отпечатана в изуродованном виде. Просьба к редакциям газет, которые желали бы защитить достоинство немецких писателей хотя бы от книгоиздательского произвола, довести это заявление до сведения общественности».

Гейне имел основания полагать, что вина за искажения падает не на цензуру, а на издателей, так как его книга (как содержащая свыше двадцати печатных листов) могла бы, по немецкому закону, и не проходить через цензуру и, кроме того, Кампе словно нарочно медлил с присылкой автору книги. Потом, когда дело разъяснилось, Гейне писал Кампе (7 апреля 1835 г.): «Я вынужден был думать, что книга не послана мне умышленно, для того, чтобы я узнал об этой подлости попозже, — когда будет уже нехота поднимать протест. Не было видно цензурных штрихов, * а выпущенные места были для меня как раз наиболее важными; в них не заключалось ничего политически опасного, и издатель сочинений Берне ** мог бы, право, не бояться их. Я вообще вовсе не ославлен как демагог, я дал правительству доказательства своей умеренности, и в философской книге можно было оставить несколько революционных бутад. Спустя день после отправки моего объяснения я получаю от Вас письмо, в котором Вы меня уведомляете, что цензура так много вычеркнула. А почему Вы сообщили это через два месяца после выхода книги?.. Я не позволю обращаться с собой, как с мальчишкой, который на все смолчит. Я был, быть может, мальчишкой, когда Вы меня впервые увидели, но тому уже десять лет, и я с тех пор ужасающе вырос. И особенно за последние четыре года; вы понятия не имеете, каким большим я стал... Правда, совсем молодые мальчишки-писатели получают теперь такие же гоноары, как и я; но это не должно было заставить Вас игнорировать мое реальное значение»...

Кампе был очень оскорблен тем, что Гейне публично написал ему вину в искажении текста. Но еще длительней и упорней оказался гнев поэта. Гейне не спал иногда целые ночи, когда вспоминал о том, какой казни были подвергнуты его мысли из-за того, что Кампе счел нужным заковать его книгу «на алтарь цензуры», как «искупительную жертву» за «печатные грехи» других писателей, произведения которых он (Кампе) издавал (очевидно, в первую очередь, Берне). Искажения и пропуски были, действительно, очень велики. Цензура вычеркнула все заключение книги (последние четыре страницы), где говорится о революционном значении немецкой философии, о надвигающемся «немецком громе», о грядущей грозе германской революции,

* которыми отмечались обычно выпущенные цензурой места.

** Кампе издавал произведения Берне.

невиданной еще по силе и неистовости. Выброшены были строки о союзе между партией революции и «партией цветов и соловьев», о теологических драках протестантского духовенства, об абсолютизме, который охотно приносит образование и науку, эти «относительные блага», в жертву «абсолютному благу» — сохранению своей власти; о придирках цензуры, не позволяющей писать в газетных анонсах о том, что жена такого-то родила дочку, прекрасную, как свобода; выкинуты вдохновенные страницы о немецких мыслителях, этих затерянных по медвежьим углам одиночках, которые откликались, как морские раковины, начинающие шуметь в часы прилива, на призывы французской революции и которые вновь помолодели в июльские дни 1830 года и стали учить молодых марсельеве. Конечно, всего оппозиционного и «бунтовщицкого» цензура не сумела изъять, но книга стала на много преснее, — и этот оттенок пресной благонамеренности особенно удручал Гейне. В 1852 году он стал готовить второе издание, и так как времена изменились, то он рассчитывал, что книгу можно будет выпустить в первоначальном ее, неизуродованном, виде, и затребовал от Кампе свою рукопись. Кампе, однако, не мог (или не хотел?) ее найти; во французском же тексте многого не доставало. «Я принял за работу, — писал Гейне 14/IV 1852 г., — «но вижу, что не могу выправить бесчисленных мелких искажений; только большие куски вычеркнутого можно перевести обратно с французского; таких больших кусков приблизительно десять; лишь для двух из них имеется случайный оригинал» (очевидно, черновики). После смерти Гейне рукопись была найдена, и Штротман заполнил в своем издании остальные недостающие места (их, оказалось, впрочем, не так много).

Книга Гейне далеко не так аполитична, как он думал (или, вернее, как он уверял своего издателя). Вместе с «Романтической школой» (с которой он объединил свою работу о немецкой философии в книге «De l'Allemagne», предназначенной для французской публики) она составляет наиболее яркое выражение его сенсимонистских увлечений. О своей приверженности к сенсимонизму он заявляет в обеих книгах прямо. Идеи сенсимонизма переплетаются у Гейне с положениями гегельянства. Внешним признанием сочувствия сенсимонизму являлось посвящение «К истории религии и философии в Германии» виднейшему вождю и «отцу» сенсимонистской «церкви», Анфантену, снятое во втором издании книги (с характерной мотивировкой: бывшие сенсимонисты из преследуемых сектантов превратились в благоденствующих банкиров и предпринимателей). Но Гейне отличался от сенсимонистов по меньшей мере в двух отношениях: 1) он исходил от немецкой философии и первый указал на ее революционное значение, 2) в то время как сенсимонисты отвергали политическую борьбу и все силы обращали на пропаганду своих планов наилучшего устройства общества,

которую они вели преимущественно в среде имущих классов или даже богачей («пропаганда среди миллионеров»), Гейне твердо знал, что необходимо революционное переустройство общества, и в книге своей он предсказывает неизбежное наступление грандиозного социально-политического катаклизма. Эта революционная тенденция гейневской работы покорила Анфантена, который обратился к Гейне с длинным письмом, где убеждал его придерживаться более мирного тона, не задевать традиций и австрийского правительства. Письмо Анфантена показало Гейне, что историческая роль сенсимонизма сыграна, что движение выдохлось, и эту мысль он сформулировал через несколько лет в своих парижских корреспонденциях, составивших впоследствии «Лютетию».

В Германии книга Гейне была встречена прессой резко враждебно, что, впрочем, не удивительно. Макс Вольф правильно отмечает, что в эти годы нужно было большое мужество, чтоб выступить на защиту Гейне, — да и цензура не пропустила бы такой статьи или изуродовала бы ее. Гейне был объявлен опасным писателем. Он находился накануне полного запрета своих прежних и будущих писаний. Едва ли не резче всех выступил против него Менцель. Статья его, написанная, впрочем, уже через год после выхода II тома «Салона», примыкает по содержанию и тону к той серии знаменитых «доносов», которая послужила непосредственным толчком к запрещению «Молодой Германии». Для того чтобы как следует оценить эту статью и понять ее смысл, надо принять во внимание, что до того Менцель писал о Гейне неизменно благоприятно и либералы долгое время считали его в числе своих.

Менцель, по крайней мере, хорошо понимал революционное значение работы Гейне, ее общественно-политическую тенденцию и отлично знал, какую огромную художественную силу представляет собой сам Гейне. В большинстве же других статей можно встретить только тупую брань.

Отрицательное отношение к книге Гейне о религии и философии держалось в немецкой критике очень долго. Ее зачислили в разряд поверхностной, «фельетонной» литературы. Гейне обнаружил себя в ней, по словам его строгих судей, дилетантом. Это мнение разделяется также и многими негерманскими исследователями, которые, вообще говоря, относятся к Гейне более доброжелательно и терпимо, чем его соотечественники. Но настоящую оценку этой работы о философии сумел дать только марксизм. Энгельс пишет о революционном смысле немецкой классической философии, скрытой за ее «неуклюжей», «педантической» внешностью: «То, чего не замечали ни правительство, ни либералы, видел уже в 1833 году, по крайней мере, один человек, — правда, он назывался Генрих Гейне».

9. «*Revue des deux Mondes*» («Обзорение двух миров») — французский журнал, основанный в 1829 году; сначала чисто литературный, он вскоре расширил круг своих тем, включив туда философию, естественные науки, а затем и политику. Политическая линия, проводимая им в эпоху Июльской монархии, была довольно неопределенной, а после 1848 года приняла явно реакционный характер. В числе сотрудников журнала в 30—40-х годах были лучшие писатели Франции: Бальзак, Стендаль, Мериме, Жорж-Занд, Мюссе, Виньи, Теофиль Готье и т. д. Гейне печатался в нем неоднократно.

— «*К истории новейшей художественной литературы в Германии*». Имеется в виду книга, которая позже вышла под названием «Романтическая школа» (название, удержавшееся за ней и впоследствии) и которая составляет часть настоящего тома.

— ... закон об изданиях, вышедших за границу, примененный только ко мне. Решением германского Союзного сейма (Bundestag) от 5 июля 1832 года было установлено, что иностранные произведения и периодические издания объемом менее 20 печатных листов могут быть допускаемы только с разрешения правительств. На тайной конференции министров в Вене было сверх того решено, что разрешение на печатание, данное в одном из государств Германского союза (Imprimatur), не означает еще свободного доступа в другое союзное государство.

11. *Предисловие ко второму изданию*. Оно написано в годы «матрачной могилы», когда разбитый параличом поэт переживал кризис возвращения к религии. Насколько оно было действительным и полным — вопрос спорный, но, во всяком случае, в связи с ним Гейне отказался от взглядов, изложенных в этой книге. Характерно, однако, что он все же переиздал ее и при этом не изменил в ней ни слова.

12. *Граф Моле* (1781—1855). Был неоднократно министром при сменявшихся режимах Наполеона, Людовика XVIII и Луи-Филиппа.

— ... декретов Союзного сейма против Молодой Германии. Декретом от 10 декабря 1835 года были запрещены все произведения писателей Молодой Германии, во главе которых Союзный сейм помещал Гейне. В дальнейшем оказалось, что постановления сейма имели в виду уничтожить не только все изданное до сих пор осужденными им писателями, но и все, что они могли издать в будущем. Так, в прусском министерском рескрипте от 11 декабря 1835 года говорилось о запрете «будущих литературных произведений г. Гейне, где бы они ни выходили и на каком бы языке ни появились». Что касается группы Молодая Германия, то запрет имел в виду, помимо Гейне и Берне, следующих поименно перечисленных в декрете писателей: Гуцкова,

Винбарга, Лаубе и Мундта. Ближайшим поводом к запрещению послужила доносительная кампания критика Менцеля.

13. *Дейзм* — движение, возникшее в Англии XVII века и отрицавшее все существующие «положительные» религии (христианство, иудейство и др.), но не религию как таковую, не представление о боге, стоящем над миром, создавшем мир и осуществляющем в мире этические цели. Дейзм имел широкое распространение в кругу так называемых «просветителей» XVIII века: Вольтер во Франции, Лессинг и Кант в Германии и т. д. Обычно он сводился к стремлению сообщить религиозную санкцию буржуазно-либеральной морали.

— *Ансельм Кентерберийский* (1033—1109) — средневековый философ-схоласт, архиепископ Кентерберийский, первый привел так называемое онтологическое доказательство бытия божия. Доказательство это состоит в том, что в понятие бога как величайшего из того, что может быть вообще мыслимо, должен быть необходимо включен и признак существования, ибо если бы это величайшее существовало только в разуме, в мысли, то можно было бы мыслить нечто еще более великое, обладающее также и действительным существованием. Таким образом из понятия бог пытались вывести его бытие.

— *Берлинская диалектика*. Имеется в виду философия Гегеля.

— *Руге* (1802—1880) — литератор и политический деятель. В молодости младогегельянец и атеист, закончивший верой в бога и бессмертие души. В области политической — мелкобуржуазный радикал, закончивший переходом на сторону Бисмарка. Редактор «Галлеских ежегодников» и «Немецких ежегодников», в которых сотрудничал Маркс. В 1844 году Маркс разорвал с Руге из-за политических разногласий, и между прочим из-за филистерского отношения Руге к вопросам брака и семьи в связи со спором о Гервеге, и много раз выступал против него в печати по разным поводам. Руге принимал участие в революции 1848 года, был членом франкфуртского парламента и после победы реакции должен был эмигрировать. В Лондоне вместе с Мадзини и Ледрю-Ролленом основал «Европейский демократический комитет», а также участвовал в целом ряде эмигрантских политических выступлений и литературных предприятий в компании с мелкобуржуазным крылом немецкой эмиграции, с которым Маркс и Энгельс порвали еще до периода организации и деятельности Союза коммунистов. В переписке Маркса — Энгельса имя Руге упоминается десятки раз с весьма неслестными эпитетами и характеристиками.

Руге не понимал всего величия Гейне как поэта и лишь отчасти понимал революционно-политическое значение его поэзии. Наоборот, Гейне прекрасно видел всю ограниченность и

филистерство Руге. «Смертоубийственные страницы», о которых говорит здесь Гейне, — это статья Руге о поэте, которая была напечатана в «Галлеских ежегодниках» за 1838 год. В 1843 году в Париже Руге лично познакомился с Гейне. Они относились довольно критически друг к другу. В дальнейшем отношения между ними несколько улучшились.

14. *Даумер* Георг-Фридрих (1800—1875). Писал по вопросам философии. Начиная с 30-х годов написал ряд книг, содержащих резкие выпады против христианства. В конце 50-х годов изменил свои взгляды, перейдя в лагерь воинствующего католицизма. Как поэт известен своими подражаниями персидской лирике. См. о нем статью Маркса и Энгельса — Соч., т. VIII.

— *Бруно Бауэр* (1809—1882) — один из виднейших представителей левого гегельянства, одно время идейно и лично близкий молодому Марксу. В начале 40-х годов выпустил свои работы по критике Евангелия, нанешие сильнейший удар религиозной традиции и «положившие начало обоснованию того взгляда, что христианство, по крайней мере, как мировая религия, было непосредственным продуктом греко-римского мира, а не было внесено и насильственно навязано ему Иудеей извне» (Энгельс).

— *Генценберг* (1802—1864) — теолог, профессор Берлинского университета, защитник лютеранской ортодоксии; приобрел грустную известность нападками на «язычника» Гете и его роман «Избирательное сродство». Гейне, не раз задевавший и впоследствии этого ревнителя государственной религии (в «Атта Троль» и «Германии»), ставит его имя в ряд с именами знаменитых «разрушителей религии» в шутку, ради комического эффекта.

15. *Путь в Дамаск*. Согласно христианскому учению, на пути в Дамаск произошло внезапное обращение апостола Павла, который тогда назывался еще Савлом и был яростным гонителем новой религии, в христианство.

— *Валаам* — легендарный пророк и колдун, о котором рассказывает Библия (Книга чисел); согласно библейскому рассказу, ослица его заговорила с ним человеческим голосом.

16. ...*Тита Веспасиана, злодея, покончивши его дни, по рассказам раввинов, так скверно*. Согласно талмудическому преданию, смерть Тита последовала от насекомого, проникшего в его мозг.

— *Иошуа бен-Сирах*. Книга Иисуса (Иошуа) Сираха написана в начале II века до нашей эры на еврейском языке.

К Н И Г А П Е Р В А Я

19. *Барониус* (1538—1607) — кардинал. Ему принадлежит работа по истории церкви: «*Annales Ecclesiastica a Christonato ad anum 1198*» («Церковные летописи от рождения Христова до лета 1198»).

19. *Шрек* (1733—1808) — профессор Виттенбергского университета, написал «Историю христианской церкви» и «Историю церкви со времен Реформации».

— *Мани* — архиепископ Луккский (XVIII век), выпустил в свет тридцатидвотомное собрание материалов, относящихся к церковным соборам.

— *Ассемани* (1710—1782) из Триполи — профессор восточных языков в Риме, издал свод церковных литургий.

— *Саккарелли* — итальянский историк церкви (автор двадцатитомной «*Historia Ecclesiastica per annos digesta*», 1770 г.).

20. *Логос* — термин, игравший большую роль в христианской догматике и богословских спорах, — означает по-гречески и «слово» и «разум».

— *Единосущие* — обозначение развитого Афанасием и принятого Никейским собором (IV век) положения о том, что бог и Христос едины по своей сущности; противники этого догмата, ариане, признавали лишь подобие Христа и бога.

— *Инвеститура*. Под этим термином понимали в римской церкви право утверждения выбранных клиром или общиной епископов (право передачи им кольца и посоха). Первоначально это право находилось в руках короля, но впоследствии перешло, с незначительными ограничениями, в руки пап. Начиная с XV века епископы назначались, по большей части, снова королями.

— *Sacrum Palatium* (лат.) — дворец кесарей (византийских).

— *Евдокия*, *Пульхерия*, *Несторий*, *Кирилл*. Элия Евдокия, дочь франкского вождя Баута, стала в 395 году женой восточно-римского императора Аркадия. После его смерти престол перешел к его сыну, Феодосию II, при котором власть фактически сосредоточилась в руках его сестры Пульхерии. Влиянию Пульхерии старалась противодействовать царица-мать Евдокия. Несторий — патриарх Константинопольский в 428—431 годах. Он отказывался называть Марию богородицей на том основании, что она была матерью лишь человека Иисуса, но не бога Иисуса. Этим самым он как бы отрицал божественность Христа вообще. Кирилл, патриарх Александрийский, обвинил его в ереси и содействовал его осуждению на Эфесском соборе (431).

— «*Когда пали его легионы, он послал на провинции догматы*». Гейне цитирует здесь самого себя («Путевые картины» — «Северное море»).

— *Исидоровы декреталии* (или Лжеисидоровы декреталии) — собрание поддельных документов, которыми папы пользовались для подкрепления своих притязаний на светскую власть.

21. *Манихейяне*. Основателем этой секты был египтянин Мани, или Манес, живший в III веке христианской эры (214—277).

Манихейяне признавали существование двух божественных начал: доброго и злого, света и мрака. Оба эти начала находятся в непрерывной борьбе друг с другом. Манихейяне проповедывали соверщательный аскетизм. Они не признавали Старого завета, а Новый толковали очень свободно. Господствующей церковью они были признаны еретиками, терпели жестокие гонения и к началу VI века были окончательно истреблены.

21. *Гностики* — от греческого слова *гнозис*, которое первоначально означало лишь более глубокое знание «тайнств» религии. Они не допускали, как это делала Библия, создание мира из ничего, но рассматривали все существующее как «эманацию», истечение извечно существующего бога. Присущие богу силы они называли *эонами*, — от эонов исходит все дальнейшее развитие. Чем дальше созданные эманацией существа отстоят от первоисточника, от бога, тем они становятся слабее. Материальный мир создан одним из низших эонов, Демиургом. Эон-Христос выше Демиурга и его ангелов. Взгляды отдельных гностиков и их школ сильно расходились между собой.

— *Керинф* — один из первых гностиков-христиан; жил во II веке. Он различал еврейского создателя мира и истинного, высшего бога, впервые возведенного Евангелием.

24. *История базельского соловья*. Рассказ этот заимствован Гейне из книги, которая неоднократно служила ему подспорьем в его работах о немецких народных верованиях; это книга Добенека, «Народные верования и героические сказания немецкого средневековья», вышедшая в 1815 году с предисловием немецкого писателя Жан-Поля Рихтера. Рассказ о базельском соловье в свою очередь заимствован (и переведен с латинского) из книги Генр. Корманна, «*Templum Naturae historicum*», изданной в конце XVII в.

— *Аннаты* — отчисления, которые каждый представитель католического духовенства должен делать в пользу папы из своих доходов в первый год по вступлении в должность.

— *Экспектативы* — право замещения освобождающихся должностей, развитое в феодальной юриспруденции. Король или князь, когда у него не было свободного лена, которым он мог бы распорядиться и награждать, давал обещание на занятие лена, в случае если владелец его умрет бездетным или лишится лена вследствие своей вассальной неверности и т. д.

— *Резервации* — оговорки, условия.

— *Фома Аквинский*. Средневековый философ-схоласт; один из основных теоретиков католицизма.

— *Бонавентура* (1221—1274) — средневековый схоласт; один из главных представителей мистического направления.

25. Этот рассказ не нуждается в комментариях. Гейне несколько изменил эту заимствованную у Добенека историю.

Добенека приводит ее в главе о духах воздуха, которые в большинстве случаев «невидимы» и ославлены в качестве «надменных, злобных, завистливых и насылающих грозу». Когда «ученый» стал заклинать птицу, она сказала в ответ, «что она душа отверженного и должна на этом месте дожидаться страшного суда и своего приговора, и, дав этот ужасный ответ, она с шумом улетела». Мысль, что пенье соловья само по себе является грешным соблазном, выведена из добенековского рассказа самим Гейне.

27. *Фаблю* — небольшие повествовательные стихотворения французских средневековых поэтов, большей частью веселого, комического характера.

— *Корнуэльс* — страна на юго-западе Англии, где зародились кельтские циклы сказаний — о короле Артуре и пр.

28. *Мелузина* — морская фея, героиня кельтского сказания. Немецкие комментаторы Гейне указывают, что, вопреки словам поэта, резко противопоставляющего кельтские сказания германским, как раз сказка о Мелузине издавна была в Германии одной из самых любимых. Уже в XV веке она была переведена (с французского) на немецкий язык и получила большое распространение в народе.

— *Фея Моргана*. Фата Моргана, или фея Морген — действующее лицо кельтского сказочного цикла. Она — сестра короля Артура (или Артуса), волшебница, умеющая создавать воздушные миражи (отсюда и название миражей — «фата-моргана»).

— *Брокен* — гора в Средней Германии, одна из вершин Гарца. В народных немецких сказаниях играет роль, аналогичную той, какую Лысая гора играет в украинском фольклоре: место шабаша ведьм.

— *Авалон*, или Авалун — сказочная страна фей, где властвует Фата Моргана, — остров блаженных.

29. *Преториус*. Настоящее имя — Иоганн Шульц (1630—1686). Немецкий писатель и «ученый»; «естествоиспытатель», историк, юморист, поэт. Имеет, главным образом, значение как источник знакомства с фольклором и суевериями его времени, которые он охотнее всего делал темой своих «исследований», где самые фантастические представления разбирает с полной серьезностью и отсутствием всякого чувства критики. Его первая работа — диссертация, где он доказывает, основываясь на одном выражении Аристотеля, что аисты и ласточки проводят зиму в болотах (диссертация была утверждена университетом). Другой труд посвящен вопросу о хиромантии и гадании цыган. Писал много о ведьмах, демонах, Рюбецале, волшебной палочке и т. д.

30. ...*следующий маленький рассказ*. Рассказ этот также заимствован Гейне у Добенека, который, в свою очередь, заимствовал его из «Застольных речей» Лютера.

31. *...место из старинной летописи* — из «Хроники монастыря Гиршау (Hirschau)» аббата Тритима (Tritim); приведено у Добенека, откуда его заимствовал Гейне.

34. *...я не могу удержаться, чтобы не рассказать одну из них.* Этот рассказ Гейне также заимствовал из книги Добенека.

36. *Тецель* — саксонский монах-доминиканец, занимавшийся продажей индульгенций в Германии.

— *Полициано* (1454—1494) — итальянский поэт и ученый эпохи Возрождения. Жил при дворе Лоренцо Великолепного Медичи, отца Льва Х. Яркий представитель итальянской поэзии Возрождения.

— *Конклав* — заседание кардиналов, на котором избирается папа.

37. *31 октября 1516 года.* У Гейне ошибочно 1516 вместо 1517 — дата, когда Лютер выступил против Тецеля и прибил свои тезисы к дверям Виттенбергской церкви; считается началом реформации.

— *Спиритуализм и сенсуализм.* См. Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм», где дано исчерпывающее определение того и другого. Здесь необходимо заметить следующее: термин «спиритуализм» очень близок к термину «идеализм», — и Гейне поэтому с известным правом подставляет (во 2-й части этой работы) один из этих терминов под другой. Сенсуализм — направление в теории познания, признающее источником познания ощущения. Но сенсуализму Гейне придает материалистическое толкование и даже отождествляет его, под конец, с материализмом (2-я часть «К истории религии и философии»).

— *Боссуэт* (1627—1704) — французский проповедник и писатель. Его «Histoire des variations des églises protestantes» («История изменений протестантских церквей»), которую упоминает Гейне, написана с целью способствовать возвращению протестантов в лоно католической церкви, и его изображение протестантства далеко не отличается объективностью.

38. *Королева Наваррская* — Маргарита Наваррская (1492—1549) (сестра французского короля Франциска I, жена короля Наварры, Анри д'Альбре). Ей приписывается ряд новелл, под названием «Гептамерон».

39. *Янсенизм* — религиозно-общественное движение во Франции, примыкающее к учению голландского богослова Корнелия Янсена. Имело много черт, сближавших его с протестантством.

— *Методисты* — секта, возникшая в первой половине XVIII века в Англии, а затем распространившаяся и в Северной Америке. Учение их близко к англиканской церкви. Своеобразие его — в крайнем, доходящем до ханжества, благочестии.

40. *Ян Лейденский* — один из вождей анабаптизма («второкрещенства»), т. е. крайнерадикального движения эпохи реформации, представлявшего интересы наиболее бедных, полупролетарских слоев города. Мюнстер был взят войсками епископа, а Ян Лейденский и его помощники преданы мучительной и позорной казни.

43. *Юнг-Штиллинг* (1740—1817) — писатель, пиетист и мистик, написавший несколько книг о духах и привидениях.

44. *Меланхтон* (1497—1560) — гуманист и соратник Лютера; разрабатывал лютеранское богословие. После смерти Лютера стал главой протестантской церкви, но не проявлял твердости Лютера в борьбе с католической церковью (Гейне намекает на это, говоря о «мягкости» Меланхтона).

— *Св. Бонифаций* — проповедник христианства в Германии, родом из Англии (первая половина VIII века), видный церковный «ученый», всецело посвятивший себя миссионерству.

45. *Боско Бартоломео* из Турина (1793—1863) — знаменитый в свое время фокусник.

— *Отец Оленд* — один из видных сенсимонистов.

47. ... в Пруссии *царица неограниченная свобода мысли*. Гейне здесь сознательно преувеличивает ту степень свободы, которая была в Пруссии с середины прошлого (т. е. XVIII) столетия до французского (т. е. наполеоновского) нашествия, для того, чтобы иметь возможность противопоставить ее реакции 20—30-х годов.

— *Д-р Гофман* — гамбургский цензор.

49. *Вульгата* — название принятого в католической церкви латинского перевода Библии.

— *Септуагинта* (или перевод семидесяти толковников) — название самого старинного перевода Библии на греческий язык, произведенного во II и III веках нашей эры.

50. ... *преследование книг... доктор Рейхлин...* Кельнские богословы, в союзе с крещеным евреем Пфедферкорном, добивались от императора уничтожения всех еврейских книг. Архиепископ Майнцский обратился за экспертизой к Рейхлину, знаменитому ученому-гуманисту, который был в Германии, среди христиан, величайшим знатоком древнееврейского языка и составил первую еврейскую грамматику. Рейхлин высказался в пользу еврейских книг. Тогда против Рейхлина выступил с низкими обвинениями глава кельнских теологов, доминиканский приор, профессор и верховный судья по делам еретиков, Гохстратен. Выступление Гохстратена вызвало длительную полемику между гуманистами и богословами-мракобесами.

51. *Если бы Лютер для перевода Библии взял язык, на котором говорят в нынешней Саксонии... имеет славянскую окраску.* Мнение Гейне ошибочно. Современный немецкий литературный язык происходит действительно от средненемецкого, верхне-саксонского наречия; но в нем много верхненемецких (т. е. южных) элементов. Лютер, саксонец по происхождению, исходил от саксонского «канцелярского» языка (Kanzleisprache), но он сделал ряд «уступок» верхненемецким наречиям.

— *Аделунг (1768—1843)* — немецкий историк и географ.

52. *«Эйслебенский лебедь».* Лютер родился в саксонском городе Эйслебен.

— *Боевою была та упрямая песня, с которой он и его спутники вступили в Вормс.* Гейне ошибается: нижеприведенный гимн — «Господь наш истинный оплот» — по всей вероятности, написан лишь через несколько лет после вормского рейхстага.

54. *Ганс Сакс (1494—1576)* — нюрнбергский поэт-мейстервингер, сын сапожника и сам сапожник.

— *Миннезингеры и мастеразингеры* — первые («певцы любви») — средневековые немецкие поэты, поэты рыцарства и «чистой», любовной лирики по преимуществу. Вторые, мастеразингеры (мастера певческого цеха), — поэты городской Германии конца средних веков и эпохи реформации. Они обладали цеховой организацией и являлись представителями новой, буржуазной, поэзии. Они действительно во многом подражали миннезингерам (о чем говорит Гейне), но внесли свою, совершенно отличную, струю в поэзию.

— *...травести старинных мистерий.* Травести — от итальянского travestire переодевать — род комических, чаще сатирических произведений, очень близкий к пародии; сохраняя тему и сюжет какого-нибудь серьезного, «возвышенного» произведения, травести «переодевает» его в противоречащую ему комическую, «низкую», фарсовую форму. Мистериями назывались в средние века представления на разные темы ветхозаветной и новозаветной «священной истории». «Травести» старинных мистерий означает то же, что их «пародия».

КНИГА ВТОРАЯ

58. *Трешкоты* — маленькие суда, плавающие по голландским каналам; их тянут с берега люди или лошади.

60. *Картезианская философия* — философия Декарта (латинизированное Cartesius).

62. *Пантеизм* — мировоззрение, согласно которому бог не есть личность, создавшая мир, а начало, тождественное с природой. Его формула: бог есть мир. Можно различать два понимания пантеизма: идеалистическое (как, например, у Шеллинга), ко-

торое хотя и признает тождественность бога и природы, все же подчиняет природу божественному началу и видит в ней внутреннюю целесообразность развития, — и материалистическое, которое видит во всем действие законов необходимости и утверждает, что бог и природа тождественны, что бог и есть природа (Спиноза). В таком виде пантеизм перестает быть уже религиозным мировоззрением, перестает быть, по существу, пантеизмом (богу не остается места в этой системе) и должен быть рассматриваем как внешне богословски окрашенный материализм. В Германии первых десятилетий XIX века пантеизм был широко распространен, но преимущественно в шеллинговском или гегелевском идеалистическом толковании. От шеллинговской натурфилософии исходили и романтики. В воззрениях Гейне пантеизм играл огромную роль, и Гейне не раз публично признавал, что он — пантеист. Апологию пантеизма, которую Гейне называет «тайной религией Германии», дает и книга Гейне о немецкой религии и философии. Труднее решить вопрос, какого толкования пантеизма он придерживался. Вообще говоря, его выступления 30-х годов сделаны в духе шеллингианского и гегелевского толкований, которые он сближает с религиозными воззрениями сенсимионизма: все в мире, одушевлено, все божественно, бог проявляется во всем, но не во всем одинаково; больше всего в человеке, в истории, которая является настоящей «книгой божией», и т. д. Но позже, когда в нем произошел перелом в сторону религии, он расценивает свои прежние взгляды уже иначе. В предисловии к «Романцero» он писал: «Я говорил о боге пантеистов, но я не могу не отметить, что он, по существу, вовсе не бог, как и вообще пантеисты собственнo лишь стыдливые атеисты, которые меньше боятся вещи, чем тени, что она отбрасывает, — имени». Эти слова он относит прежде всего к самому себе. Свой внутренний перелом он расценивает как полный душевный переворот, как радикальный переход от атеизма к религии (действительно ли он стал к концу жизни верующим или только хотел им быть и заигрывал с религией, — вопрос другой). Возможно, что на самом деле его подчеркивание идеалистического, религиозного момента в пантеизме являлось лишь внешней данью терминологии, «боязнью имени» или сознательным маневром для контрабандного провоза атеизма. Наводит на размышление, что и в «Романтической школе» и «К истории религии и философии» он слишком много и охотно подчеркивает ниспровержение немецкой философией религии. Наконец, высокая оценка Спинозы, которого он ставит на д Шеллингом и др., позволяет думать, что, быть может, несмотря на свои заявления в противоположном духе, он склонялся на деле к материалистическому толкованию пантеизма. Во всяком случае, зачислить его безусловно в лагерь пантеистов шеллинговского или гегелевского толка трудно.

63. *Бентамиты* — сторонники Бентама, английского мыслителя (1748—1832), основателя так называемого утилитаризма. Согласно учению Бентама, двигателем человеческого поведения является интерес, польза (отсюда и название: утилитаризм).

63. *Джон Буль*. Насмешливое прозвище англичан.

64. «Учение о монадах». Согласно Лейбницу (немецкий философ, 1646—1716), автору учения о монадах, мир состоит из бесчисленных духовных элементов, монад. Каждая монада обладает представлениями, но они проявляются в различных монадах с разной степенью отчетливости. Лейбниц устанавливает в связи с этим градацию различных существ, лестница существ мира. Внизу находятся низшие монады, как камни и растения, представления которых бессознательны; лестница идет вверх через животный мир к человеку. Основная монада — бог, от которой произошли все остальные монады и которая приводит в гармонию монады, составляющие мир (так называемая предустановленная гармония).

— «Теодицея» — богооправдание. Полное заглавие этого произведения Лейбница, написанного, как и большинство его произведений, на французском языке: «Théodicée, Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal» («Теодицея, опыт исследования о божественной благости, свободе челогека и происхождении зла»).

66. *Пизтиты* (от лат. — благочестие) — сторонники особого направления в протестантстве, представляли движение внутри лютеранства и кальвинизма, направленное против просветительной философии и противопоставлявшее чувство (или сознание долга) разуму.

67. *Спиноза*. Гейне толкует великого философа неправильно, подчеркивая те моменты в его концепции, которые были лишь прикрытием для его по существу атеистической и материалистической философии. Бог Спинозы синоним природы. Неверно, что философия Спинозы одинаково далека и от материализма и от идеализма: по существу она материалистична.

68. *Соломон Маймон* (1754—1800) — философ, последователь Канта, отвергавший, однако, кантовское понятие «вещи в себе» и пытавшийся лишить этику своего учителя ее аскетического характера. Гейне ссылается на автобиографию Маймона, изданную К.-Ф. Мориц в 1792—1793 годах.

— ... тыкали Спинозу своими длинными кинжалами. Один фанатик-еврей, при выходе Спинозы из синагоги (куда того вызвали «ортодоксы» для допроса и увещевания), ударил философа кинжалом, но прорезал ему только платье.

69. *Ван-Энде*. Врач ван-дер-Энде был учителем Спинозы. — «*Tractatus politicus*». («Трактат о политике»). В нем Спиноза обсуждает различные типы государства. Трактат остался незаконченным.

70. *Natura naturans*. «Природа производящая», в противоположность «*Natura naturata*» — «природе произведенной». Природа может быть рассматриваема и как причина («производящая») и как следствие («произведенная»).

— *Мадам дю-Дефан* — подруга Вольтера; в ее салоне собирались знаменитейшие писатели и философы того времени. Славилась своим умом и остроумием. Гейне имеет в виду письмо Вольтера к ней от 3 апреля 1769 года.

71. *Философия тождества* — идеалистическое учение, согласно которому дух и материя тождественны, совпадая в абсолюте. Так назвал свою философию Шеллинг, которого здесь и имеет в виду Гейне.

— *Натурфилософия* — философия природы, рассмотрение природы как связанного целого. Гейне имеет здесь в виду натурфилософию, созданную Шеллингом. Об этой натурфилософии Энгельс говорит, что она «заменяла еще неизвестную связь явлений идеальной, фантастической связью и заменяла недостающие факты вымыслами, пополняя действительные пробелы лишь в воображении. При этом были высказаны многие гениальные мысли и предугаданы многие позднейшие открытия, но немало также было наговорено и вздору. Иначе тогда и быть не могло».

73. *...в руках цезаря* — намек на слова Евангелия: «богу — богovi, а кесарю — кесареви».

74. *Святые дары* — так называют хлеб и вино в обряде причащения.

75. *Пуруша, Пракрити*. Пуруша представляет в индусской мифологии природу, или материю, Пракрити — мировую душу.

77. *...мы ответим вам словами шекспировского дурака*. Слова Тобиаса из комедии «Двенадцатая ночь», акт II, сцена 3.

— *Генрих Якоби* (1743—1819) — немецкий философ, признававший систему Спинозы наиболее последовательной, но считавший, что от нее нужно отказаться, так как она противоречит религиозной вере, «неистребимым потребностям души».

80. *Парацельс* — знаменитый врач, химик, теософ XVI века. Им интересовались романтики, Новалис, затем Ф. Крейцер. Гейне в письме к К. Жобер (22 апреля 1835 г.) извещает ее о своих занятиях Парацельсом.

— *Яков Беме* (1575—1624) — философ-мистик. Немецкие романтики ставили его очень высоко. «Открыл» его Л. Тик. Новалис и Шеллинг были особенно ревностными его почитателями.

80. *Сен-Мартен* (1743—1804) — французский философ-мистик, писавший под псевдонимом «Неизвестный философ» («*Philosophe inconnu*»), один из крупнейших франкмасонов, родоначальник русских мартинистов.

— *Карл I* — английский король, казненный во время английской революции (XVII века).

82. *Иоганн Шпенер* (1635—1705) — основатель пиетизма.

— *Скотт Эригена* — Иоганн Скотт, или Эригена, живший в IX веке нашей эры, ирландец по происхождению, — один из ранних философов схоластической эпохи.

85. *Панглос* — один из героев вольтеровского романа «Кандид». В лице Панглоса Вольтер осмеял лейбницевское учение о том, что наш мир есть наилучший из возможных миров.

— *Прометей*. «Скованный Прометей» — трагедия греческого трагика Эсхила (V век до Р. Х.). Титан Прометей наказан Зевсом за то, что похитил небесный огонь и научил людей употреблять его. В трагедии Эсхила Бия (сила) не произносит ни слова.

— *Омоложение Язона*. Гейне намекает здесь на описание омоложения царя Язона, имеющееся в «Метаморфозах» римского поэта Овидия. Медея — в греческих преданиях дочь колхидского (кавказского) царя. Когда Язон, предводитель аргонавтов (т. е. греческой экспедиции, отправившейся к берегам Колхиды за золотым руном, золотой шкурой барана, висящей в священной роще), прибывает в Колхиду, Медея загорается к нему любовью и дает ему чудесную мазь, которая делает его мощным, молодым и неуязвимым.

86. *Земмлер* (1725—1791). — профессор теологии в Галле. Глава богословского рационализма второй половины XVIII века. Старался отделить «дух» христианства от преходящих исторических форм, в которых он воплощался, и защищал «частную религию» против официальных предписаний церкви.

— *Теллер* (1734—1806) — проповедник и чиновник консистории в Берлине; богослов, отличавшийся религиозным «свободо-мыслием» и ученостью.

— *Бардт* (1741—1792) — профессор богословия в различных университетах; впоследствии стал ховяином гостиницы в окрестностях Галле. Ославленный противниками представитель рационализма. Его «Новейшие откровения божии» были осмеяны Гете в «Прологе к новейшим откровениям божиим».

87. *Старый Геллерт* — немецкий поэт и моралист (1715—1769), профессор в Лейпциге. Пользовался в Германии огромной известностью в особенности за свои «Басни и разговоры».

— *Николаи* (1733—1811) — известный немецкий просветитель, друг Лессинга, издатель «Всеобщей германской библиотеки»,

Его «трезвая» ограниченность вызвала резкие насмешки Гете, Шиллера, Фихте и др. «Он был первым представителем берлинского филистерства, на которое оказал литературно-политическое влияние» (Меринг).

88. ... *сатиру на его «Вертера»*. Сатира эта называлась «Радости молодого Вертера».

— ... *Лессинг, который в письме к приятелю...* Письмо к Эшенбургу от 26/X 1774 года.

89. *Пантеон*. Так назывался в античном мире храм, посвященный всем или многим богам. Это название в новое время носят здания, посвященные памяти великих людей, куда переносят их прах (Пантеон в Париже).

90. *Мендельсон* Моисей (1729—1786) — еврей по национальности, философ, друг Лессинга. Много сделал для распространения просвещения среди евреев. С еврейской религией не порвал, но придерживался известного «свободомыслия». Как философ не представляет чего-либо оригинального. Гейне расценивает его выше, чем следует.

— *Зульцер* (1720—1779) — автор четырехтомной «Всеобщей истории изящных искусств», долгое время профессор в Берлине. Современники считали его крупным авторитетом в вопросах эстетики.

— *Аббт* (1738—1766) — в свое время был известен как автор сочинений «О заслугах» и «О смерти за отечество».

— *Мориц* (1757—1793) — был известен как автор книги «Антон Рейвер».

— *Гарве* (1742—1798) — философ-моралист.

— *Энгель* (1741—1802) — был преподавателем гимназии, писателем, редактором и директором театра; один из лучших представителей берлинского просветительства.

— *Бистер* (1749—1816) — заведующий Королевской библиотекой в Берлине, издатель «Берлинского ежемесечника», «Берлинских листков» и т. д.

— *Мозаизм* — слово, образованное от имени Мозес (Моисей). Обозначает еврейскую религию так, как она определяется в Библии, без всяких дальнейших наслоений — вроде Талмуда и пр.

91. *Бедный раввин Назаретский*. Гейне имеет в виду Христа.

— ... *на улицу Лафит, дом № 15*. Имеется в виду дом знаменитого миллионера Джемса Ротшильда, одного из представителей «династии» Ротшильдов, раскинувшей свои гнезда во всех главных странах Западной Европы (Франкфурт, Вена, Париж, Лондон). Они ссужали едва ли не всех монархов Европы, включая и римского папу (который тогда владел еще,

в качестве монарха, значительной частью Италии, так называемой «Папской областью»).

94. *Клотц* (1738—1771) — профессор классической филологии в Галле, глава ученой литературной клики, выступавшей против Лессинга.

97. *«Драматургия»*. Гейне имеет в виду «Гамбургскую драматургию», одно из основных произведений Лессинга, где он подробно разбирает теоретические вопросы драматургии.

— *«Натан Мудрый»* — драма Лессинга, в которой проводится идея веротерпимости.

— ... когда его прогоняли с амвона или с кафедры.... Когда брауншвейгское правительство (Лессинг в последние годы своей жизни состоял на службе у Брауншвейгского герцога в качестве библиотекаря) запретило Лессингу продолжать литературную борьбу с пастором Гетце, он перенес ее на театр и написал «Натана Мудрого». В одном из своих писем того времени (к Элизе Реймарус, от 6 сентября 1778 года) он писал: «Я хочу попробовать, дадут ли мне по крайней мере возможность беспрепятственно проповедывать с моего старого амвона: театр».

— ... так и Лессинг боролся... против буквы. Гейне имеет здесь в виду, очевидно, полемику с пастором Гетце, а также статью «Новая гипотеза на евангелистах, как о простых смертных, налагающих историю», которой Лессинг и положил начало серьезной критике евангелий. Меринг доказывает, что мнение, будто Лессинг боролся против ортодоксии, — неправильно. Он считал ортодоксию меньшим злом, чем поверхностное просветительство, распространившееся в его время по Германии и «подновлявшее догму различными «разумными» заплатами».

97—98. *«O sancta simplicitas!... сам Христос!»* — из «Парабол», полемического сочинения Лессинга, направленного против пастора Гетце.

98. *Иммануил Кант* (1724 — 1804). Изложив в очень яркой и простой форме основные положения философии Канта и остроумно указав на одно из основных противоречий (в вопросе о божестве, уничтоженном теоретическим разумом и допущенном через заднюю дверь разумом практическим, чтобы «утешить старого Лампе»), Гейне не дает ее критики, хотя и чувствует кое-какие ее слабые места. Критику философии Канта см. Ленин «Материализм и эмпириокритицизм».

99. *«Urbi et orbi»* — «Граду и миру» — слова благословения, произносимого римским папой.

КНИГА ТРЕТЬЯ

101. *Максимилиан Робеспьер был не что иное, как рука Жан-Жака Руссо.* Робеспьер являлся поклонником Руссо и последователем его учения.

— *Старый Фонтенель* (1657—1757) — французский писатель, племянник Корнеля, достигший возраста ста лет (чем, может быть, объясняется эпитет Гейне «старый»).

104. *Шютц* — философ, последователь Канта, профессор Иенского университета.

— *Шульц* — первый последователь и энергичный защитник Кантовой философии; его толкования «Критики чистого разума» были одобрены Кантом.

— *Рейнгольд* (1758—1828) — философ, последователь Канта; его «Письма о кантовской философии» обратили внимание широкой публики на Канта.

— *«Всеобщая естественная история и теория неба»* — издана анонимно в 1755 году (Канту был тогда тридцать один год); в ней изложена теория мироздания, возникновенья солнечной системы, ставящая Канта в ряды первостепенных ученых.

— *«Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного»* — произведение Канта, посвященное эстетике, теории прекрасного.

— *«Грезы духовидца, поясненные грезами метафизика»* — появились в 1766 году; предмет их — философия шведского мистика Сведенборга, к которому Кант относится крайне скептически и насмешливо.

— ... *французские essais*. В литературном смысле «essais» значит то же, что «этюды», «опыты»

106. *Пифагор* — греческий философ (VI век до нашей эры). Сущность бытия видел в числе. Учение о числе как об основе всего сущего особенно было выдвинуто у позднейших пифагорейцев, у которых числа обожествлялись. Единица, тройка, четверка и десятка считались наиболее священными.

109. *Дантовы слова.* В «Божественной комедии» Данте говорится о словах, написанных у входа в ад: «Lasciate ogni speranza voi ch'entrate» — «Оставьте всякую надежду, входящие (сюда)!»

— ... *спекулятивного разума*. Спекуляция — чистое умозрение.

110. *Физико-теологическое и космологическое доказательства существования бога.* Первое выводит бытие бога из мировой телеологии или якобы целесообразного устройства природы; опровержение его (Кантом) заключается в том, что, во-первых,

нелзя целесообразности приписывать независимое от нашего ума значение; а, во-вторых, если даже и допустить это, то и тогда из понятия целесообразности не следует еще обязательно представление о боже как совершенном существе, создавшем мир, а только о некоей «виждительной» силе, — демиурге, устроителе, а не творце мира. Космологическое доказательство включает от существования мира, как следствия, к творцу мира, как причине. Кант говорил, что доказательство от условного к тому, что его обуславливает, есть, в сущности, скрытое *онтологическое* доказательство., т. е. то доказательство, которое включает из понятия бог, как полноты бытия, о том, что ему принадлежит признак существования. Против этого доказательства возражали (Кант и др.), что бытие не есть признак понятия и что из понятия следует только, что бога нужно мыслить существующим, а не что он действительно существует. То же самое надо сказать и о космологическом доказательстве.

113. *De profundis* — заупокойная католическая молитва.

115. Тьер (1796—1884) — французский политический деятель, адвокат, журналист и историк. Выдвинулся во время реставрации в качестве оппозиционного журналиста и историка Французской революции. Был неоднократно министром и председателем совета министров и уже тогда проявил себя ожесточенным противником демократии и социализма (кровавое подавление восстаний 1834 г. в Париже и Лионе). Был хорошо знаком с Гейне, который о нем неоднократно писал в своих корреспонденциях из Парижа (и притом довольно положительно). Здесь Гейне имеет в виду и его и Минье исключительно как историков Великой французской революции.

— Минье (1796—1884) — французский историк и общественный деятель. Хороший знакомый Гейне, с которым он встречался в салоне княгини Бельджовой.

— Фихте (1762—1814). Едва ли можно причислить Фихте по его религиозным воззрениям, как это делает Гейне, к атеистам. Для Фихте бог тождествен с нравственным миропорядком; вера в моральный миропорядок есть настоящая вера в бога. Доброе настроение — ее единственное основание, нравственное поведение — ее единственное выражение.

118. «*Clavis Fichtiana*» — настоящее название этого сочинения Жан-Поля Рихтера «*Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana*». Приложение к первому комическому приложению «Титана».

120. «*Критика всякого откровения*», вернее «Опыт критики всякого откровения» («*Versuch einer Kritik aller Offenbarung*») — первая философская появившаяся в печати (1792 г.) работа Фихте.

121. «... е-н ф.-III». У Фихте — г. фон-Шен,

28 Генрих Гейне — 3065

121. *Пастор Боровский*. — первый биограф Канта.

124. *Форберг* — один из способнейших учеников философа Рейнгольда (последователя Канта), а впоследствии один из первых слушателей Фихте, прислал в 1798 году статью в философский журнал, издававшийся Нитгаммером и Фихте, «О развитии понятия религии», в которой Форберг хотел доказать, что религия вообще не есть вера; она является чисто практической и состоит только в хороших поступках; для хороших же поступков вовсе не нужно никакой веры во что-нибудь, даже веры в бога.

— «Об основании нашей веры в божеское управление миром». В этом сочинении Фихте объявляет бога равнозначным нравственному миропорядку. Сочинение написано в ответ Форбергу.

— «Апелляция». Заглавие этой статьи Фихте: «Апелляция к публике. Сочинение, которое просят прочесть, прежде чем конфисковать». Иена и Лейпциг. 1799. — В ней он опровергает упреки в атеизме, которые ему делались, и возвращает их противникам.

125... Оба (*Гете и Гердер*), однако, в достаточной мере заслуживают извинения. Роль Гете в истории увольнения Фихте из Йенского университета не так благородна, как это казалось Гейне.

— *Гете... рассказывает в своих воспоминаниях...* В «Ежедневных и ежегодных тетрадах» (*Tag- und Jahreshften*) от 1804 года. Все следующие три абзаца из которых третий вьят из гетевских «Тетрадей» за 1803 год, цитированы Гейне в книге «Жизнь и литературная переписка Фихте», что явствует из ряда незначительных отклонений от гетевского текста, общих у Гейне и в упомянутой книге.

— ... но как мог бы он итти в ногу с миром, который он считал своим лично созданным достоянием? Гете здесь намекает на субъективный идеализм Фихте, считавшего, что «все вещи имеют реальность лишь в нашем уме» (как формулирует его мысль Гейне).

— ... навлекли на нас. Гете говорит «нас» и «мы», так как дело Фихте касалось непосредственно его: он был в то время веймарским министром (просвещения).

128. ... *шлегелевскими мятезами*. А.-В. Шлегель был одним из вождей романтизма. Подробнее о нем и о романтизме — в примечаниях к «Романтической школе».

— ... можно смотреть на заблуждения наших первых романтиков несколько мягче. Сам Гейне в написанной двумя годами раньше (1832 г.) «Романтической школе» резко осудил романтизм как проявление католическо-федальной реакции.

129. ... он заклинает тайные силы земли посредством колдовских заговоров «Адского ключа». Фауст в трагедии Гете пользуется магическими формулами средневековых каббалистических заговоровных книг.

130. «Живой... философия». Цитата эта взята из статьи Фихте «Об основах нашей веры в божественное управление миром».

131. Но я знаю одно: и тот и другой мне противны. В истинности этих слов, поскольку они, по крайней мере, касаются атеизма (который Гейне считает в равной мере свойственным и французскому материализму и фихтевскому идеализму), можно сомневаться: впоследствии сам Гейне заявил, что его пантеизм был лишь «стыдливой» формой атеизма.

133. ...отвратительного убийства послов. 28 апреля 1799 года французские послы Робержо, Боннье и Жан Дебри подверглись нападению венгерских гусаров. Робержо и Боннье были убиты. Общественное мнение считало австрийское правительство тайным организатором преступления. Гете писал 7 мая 1799 года И. Г. Мейеру: «Что вы скажете о трагическом исходе раштадтского конгресса? Он страшен и как символ и как факт». 9 мая 1799 года Гете писал тому же Мейеру: «Раштадтское происшествие одно из самых безумных, известных из мировой истории».

— Ш. и Г. — Шиллер и Гете.

— ... Павла и Питта. Фихте имеет в виду русского императора Павла и английского министра Вильяма Питта.

— Буршер — богослов и философ, лейпцигский профессор.

— Фойхт — веймарский министр.

— Бургсдорф — близкий знакомый В. Гумбольдта, Гете, Шиллера, член художественного кружка Рахили фон-Фарнгаген, школьный товарищ Тика, человек, хотя и лишенный способности к художественному творчеству, но очень тонко чувствующий искусство, богатый барин, в имении которого бывали писатели. Состоял в переписке со многими литературными знаменитостями своего времени. Друзья называли его в шутку Лютарио (по имени одного из персонажей гетевского «Вильгельма Мейстера»).

— Розенмюллер (1736—1815) — профессор богословия в Лейпциге.

— ... преподаватели снова были подтверждены по символическим книгам. Символические книги — санкционированные определенной церковью «писания», излагающие ее учение в отличие от учения других церквей и являющиеся символом веры для ее приверженцев. В протестантской (лютеранско-евангелической) церкви эти книги рассматривались не как безусловный, а как относительный авторитет. Во времена просветительства (вторая половина XVIII века) значение их еще более снизилось. Но

протестантская ортодоксия не могла с этим примириться и делала попытки вернуться к первоначальному положению вещей, т. е. к обязательному признанию символических книг. Об одной из таких попыток и говорит Фихте. В 20—40-х годах XIX века, в связи с политической реакцией, ортодоксия одержала победу, и символические книги были признаны как обязательный и безусловный авторитет.

135. ... *датский поэт Гейберге* (1758—1841) — был в 1799 году из-за своих либеральных взглядов выслан из Дании и с 1800 г. поселился в Париже, где он при наполеоновской империи получил должность; в 1817 году был уволен; к концу жизни ослеп. Умер в Париже.

— ... *гражданин Георг Форстер* (1754—1794) — известный путешественник и писатель, с 1792 года — член якобинского клуба в Майнце; был послан клубом в Париж, чтобы добиться присоединения Майнца к Франции; в Германии был объявлен изменником, и ему было запрещено возвращение. Умер в 1794 году в Париже.

137. *Шеллинг* (1775—1854) — самый яркий представитель так называемой романтической философии; больше всего известен как создатель идеалистической философии тождества.

139. *Гамадриады* — в греческой мифологии богини-покровительницы деревьев.

140. *Элеаты* — греческие философы, ведут свое название от города Элеа, в Нижней (т. е. южной) Италии. Главные представители: Ксенофан (родился в 569 г. до н. э.), Парменид (510 г. до н. э.) и Зенон (485 г. до н. э.). Они подчеркивали единство абстрактного, извечно существующего и неизменного бытия.

141. *«Вестник спекулятивной физики»* — основан Шеллингом в 1800 году как орган, в котором должны были разрабатываться проблемы натурфилософии. Но так как в то время натурфилософия «существовала только в его голове», то он был и главным, почти единственным работником журнала (вышло только два тома, в 1800 и 1801 годах). В «Вестнике» появилась работа Шеллинга «Darstellung meines Systems der Philosophie» («Изложение моей философской системы»), которую и имеет, очевидно, в виду Гейне.

— *Джордано Бруно из Нолы* (1548—1600) — открыто выступал против учения церкви и склонялся к пантеизму. Обвиненный в ереси, был брошен в тюрьму, где протомился восемь лет, после чего был сожжен на костре (в Риме).

142. *Жюль Давид*. Как полагает комментатор Эльстер, Гейне здесь ошибся в имени и имеет в виду Фелисьена-Цеваря Давида, композитора, члена сенсимонистской общины, с которой (вернее, с ее остатками, так как община к тому времени почти распалась)

он вместе проживал на Востоке в 1833—1834 годах. Во французском издании Давид обовначен одной фамилией, имя (Жюль) опущено.

143. ... это делалось по отношению к государству... признающему принцип прогресса, ... и к церкви и т. д. Имеется в виду прусское государство и протестантская церковь. Пруссия, по сравнению с Австрией и католическими государствами Германии, считалась страной, где свободному мышлению отводится больше простора, а из протестантизма Гейне выводит, в своей работе, развитие немецкой философии, связывая, таким образом, с ним прогресс мысли.

— Шеллинг... извигается в передних... абсолютизма и пособляет в иезуитском вертепе. Шеллинг долгое время жил в Мюнхене, где читал лекции, занимал очень почетное место в университете, пользовался благосклонностью короля и хорошо ладил с клерикально-реакционными католическими кругами, задававшими тон в баварской столице в 30-е годы и делавшими тамошнюю политику. Он считался настолько благонадежным, что ему доверили философское образование кронпринца.

144. *Балани* (1776—1847) — французский публицист-мистик, писал по вопросам философии истории; в своей главной работе «*Essais sur la palingénésie Sociale*» («Очерки социального возрождения») придает революции providенциальное значение, признает народоправство, а социальный прогресс видит в осуществлении идеалов демократического христианства; оказал влияние на сенсимонистов.

146. *Монашо монашорит*. Монашо — латинское название Мюнхена; Гейне играет на значении имени города, происходящего от слов монах; Монашо монашорит значит Мюнхен монахов, т. е. Мюнхен как средоточие клерикальной католической реакции.

— ... католического учения о воплощении. Воплощение — основной догмат католической и православной церкви. Согласно ему, Христос имел действительно человеческую природу, воспринятую им от матери своей, Марии, и был на земле «в теле, подобном человеческому».

— ... ваш великий эклектик. Имеется в виду Виктор Кузен (1792—1857), основатель так называемой эклектической школы (т. е. совмещающей в себе элементы разных философских направлений). Содействовал во Франции знакомству с германской философией.

147. *Окен* Лоренц (1779—1851) — известный ученый (биолог) и натурфилософ, издавал в течение нескольких десятилетий «Изиду», журнал преимущественно естественно исторического содержания. Был известен своим политическим радикализмом,

147. *Адам Мюллер* (1779—1829) — дипломат и писатель крайне реакционного направления.

— *Геррес* (1776—1848)—писатель, близкий к романтикам. Вначале либерально-патриотического направления, переменил впоследствии взгляды и сделался главой католической реакции. Автор пресловутой в свое время «Христианской мистики».

— *Стеффенс* Генрих (1773—1845), из Ставангера в Норвегии — философ, профессор в Галле, Бреславле и Берлине, ревностный сторонник Шеллинга, один из инициаторов натурфилософского направления среди немецких романтиков.

— ... какой-то *глупый Ганс, по фамилии, кажется, Гакстгаузен* — барон Гакстгаузен, автор книги «Об основах нашего государственного устройства», вышедшей в 1833 году.

149. ... *берсеркерское неистовство*. Берсеркер (скандин) от *ber* — медведь и *serker* — рубаха, шкура. Герой скандинавской мифологии, воин, обладавший сверхчеловеческой силой. От своей жены имел двенадцать сыновей, отличавшихся такой же силой и яростной жадной битв и называвшихся тоже берсеркерами. Берсеркерство — жажда битв и приключений, которая влекла норманнов в отдаленные походы.

— *Тор* — в германской мифологии бог грома, победивший великанов с помощью своего молота.

151. «... *отомстить французам за то, что они отрубили в Неаполе голову Конрадину Гогенштауфену*». Конрадин (1252—1268)—герцог Швабский, последний отпрыск швабской династии Гогенштауфенов, занимавшей германский императорский престол в XII—XIII веках. Вел в Италии вначале успешную борьбу с французами за сицилианскую корону под предводительством Карла Анжуйского, но в битве при Тальякоцца был взят в плен и обезглавлен.

— *Д-р Вирт*. См. прим. к стр. 139 VI тома настоящего издания.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

«Романтическая школа» была, в основном, написана Гейне зимой 1832—1833 года — по-немецки, хотя долгое время в критике держался взгляд, что именно французский текст является оригиналом, а немецкий — только перевод с него. Заблуждение естественное: работа предназначалась для французов и вышла в свет сперва на французском языке. Сам Гейне подал повод к нему, заявив в предисловии к первому немецкому изданию книги: «Хотя эти страницы, написанные для журнала *«Europe littéraire»*, представляют собой лишь введение в дальнейшие статьи, я вынужден теперь же познакомиться с ними отечественных читателей, чтобы никто посторонний не оказал мне чести перевести меня с французского на немецкий. Книга появилась в 1833 году в новом журнале *«L'Europe littéraire»* (*«Литературная Европа»*). В своем первоначальном виде работа Гейне сильно отличалась от окончательного текста: она содержала в себе первые две книги и только часть третьей (до второй главы включительно). Последние главы были им написаны лишь в 1835 году. В таком неполном виде «Романтическая школа» была напечатана в *«Литературной Европе»* и вышла отдельным изданием на немецком языке (у Гайделоф и Кампе, Париж и Лейпциг, 1833, часть первая и вторая). Даже заглавие ее было иное: в журнале она называлась: «Современное состояние литературы в Германии, после мадам де-Сталь», в немецком издании: «К истории новейшей изящной литературы в Германии». Гейне, чувствуя неполноту книги, собирался ее расширить еще в 1833 году — и притом в гораздо больших размерах, чем он это выполнил впоследствии: он хотел дописать еще столько же, сколько было напечатано в *«Europe littéraire»*. Но свое намерение Гейне долго откладывал, и осуществить его, да и то не в полном объеме, он сумел, как нами уже указано, лишь в 1835 году. Новый расширенный текст вышел — на немецком языке — в самом начале 1836 года у гамбургского Кампе, постоянного издателя и беззастенчивого эксплуататора поэта. Только теперь было дано книге ее окончательное, прочно удержавшееся заглавие «Романтическая школа». Таким образом, начатая раньше, чем работа о немецкой философии, книга о романтизме была

заключена позже, чем та, — ее «творческая история» растянулась на несколько лет.

На французском языке «Романтическая школа» вышла отдельным изданием при жизни Гейне два раза, как часть книги «О Германии» («De l'Allemagne», издания 1835 и 1855 годов).

«Романтической школой» Гейне начал свою «посредническую» деятельность по ознакомлению французского общества с германской культурой, подобно тому как за год до того он стал знакомить немцев с общественно-политической жизнью Франции в своих корреспонденциях для «Аугсбургской всеобщей газеты», составивших впоследствии книгу «Французские дела». Но было бы ошибочно оценивать «Романтическую школу» только с этой стороны. Книга Гейне обращена к немецкому читателю в еще большей степени, чем к французскому. Ее значение может быть как следует понято только в перспективе литературной и общественной жизни Германии. Ожесточенная литературная полемика, которую вел в своей книге Гейне, была французскому читателю наполовину чужда и непонятна, — наоборот, для немцев она была влободневна.

«Романтическая школа» вместе с «К истории религии и философии в Германии» характеризуют Гейне как противника клерикальных и реакционных тенденций в «духовной» жизни Германии и вместе с этим как ярого приверженца сенсимонизма. О настроениях Гейне этих лет хорошее представление дают его письма, литературные высказывания и ряд статей, написанных им во время пребывания во Франции. Эти настроения, только, может быть, в менее резкой форме, чем в письмах, находим мы и в «Романтической школе».

Борьбу против романтиков Гейне ведет не с отвлеченно-литературной точки зрения, а с точки зрения общественно-политической. Он борется с романтиками как выразителями феодально-католической реакции. Правда, этим он как будто суживает значение романтической школы, которая не сводится лишь к одним мотивам поэтизации средневековья и прославления католичества. Но дело в том, что Гейне борется уже с *эпигонами* романтизма, с романтизмом обедневшим. С другой стороны, его книга — не литературное исследование, а политическое выступление, «удар мечом», как он сам ее называет. Гейне никогда не разделял феодальных и католических увлечений романтиков, а против этих увлечений и направлена его книга. Уже в юношеской статье о романтизме (1820), где он выступает его сторонником (и апологетом Шлегеля), он резко отмежевывается от реакционных тенденций школы.

«Романтическая школа» очень пострадала от немецкой цензуры. Усиленная строгость последней была вызвана доносительскими статьями Менцеля, который именно в это время, т. е. осенью 1835 года, предпринял свою атаку против Молодой Германии.

Гейне ожидал, что его издатель, Кампе, опубликует в газетах сообщение, в котором поставит усиление цензурных строгостей в связь с нападками Менцеля. Этого не случилось. Кампе не сумел отстоять книгу Гейне от цензурного произвола и, кажется, ничего не предпринял, чтоб этого добиться. Гейне долго не мог забыть надругательства цензуры над его книгой, которое казалось ему тем более вопиющим и необоснованным, что он сам, прежде чем посылать рукопись в Германию, подверг ее строгой цензуре, применяясь к немецким условиям (в нашем издании перевод сделан с эльстерского текста, в котором выкинутые места восстановлены — по парижскому изданию 1833 года, свободному от цензуры, а также путем сравнения с рукописью).

В Германии книга была встречена большей частью враждебно, отклики на нее не представляют особого интереса. Наиболее любопытна большая анонимная статья, появившаяся в «*Blätter für literarische Unterhaltung*» в ряде номеров от августа и ноября 1833 года (т. е. это был ответ на первое, неполное еще, парижское издание). Автор выступает, главным образом, против «анти-христианских» тенденций Гейне.

Удивительно, что отрицательно отнесся к «Романтической школе» такой радикальный критик, как Писарев. В Германии отрицательное отношение к гейневской работе держалось очень долго. Современная критика начинает признавать, что Гейне, по крайней мере по основным пунктам, был прав в своем приговоре над романтиками. Так, Макс Вольф заявляет, что история подтвердила оценки Гейне и что наша современность могла бы пересмотреть только одно его суждение — об Уланде, к которому поэт отнесся слишком строго.

В Германии книга Гейне была встречена враждебно реакционной и филистерски-мещанской критикой. В дальнейшем в разное время она подвергалась различной оценке. Правильную оценку ее может дать и дает лишь критика, исходящая из той, которую дал творчеству Гейне Маркс.

ПРЕДИСЛОВИЕ

155. *Значительную часть этих страниц, первоначально написанных по-французски и обращенных к французам....* Один из немецких исследователей Гейне, Гюффер (Hüffer), доказал, что, вопреки словам самого поэта, «Романтическая школа» написана по-немецки.

— *Я предполагал в такой же форме осветить и дальнейший период развития нашей литературы.* Гейне предполагал первоначально придать «Романтической школе» гораздо больший объем (вдвое больший, чем она имела в своем первом издании, которое заключало в себе первые две книги и первые две главы третьей),

155. Так, мне пришлось выпустить в свет мои сообщения «К истории религии и философии в Германии» в виде второй части «Салона». Ряд своих прозаических произведений Гейне выпустил под общим названием «Салон». Всего появилось четыре выпуска (части) «Салона»: первый (вышедший в свет в 1834 году), второй (1835), третий (1837), четвертый (1840).

— Об особенном заключении... я уже сообщил ко всеобщему сведению в печати. Текст второй части «Салона» был изуродован. Гейне заподозрил в этом издателей — Кампе и Гофмана — и напечатал соответствующее заявление во «Всеобщей аугсбургской газете» от 27/III 1835 г. На самом деле в этом была повинна цензура (подробнее см. вступительные замечания к «Истории религии и философии в Германии», в настоящем томе).

— ... достославным подвигом учреждения, стоящего выше всяких порицаний», т. е. цензуры.

КНИГА ПЕРВАЯ

157. Труд э-жи Сталь «De l'Allemagne» Сталь опубликовала в Лондоне в 1813 году свою книгу «De l'Allemagne». («О Германии»), где она старалась показать французам умственное движение современной ей Германии, Парижское издание этой книги вышло годом позже, уже после падения Наполеона, который преследовал Сталь как политического противника, изгнал ее из Франции и конфисковал первое французское издание ее труда. Книга Сталь касалась преимущественно немецкой литературы. В Германии писательница сблизилась с А.-В. Шлегелем, главой романтической школы, и это наложило отпечаток на ее суждения, придав им чрезвычайно благоприятный для романтиков характер. Это же делает книгу Сталь неприемлемой для Гейне, развенчивающего романтизм, общественная реакционность которого для него стала очевидной.

— ... много лет тому назад я предсказал конец «гетевского художественного периода». В статье о книге Менцеля «Немецкая литература» (см. том V настоящего издания Гейне).

— ... недовольных, стремившихся покончить с художественным царствованием Гете. Гейне имеет в виду таких людей, как Берне. Гейне был тогда близок к Берне и в дружеских отношениях с Менцелем; отсюда и его замечание: «Слишком хорошо были мне известны пути и приемы недовольных...»

— ... кой-кому кажется даже, что и сам я замешан в тогдашних бунтах против Гете. Гейне хвалил книгу Менцеля «Немецкая литература», содержащую резкие выпады против Гете. Он высказывался в том смысле, что время господства Гете, «гетевский художественный период», прошло, но решительно отводил выпады Менцеля.

158. ... *когда прославлением этой школы она содействует известным ультрамонтанским устремлениям...* Выражение «ультрамонтанский», происходящее от лат. *ultra montes* — за «горами», т. е. за Альпами, употребляется в смысле римский, католический. Романтики с течением времени стали все больше склоняться к католицизму (некоторые даже открыто перешли в католичество); в их творчестве проявлялись мистические и феодальные тенденции.

160. ... *сфинкс, низвергающийся в бездну, как только разгадана его загадка* — греческий миф. Сфинкс — чудовище, полулев, полу-женщина, опустошавшее окрестности города Фив; каждому прохожему он задавал загадку: «Какое существо ходит утром на четырех ногах, днем — на двух, вечером — на трех?» (ответ: человек) и пожирал всех, кто не угадывал. Разгадал загадку Эдип (сын фиванского царя). Тогда сфинкс бросился со скалы в пропасть и разбился.

— *Регентство* — восьмилетнее правление Филиппа Орлеанского (1715—1723), после смерти Людовика XIV. Это была эпоха крайней распущенности Французского двора и знати.

— *Петроний*. См. Гейне, т. IV (стр. 703 настоящего издания.).

— *Апулей* — латинский писатель II века нашей эры, автор сатирического романа «Золотой осел», в котором он изобразил нравы своего времени.

161. *Зарезанная Иудея... умирающий кентавр, сумевший... подослать сыну Юпитера... отравленную его собственной кровью*. Иудея была покорена римлянами, революционно-патриотические восстания евреев жестоко подавлены. Греческий миф о Геркулесе, сыне Юпитера, включает рассказ о кентавре Нессе, которого Геркулес убил за то, что тот хотел обесчестить его жену Деяниру. Умирая, кентавр посоветовал Деянире приготовить из его крови чудодейственную мазь, при помощи которой она сумеет сохранить навсегда любовь своего мужа.

— *Кастратские перемены*. В папской капелле пели кастраты.

162. *Поэма «Варлаам и Исафат»* — переведена Рудольфом Эмским (XIII век). Основной мотив поэмы — аскетический отказ от мира.

— *«Хвалебная песнь в честь святого Анно»*. Автор ее неизвестен; она относится к XII веку и является прославлением умершего в 1075 году кельнского архиепископа Анно II. В введении автор рассказывает о сотворении мира, о первородном грехе и спасении посредством христианства. Переходя к основанию Кельна, он делает отступление на тему об основании городов вообще, начиная с Нина, и говорит, опираясь на «Книгу Даниила», о четырех земных царствах. Затем подробно повествует о жизни Анно, его делах и его благочестии, и читатель

приглашается следовать примеру этого святого, дабы, после тщеты земной юдоли, приобщиться к вечному блаженству.

162. *Поэма Отфрида о Христе* — поэма бенедиктинского монаха Отфрида из Вейсенбурга, под названием «Христ» (Христос), более старого происхождения, чем «Иосафат и Варлаам» или «Песнь в честь Анно». Она закончена приблизительно в 865 году. Поэтическое достоинство ее оценивается невысоко, но она является очень важным памятником в истории немецкого языка.

— *«Нибелунги»*. Сказания о Нибелунгах складывались в течение всего средневековья в среде различных германских племен и окончательное завершение получили в самом начале XIII века. «Песня о Нибелунгах» состоит из двух равных частей, которые первоначально не были связаны друг с другом: 1. Сватовство Зигфрида к Кримгильде и его смерть. 2. Гибель бургунов при дворе короля гуннов Атиллы (Эцеля). Вторая часть основана на исторических фактах, рано ставших достоянием франкской легенды: уничтожение Бургундского королевства на Рейне гуннами, в 437 году, и смерти Атиллы в 453 году, в ночь его брака с Гильдикой, которой народные сказания приписывают германское происхождение.

— *«Книга богатырей»*. Название сборника стихотворений из германского цикла сказаний о богатырях, вышедшего в свет в XV столетии. Заклывает в себе сказания о «Ортните», «Гудитрихе», «Вольфдитрихе», а также о «Большом розовом саде» и о «Малом розовом саде» или «Карлике Лаурине». Другая обработка тех же или схожих с ними сюжетов, произведенная одним поэтом из народа, называется, по имени переписчика, «Книгой богатырей Каспара из Рена». Она не обладает поэтическими достоинствами, но имеет значение для истории саг.

163. *«Сказания о Карле Великом»* — разрабатывались гораздо усерднее французскими поэтами, чем немецкими. Из произведений немецких поэтов можно отметить «Песнь о Роланде» Конрада (XII век), обработка французского текста, и «Карл Мейнерт».

— *«Сказания о короле Артуре»*.¹ Этот цикл — кельтского происхождения; в основе легенд находится, видимо, реальное лицо, прообраз: британский король начала VI века, защищавший с успехом свою страну от вторжения саксов. В последующих обработках сам король Артур отступает на задний план, а все внимание сосредоточивается на его окружении, рыцарях так называемого Круглого Стола, которые являются олицетворением рыцарских понятий о чести и долге.

— *«Драгоценный Ивейн»* — один из рыцарей Круглого Стола; поэма о нем принадлежит Гартману фон-дер-Ауэ (одному из наиболее выдающихся немецких средневековых поэтов; XII —

XIII век). Рыцарь Ивейн покидает свою супругу Лаудину и отправляется на поиски приключений; в назначенный им срок он не возвращается, поэтому Лаудина его отвергает; он теряет рассудок, но потом выздоравливает и примиряется с Лаудиной.

163. *Превосходный Ланселот с озера* — тоже рыцарь Круглого Стола; авантюрный роман о нем Ульриха фон-Цацихофен (конец XII века) не имеет большого историко-литературного значения.

— *Вигалау* — рыцарь Круглого Стола, как и предыдущий; поэма о нем Вирнт фон-Графенберга (начало XIII века). Вигалау встречается на своем пути драконов, великанов, героев и совершает чудеса храбрости.

— ... *цикл сказаний о священном Грале*. Граль — в средневековых легендах — блюдо или чаша, высеченная из драгоценного камня и послужившая Христу во время тайной вечери; в эту же чашу собрана кровь Христа при распятии. Сказание о Грале довольно запутано и имеет несколько вариантов. Легенда срачивается с циклом сказаний о короле Артуре.

— «*Титурель*», «*Парцифаль*» и «*Лоэнгрин*». «Парцифаль» и отрывки из так называемого старшего «Титуреля» написаны знаменитым средневековым поэтом Вольфрам фон-Эшенбах и относятся к числу замечательнейших произведений немецкой средневековой поэзии. Другой, так называемый младший «Титурель», принадлежит Альбрехту фон-Шарфенбергу и отличается мистической ученостью, затрудняющей его чтение. «Лоэнгрин» состоит из двух частей, принадлежащих двум разным авторам: первая и меньшая — фантастична, вторая, заключительная и большая, — переполнена растянутыми описаниями придворной жизни, войны и т. д. Первая принадлежит неизвестному тюрингенскому поэту, вторая — неизвестному же баварскому. Содержание «Лоэнгрин» примыкает ко второй части поэмы о вартбургском состязании певцов. «Парцифаль» — огромная поэма в 25 000 стихов. Автор ее пользовался французскими обработками легенды, но вложил много своего, объединив простую разноголосицу приключений в одно целое, связанное основной идеей. В «Титуреле» только 1500 стихов принадлежат Эшенбаху: некоторые исследователи считают их лучшими стихами всего немецкого средневековья. Сюжет «Титуреля» — трогательная история любви Сигуны и Шionatoландера — двух персонажей, фигурирующих уже в «Парцифале».

— «*Тристан и Изольда*», *Готфрид Страсбургский* — легенда о Тристане и Изольде кельтского происхождения, возникла в Бретани, приблизительно в X веке, и связана с циклом сказаний о короле Артуре. Легенда стала рано обрабатываться то в грустном роде («ле», т. е. «жалобы» французских труверов), то в веселом роде («фаблио», содержание которых составляли любовные хитрости Изольды, обманывающей своего мужа).

Игривый и шутливый тон преобладает и в поэме знаменитого немецкого поэта начала XIII века, Готфрида Страсбургского. Готфрид Страсбургский был до известной степени антиподом и противником Вольфрама Эшенбаха, над «неуклюжими» стихами и торжественной тематикой которого он насмехался.

164. *Вольфрам фон-Эшенбах* — знаменитый немецкий поэт, «миннезингер» (буквально «певец любви») конца XII и начала XIII века. Из баварского рыцарского рода, но (в духе времени) совершенно неграмотный, не умевший ни читать, ни писать, находился долгое время при дворе известного покровителя певцов и художников, ландграфа тюрингенского Германа. Главные его произведения — поэмы «Парцифаль» и «Титурель».

— ... *Франческа да-Полента*. — Франческа да-Римини, дочь Гвидо да-Полента, любила Паоло Малатеста, сводного брата ее безобразного супруга, и была убита последним вместе со своим возлюбленным. Одно место из «Ланселота», которое она читала совместно с Паоло, так взволновало ее, что она не могла удерживать признания в любви. Данте ввел эту историю в качестве эпизода в свой «Ад» (песня 5).

— ... *пластический стиль работы так же должен главенствовать в современном романтическом, как и в античном, искусстве*. Здесь Гейне повторяет ту же мысль, которую высказал еще в своей юношеской статье о романтике (где он заявлял себя решительным сторонником романтизма и ставит А.-В. Шлегеля рядом с Гете, как двух величайших поэтов современности).

— *Геркуланум* — город возле Неаполя, был в 79 году нашей эры залит потоком намокшего от ливней пепла во время извержения Везувия (когда была засыпана и Помпея). Благодаря этому твердому покрову хорошо сохранился до нашего времени. В этом богатом городе много стенной живописи эллинистического периода.

165. *Эзотерическое значение* — доступное лишь посвященному.

— ... *громоздит Пелион на Оссу*. Пелион и Осса — две высокие горы в Греции. Согласно греческому мифу, возмущившиеся против Зевса гиганты попытались взобраться на небо и для этого вавромовдили Пелион на Оссу; но Зевс поразил их насмерть молнией. Выражение «громоздить Пелион на Оссу» перешло в литературный обиход и означает ряд отчаянных усилий, которые предпринимаются для достижения успеха в безнадежном деле.

168. ... *в Виттенберге протестовали латинской пропой*. Виттенберг, где во времена реформации был университет, являлся центром протестантизма. Там Лютер впервые выступил со своей проповедью, направленной сперва против злоупотреблений рим-

ской церкви, а затем и против самого католицизма. Выступал он вначале, по обычаю той эпохи, на латинском языке.

168. *Ottave rime* (октавы) — стихотворная строфа, состоящая из восьми строк (отсюда и название *ottave rime* — восемь рифм), рифмующихся особым образом (по схеме: 1—3—5; 2—4—6; 7—8). Сложилась в Италии.

— «... смеющиеся лица нимф Джулио Романо». Джулио Романо (1492—1546) — итальянский живописец и архитектор, наиболее значительный из учеников Рафаэля; более всего известен изображением сцен из античной мифологии.

169. ... тезисы... которые были прибиты немецким монахом на дверях виттенбергской церкви. Гейне имеет в виду сформулированные в виде тезисов возражения Лютера, направленные против торговли отпущениями грехов (индальгенции) и прибитые им к дверям церкви в Виттенберге 31 октября 1517 года, день, с которого обычно считают начало реформации в Германии.

— ... дом Атрея и Лая. Атрей — по греческому преданию, сын Пелопса, царя Элиды (Греция), и отец героев троянской войны, Агамемнона и Менелая. История самого Атрея и его потомков включает в себе много кровавых событий и злодеяний и была предметом драматических обработок (Софокл). Лай был убит своим сыном Эдипом, который женился на его жене — своей матери Иокасте.

— ... с анжуйской династией прибыли в Испанию и герои французской трагедии. С Филиппом V (1701—1746) утвердилась на испанском престоле французская династия Бурбонов. Так как в то время литература, и особенно театр, были сильно связаны с двором, то воцарение короля-француза, придавшего придворной жизни французский характер, действительно содействовало распространению французского влияния и в литературе.

— ... мадам Генриэтта. Генриэтта-Мария (1609—1663), дочь французского короля Генриха IV и сестра Людовика XIII, была помолвлена в 1625 г. с Карлом Стюартом, ставшим впоследствии английским королем (казненным английским народом). Впрочем, французское влияние проявилось со всей силой в английской литературе уже позже, во время реставрации Стюартов (конец XVII века). Главным представителем французского «классического» направления был в Англии Джон Драйден.

— *Готтшед* (1700—1766) — немецкий критик и поэт, насаждатель традиций и законов классической французской трагедии в Германии. Оказал огромное воздействие на современников. Умер, пережив свое влияние и успех. Одним из противников его был Лессинг.

169. ... *изображенный... Гете в его воспоминаниях*. Гейне имеет в виду гетевскую автобиографическую книгу «Правда и вымысел», в которой Гете описывает свое посещение Готтшеда.

— ... *Лессинг был литературным Арминием*. Арминий, с которым Гейне сравнивает Лессинга, — вождь германского племени херусков, разбивший в Тевтобургском лесу римские легионы (III век нашей эры) и этим отстоявший независимость Германии от Рима.

170. «*Эмилия Галотти*». Хотя действие этой трагедии дипломатически перенесено в Италию, но смысл ее направлен очень явно против произвола многочисленных германских коронованных деспотов того времени.

— «*О воспитании рода человеческого*». Главное религиозно-философское сочинение Лессинга.

172. *Гец* — герой трагедии Гете «Гец фон-Берлихинген» (1773). Гец — историческая личность, рыцарь. Из оппозиции к крупным феодалам и церкви он принял участие в крестьянской войне, но затем предал крестьян. Гете в своей трагедии идеализирует этого рыцаря-разбойника и делает его национальным героем.

— *Вертер* — герой романа Гете «Страдания юного Вертера» (1774). Эт. был первый роман, написанный Гете; пользовался колоссальным успехом.

— *Август Лафонтен* (1759—1831) — немецкий писатель, автор в свое время очень популярных романов, исполненных мещанской сентиментальности и ограниченности. Он написал около 150 томов.

— *Виланд* (1733—1813) — крупный немецкий писатель XVIII века. Сыграл большую роль в развитии немецкого литературного языка. Создал легкую, занимательную, светскую прозу, гибкую по стилю, проводник «французских вкусов». Автор первого немецкого «воспитательного романа» («Агатон»), изображающего процесс внутреннего развития человека. Первый перевел на немецкий язык Шекспира. Издавал журнал «Немецкий Меркурий», оказавший значительное воздействие на немецкую литературу.

— *Берлинский одописец г. Рамлер* (1725—1798) — немецкий поэт. Пользовался в XVIII веке большим почетом; его называли «немецким Горацием». Но уже Гете и Шиллер относятся к нему иронически. Его оды полны мифологических образов и условностей, напыщенны и искусственны. Неоднократно воспевал он в них прусского короля Фридриха II.

— *Ифланд* (1759—1814). См. Гейне, т. IV, стр. 704 настоящего издания.

— *Коцебу* (1761—1819) — популярный в свое время немецкий

драматург и романист. Состоял на русской службе и был русским шпионом. Его выступления против радикально-патриотического движения в Германии вызвали к нему сильнейшую ненависть, и он был убит студентом Зандом.

172. *Август-Вильгельм и Фридрих Шлегели*. Братья Шлегели являются виднейшими фигурами и зачинателями немецкого романтизма. Старший из них, Август-Вильгельм (1767—1845), — критик, историк литератур, санскритолог, поэт и переводчик, — играл значительную роль в литературном развитии Гейне. Младший брат, Фридрих (1772—1829), — философ, критик, писатель и филолог, являлся еще более воинственным идеологом романтизма, чем Август-Вильгельм. Его роман «Люцинда» был своего рода литературным манифестом романтиков. Оба Шлегеля не отличались силой чисто художественного дарования, и роль их в романтизме была преимущественно ролью теоретиков, вождей и знаменосцев. Фридрих Шлегель проделал довольно типичную для романтиков эволюцию: от прославления Греции он перешел к католицизму и самой мрачной феодальной реакции, поступив на службу к австрийскому правительству, в качестве сподвижника Меттерниха. С Августом-Вильгельмом Шлегелем Гейне был близок во время своего пребывания в Боннском университете, где Шлегель тогда читал лекции по истории немецкого языка. Гейне посещал их чрезвычайно усердно и был вскоре принят в доме Шлегеля. Особенно сильно помог Шлегель Гейне своими указаниями в области ритмики и стихосложения, где он являлся одним из лучших знатоков и мастеров. Гейне в это время был безусловным сторонником взглядов Шлегеля. В своей юношеской статье о романтизме он ставит его рядом с Гете, как величайшего поэта современности, и солидаризируется с положениями романтической школы. Гейне посвятил в эти годы Шлегелю венок сонетов, где он говорит о нем с большой признательностью и уважением и особенно благодарит его за то, что он его нравственно поддерживал в дни сомнений в своем поэтическом призвании.

Резко-отрицательная оценка Гейне романтической школы и лично Шлегелей объясняется, конечно, общими взглядами поэта и его борьбой против реакции, на пользу которой служили тенденции романтиков. Но некоторую роль в заострении выпадов лично против Августа-Вильгельма Шлегеля сыграли побочные обстоятельства, изменившие отношения между бывшим учителем и бывшим учеником в дальнейшем. В 1831 г. Шлегель на несколько месяцев приехал в Париж и там очень пренебрежительно отзывался о творчестве Гейне. Кроме того в одном из альманахов (вендовский «Альманах муз») была помещена его эпиграмма, явно направленная против Гейне. Гейне был сильно раздражен выпадами Шлегеля и рассчитался с ним заметкой в своих корреспонденциях для «Аугсбургской гаветы»

(см. «Французские дела», т. VI), где он осмелел детское тщеславие Шлегеля и его страсть к орденам.

173. ... *Иена, где временами проживали оба брата...*, Август-Вильгельм Шлегель жил в Иене в 1796—1801 годах и стал там в 1798 году экстраординарным профессором. Фридрих Шлегель был с 1799 по 1801 год приват-доцентом Иенского университета. Там же проживал в те годы Тик, Гарденберг (Новалис) и Брентано, а также благоволившие к романтизму философы Фихте и Шеллинг. Иена была как бы плацдармом первых романтиков. Это дало основание назвать весь ранний романтизм «иенским романтизмом».

174. *Перевод Шекспира*. Перевод этот был сделан Шлегелем в годы пребывания его в Иене (1797—1801). Этот перевод навсегда ввел Шекспира в оборот немецкой литературы. Работа Шлегеля является образцовой среди памятников художественного перевода и сохранила свое значение до последнего времени.

— *Кальдерон* (1801—1867) — испанский поэт-драматург XVII века. Он имел звание «придворного драматурга», пользовался огромным успехом в кругах аристократии и пятидесяти лет вступил в религиозное братство, а затем и действительно стал священником, как отмечает Гейне. Лучшими пьесами его являются мистерии (*autos*), содержание которых — прославление бога и торжество христианства. В эпоху своего увлечения католицизмом немецкие романтики чрезвычайно превозносили Кальдерона.

— ... *Цахариас Вернер пошел в этом так далеко...* Цахариас Вернер (1768—1823) — писатель-романтик, драматург. В одной из своих первых драм прославил Лютера («Мартин Лютер»); впоследствии перешел в католичество, выступал в Вене как проповедник и внес в свои драмы густейшую мистику. Особое значение Цахариас Вернер имел как создатель так называемой «драмы судьбы» («24 февраля»), жанра, очень распространенного у поздних романтиков.

175. ... *пересохшие глотки, сидевшие в бранденбургских песках*. Бранденбург — прусская провинция, где находится Берлин. Гейне имеет в виду берлинских поэтов-романтиков, в особенности Тика.

— ... *он (Тик) так перепился народными книгами и стихотворениями средних веков...* Тик один из первых начал обрабатывать народные сказки, так называемые «народные книги», т. е. старые рыцарские сюжеты, переложенные в форму популярного массового романа.

— ... *монологом, открывающимся словами: «Я — достопочтенный Бонифаций, и я пришел сказать вам» и т. д.* — начальные слова драматизированной сказки Тика «Жизнь и смерть святой Генофефы» (Женевьевы).

175. *Сердечных излияний монаха любителя искусства, написанных неким Вакенродером.* В этой книге содержится похвала старонемецкой живописи, в особенности Дюреру.

176. *Перуджино* — настоящее имя Пьетро Вануччи (1466—1522), учитель Рафаэля, глава умбрийской школы, отличавшейся не столько реализмом изображения, сколько «вадушевностью» и религиозным чувством. В картинах Перуджино — мечтательность, обращенные к небу лица исполнены кротости, молитвенности, экстаза. Эти черты творчества Перуджино делали его более родственным романтикам, чем творчество Рафаэля (о чем и говорит Гейне).

— *Фра Джованни-Анжелико да-Фиезоле* (1387—1455) — итальянский художник, отличавшийся силой религиозного чувства, которым проникнуты его картины. Особенно славилась его изображения ангелов. «Наивность» и религиозная «цельность» его творчества привлекали к нему романтиков.

— *Луер* — парижский художественный музей, один из богатейших в мире.

— ... *шарантонском сумасшедшем доме* — дом для душевнобольных под Парижем.

— *Gett* — слово, непередаваемое точно и на русский язык; означает, приблизительно, — вадушевность, душевную восприимчивость или глубину.

— *Геррес.* См. Гейне, т. IV, стр. 683 настоящего издания.

— ... *как сказал бы Полоний*.... Полоний (в Шекспировском Гамлете) говорит: «Если это безумие, то в нем есть система». Гейне сознательно несколько изменяет смысл слов Полония.

178. *Ян* — Фридрих-Людвиг Ян (1778—1852), немецкий патриот, пользовавшийся в первые десятилетия XIX века популярностью среди германской молодежи. Основал патриотические гимнастические общества; был ярым и ограниченным националистом и ненавистником французов. Один из излюбленных предметов насмешки Гейне.

178. *Кернер* (Körner) Карл-Теодор (1791—1813) — немецкий поэт, автор трескучих шовинистических стихов «Лира и меч». Вступил добровольцем в корпус Лютцова, действовавший против Наполеона, и пал в сражении около Вебелина.

179. ... *министр Штейн конспирировал против Наполеона.* Штейн — один из виднейших прусских политиков эпохи наполеоновских войн. В 1807 году был прусским министром. Реакционер и консерватор, но дальновидный политик, он считал, что прусскую монархию можно сохранить только путем реформ — «революции сверху». Положил начало освобождению крестьян от крепостной зависимости. Был инициатором военной реформы

и реформы администрации и т. д. Во время войны 1812—1813 годов он противодействовал миру с Наполеоном и был одним из тех, кто убедил Александра I перенести войну за пределы России.

179. «... *новонемецкое религиозно-патриотическое искусство*». Под таким названием была опубликована другом Гете Генрихом Майером статья в гетевских «Тетрадах» «Об искусстве и старине» («Über Kunst und Altertum»); Майер, а посредством него и сам Гете высказались в этой статье против романтического направления в искусстве.

— ... *столь же романтические, как «Мальчик с пальчик» и «Кот в сапогах»*. Гейне намекает на два драматических произведения Тика: «Жизнь и дела маленького Фомы, названного мальчик с пальчик. Сказка в трех актах» (1811) и «Кот в сапогах. Детская сказка в трех актах, с интермедиями, прологом и эпилогом» (1797).

180. *Иппокрена* — в греческой мифологии источник на склонах горы Геликон, бывшей местопребыванием муз. Вода Иппокрены обладала свойством вызывать вдохновение. Отсюда — род ходовых оборотов речи, в которых Иппокрена — синоним вдохновения. Одним из них пользуется Гейне.

182. ... *распутно-романтической «Люцинды»*... — Роман, в котором Фридрих Шлегель выступил с проповедью свободной любви и оправдания плоти («чувство плоти», как выражается Фр. Шлегель, есть основная тема этого романа). Подчеркнутый эротизм создавал роману скандальную славу. Шиллер считал этот роман непристойным.

— ... *целомудренной Луизой и старым достопочтенным «Грюнауским пастором»* — главные герои идиллии Фосса «Луиза».

183. ... *нижнесаксонский мужик*. Нижнесаксонцами называют потомки древних саксов, живущие в северо-западной Германии. Северо-западная Германия и сейчас — а во времена Гейне тем более — страна преимущественно крестьянская. Карл Великий вел долгие и кровопролитные войны с саксами, стремясь их покорить и обратить в христианство, что и имеет в виду Гейне, говоря о «новой вере», которую «внедряли огнем и мечом».

184. *Одноглазый Один* — главное божество древнегерманской мифологии. *Асгард* — местопребывание богов (асов).

— *Граф Фридрих фон-Штольберг* (1750—1819) — поэт, принадлежал к геттингенскому кружку поэтов, в котором был и Фосс. Его стихи обнаруживают сильное влияние Клопштока. Впоследствии сблизился с католической партией и в 1800 году перешел, со всей семьей, в католицизм.

— *Геттингенская поэтическая школа*. Геттингенская школа (или поэтический кружок) — ее называли еще Hainbund,

Союз роши (в честь оды Лессинга «Der Hügel und der Hain» — «Холм и роща»), — составила в 70-х годах XVIII века из поклонников Клопштока и противников французского влияния в литературе. Душой кружка был Бойе, издатель «Геттингенского альманаха муз». Членами кружка являлись: Гельти, граф Штольберг, И.-М. Миллер, Фосс и др. Кружок оказал большое влияние на дальнейшее развитие немецкой литературы.

184. *Гельти* (Hölty, 1748—1776) был одним из наиболее деятельных участников союза. Его стихи отличаются чрезвычайной сентиментальностью, но интересны своим приближением к народному творчеству и тем, что он первый в Германии стал культивировать балладу.

186. ... *немецкий Микель*. Микель — обычное комическое олицетворение немецкого народа.

— *Квиэтисты* — сторонники квиэтизма, т. е. «философии» успокоенности, пассивности, непротивления злу, созерцательности.

— ... *супранатуралистические секты протестантской церкви*, т. е. те течения внутри протестантизма, которые отрицают роль разума и склоняются к мистицизму.

187. *Гете... изрек обвинительный приговор Шлегелям*. Имеется в виду все та же напечатанная в гетевском журнале направленная против романтизма статья Генриха Майера, о которой упоминалось выше.

— *Г. Август-Вильгельм Шлегель удалился в нагроду Брамь*. Гейне намекает на то, что с 1818 года Шлегель отдался изучению санскрита и индусской литературы. В 1818 году он стал профессором нового, только что основанного университета в Бонне (на Рейне).

188. *Переписка между ним (Шиллером) и Гете, появившаяся три года назад..*, т. е. в 1828—1829 годах.

189. *18 брюмера*. Государственный переворот 9 ноября 1799 года, произведенный Наполеоном I, свергшим Директорию и объявившим себя первым консулом, что служило переходом к открытой монархии. Брюмер — второй месяц года по революционному календарю, введенному Конвентом (22 октября — 22 ноября). 18 брюмера VIII года республики (дата переворота) — 9 ноября 1799 г.

— *Барра и Гойе* — члены Директории, свергнутой Наполеоном.

— *Как сам я в то время открыто высказал... Гете уподобился Людовику XI и т. д.* Гейне писал это в статье о книге Менцеля «Немецкая литература», в 1828 году.

— *Это было несносно. Гете боялся всякого... оригинального писателя...* В этом отзыве сквозит иличная горечь. Гете, много писавший о литературе, «не замечал» Гейне, хотя Гейне при его

жизни выпустил в свет и свою «Книгу песен» и «Путевые картины». Единственное сохранившееся, не прямое, свидетельство его отношения к Гейне — неблагоприятно для последнего. Он признает талант Гейне, но подчеркивает его равнодушие, отсутствие настоящей любви к изображаемому.

192. *Васантасена* — героиня знаменитой древнеиндусской драмы «*Мгсхакатика*» («Глиняная тележка»), приписываемой царю Шюдрака. Она шла на сцене под заглавием «Васантасена». Гейне тоже называет эту драму не ее настоящим названием, а по имени героини.

193. *Дух его времени со всей живостью захватил Фридриха Шиллера*. В этой фразе Гейне использовал, как основу, эпизод, рассказанный в Библии, о том, как ночью дух божий боролся с Яковом и одолел его.

195. ... *она (история) и есть подлинная книга божья*. В этой формулировке Гейне отражается влияние на него философии Гегеля, видевшей в истории самодвижение и самораскрытие абсолютного духа.

— ... *«пророком, обращенным к прошлому»* — слова Фридриха Шлегеля, неоднократно цитируемые Гейне.

— *Шарль Нодье* (1780—1844) — многосторонний и плодотворный французский писатель, один из ранних романтиков во Франции. Находился под сильным влиянием Гете, особенно его «Вертера», что отразилось в его романах.

196. ... *так приблизительно говорится в эпиграмме...* Точно: «Многое могу я снести. Большую часть неприятных вещей терплю я спокойно. Лишь немногие мне противны, как яд и змея; их четыре: дым табака, клопы, чеснок и крест».

197. *Г. Вольфганг Менцель, потративший на борьбу с Гете грудь остроумия...*. Менцель был одним из вачинщиков того движения против Гете, которое возникло среди либеральной германской интеллигенции конца 20-х годов (Менцель примыкал еще тогда к либералам). Гете был атакован, как представитель холодного, в себе замкнутого, аристократического искусства, чуждого потребностям и интересам народа, далекого от современности, эгоистического и индифферентного. Менцель пошел в этом направлении дальше всех, даже дальше Берне. Он отрицал за Гете и гений, заявив, что у него был только талант, и поставил Шиллера выше его. Полемика Менцеля была настолько резка и бранчива, что Гейне, сочувствовавший тогда направлению, в котором шла антигетевская кампания (но не развенчанию поэта-Гете), в своей статье от 1828 года о книге Менцеля «Немецкая литература», которую в целом он похвалил, считал нужным, однако, отгородиться от нападков на автора «Фауста».

В другом месте, возражая Менцелю, он заявил, что Гете действительно обладал талантом — быть гением.

197. ... *пресловутый советник Мюльнер*. Мюльнер издавал в 1820—1824 году «Литературный листок» («Literaturblatt»), приложение к «Утреннему листку» («Morgenblatt»), в 1823—«Гекату», в 1827—1829 «Полуночный листок» («Mitternachtsblatt»), где нападал на представителей самых разнообразных лагерей; резко задел он и Гете. Это привело к тому, что он потерял всех своих литературных друзей (на что намекает Гейне, говоря о единственном оставшемся ему верным друге).

— ... *профессор Шютц, сын старика Шютца* — тот самый Шютц, которого Гейне несколькими страницами раньше упоминает в числе романтиков, перешедших в католицизм. Написал «Гете и Пустухен» и «Философия Гете». Старый Шютц это — Христиан-Готфрид (1747—1832), основатель и долгое время издатель иенской «Литературной газеты». С 1804 года издавал вместе с Эршем «Галлескую литературную газету».

198. *Шпаун* (1753—1826) — австрийский чиновник, который из-за одного своего сочинения, признанного «опасным», просидел десять лет в тюрьме. Впоследствии — либеральный журналист в Мюнхене.

— ... *испанского нищего мальчишку, ищущего вшей*.... Гейне имеет в виду картину Мурильо.

199. *Это — перст Гете*. Пародирование библейского выражения «перст божий» теряет свое острие при переводе, так как оно основано на совзвучии слов «Goethes» и «Gottes» — «Гете» и «бога».

— *Император Павел* — русский царь Павел Первый.

200. *Эккерман* (1792—1854) — немецкий писатель, известный своими «Разговорами с Гете». Но Гейне имеет здесь в виду не эту работу, а более раннюю книгу — «Beiträge zur Poesie mit besonderer Hinweis auf Goethe», где содержатся действительно до крайности, почти до смешного восторженные отзывы о Гете, осмеянные Гейне уже в «Путевых картинах».

— *Карл Иммерман* — друг Гейне, известный сейчас лишь как автор романа «Мюнхгаузен» и забытый как драматург, написал против Пустухена статью «Письма к одному другу по поводу поддельных страннических лет Вильгельма Мейстера и приложений к ним» (1823).

— *Фарнгаген-фон-Энзе*. См. Гейне, т. IV, стр. 671 настоящего издания.

— *Вильгельм фон-Гумбольдт* — лингвист, историк и прусский государственный деятель. Дал разбор гетевских «Германа и Доротеи» и «Рейнеке-Лиса» в своей книге «Эстетические опыты» (1799),

200. *Исследования г. Шубарта о Гете принадлежат к достопримечательностям высшей критики.* Шубарт, впоследствии почти совершенно забытый, был в 20—30-х годах XIX века видным писателем по вопросам эстетики и философии. Ему принадлежит несколько работ о Гете, восторженным поклонником которого он являлся, — в том числе одна специально о «Фаусте». Свою первую книгу о Гете он послал еще в рукописи великому поэту. Гете ответил молодому автору очень любезно, и ответ этот был помещен в качестве предисловия к книге Шубарта. Гете был на деле очень высокого мнения о работах Шубарта, с которым он состоял в переписке. Он писал ему: «Не только совпадает большая часть сказанного Вами с моим собственным представлением, но и там, где Вы меня упрекаете, где Вы мне противоречите, не трудно установить... между нами единство». Интересно отметить, что Шубарт был противником романтической школы и, в частности А.-В. Шлегеля. Это, быть может, послужило одной из причин благоприятного отзыва о нем Гейне.

— *Геринг, пишущий под именем Виллибальд Алексис* (1798—1871) — автор многочисленных романов по истории Пруссии, которого современники провалили немецким Вальтер-Скоттом.

— *Циммерман.* См. Гейне, т. IV, стр. 713 настоящего издания.

201. *Фауст*... *украшенная любочными картинками книжка.* Старейшая «История о д-ре Иоганне Фаусте, пресловутом волшебнике и чернокнижнике» («Historia von Dr. Iohann Faust, dem weitbeschreiten Zauberer und Schwarzkünstler»), неизвестного автора, появилась в 1587 году; вторая обработка сюжета Г. Руд, Видманна — в 1599 году. Видманновскую обработку издал, с многочисленными изменениями, Н. Пфигер в 1674 году; сокращенную обработку книги Пфигера выпустил, во втором или третьем десятилетии XVIII века так называемый «Христиански мыслящий» («Ch istlich meynende»). Только из последней воиника ярмарочная книжка.

— *Агриппа Неттесгеймский* 1486—1535) — авантюрист, философ и чернокнижник. В своем произведении «De occulta philosophia» («О тайной философии») развивает учение о магии или совершенном знании, дающем господство над земными вещами, над звездным миром и, наконец, над миром духов и демонов.

— ... *это тот самый Фауст, который изобрел книгопечатание.* Распространенное во времена Гейне мнение, будто Фауст и Фуст, компаньон изобретателя книгопечатания Гуттенберга, — одно и то же лицо, давно отвергнуто.

202. ... *в то время, когда, по народному убеждению, жил Фауст.* Несомненно, что легенда о Фаусте имеет в качестве основы реальную жизнь действительно существовавшего человека, жившего в начале XVI века,

203. *«Западно-восточный диван» Гете...* Сборник лирических стихотворений Гете, появившийся в 1819 году, через шесть лет после выхода книги Сталь «О Германии» («De l'Allemagne»).

204. ... *сочинение Иоганна Фалька: «Гете», изображенный по близким личным отношениям*. Гейне перевел часть этой книги для французского издания II тома «Салона», куда входила «Романтическая школа».

205. ... *подобно Аполлону среди овец царя Адмета*. Согласно греческим сказаниям, Аполлон служил пастухом у Адмета, одного из участников похода аргонавтов.

— *Коцебу... устраивает публичное чествование Шиллера*. Чествование, о котором говорит Гейне, должно было заключаться в постановке драматизированной «Песни о колоколе»; под конец из разбитой формы колокола должен был появиться бюст Шиллера; совместными усилиями Гете и Шиллера чествование было отменено.

— *Когда Агни, Варуна, Яма и Индра принимают облик Налья, на свадьбе Дамаянти, то она узнает своего возлюбленного по миганию его глаз*. Агни представляет собой в индийской мифологии олицетворение огня; Варуна — бог земли и повелитель моря; Яма — сын солнца, судья преисподней; Индра — бог войны, идеал героя-бойца. Рассказ о Нале и Дамаянти находится в третьей книге «Махабхараты». Наль, могущественный царь, проигрывает свое царство в кости; он блуждает с Дамаянти в пустыне и, наконец, оставляет ее, чтобы она больше не делила с ним невзгоды и вернулась к своему отцу. Но любящие опять встречаются, и Наль добывает свое царство. Эпизод о Нале и Дамаянти переведен на русский язык Жуковским (с немецкой обработки Фр. Рюккерта).

206. *Когда я был у него в Веймаре*. Гейне посетил Ге е, когда закончил свое путешествие по Гарцу, осенью 1824 года. Гете держал себя во время этого свидания довольно холодно, и Гейне долгое время неохотно вспоминал о нем.

— *Он улыбнулся теми самыми губами, которыми некогда целовал прекрасную Леду, Европу, Данаю, Семелу и столь многих других принцесс, а то и простых нимф*. Гейне здесь продолжает сближение Гете с Юпитером.

207. ... *она (смерть) уже занесла было косу над королем испанским*. Имеется в виду Фердинанд VII, который в 1832 году тяжело заболел и умер в следующем, 1833 году.

КНИГА ВТОРАЯ

— *Бюргер (1747—1794)* — известный немецкий поэт; особенно знаменита его баллада «Ленора»; *Бюргер* старался сделать свою поэзию демократической, доступной широким слоям народа

и оттого вводил в нее черты народной поэзии. Демократические тенденции выражал он и в политике; так, он горячо приветствовал французскую революцию и (в одном фрагменте) убеждал немецкий народ не помогать своим монархам в борьбе с революционной Францией. Существует мнение, что его политические стихи оказали влияние на политическую поэзию Гейне. Во всяком случае, направление творчества Бюргера и его демократический склад ума в достаточной степени объясняют, почему Гейне относится к нему с такой теплотой и называет его, играя на его имени, «гражданином» (Bürger).

208. *Шлейермахер* (1768—1854) — немецкий философ и богослов романтического направления, очень близкий к кругу «старших романтиков», на которых он оказал сильное влияние (в частности на автора «Люцинды» Фр. Шлегеля, который говорил, что Шлейермахер в сфере человечности для него то же, что Гете — в сфере поэзии, а Фихте — в философии). Философия Шлейермахера проложила пути Шеллингу, подготовив решающее для Шеллинга учение об интуитивном знании («соверщении»). Шлейермахер был также церковным проповедником, откуда и гейневский насмешливый эпитет «ныне высокопреподобный г. Шлейермахер».

209. *Книга эта, говорят, произведение его супруги, дочери знаменитого Моисея Мендельсона*. Роман «Флорентин» действительно написан женой Фр. Шлегеля, Доротеей, в 1801 году. Принадлежит к жанру так называемого «романа воспитания» в романтической переоценке этого жанра.

— «*Мудрость и язык индусов*». Настоящее название этого труда Шлегеля: «О языке и мудрости индусов. Материалы для содействия изучению древности. С прибавлением метрических переводов индусских стихотворений».

— «*Лекции по истории литературы*». Настоящее название: «История древней и новой литературы. Лекции, прочитанные в Вене в 1812 году». Это произведение характеризует отступничество Фр. Шлегеля от его раннеромантических (иенских) позиций.

210. *Уильям Джонс* (1746—1794) — выдающийся ориенталист и подлинный основатель санскритологии, то есть науки о языке древних индусов, санскрите. Он первый перевел «Сахунтала» Калидасы, которую уже с английского перевели на прочие европейские языки, и «Свод законов Мани».

— *Слока* — стихотворный размер древних индусских поэм; парные разделенные цезурой стихи, из которых каждый имеет по 16 слогов.

— *Г кзаметр* — античный греческий размер, состоит из трех-сложных дактилических и двухсложных хорейческих стоп

(числом 6); гекзаметр, где одни сплошные дактили, является особенно плавным и гладким, трохеи придают ему «неровность», «кочковатость».

210. *Александрийцы* — представители поздней греческой, так называемой эллинистической, культуры, отличались большим мастерством формы и склонностью к формальным ухищрениям.

— «*Рамаяна*» — древнеиндусская поэма, воспевающая подвиги легендарного героя Рама.

— ... *король Висвамित्रа враждует с жрецом Васиштой... королева Сабала*. Васиште принадлежала божественная королева Сабала, которая могла доставить обладателю ее все блага мира; индусский царь Висвамित्रа сначала пытался уговорить Васишту уступить ему корову добровольно, а потом хотел отнять ее силой, но королева помогла своему владельцу одолеть Висвамитру.

211. *Гердер* (1744—1803) — крупный немецкий писатель, теоретик и поэт, оказавший огромное влияние на развитие литературы в Германии (да и в других европейских странах). Еще в молодости он в «Очерках новой немецкой литературы» и «Критических рошах» отрицает единообразные правила и нормы, рассматривая литературы всех народов в зависимости от особенностей и языка последних. Он ставил народную поэзию особенно высоко и в своих «Письмах об Оссиане и песнях старых народов», в переводах «Народных песен» эстетически реабилитирует, наряду с восточной, средневековую и народную поэзию, находившуюся в пренебрежении у просветителей XVIII века. Он тонко чувствовал особенности поэзии каждого народа и слова Гейне о том, что Гердер «рассматривал все человечество как великую арфу», а каждый народ как отдельную струну «этой испанской арфы», очень правильно характеризуют его.

— ... *он соблазнил жену в доме своего друга и долго еще потом жил подачками оскорбленного супруга*. Речь идет о Доротее Шлегель, урожденной Мендельсон, дочери известного философа. Пятнадцати лет она была выдана отцом за банкира Фейта, к которому не чувствовала никакой склонности. Несколько лет она прожила во внешне счастливом браке с Фейтом. Вместе с Рахилью Левин, впоследствии Фарнгаген, и Генриеттой Герц она составила центр духовной жизни тогдашнего Берлина. В 1797 году в Берлин приехал Фридрих Шлегель. Доротея произвела на него сильное впечатление — не столько красотой, сколько умом и богатством своей натуры. Полюбив Шлегеля, Доротея развелась со своим мужем. Брак ее с Шлегелем долгое время не был оформлен, и это свободное сожителство вызвало много осуждений и насмешек. Свои отношения к Доротее Фридрих Шлегель изобразил впоследствии — достаточно нескромно — в романе «Люцинда». Доротея была деятельной помощницей

и товарищем своего мужа. Она была автором романа «Флорентин», переводов, статей; некоторые из них Фр. Шлегель подписывал своим именем. Нередко, в периоды творческого затишья у Шлегеля, ее писания одни поддерживали бюджет семьи, так что слова о податках оскорбленного супруга, вероятно, отголоски старых сплетен.

211. *Александр Гумбольдт* (1769—1859)— знаменитый немецкий географ и естествоиспытатель. Жил долгое время в Париже, где встречался с Гейне. Несколько раз оказывал услуги поэту (так, например, в 40-х годах хлопотал, хотя и безуспешно, о разрешении больному поэту въезда в Германию, где он хотел лечиться у своего школьного товарища Диффенбаха). Ссылки на Гумбольдта и Шамполлиона носят, конечно, шуточный, издевательский по отношению к А.-В. Шлегелю характер.

212. *Грис* (1775—1842) — известный переводчик (на немецкий язык). Он перевел «Освобожденный Иерусалим» Тассо, «Неистовый Роланд» Ариосто, «Влюбленный Роланд» Байарда, драмы Кальдерона и т. д.

— *граф Платен* (1796—1835) — известный немецкий поэт, к которому относятся злые страницы финала гейневских «Луккских вод» (см. «Путевые картины»). Наряду с Гейне, хотя и в совершенно ином роде, величайший виртуоз стихотворной формы тогдашней Германии. Установка Гейне — на непосредственность и простоту народной песни. У Платена — блестящая шлифовка стиха, чеканность, разнообразие размеров, стилизация.

— *Зольгер* (1780—1819) — известный философ романтического направления, высоко ценимый Гегелем. Автор эстетических работ, где развита теория «романтической иронии».

— *Яков Гримм* (1785—1863) — известный филолог-германист. По своим воззрениям и личным связям входил, вместе со своим братом, Вильгельмом, тоже известным филологом, в группу так называемых *младших* романтиков (Арним, Брентано, Геррес, Савиньи). Своей грамматикой немецкого языка положил основание понятию истории языка.

— *Лассен* (1800—1876) — норвежец родом, известный санскритолог, был профессором в Бонне, выпустил в свет, вместе с А.-В. Шлегелем, собрание санскритских басен «*Nitopadesa*», где главная доля работы и научной заслуги принадлежит, как это правильно отмечает Гейне, ему.

— *Франц Бопп* (1791—1867) — санскритолог, основатель сравнительного языковедения; был профессором Берлинского университета. Много сделал для изучения санскрита, издав ряд грамматических руководств, санскрито-латинский словарь и не-

сколько текстов в сопровождении точного латинского перевода («Наль» и др.). В Берлине Гейне слушал его лекции.

212. *Нибур*. См. Гейне, т. IV, стр. 684 настоящего издания.

— *Иоганн Мюллер* (1782—1809) — известный историк.

— *Герен* (1760—1842) — историк, профессор Геттингенского университета. Большинство его работ посвящено вопросам горю, обмена, политики главных государств древности.

— *Шлоссер* (1776—1861) — известный историк, автор крупных работ: «Всемирная история», «История XVIII столетия» и т. д.

214. ... *мучительный вопль титана, которого ганноверские аристократии... загнали в могилу*. Последние годы жизни Бюргера были отравлены заботами, преследованиями, семейными неурядицами. «Общественное мнение» Геттингена, входившего тогда в состав Ганноверского королевства, относилось очень враждебно к поэту из-за «безнравственности» его связи с сестрой жены.

215. *Корнель дышит еще средневековьем*. В трагедиях Корнеля большую роль играет «рыцарский» мотив «чести». Про его излюбленных персонажей критика утверждала, что они воплощают в себе тип людей эпохи Фронды и Тридцатилетней войны.

— *Тальмá*. Знаменитый актер-трагик наполеоновской эпохи.

— *Кто более великий поэт — Еврипид или Расин*. Расина сопоставлял с Еврипидом А.-В. Шлегель в своем сочинении, написанном на французском языке, «*Comparaison entre la Phèdre de Racine et celle d'Euripide*», Paris, 1807 — «Сравнение Федры Расина с Федрой Еврипида. В них он доказывал, что греческий трагик стоит, по своей естественности и глубине, выше «деланного» и «искусственного» французского «ложноклассика».

{ 216. ... *пародиста Еврипида и Сократа*. Аристофан задел в своих «Лягушках» Еврипида, которому он вменял в вину упадок греческой трагедии, а в «Облаках» — софистов, главным представителем которых он считал Сократа.

218. *Каталани* — (1779—1849) — знаменитая итальянская певица.

220. ... *церковный советник Паулус* — профессор богословия в Гейдельберге (1761—1851), впоследствии осмеянный Гейне в одном из стихотворений за присвоение тетради Шеллинга («Церковный советник Прометей»).

— ... *вновь появился в Берлине*. В 1827 году.

222. ... *Наполеон говорил о Таците, что он оклеветал Тиберия*. Римские историки, в частности Тацит, рисовали царствование Тиберия очень мрачными красками, в которых было, впрочем, мало преувеличения.

222. *Шлегель и орден почетного легиона*. См. Гейне, т. VI настоящего издания.

— *Людвиг Тик* — вместе с Шлегелями, Новалисом, Шлейермахером и др. принадлежал к так называемым старшим романтикам.

223. *Поэтическая полемика, которую е. Тик вел в драматической форме с противниками школы* — в комедиях «Кот в сапогах» и «Принц Цербино», где осмеяны просветители, натурализм и утилитаризм и эстетики.

— ... *сказкам-комедиям Гоцци*. Гоцци, венецианский драматург XVIII века (1720—1806), создал, на основе традиционной итальянской комедии масок (commedia dell'arte) новый род театральных представлений, комедию-сказку (известнейшие из них — «Турандот», «Любовь к трем апельсинам»). Цель сказок-комедий Гоцци была отвлечь публику от революционного влияния буржуазной драмы французов и Гольдони. Гоцци оказал очень сильное влияние на немецких романтиков — не только на Тика, но и на Брентано, Гофмана и др.

225. *Юстин*—римский историк (II век нашей эры); его «История», о которой говорит Гейне, является извлечением из «Всеобщей истории» Трога Помпея, жившего во времена Августа (начало I века).

226. *Тик и Николаи*. Тик поставлял Николаи переводы и собственные сочинения, написанные в духе пресного берлинского просветительства. Он написал несколько незначительных новелл для сборника Николаи «Straussfedern».

— ... *длинные романы, среди которых лучший «Вильям Ловелль»*. «История Вильяма Ловелля» (1795—1796) написана по образцу «Paysan perverti» («Развращенный крестьянин») Ретиф-де-ля-Бретонна. Изображает беспутную жизнь героя и преступления, в которых он все более и более запутывается, пока, утомленный и пресытившийся, не падает от руки мстителя.

227. ... *напечатанная в Кельне лубочная книжка*. Ее название: «Прекрасная, приятная и достойная чтения история о невинно преследуемой святой пфальцграфине Генофефе». Генофефа — немецкая форма имени Женевиева.

234. ... *на Фихте можно смотреть как на герцога Брауншвейгского от спиритуализма*. Герцог Карл-Вильгельм-Фердинанд Брауншвейгский был во время войны монархической коалиции с революционной Францией, в 1792 году, командующим австрийской армией. В июле 1792 года он издал знаменитый, так называемый Кобленцкий манифест, где угрожал французскому народу самыми недостойными наказаниями. На него намекает Гейне, называя философию Фихте манифестом против французского материализма. Смысл параллели Гейне таков: как

герцог Брауншвейгский вступился за низложенную монархию и изгнанных эмигрантов, так и Фихте боролся за изгнанный из Франции спиритуализм.

234. ... *Шеллинг, бывший медиатизированный философ*. Шеллинг жил с 1808 по 1820 год в Мюнхене. Наполеон медиатизировал, т. е. лишил владений, ряд мелких немецких князьков. На них и намекает Гейне, сравнивая с ними медиатизированного, т. е. лишенного прежнего господства в области философии, Шеллинга.

235. ... *смотрят сквозь очки, отшлифованные... Спинозой*. В метафоре Гейне скрыт намек на то, что Спиноза занимался шлифовкой оптических стекол.

237. *École polytechnique*—политехническая школа, первое высшее техническое училище во Франции, основанное Наполеоном.

238. ... *гиену в тонзуре* (о Герресе). Гиеной называет Герреса Гейне и в одном из своих стихотворений, «Der ex-Nachtwächter» («Бывший ночной страж»), написанном в 1850 году, т. е. на 15—17 лет позже «Романтической школы».

240. ... *александрийские философы тратили всю остроту своего ума на то, чтобы охранить падающую религию Юпитера от полной гибели...* Гейне имеет в виду так называемых неоплатоников.

241. *Барро* (1800—1869) — французский публицист, принадлежал к сенсимонистам; вместе с другим сенсимонистом, Фелисьеном Давидом, о котором Гейне пишет в своей работе «К истории религии и философии в Германии» (см. настоящий том, стр. 142), жил некоторое время на Востоке, пытаясь пропагандировать новую «религию» сенсимонизма.

— *Новалис*—настоящее имя Фридрих фон-Гарденберг (1772—1801). Один из виднейших представителей немецкого романтизма (принадлежал, вместе с братьями Шлегель и Тиком, к старшему его поколению). Автор неоконченного романа «Генрих фон-Офтердинген», ряда лирических стихотворений, написанных ритмической прозой «Гимнов ночи», форма которых, по мнению французского исследователя Гейне Легра (Legras), оказала влияние на свободную ритмику гейневского «Северного моря».

— *Гофман* (1776—1822). См. Гейне, т. IV, стр. 670 настоящего издания.

243. *Он любил молодую женщину, болевшую чахоткой и умершую от этого недуга*. Речь идет о Софии фон-Кюн, невесте Новалиса, умершей в 1797 году.

— *Генрих фон-Офтердинген, знаменитый поэт*. Никаких реальных исторических данных о нем нет; имя его известно

только по стихотворению о Вартбургском состязании (точнее, войне) певцов.

243. ... *у подножия того старого Вартбурга*... Гейне говорит о так называемом Вартбургском празднестве 1817 года, устроенном немецкими либералами в годовщину реформации и Лейпцигской битвы (победы над Наполеоном). Она послужила поводом для усиления правительственных репрессий, так как Меттерних представил ее как начало революции. Кампц, «Жандармский кодекс» которого был тогда сожжен; в числе других книг, являлся видным прусским чиновником, известным как один из влейших преследователей «демагогов».

— *В этом самом Вартбурге происходило некогда состязание певцов*.... То, что такое состязание действительно происходило, — не может считаться фактом, так как ничем не доказано. Хроники, которые приурочивают его к 1207 году, черпают свои сведения из стихотворения о вартбургской войне певцов, которое, конечно, не может считаться историческим документом. Само стихотворение состоит из двух частей. В первой рассказывается о споре поэтов по вопросу о том, кто из князей заслуживает наибольшей похвалы. Вальтер фон-дер-Фогельвейде выступает в пользу Тюрингенского ландграфа, Генрих фон-Офтердинген — за герцога Австрийского. Генрих побежден, но он хочет сдаться, не прежде, чем приведет Клингсора Венгерского, который должен выступить с прославлением Австрийского герцога. Клингсор (собственно персонаж из поэмы Вольфрама фон-Эшенбах «Парцифаль») появляется и задает Вольфраму фон-Эшенбах мистические вопросы и загадки, которые тот отгадывает. Тогда Клингсор начинает угрожать именем дьявола. Стихотворение лишено развязки; сохранилось оно плохо.

244. *Манесевский сборник* — устарелое название одной из стихотворных рукописей на средневерхненемецком наречии.

245. *Проф. Блюменбах* (1752—1840) — известный естествоиспытатель, был в течение шестидесяти лет профессором в Геттингене.

246. *Когда поздней осенью 1828 года я вернулся (тоже с жезлой стрелой в груди) с юга*.... Возвращаясь из Италии, Гейне получил — в Нюрнберге — известие о смерти своего отца, последовавшей 2 декабря 1828 года.

К Н И Г А Т Р Е Т Ь Я

248. *Клеменс Брентано* (1778—1842) — видный поэт, глава так называемых «младших романтиков» или «младоромантической школы». (*Гейдельберский кружок*, в противоположность *Иенскому кружку* старших романтиков). У младших романтиков характерная для романтизма идеализация средневековья, феодализма получила особенно яркое выражение. У Брентано

культ средневековья осложнились националистическими мотивами (в этом он, впрочем, не был одинок среди романтиков). Увлечение германской старинной и немецкой народной песней нашло у Брентано свое выражение в выпуске совместно с другим романтиком (и близким его другом) Ахимом фон-Арним сборника старинных народных песен «Волшебный рог мальчика» («Des Knaben Wunderhorn»), несколько подновленных и обработанных согласно вкусам эпохи. Брентано был и предшественником Гейне в области так называемых «Lieder der niederen Minne», «Песен «низкой» (т. е. сниженной) любви». Любопытно, что у Брентано Гейне нашел и сюжет одного из известнейших своих стихотворений «Порелей».

249. *Наннерль*. Гейне несколько ошибается. Героиня Брентано называется Аннерль.

254. *Это не гетевская Гретхен, и ее раскаяние не сюжет для Ари Шеффера*. О Гретхен Шеффера Гейне писал в статье «Французские художники» (см. т. VI настоящего издания).

258. *Людвиг-Ахим фон-Арним* (1781—1831)—один из наиболее видных «младших» романтиков, представитель того направления, которое можно охарактеризовать как выражение настроений феодально-дворянских групп в Германии, отрицавших под влиянием развития промышленности и отмены крепостного права.

259. *Стивенс* Джордж (1736—1800). Английский критик, много писал о Шекспире; издавал — один и вместе с Джонсоном — точные тексты шекспировских драм.

— *Лишь после смерти удостоился он чего-то вроде некролога от одного из членов школы*. Этот некролог появился в газете «Freimütiger» («Прямодушный») 1831 года, № 25, — и был написан романистом Вильгельмом Герингом, выступавшим под псевдонимом Виллибальд Алексис.

261. *Арним родился в 1784 году в Бранденбургской марке и умер зимой 1830 года*. Даты и место укуваны здесь неправильно: Арним родился в Берлине в 1781 году и умер зимой 1831 года (в своем имении Винерсдорф). Сам Гейне отметил эту ошибку в предисловии ко 2-й книге «Романтической школы» (см. «Дополнения и варианты» к настоящему тому).

264 ... *бедные маленькие человечки ночью пробирались по мосту... и каждый должен был положить по монетке, пока не наполнилась ими целая бочка*. Эту легенду, заимствованную из «Немецких сказок» Гримма, Гейне рассказывает также в «Духах стихий» (см. настоящий том, стр. 317).

265 ... *Корнелий Непот, не состоящий ни в каком родстве с знаменитым историком...* Имеется в виду римский писатель, преимущественно историк (99 — 24 до нашей эры); особенно известен своей книгой «О знаменитых мужах».

265. *Cour des miracles* (Двор чудес)—квартал Парижа, служивший в средние века убежищем для нищих и жуликов, где происходили «чудеса»: слепые «прозревали», хромые начинали ходить и т. д. (описан у Гюго в «Соборе парижской богородицы»); отличался невыразимой грязью, собранием действительных и мнимых уродств и болезней, пользовался полной автономией и неприкосновенностью.

266 ... *театров «Жимна» и «Варьете»* — театры, где давались легкие комедии, водевили и т. д.

268. *О, мне хотелось бы стать на вершушку Страсбургского собора с трехцветным знаменем в руке, простирающимся до Франкфурта.* Страсбург — пограничный (с Германией) французский город; во Франкфурте заседал германский Союзный сейм.

— *ab avo как историк, начинающий Троянскую войну рассказом об яйце Леды.* Согласно греческому мифу, Леда отдалась Юпитеру, принявшему образ лебедя. Из яйца, снесенного ею, родилась Елена Прекрасная, из-за которой началась Троянская война. «Начать с яйца Леды» значит начать с самых отдаленных, первоначальных причин.

270. *Филарет Шаль* (1798—1873)—известный французский критик (перевод его статьи о Гейне был первым из того, что появился в России о немецком поэте).

— *Жан-Поль-Фридрих Рихтер* (1763—1825)—известный немецкий писатель; он может быть назван предшественником романтиков, хотя отнюдь не разделял их увлечения средними веками, искусством примитивов, католицизмом и пр. Роднит его с романтиками намеренный беспорядок, разорванность композиции, причудливая смесь иронии и сентиментальности. Сам он находился под сильным влиянием английского писателя Стерна. Характеристика, которую ему дает Гейне, должна быть признана самым острым и удачным из того, что сказано о Жан-Поле. Жан-Поль оказал большое влияние на самого Гейне (как и на Берне). Особенно интересна зависимость между Гейне-сатириком и Жан-Полем. Гейне использовал отдельные приемы Жан-Поля, придав, однако, остроумию гораздо более целеустремленный, злободневный, действенный характер и гораздо более тонкую художественную отделку.

271. *Генрих Лаубе* (1806—1884)—немецкий писатель, участник Молодой Германии; был одним из «крайних» выразителей ее тенденций (роман «Новый век» и «Новая Европа»; «Путевые новеллы»). В «Путевых новеллах» Лаубе подражает автору «Путевых картин». Издавал в 1833 году, а затем в сороковых годах газету «*Zeitung für die elegante Welt*». За принадлежность к «Молодой Германии» был приговорен прусским правительством к семилетнему заключению в крепости. После за-

прета печатания и распространения произведений участников Молодой Германии держался очень малодушно...

272. *Карл Гуцков* (1811—1878)—один из виднейших писателей Молодой Германии, публицист, чрезвычайно плодовитый драматург и романист. Его роман «Wally, die Zweiflerin», где в довольно невинной на современный взгляд форме проводится характерная для Молодой Германии идея «реабилитации плоти», послужила ближайшим поводом для доносительной кампании критика Менцеля, за которой последовало запрещение Союзным сеймом произведений писателей этой группы. Большим художественным талантом Гуцков не отличался, но был даровитым и живым публицистом. Из всех его драм на сцене до наших дней удержалась лишь трагедия «Уриэль Акоста», считающаяся и вообще его лучшим произведением. Как и другие его пьесы, она «тенденциозна»; ее идея — трагическая борьба за свободу мысли. Между Гуцковым и Гейне создались враждебные отношения. Главной причиной здесь явилась книга Гейне о Людвиге Берне, которую Гуцков воспринял как отступничество от дела свободы, удар по своим и т. д.

После этого отношения Гейне с Гуцковым становятся еще хуже: в письмах поэта встречаются самые резкие отзывы об авторе «Валли». Он подозревает его окружение в том, что оно изуродовало «Schwabenspiegel» («Швабское зеркало», статья Гейне о швабской школе поэтов, вышедшая в свет в совершенно искаженном виде), он недоволен статьей о себе Гуцкова, который, желая его похвалить, не «находит ничего лучшего, как вымазать триумфальные ворота, которые он строит, старой менцелевской грязью», т. е. рассуждениями о гейневском еврействе. В органе Гуцкова «Телеграф» появились неблагоприятные для Гейне статьи. Еще более обострились отношения после того, как Гейне опубликовал свои «Schriftstellernöten», «Открытое письмо Юлию Кампе», где он обвинял одного из соратников Гуцкова, некоего Вилля (Wihl), в том, что тот изуродовал его статью о швабских поэтах. На это последовал ответ Вилля, а затем очень резкая статья самого Гуцкова. Все же надо прибавить, что Гуцков был одним из тех, которые (по крайней мере, одно время, до выхода гейневского «Людвига Берне») хорошо понимали значение Гейне-мыслителя и трибуна: он доказал это в статье, где сравнивал Гейне и Берне, отмечая глубину и равносторонность гейневских воззрений.

— *Людвиг Винбаре* (1802—1872)—один из писателей Молодой Германии, теоретик группы. В 1833 году читал лекции по эстетике в Кильском университете; однако преподавание было ему очень скоро запрещено, из-за «вредных» тенденций; свои лекции, изданные под названием «Ästhetische Feldzüge» (Эстетические походы), он посвятил Молодой Германии, откуда и пошло название группы. Основная мысль книги — возрождение искус-

ства посредством современности с ее новым «гуманистическим» содержанием. Как Лаубе и Гуцков, подвергался преследованиям за свою литературную деятельность (высылке из Франкфурта, где он жил), но в противоположность Лаубе, держался мужественно. С Гейне не был так близок, как Лаубе, но являлся большим почитателем поэта и в прозе его видел осуществление литературных требований и тенденций Молодой Германии.

272. *Густав Шлезигер*—ныне совершенно забытый писатель, стоявший в начале 30-х годов близко к группе Молодой Германии, принимая участие в редактируемой Генрихом Лаубе «*Zeitung für die elegante Welt*». Позже написал воспоминания о В. Гумбольдте и издал сочинения реакционного публициста Генца, правой руки Меттерниха.

274. *Лоренц Стерн* (1713—1768) — английский писатель XVIII века, ирландец по происхождению, автор «Сентиментального путешествия» и «Тристрама Шенди». Является одним из характернейших представителей «сентиментализма» XVIII века и оказал большое влияние на английскую, немецкую, французскую и русскую литературу. В Германии особенно сильное воздействие Стерна испытал Жан-Поль Рихтер и сам Гейне, причем стерновское влияние Гейне восприняли непосредственно, и преломленным через Жан-Поля. О близком сродстве Гейне и Стерна говорит та характеристика, которую автор «Романтической школы» дает английскому писателю: она в большой степени применима к самому Гейне.

277. *Г. Тик* всегда приходилось иметь свой домашний партер. Тик был превосходным декламатором, и чтения, которые он устраивал почти каждый вечер в своем древденском доме, были знамениты по всей Германии.

— «*Серапионовы братья*»—сборник рассказов и сказок; Гофман их объединяет тем, что все они рассказываются тесным кругом друзей, по очереди (как, например, в «Декамероне» Боккаччо). Каждый рассказ обсуждается собравшимися, причем все рассказчики индивидуализированы, так что отдельные новеллы подобраны сообразно характеру рассказчика. В этом сборнике заключены многие из лучших новелл и сказок Гофмана («Песочный человек», «Выбор невесты», «Щелкунчик», «Королевская невеста», «Мейстер Мартин» и др.).

278. *Гитциг* (1780—1849)—писал по вопросам криминалистики; в литературе известен как биограф Вернера, Гофмана и поэта Шамиссо. О нем Гейне шутивно повествует в поэме «Иегуда бен-Галеви», описывая, как и почему совершилось превращение его фамилии Ициг в Гитциг.

— ...*Вернер жил некоторое время также здесь, в Париже.* Это было в 1808 году.

278. *Перипатетические философы*. Перипатетиками назывались ученики Аристотеля вследствие того, что их занятия и беседы с философом происходили в то время, как они гуляли взад и вперед по саду организованной им школы (Лицей) и вдоль колоннады, окружавшей ее («перипатос»). Под «перипатетическими философами» Гейне разумеет девиц «легкого поведения», прогуливавшихся взад и вперед по галлерее Пале-Рояля.

— *В Вене вступил он в орден лигорианцев*—орден лигорианцев, или редемптористов, родствен невузитскому ордену; Вернер облачился в 1822 году в орденскую рясу, но снял ее, прежде чем прошло так называемое время искуса.

279. *Фридрих де-ла-Мотт-Фуке* (1777—1843)—писатель-романтик. «Ундина» — это единственное произведение немецкого романтика, которое осталось в литературе и сохранило свой интерес для последующих поколений. Фуке принадлежал к «младшему» кругу романтиков и был введен в литературу А.-В. Шлегелем. В романтизме его привлекала лишь одна сторона: тяготение к средним векам, идеализация феодализма. Фуке принадлежал к числу тех писателей, которые очень рано отметили Гейне и с симпатией отнеслись к его творчеству. Он встречался с Гейне в салоне Фарнгагенов. Что касается влияния Фуке на Гейне, то оно вряд ли может быть признано особенно значительным. Характер личных отношений Гейне к поэту-барону объясняет, вероятно, сравнительную мягкость его отзыва о последнем в «Романтической школе».

282. *Ричардсон* (1689—1761)—английский романист, автор «Клариссы» и «Памелы», создатель буржуазного «семейного романа», дидактического, нравоописательного и сентиментального. Оказал огромное влияние на европейские литературы, особенно на английскую и немецкую.

— *Гольдсмит* (1728—1774)—английский писатель-реалист, автор романа «Векфильдский священник».

— *Филдинг* (1707—1754)—крупнейший английский писатель-реалист XVIII века. Противник Ричардсона и в особенности его нравоучительности, которой он тщательно избегает в собственных романах. Старался показывать жизнь в ее неприкрашенной «наготы». Автор романов «Джозеф Эндрью», «Том-Джонс Найденш», «Атеней».

283. *Уланд* (1787—1862)—известный немецкий поэт, близкий к романтикам. Его слава создана сборником стихов, который он выпустил в 1815 году и который еще при жизни поэта выдержал несколько десятков изданий. Основное их настроение — тихая грусть, далекая от отчаяния. В их тематике — влияние романтизма и народной песни. Их герои — короли, рыцари, пастухи, барды. Их мотивы — любовь и природа, трактованные несколько идиллически (естественно, что их стал охотно пере-

водить у нас Жуковский). В последующих стихотворениях Уланда появляются и общественно-политические мотивы. Что касается «дубового венка гражданской доблести», о котором говорит Гейне, то он имеет в виду прежде всего деятельность Уланда в качестве депутата вюртембергского ландтага. Первый ее период относится к 1819—1825 гг. Вторично был он выбран в 1833 году; ему пришлось тогда отказаться от профессорской кафедры, которую он занимал в течение ряда лет (на это, вероятно, намекает Гейне, говоря о «великих жертвах», которые принес своим убеждениям Уланд). В ландтаге он был одним из вождей оппозиции.

284. *Бирх Пфейфер* (1800—1868)—немецкая актриса и драматург. В своих драматических произведениях, отличавшихся сентиментальностью, приноравливалась ко вкусам обывательской публики, хорошо знала сценические эффекты и имела большой успех.

— *Раунах* (1784—1852). См. Гейне, т. IV, стр. 681 настоящего издания.

— ... это — божественная пара... как Аполлон и Диана. Согласно греческой мифологии, боги Аполлон и Диана были брат и сестра, рожденные нимфой Латоной от Зевса.

286. *Даже «Зигфрида-Драконоубийцу» положил он под себя.* Раунах написал в 1835 году пьесу «Сокровище Нибелунгов».

— *Ниобея*—в греческой мифологии жена фиванского царя Амфиона, несчастная мать, детей которой уничтожили своими стрелами Аполлон и Артемида в наказание за то, что она вздумала хвалиться перед их матерью, Латоной, тем, что у нее двенадцать детей, а у Латоны всего двое. От горя обратилась в камень и в вечной тоске проливала слезы. Сделалась в поэзии олицетворением материнского горя.

287. *Иммерман* (1796—1840). См. Гейне, т. IV, стр. 680 настоящего издания.

— *Габбе* (1801—1836)—немецкий драматург, примыкавший к группе Молодой Германии. Писатель больших замыслов и часто незаурядной силы; однако его произведения отмечены той же незавершенностью и разорванностью, что и других младогерманцев. Экспрессионисты видели в нем своего предшественника.

— *Ихтриц* (1800—1875)—автор ряда трагедий, из которых наиболее известна «Александр и Дарий».

291. *Оссиан*. Герой ирландских сказаний. В 1760 году в Эдинбурге вышла книга Д. Макферсона, содержащая в себе собрание старинных «поэм», сочиненных шотландским бардом Оссианом и переведенных Макферсоном с гельского языка, то есть языка шотландских горцев. Ее подлинность была скоро взята

под подозрение, и долгое время считали, что это просто подделка. Но после того, как были найдены старинные шотландские песни, приписываемые народом Оссиану и чрезвычайно похожие на поэмы из сборника Макферсона, укрепилось убеждение, что последние являются обработкой каких-то действительно народных сказаний. Книга имела громадный успех и оказала воздействие на все европейские литературы.

293. *Макс фон-Шенкендорф* (1783—1817)—поэт, автор патристических стихов, исполненных романтических мотивов, духа рыцарственности, благочестия и пр.

— *Эрнст-Мориц Арндт* (1769—1860)—немецкий писатель либерально-патриотического направления. Во время «освободительной» войны (т. е. войны с Наполеоном 1813 года) старался содействовать патристическому подъему своими стихами. В то же самое время опубликовал третью часть своего прозаического произведения «Дух времени», где наметил основные черты конституционной реформы Германии, а десятью годами раньше способствовал своей «Историей крепостного права в Померании» освобождению крестьян от крепостной зависимости в этой провинции.

294. *Эйхендорф* (1788—1855)—может быть причислен к поздним романтикам. В его поэзии очень сильны мистические мотивы и католические тенденции.

— *Юстинус Кернер* (1786—1862)—романтик, один из сочленов «швабской школы», впоследствии не раз жестоко осмеянной Гейне.

— *Густав Шваб* (1792—1850)—поэт-романтик, один из членов так называемой «швабской школы» поэтов, во главе которой находился Уланд и к которой примыкали Г. Шваб, Юстин Кернер, Карл Майер, Г. Пфицер, Эд. Мерике и др. Всех этих поэтов объединяла любовь к народной поэзии, склонность к «мирным», пейзажным и любовным мотивам, удаленность от злобы дня, культ песни и баллады. Густав Шваб был типичным поэтом этой школы. В «Романтической школе» Гейне отзывается о швабских поэтах еще благосклонно. Это отношение резко изменяется в течение ближайших лет («Швабское зеркало», «Тангейзер»), когда Гейне начинает осыпать насмешками этих представителей идиллической поэзии, воспевающих птичек и цветочки («Gelbfeiglein»).

295. *Вильгельм Мюллер* (1794—1827)—немецкий поэт, автор «Греческих песней» и стихотворений в народном немецком стиле. Умер очень молодым. Оказал известное влияние на Гейне («безыскусственной», близкой к народной, формой своих песен), что сам же Гейне признал в своем письме В. Мюллеру от 7 июня 1826 года, из которого видно также, как высоко он ставит этого задушевного и тонкого поэта. Лирика В. Мюллера обязана

своей популярностью Шуберту, который положил на музыку циклы «Зимнее путешествие» и «Прекрасная мельничиха».

295. *Ветцель* (1779—1819)—поэт и драматург, автор ряда лирических стихотворений, «военных песен» и нескольких трагедий.

— «*Урания*» *Брокгауза*— альманах, выходивший в издательстве Брокгауза в Лейпциге с 1810 по 1848 год.

— *Адальберт фон-Шамиссо* (1781—1838)—немецкий поэт, француз по происхождению, чрезвычайно ценимый Гейне. По литературным симпатиям и творчеству очень близок к романтикам. Выдвинулся своей повестью «Чудесная история Петера Шлемиля», где рассказывается о алоключениях человека, продавшего свою душу чорту. Основное литературное значение Шамиссо — в его лирике. Он считается одним из лучших лириков в немецкой литературе. В противоположность большинству романтиков, Шамиссо отводит в своей поэзии большое место социальным и политическим мотивам. Ряд стихотворений написан им в прославление Июльской революции 1830 года; он переводит поэму Рыльева «Войнаровский» (Шамиссо знал русский язык и участвовал с научными целями в русской экспедиции вокруг света, организованной гр. Румянцевым); он пишет стихотворение «Бестужев», которое объединяет с переводом «Войнаровского» в одно целое, под названием «Ссылные». В «Бестужеве» описывается встреча немецкого путешественника, друга Шамиссо, с ссылкой декабристом Алекс. Бестужевым. Эти и аналогичные стихи, написанные в 30-х годах, имеет, вероятно, в виду Гейне, говоря, что «сердце этого писателя так чудесно помолодело», что он «перешел к совершенно новым тональностям» и «принадлежит больше молодой, чем старой Германии».

Не удивительно, что Гейне относился с симпатией к такому поэту: это так же обусловлено, как и его антипатия к «швабской школе». В свою очередь, Шамиссо один из первых оценил по достоинству Гейне и сохранил это отношение к нему до конца жизни.

296. ... с трудом можно разыскать в забытых сборниках, как «Лес поэтов»... в тогдашних газетах и бог знает еще где! Романтики выпускали совместно ряд альманахов, сборников, «карманных альманахов» (Taschenbücher) и т. д. «Волшебная палочка», о которой упоминает Гейне, — журнал, издававшийся совместно Генрихом Штраубе и Хорнталем в 1818 г. В нем участвовали: Брентано, Арндт, Кернер, Шваб, братья Гримм и др. С Генрихом Штраубе Гейне познакомился, а затем и подружился, в Геттингене, в 1820 году. Памятью этой дружбы является посвященный Штраубе сонет «An. H. S.», более раннее название которого «An. H. Str. Nachdem ich seine Zeitschrift für Erweckung altdeutscher Kunst durchlesen» («Г. Штраубе. После того, как я про-

читал его журнал для пробуждения старонемецкого искусства) — имеется в виду «Волшебная палочка», о которой Гейне отзывался в самых теплых выражениях. Что касается Рудольфа Христиани, то это был один из близких друзей Гейне, с которым он познакомился в 1823 году в Люнебурге; Христиани был тогда секретарем люнебургского магистрата и искал знакомства с Гейне. К нему, по словам брата поэта, Максимилиана Гейне, относится стихотворение «Diesen liebenswürdigen Jüngling» из цикла «Heimkehr» («Возвращение на родину»), «Книга песен». Христиани женился на кузине Гейне, Шарлотте, дочери Исаака Гейне, что еще больше сблизило его с поэтом. В Ганноверском парламенте он выдвинулся как участник либеральной оппозиции. В связи с этим написано другое, относящееся к нему стихотворение Гейне «К бывшему гетеанцу». В своем завещании (от 13 ноября 1851 года) Гейне назначил его издателем своих произведений; но Христиани умер, раньше чем успел приступить к этому делу.

297. ... *останки Карла*. Имеется в виду Карл Великий.

— *Знаменитый Роланд* — сподвижник Карла Великого, окруженный легендами, герой французской «Песни о Роланде». Историческое его существование не доказано, так как о нем свидетельствует лишь одно место в хронике «Жизнь Карла Великого» («Vita Caroli Magni») Эйнгарта, которое является, быть может, лишь вставкой из знаменитого стихотворного эпоса.

— *Сражение при Павии* (1525) — французский король Франциск I, ведший с германским императором Карлом V войну за обладание Италией, был здесь разбит наголову, взят в плен и должен был подписать в Мадриде мир, по которому отказывался от притязаний на итальянские земли.

298. *Себастьян Португальский* (1554—1578). Король Португалии, религиозно-фанатически настроенный, мечтал о возобновлении крестовых походов, погиб в экспедиции против мавров.

— ... *французский народ внезапно испытал желание раскрыть могилы прошлого* и т. д. Намек на «романтическую школу» во Франции, раскрываемый, впрочем, дальше самим Гейне. Французский романтизм действительно сильно отличался от немецкого, но трактовка его у Гейне как исключительно литературного явления, «моды», забавного маскарада, конечно, далеко недостаточна.

299. ... *уста полномочного вампира, избравшего своим местом пребывания Франкфурт*... Гейне имеет в виду Союзный сейм, находящийся во Франкфурте, который производил, особенно после 1830 года, ожесточенные преследования печати, всякого рода союзов и т. д.

П р и п и с к а

302. ... *бархатные скамьи люксембургского дворца*. В Люксембургском дворце (Париж) заседала во время реставрации и при Луи-Филиппе палата пэров.

— *Когда воспеваеть Геркулеса...* Греческие мифы рассказывают о двенадцати подвигах Геркулеса, которые он совершил на службе у аргосского царя Эврисфея: победа над немейским львом, над многоголовым чудовищем, лернейской гидрой, над эриманфским вепрем, очищение авгиевых конюшен, похищение пса Цербера из подземного мира и т. д.

303. ... *можно сделаться бессмертным философом и одновременно пожизненным pair de France*. Кузен был возведен в пэрское достоинство в 1832 году.

305. *Мудрец Квазер*—правильнее Квазир, герой северной мифологии. Он был создан ватем, чтобы стать судьей между Асами и Фанами (Aseu и Vanen), и обладал такой мудростью, что мог ответить на каждый вопрос, который ему задавали. Два карлика, Фиалар и Галар, убили его и из его крови, к которой они прибавили меду, составили драгоценное снадобье, обращавшее всякого, кто его отведал, в мудреца или поэта.

— *Заподозренный в демагогии, он в самом деле провел некоторое время в немецкой тюрьме, точно так же как Лафайет или Ричард Львиное Сердце*. В качестве воспитателя сыновей герцога Монтебелло В. Кузен совершил путешествие в Германию, был арестован в Дрездене по настоянию прусского правительства, обвинявшего его в «демагогических происках» (как тогда официально называли либеральную пропаганду), перевезен в Берлин и был отпущен на свободу только после настоятельного требования французского правительства (также и по ходатайству Гегеля).

306. ... *он любит истину еще больше, чем Платона и Теннемана* — пародийная перефразировка известного изречения: «Платон мне друг, но еще больший друг — истина». Теннеман (1761—1819) — философ, профессор Марбургского университета, написавший одиннадцатитомную «Историю философии», переведенную Кузеном на французский язык.

307. *Нет, г. Кузен был в немецкой философии неизменно верен шестой заповеди*. Гейне имеет в виду заповедь «не укради», но она не шестая, а седьмая.

— ... *великий Гинрихс* (1794—1861)—ортодоксальный гегельянец, автор работ по философии и эстетике: «Grundlinien der Philosophie und Logik», «Schiller's Dichtungen» и др.

ДУХИ СТИХИЙ

«Духи стихий» впервые были напечатаны по-французски. В 1835 году во II томе статей Гейне, носивших общее название «О Германии», появилась первая часть этого произведения («Oeuvres de Henri Heine», V—VI. «De l'Allemagne», 1—2, Paris, Eugène Renduel, 1835).

По-немецки они были опубликованы в 1837 году — в третьем томе «Салона» (вместе с «Флорентинскими ночами» — «Der Salon von H. Heine», III Band, Hamburg, bei Hoffmann und Campe, 1837).

Здесь была уже помещена и вторая часть «Духов» стихий», очевидно, написанная Гейне специально для пополнения тома, — издатель Кампе считал, что присланный материал недостаточен, не дает книге должного объема.

Важные привнесения имеются во втором французском издании «Духов стихий» — «De l'Allemagne» tome premier et tome deuxième, Paris, Michel Lévy, frères, éditeurs, 1855), где печатались на этот раз обе части трактата Гейне.

311. *В Вестфалии, бывшей Саксонии.* Провинция Вестфалия являлась одной из составных частей Саксонского герцогства. Саксы последними из германских племен обратились в христианство, — вернее, были насильственно обращены Карлом Великим в результате кровопролитной и многолетней войны. Считали, что старинные предания и остатки язычества особенно хорошо сохранялись именно у них. Теперь название Саксония перешло к другой части Германии, расположенной южнее и заселенной вовсе не потомками саксов. Старинную же, «настоящую», Саксонию немцы и сейчас называют Niedersachsen, т. е. Нижняя Саксония, — в отличие от просто (или Верхней) Саксонии. Гейне называл саксов своими землянами, так как он происходил из Дюссельдорфа, расположенного недалеко от вестфальской границы.

— *Видекинд* (или Видукинд) — вождь саксов, при котором происходила война с франкским императором Карлом Великим. Сначала он разбил Карла (в 762 году), потом потерпел поражение у Энгтера, сдался и принял христианство. Вокруг Видекинды сложились многочисленные легенды.

311—312. *«Когда он, обращенный в бегство... толкотня не по тебе»*—цитата из «Немецких сказаний» («Deutsche Sagen») братьев Гримм. Гейне сделал лишь незначительные стилистические изменения. Вслед за последней фразой у бр. Гримм следует такое объяснение: «В Голштинии распространено поверье, будто цыгане тех своих стариков, которых они не могут уже больше таскать за собой, погружают живыми в воду и топят; при этом они приговаривают: «Погружайся, погружайся. Свет тебе не мил!»

312. *Один Якоб Гримм сделал для языковедения больше, чем вся ваша Французская академия со времен Ришелье.* «Духи стихий» предназначались непосредственно для французской публики, отсюда — «ваша» (по отношению к французам). Якоб Гримм чрезвычайно много сделал для языковедения, в особенности своей грамматикой немецкого языка (выходила с 1819 по 1837 год). Французская академия в первой половине XVII века была превращена фактическим руководителем государства (при Людовике XIII), кардиналом Ришелье, в государственную. Она потратила 30 лет на составление словаря французского языка.

314. *Византиец Никита.* Никита Акоминат-Хониат—греческий историк, умерший в 1206 году; находился в Константинополе, когда город был взят крестоносцами (1204). Великан, о котором сообщает Никита, был француз и назывался Петр Брекюэль; он будто бы был 54-х (!!) футов роста. Данные о Никите Гейне почерпнул, по всей вероятности, из «Истории крестовых походов» Фр. Вилькенса (Лейпциг, 1829).

— *Лок-Мариа-Кер*—находится в Бретани, неподалеку от залива Морбиган; окрестности его изобилуют памятниками кельтской старины.

— *Торриган*, вернее Куриган, согласно бретонским поверьям, — злой дух, предсказатель несчастья.

315. *Висс И.-Р.* — автор книги «Идиллии, народные сказания, легенды и рассказы Швейцарии» (1815). Приводимый Гейне рассказ составляет примечание к идиллии «Любопытство и наказание» («Neugier und Strafe»). Но Гейне заимствовал его не непосредственно из книги Висса, а из «Немецких сказаний» Гриммов, что видно из его отступления от оригинала, которые встречаются также у Гриммов. Второй приводимый здесь рассказ является прозаическим переложением той же самой стихотворной идиллии Висса.

316. ... *предание, рассказанное в «Народных сказаниях» Отмара* — цитировано Гейне также по книге Гриммов.

317. *Исаак Абарбанель*—еврейский ученый (1437—1508), министр португальского короля Альфонса V. Религиозные преследования заставили его бежать в Испанию. В Испании тогда был королем Фердинанд Арагонский, соединивший в своих

руках власть над всей, до тех пор раздробленной, Испанией. При нем евреи были изгнаны из государства декретом от 1492 года. Узнав о нем, Абарбанель, исполнявший при испанском короле обязанности советника по налоговым и финансовым делам, поспешил ко двору и предложил королевской чете огромный, по тем временам, выкуп в 30 тысяч дукатов (150 тысяч рублей) за отмену декрета, но, по настоянию главного инквизитора Торквемады, предложение Абарбанеля было королем отвергнуто.

317. *В летнем ночном сне...* Подразумевается комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь», фантастического характера. Среди ее героев — эльфы, царица их Титания, ее супруг Оберон, проказливый дух Пук.

318. ...*«ле» о графе Ланвале, ... рыцаря Грюэлана, ... датчанин Эгир...* Гейне заимствовал рассказы о Ланвале, Грюэлане и Эгире из книги Добенена (1815), а Добенек, в свою очередь, черпал их из «Grands Fabliaux et contes du XII et XIII Siècle» («Фаблио и сказки XII и XIII века») (Париж, 1782). Название «ле» (lais) обозначали первоначально бретонские песни, преимущественно лирического характера, имевшие отношение к сказаниям о короле Артусе (Артуре). Впоследствии это название перешло на любовные (и жалобные) песни трубадуров, отличавшиеся искусной строфикой.

— *Авалон*. См. прим. к «Романтической школе».

— *Джисиннистан* (арабск.) — страна фей.

— *«Царица эльфов» Спенсера*. Эдмунд Спенсер из Лондона 1553—1599), поэт, слава которого была основана на большой героической поэме «Faîry Queen» («Царица фей»), аллегорического характера, оставшейся незаконченной (вышло шесть книг).

— *«Раз в лесу при лунном свете»*. Стихотворение взято из гейневского цикла «Новая весна» № 32.

319. *Датские народные песни*. С ними Гейне познакомился по книге «Стародатские песни и героих, баллады и сказки, переведенные Вильг. Гриммом» (Гейдельберг, 1811).

— ...*песня о рыцаре Олуфе* — приведена Гриммом в числе древнедатских героических песен. Это стихотворение, которое уже до того появилось в «Народных песнях» Гердера, дало материал для гетевского «Лесного царя» («Erlkönig»), а затем и для романтической драмы Ибсена «Олаф Лильекранс».

321. *«Вилы»*. Представление о вилах широко распространено в славянских поверьях. Это — женщины несравненной красоты, и кто их увидел, тому уже не нравятся смертные женщины. Они обитают в воде, на земле и в воздухе; они крылаты и часто появляются внезапно среди ночи. Нередко они оказывают человеку услуги и помощь. Гейневское изображение вил основывается

на том особом характере, которое приняло поверье в некоторых славянских округах Венгрии и которое ему стало известным по стихотворению Терезы фон-Артнер «Пляска вил. Народное славянское поверье» («Der Willi-Tanz. Eine slawische Volkssage»), появившемуся в «Карманном альманахе для отечественной истории» («Taschenbuch für vaterländische Geschichte»), вышедшем под редакцией Гормари и Медянского — в Вене, в 1822 году. Там говорится: «Сходство с северными эльфами... бросается в глаза». Обработку легенды представляет также рассказ «Пляска вил» («Der Willi-Tanz») в «Мадьярских легендах, сказках и рассказах» («Magyarische Sagen, Märchen und Erzählungen») графа Майлат, Штутгарт, 1837), но сам Майлат заимствовал сюжет, очевидно, из «Карманного альманаха». На этот сюжет написано также несколько балетных сценариев, но они появились уже после гейневских «Духов стихий».

321. *Г-жа де-Сталь*. Здесь говорится о ее книге «De l'Allemagne», появившейся в 1810 году.

— *Сюжет этого стихотворения*. Сюжет гетевской баллады «Коринфская невеста» восходит к «Волшебным историям» Флегона из Тралл, вольноотпущенника императора Адриана, написанным по-гречески. Гете заимствовал его не прямо у Флегона, но из какого-то другого источника, опирающегося на Флегона.

— *Элиан, Филострат Аполлоний Тианский*. Элиан — греческий писатель-компилятор, от которого сохранилось произведение «Равные истории», очень пестрого содержания. Филострат — так называемый Филострат Младший, или Афинский, жил во второй половине III века и написал «Жизнь Аполлония Тианского», знаменитого «чудотворца», философа-пифагорейца и «мага» древности (I век).

— *Ламии* — в греческой демонологии — прекрасные призрачные женщины, которые заманивают юношей и детей для того, чтобы пить их кровь.

322. *Об этом происшествии еще много рассказывают и поют в немецких землях*. С этой легендой Гейне, вероятно, повзаконился по 1-му сборнику «Волшебный рог мальчика» (Арним и Брентано); излагается она также в издании «Рыцарь фон-Штауфенберг, старогерманское стихотворение», Хр. Энгельгардта (1823); и в «Мифологии» Гримма; указания на нее имеются и в книге «Mons Veneris» («Венерина гора») Кориманна и у Добенека.

323. *Марск-Стиг*. История о нем заимствована Гейне из «Стародатских героических песен» («Ältdänische Heldenlieder») Гриммов.

324. ... нянька будет рассказывать детям о великом водяном нарде... овладевшем даже сушией, но в конце концов заклеванном

на смерть двуглавым орлом. Гейне имеет в виду Венецию, которой пришлось переносить в течение полу столетия (1814—1866) тяжелое владычество Австрии.

325. *Супруг принцессы Клевской называл себя Гелиас.* Гелиасом назывался «лебединый рыцарь», герой нижнерейнских сказаний. Первоначально «лебединый рыцарь» имеет в себе действительно нечто общее с водяным, но впоследствии представление о нем сплелось с конкретными историческими лицами, как Готфрид Бульонский. В старофранцузской поэме «Гелиос» (*Chanson de geste*) герой — расколдованный царевич-лебедь; его ладью везет лебедь—оставшийся нерасколдованным брат его. «Лебединого рыцаря» немецкие средневековые поэты превратили в Лоэнгрина, сына Парсифаля. Готфрид Бульонский (как и Лоэнгрин) выступает за несправедливо обвиненную принцессу и становится ее мужем, но ставит условием, чтобы она не спрашивала об его имени и происхождении. Когда принцесса нарушает запрет, он покидает ее.

326. *Некромант.* В древности так называли волшебников, будто бы вызывавших тени умерших для того, чтобы от них узнавать будущее.

— «Сказка о Земире и Аворе» — очень популярная в XVIII и в начале XIX века сказка. Принц Авор превращен силой чар в чудовище. Земира освобождает его из-под их власти и становится его женой. Этот сюжет был неоднократно использован для оперы (Шпором и др). Гейне ознакомился с ним, вероятно, по опере Гретри, которая, в сильно переработанном виде (текст Скриба, музыка Адама), была поставлена в 1832 году в Париже.

— «Gazette de France». См. прим. к VI тому настоящего издания.

328. ... *Музеус рассказывает.* Эта сказка называется в «*Volksmärchen der Deutschen*» («Народные сказки немцев») Музеуса («Похищенное покрывало» — «*Der geraubte Schlier*»). Имя феи — Каллиста, рыцаря — Фридберт. Гейне излагает сказку не совсем точно.

329. Вставленная в текст древнедатская поэма дается Гейне в совершенно переработанном виде. Заимствовал он ее из «*Ältdänische Heldenlieder*» («Древнедатские героические песни») Вильг. Гримм.

335. *Ведьмы, выведенные в «Макбете» Шекспиром.* Шекспир следовал рассказу Голиншеда. Голиншед говорит о «трех женщинах чуждого и странного вида, которые походили на существа какого-то более раннего мира». «Впоследствии всюду предполагали, что эти три женщины были либо три богини судьбы, либо нимфы или феи, достигшие путем некромантии знания о будущем».

335. ... *норны, парки*. Парки у римлян—сперва богини рождения, потом значение их слилось со значением греческих мойр, богинь судьбы. Их три; они олицетворяют судьбу человека от рождения до смерти. Они представлялись в виде трех прядущих сестер. Норны соответствуют в скандинавской мифологии паркам. Это — нестареющие красавицы, живущие под древом Иггдразиль, которое покрывает своей тенью весь мир.

336—337. ... *три волшебные пряжи, известные нам из старых детских сказок*. О них говорится в знаменитых сказках братьев Гримм.

337. *Алоиз Шрейбер*. Книга его «Рейнские сказания» вышла 2-м изданием в 1829 году.

339. *Омела*—ползучее, полупаразитическое растение, живущее на дубах; считалась священной у кельтов и древних германцев.

340. *Карлу Великому пришлось в своих «Капитуляриях» определенно запретить приношение жертв* и т. д. Гейне здесь следует изложению Добенека; последний ссылается на летопись Agathias'a (VI в.) и на «Жизнь Карла Великого» Дипольда.

341. *Был, например, один дворянин в Саксонии* и т. д. Этот рассказ заимствован Гейне из Иоганн-Георга Годельмана «Tractatus de magis, veneficis et lamis» («Трактат о волшебниках, чародеях и ламиях»), 1676 года.

343. ... *папа Сильвестр, знаменитый Герберт*. Сильвестр II, бывший папой в 999—1003 годах; обладал выдающимися познаниями в философии и математике; его занятия физикой и химией создали ему славу чернокнижника.

— Прочитированный у Гейне стих Данте находится в «Inferno» («Ад»), 27, ст. 123.

344. *Доктор Фауст*. Гейне имеет в виду, очевидно, кукольное представление, в основу которого положен клингемановский «Фауст». Фауст обязуется после совершения четвертого смертного греха стать добычей дьявола. Он влюбляется в призрак Елены Прекрасной, которая, однако, согласна принадлежать ему лишь в том случае, если он не будет женат. Тогда Фауст отравляет свою верную жену Кете (Катерину), и так как она беременная, то он совершает двойное убийство и два смертных греха. Его отец, который хочет покарать злодеяние, гибнет от его руки, а в качестве четвертого смертного греха дьявол насчитывает ему подписание договора с сатаной.

345. *Граббе*. Здесь говорится о трехактной комедии Граббе «Шутка, сатира, ирония и более глубокое значение» («Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung») — Раттенгифт спрашивает чорта: «Могу ли я узнать тайну: почему вы теперь явились на землю?» Чорт: «Потому что в аду теперь уборка. Под конец

является и чортова бабушка для того, чтобы освободить пойманного в клетку чорта. Она говорит: «Мытье шваброй (*das Schruppen*) в аду кончилось».

346. *Старик Штифель в библиотеке*. О геттингенском библиотекаре Штифеле Гейне упоминает уже в «Северном море», третье отделение (см. т. IV настоящего издания Гейне).

347. *Acta Sanctorum* (лат.) — «Дела о святых». Первоначально так назывались выдержки из судебных процессов христианских святых и мучеников. Впоследствии так стали обозначать рассказы о жизни и смерти святых («Жития святых»).

— «*Landesvater*» — немецкое название одной из принятых у немецких студентов церемоний, сопровождающейся пением особой песни: смысл ее — клятва в товарищеской верности.

— *Ванденуик и Рупрехт* — старинная книготорговля в Геттингене.

— *Консистоциальная советница Планк* — жена геттингенского профессора, протестантского богослова и историка церкви, консисториального советника Планка (1751—1833).

349. *Эдуард Гиббон* (1737—1794) — английский историк, автор «Истории возвышения и упадка Римской империи». В своих философско-исторических взглядах находился под влиянием Вольтера.

— *Либаний из Антиохии* (Сирия) (314—393) — греческий софист.

350 *Произошло это в Геттингене... когда так ужасно поколотили педеля Дориса* и т. д. Об этом происшествии Гейне упоминает и в «Путешествии по Гарцу».

— ... *поля битвы Бофендена, Ритшенкруга и Разенмоле*... — деревни возле Геттингена, излюбленные места студенческих дуэлей.

352. *Неоплатонические ухищрения*. Философия неоплатоников, развивавшаяся начиная с III столетия, пыталась, пред лицом наступающего христианства, оживить и наполнить новым содержанием греческую мифологию и эллинское мировоззрение. Она была основана на учении Платона об идеях, но включила в себя много посторонних составных частей и отличалась религиозно-мистическим характером. Мир она рассматривала как ряд последовательных излучений некоего надмирового вечного божества. Важнейший представитель этой философии был Плотин из Египта, живший в 204—269 годах.

354 *Диана и Эндимион* — греческий миф о прекрасном юноше Эндимионе, которого полюбила богиня луны Селена (Диана). Она погрузила Эндимиона в вечный сон для того, чтобы поцеловать спящего красавца. По другим версиям, она попросила

Зевса исполнить любое желание Эндимиона, а тот испросил себе вечный сон, с бессмертием и юностью.

354. *Калипсо и Улисс*. У Гомера Калипсо — нимфа на острове Огилия, куда спасается Улисс (Одиссей) после кораблекрушения. Одиссей проводит семь лет у Калипсо, которая хочет, чтобы он с ней соединился навеки, и предлагает ему за это бессмертие и вечную молодость. Но Одиссей не может забыть родину и жену. Наконец, богов охватывает жалость к несчастному страннику, и они приказывают нимфе, чтоб она отпустила Улисса.

357. «*Mons Veneris*» Корнмана. Более полное заглавие этой книги: «*Mons Veneris. Fraw Veneris Berg... an Tag geben durch Henricum Kornmannum ex Kirchajna Chatterum*» (Франкфурт на Майне, 1614).

— ... о абсурдной книге с колдовстве дель-Рио. Заглавие ее: «*Disquisitionum magicarum libri sex, auctore Martino del Rio*» (Lugduni — Лион — 1608).

— Эйхендорф, Вилибальд-Алексис. Вилибальд-Алексис использовал как раз последний, а не первый из приведенных у Гейне сюжетов. Новелла его называется «Венера в Риме» (1836). Предыдущая же история заимствована из новеллы Эйхендорфа «Мраморная статуя» (1819); некоторые черты внесены в нее самим Гейне.

358. *Верный Эккарт* — герой немецких сказаний. Появляется сперва в «Сказании о Харлунгах» («*Harlungensage*»), где он — воспитатель обоих Харлунгов, племянников короля Эрманриха. Когда он, будучи при дворе Эрманриха, узнает, что тот злоумышляет против достоинства и жизни Харлунгов, он спешит, несмотря на опасность, предупредить их о грозящей беде. Харлунги храбро защищают свой бурч, но им не удается его отстоять, и их самих постигает гибель. Эккарт избегает смерти и появляется затем при дворе Теодорика Великого (Дитриха Бернского). Он выведен также в «Песне о Нибелунгах». Позже его связывают с легендой о Тангейзере: он стоит у Венериного грота (*Venusberg*) и предупреждает всех приближающихся об опасности венеерных чар.

359. *Песнь* о Тангейзере в первом варианте точно воспроизводит текст из сборника «Волшебный рог мальчика».

362. «*Письма Элоизы к Абеляру*». Абеляр — знаменитый французский философ-схоласт XII века. Элоиза — его подруга, необыкновенно для того времени образованная женщина. Влюбленный Абеляр похитил ее из дома ее дяди, каноника Фульбера, и впоследствии тайно с ней обвенчался. Для того чтобы скрыть брак, он поместил ее в монастырь (но не в качестве монахини) и часто ее навещал. «Двусмысленность» его поведения вызвала неблагоприятные толки. Дядя Элоизы и ее родственники

напали на Абельяра и оскопили его. Абельяр и Элоиза постриглись в монахи. Переписка между ними возникла не сразу, а через десять лет после катастрофы с Абельяром. Письма Элоизы поражают своей искренностью, простотой и трагизмом. Она все еще любит Абельяра, она говорит ему, что он для нее «единственный», что ее святость лицемерие, что она не может отказаться от Абельяра, и просит его хотя бы писать ей. «Самим богом, которому ты себя посвятил, заклинаю тебя возвратить мне так или иначе твоё присутствие». Ответные письма Абельяра сдержанны, холодны, написаны в поучающем тоне.

В эпоху Гейне имена Элоизы и Абельяра снова стали актуальными.

В 1828 году останки Абельяра и Элоизы были перенесены на парижское кладбище Пер-Лашез. В 1836 г. Виктор Кузен опубликовал неизданные произведения Абельяра.

363. *Бехштейн* (1801—1860) — немецкий писатель и ученый

— *Вольф* (1799—1851) — писатель и выдающийся импровизатор. Гейне встречался с ним в Париже в 1835 году.

369. *Шалет* — излюбленное субботнее блюдо евреев. В разных местах готовится по-разному. В северной Германии это — суп из бобов с клецками; в южной Германии — более изысканное мучное блюдо. Гейне неоднократно упоминает о шалете в стихах и в прозе, однажды даже в тоне шутильной оды, пародируя шиллеровский гимн радости.

— *Мне в Дрездене встретился старый пес* и т. д. Имеется в виду поэт Тик, живший в Дрездене в 1819—1841 годах. Произведения, написанные Тиком в старости, в его так называемой «третьей манере», не понравились Гейне.

— *Ганс-Эдуард Ганс* (1797—1839) — юрист, известный гегельянец и противник исторической школы, читал в Берлине ряд лекций о современной истории с открытым доступом для публики. Они имели большой успех, но были скоро запрещены полицией.

ДОПОЛНЕНИЯ И ВАРИАНТЫ

К истории религии и философии в Германии

374. *Шиболет* — в переносном смысле (в каком его и употребляет Гейне) слово, по которому можно узнать принадлежность к организации или, напротив, обнаружить, что человек на самом деле не принадлежит к организации, за члена которой себя выдает. Заимствовано из Библии, где рассказывается, как во время войны гилеадитов с ефраимитами гилеадиты, занявшие подступы к иорданским бродам, заставляли всех желавших перейти реку произносить слово «шиболет» для того, чтобы распознать отступавших ефраимитов: последние произносили вместо «шиболет» — «сиболет».

375. ... они не скитаются босиком по пустыням Аравии... многие из них — неомиллионеры и т. д. Отбыв тюремное наказание, Анфантен и ряд других сенсимонистов отправились в Египет, где участвовали в инженерных работах. В 40-х и 50-х годах многие из бывших сенсимонистов превратились в именитых промышленников, богачей.

376. *Фридрих Геббель и Альфред Мейснер*. Геббель (1813—1863) — один из наиболее выдающихся немецких драматургов. Геббель встречался с Гейне во время своих приездов в Париж (в 40-х и 50-х годах). Его дневник и письма свидетельствуют о дружеском участии, какое принял в молодом и еще малоизвестном авторе Гейне. Но значение Мейснера как драматурга преувеличено Гейне. Мейснер (1822—1885) — довольно талантливый романист (как романист он выдвинулся уже после смерти Гейне), но его драмы, включая и «Жену Урии», никак не могут быть поставлены в один ряд с геббелевскими. Мейснер был очень близок к Гейне в годы «матрачной могилы». Известны его воспоминания о поэте.

— *Фридрих Рюккерт* (1788—1866). См. Гейне, т. IV, стр. 673 настоящего издания.

— *Анастасий Грюн* (1806—1876) — немецкий лирик, в поэзии которого были сильны гражданские, политические, оппозиционные мотивы и который этим оказал сильное влияние на германских поэтов 40-х годов.

Романтическая школа

382. *Герои шлегелевского эпического цикла* — т. е. романтики. Гейне иронически сравнивает писателей «Романтической школы», чей «вожак» — Шлегель, с богатырями какого-нибудь эпического цикла.

384. ... коллекция гг. Буассере и Бертрама, которую эти романтические торговцы ухитрились навязать королю Баварскому по вздутой цене. Братья Буассере прославились собранной ими коллекцией немецких картин, которые они разыскивали в старинных, полуразрушенных монастырях, у торговцев и т. д. Всего ими было собрано около 200 картин XIV, XV и XVI веков. Толчок к увлечению старонемецким искусством дали им лекции А. В. Шлегеля. Выставка их коллекций была устроена в Штутгарте, где ее увидел баварский король и купил все собрание за 120 тысяч талеров (приблизительно 180 тысяч рублей).

385. ... светским жанром какого-нибудь *Мириса или Нетшера*. Мирис (1635—1681) и Нетшер (1639—1684) — два художника голландской школы, писавшие небольшие картины на сюжеты из жизни богатых классов (молодые дамы, сидящие перед зеркалом, завтракающие или играющие с собакой, и т. д.).

— ... варианты двадцати различных изданий *«Тилья Эйленшпигеля»*. Тиль Эйленшпигель — действительно существовавшее лицо, шут, родом из Брауншвейга (Германия); жил в XIV веке. Его словечки, забавные выходы и похождения стали рано записываться, и в конце XV столетия рассказы о нем были собраны в отдельной книге (на нижненемецком языке). Это народное издание быстро сделалось чрезвычайно популярным, было многократно переведено на верхненемецкий и большинство европейских языков и особенно популярным было во Франции и Нидерландах.

Духи Стихий

401. *Сигруна*. В одной из исландских саг рассказывается о витязе Хельги, который был любим валькирией, по имени Сигруна, верной ему не только при жизни, но и после смерти.

402. *Порфирий* (232—305) — философ древности, неоплатоник, последователь и главный ученик Плотина.

— *Моисей видел Иегову в неопалимой купине*. Согласно библейскому рассказу, бог появился перед Моисеем в виде пылающего куста, который горел и не сгорал («неопалимая купина»).

— *Вечный жид, скорбный символ человечества, никем не понят глубже, чем Эдгаром Кине, одним из величайших поэтов Франции... его «Агасфер»*. Легенда о вечном жиде ведет свое

начало из средних веков. Согласно распространеннейшей ее версии, героем ее является иерусалимский сапожник Агасфер, который прогнал Христа, пожелавшего отдохнуть у него по пути на Голгофу. Христос сказал: «Я пойду, но ты дождешься, пока я вернусь». С тех пор Агасфер бродит по свету, не зная покоя, но и не будучи в состоянии умереть. Сюжет легенды обрабатывало множество поэтов, в том числе Гёте, Ленау и Эдгар Кине. Последний известен более как историк, чем как поэт. Его лучшее поэтическое произведение — «Агасфер», появившийся в 1833 году.

407 ... *пастух, боясь быть брошенным в качестве демагога в темницу....* В Германии эпохи 20—30-х годов применялся так называемый закон о демагогах.

406. *Я знаю одного из этих стрелков, который проживает теперь в Париже.* Гейне имеет в виду самого себя.

408 ... *встречал ее однажды, проходя по площади Бреда.* Квартал Бреда — часть Парижа, где обитают «дамы легкого поведения», «Венеры с камелиями», согласно терминологии Гейне.

— *Кавалер де-Грие* — герой романа аббата Прево «Манон Леско».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аббарбанель — 317
 Аббт — 90
 Абелар — 363
 Августин, св. — 71, 112
 Агриппа Неттесгеймский — 201
 Адам — 313
 Аделунг — 51
 Александр Македонский — 65, 66, 179, 304, 307
 Альберт Великий — 201
 Андерсен — 32
 Анно — 162
 Ансельм Кентерберийский — 13, 112
 Анфантен, Проспер — 373
 Аполлоний Тианский — 321
 Апулей — 160
 Аристотель — 65, 66
 Аристофан — 39, 216, 217, 223, 224
 Арндт — 293
 Арним — 250, 258—264, 296, 382
 Артур, король — 163
 Ассемани — 19
 Ауэрсберг, граф *см.* Грюн
 Бадер — 389
 Баланш (Балманш) — 144, 305
 Бардт — 86
 Барониус — 19
 Барра — 189
 Барро — 241
 Бассе — 190
 Бауэр, Бруно — 14
 Бекон, Рожер — 201
 Бекон, Френсис — 58
 Беме, Яков — 80, 81, 233, 235
 Бернгард, епископ — 31
 Бертрам — 384
 Бехштейн — 363
 Бирх-Пфейфер — 284, 286, 287
 Бистер — 90
 Блюменбах — 245
 Бонавентура — 24
 Бонифаций — 44, 175, 190
 Бопп — 212
 Боровский — 121, 123
 Боско, Бартоломео — 45
 Боссюэт — 37
 Бранденбургский, маркиз — 47
 Брауншвейгский, герцог — 42, 234
 Брентано — 180, 248—250, 258, 295
 Бройнлих — 122
 Брокгауз — 295
 Бруно, Джордано — 141
 Буассере — 386
 Бургсдорф — 133
 Бурхард-де-Лука — 31
 Буршер — 133
 Бюргер — 207, 213, 214, 401
 Бютнер — 122
 Бюффон — 94
 Вакенродер — 175
 Валаам — 15, 305, 307
 Вальтер-Скотт *см.* Скотт, Вальтер

- Ванденгук — 347
 Ван-Энде — 69
 Веймарский герцог — 205
 Веор — 15, 305, 307
 Вергилий — 164
 Вернер — 174, 180, 276 - 279, 386
 Ветцель — 295
 Видекинд — 311
 Визенбургский, Герман, граф — 31
 Виланд — 172, 317
 Виллибальд-Алексис (Алексис Виллибальд) см. Геринг
 Винбарг — 272
 Вирт — 151
 Висс — 315
 Вольтер — 19, 39, 70, 78, 85, 302, 359
 Вольф, Христиан — 67, 78, 81, 82, 84, 107, 114, 363

 Ганс, Ганс-Эдуард — 370
 Гакстаузен — 147
 Гарве — 90
 Гартунг — 123
 Геббель, Фридрих — 376
 Гегель — 14, 65, 117, 143, 146, 220, 234, 235, 239, 240, 306
 Гейберг — 135
 Геллерт — 87
 Гельберт — 327
 Гельвеций — 62
 Гельти — 184
 Генгстенберг — 14
 Гензихен — 123
 Генриэтта-Мария — 169
 Генрих, император — 382
 Георг III, король Англии, — 212
 Гердер — 124, 125, 127, 171, 178, 205, 211
 Геринг — 200, 358, 384
 Геррен (Герен) — 212
 Геррес — 147, 176, 180, 197, 236—238, 387
 Гете — 88, 125—127, 129, 130, 133, 157, 169, 172, 178, 187—191, 193—198, 200, 201, 203—206, 218, 228, 230, 231, 270, 272, 282, 296, 321, 344, 345, 369
 Гиббон — 349
 Гинрихс — 307
 Гитциг — 278
 Гогенцоллерны — 287
 Гогенштауфен, Конрадин — 151
 Гогенштауфены — 286
 Годельманус — 342
 Гойя — 189
 Голиаф — 12, 349
 Гольбах — 62
 Гольдсмит — 282
 Гомер — 55, 182, 199, 200
 Горн — 82
 Горст — 344
 Готшед — 169
 Гофман — 47
 Гофман, Э.-Т.-А. (Гоффман) — 241—243, 245, 246, 259, 260, 277, 278
 Гохстратен — 50
 Гоцци — 223
 Граббе — 287, 345, 376
 Гримбальди — 92
 Гримм, Яков — 212, 312
 Гримм, братья — 312, 323, 398
 Грис — 212
 Грюн, Анастасий (Атанасиус Грюн) — 378
 Гумбольдт, Александр — 211
 Гумбольдт, Вильгельм — 200
 Гусс, Ян — 97
 фон-Гуттен, Ульрих — 50
 Гуцков, Карл — 272

 Давид, Жюль — 142
 Даниил — 14
 Данте — 109, 164, 243
 Дантон — 52
 Даумер — 14
 Дейерлих — 246
 Декарт — 58, 59, 60, 62, 63, 67, 69, 81, 112, 140

- Дель-Рио — 357
 Денгоф — 122
 дю-Дефан — 70
 Дионисий Ареопагит — 82
 Джонс, Уильям — 210
 Добенек — 29
 Дорис — 350, 351

 Ева — 14
 Евдокия — 20
 Еврипид — 215—217

 Жан-Поль *см.* Рихтер, Жан-Поль

 Земмлер — 86
 Зольгер — 212, 384
 Зоммер — 121
 Зульцер — 90

 Иаков — 16
 Иисус Христос — 20, 21, 23, 26, 53, 65, 68, 72, 86, 98, 159, 162, 165, 240, 301, 335, 352, 358
 Иммерман — 200, 287, 378
 Иоанн Креститель — 170
 Иов — 258
 Иосиф бен-Сирах бен-Ели-эзер — 16
 Исидор — 20
 Ифланд (Иффланд) — 172
 Ихтриц — 287

 Кальдерон — 174
 Кампц — 243
 Кант — 58, 68, 71, 98, 102, 103, 105—110, 112—117, 120—123, 126, 134, 138, 141, 143, 145, 239, 304, 306
 Карл Великий — 297, 311, 340
 Карл I, король Англии — 80, 197
 Карл X, король Франции — 301
 Карове — 180
 Каталани — 218

 Квазер — 307
 Ксринф — 21
 Кернер, Карл-Теодор — 178
 Кернер, Юстин — 294, 403
 Кине, Эдгар — 402
 Кир — 225
 Кирилл — 20
 Кицлер — 346, 350, 351
 фон-Клейст, Генрих — 378
 Клотц — 94
 Кондильяк — 62
 Коперник — 108
 Корнелий Непот — 265, 267
 Корнелиус Амстердамский — 327
 Корнель — 215
 Корнман — 357, 358, 362
 Коцебу — 172, 205
 Кромвель — 80
 Кузен, Виктор — 239, 302—308

 Ламетри — 62
 Лампе — 103, 113
 Лассен — 212
 Лаубе — 271, 272
 Лаумель — 297
 Лафайет — 305, 307
 Лафонтен, Август — 172
 Лев X папа *см.* Медичи Лев
 Лево-Веймарс — 242
 Лейбниц — 58, 63, 64, 65, 67, 69, 78, 81, 143
 Лессинг — 88, 92—98, 169—171, 173, 178, 181
 Либаний — 349
 Лодовико — 168
 Локк — 62—64, 67, 69
 Лотарингский герцог — 28
 Луи-Филипп — 222
 «Людвиг Баварский» — 283
 Людовик XI — 189
 Людовик XIV — 169, 215
 Людовик XVIII — 301
 Лютер — 34—37, 41—44, 47, 49—52, 54, 56, 58, 79, 91—93, 97, 98, 133, 168, 183, 243, 342, 378

- Маймон — 68
 Манси — 19
 Марат — 74
 Мария дева — 19, 20, 165, 167, 361
 Маркс — 14
 Медичи, Лев X — 35—37, 168
 Мейснер, Альфред — 376
 Меланхтон — 44
 Мендельсон, Моисей — 90, 91, 92, 96, 98, 209
 Менцель — 183, 197
 Микель-Анджело — 168
 Минье — 115
 Мирис (Миррис) — 387
 Моисей — 16, 92, 199, 343, 402
 Моле — 12
 Мольер — 38, 39, 214, 221, 222
 Мориц — 90
 де-л-и-Мотт-Фуке — 276, 277, 279—283
 Музеус — 328
 Мюллер, Адам — 147, 180
 Мюллер, Вильгельм — 295
 Мюллер, Иоганн — 212
 Мюльнер — 197

 Наваррская королева — 38
 Навуходоносор — 14
 Наполеон — 119, 135, 136, 177—179, 205, 214, 219, 222, 301—303, 307
 Несторий — 20
 Нетшер — 387
 Нибур — 212
 Никита Акоминат-Хониат — 314
 Николай — 86—90, 96, 171, 226
 Новалис — 180, 241—245, 247, 259
 Нодье — 195
 Ньютон — 64

 Окен — 147, 391
 Оленд — 45
 Орфей — 307

 Оссиан — 291
 Отмар — 316
 Оттон III — 297
 Огфрид — 162, 180
 фон-Офтердинген, Генрих — 243, 244

 Павел I, русский император — 199
 Паганини — 213, 304, 307
 Парацельс — 80; 145, 201, 312, 313, 341
 Паулус — 220
 Перси — 213, 214
 Перуджино — 176
 Петроний — 160
 Петр, св. — 36
 Пипер — 246
 Питт — 133
 Пифагор — 106
 Планк — 347
 Платен — 212
 Платон — 65, 66, 107, 140, 306
 Полициано — 36
 Порфирий — 404
 Преториус — 29, 326, 327, 359, 397
 Птолемей Филадельф — 16
 Пульхерия — 20
 Пусткухен — 191, 200

 Раймунд Люллий — 201
 Рамлер — 172
 Расин — 179, 214—216
 Раумер — 286
 Раупах — 284—287
 Рафаэль — 36, 164, 176
 Рейнгольд — 104, 117, 125, 132, 134
 Рейхлин — 50
 Ремигиус — 28, 33
 Рихтер, Жан-Поль-Фридрих — 118, 178, 270, 272—274
 Ричардсон — 282
 Ричард Львиное Сердце — 305, 307

- Ришелье — 312
 Робеспьер — 74, 101—103, 105
 Родриг — 170
 Розенмюллер — 133
 Роланд — 297
 Романо, Джулио — 168, 192
 Россини — 381
 Ротшильд, Джемс — 192
 Ротшильды — 47
 Руге — 13, 14
 Рупрехт — 347
 Руссо — 72, 101, 133
 Рюккерт, Фридрих — 378
- Савл — 15
 Сакарелли — 19
 Сакоский — 233
 Сакс, Ганс — 54, 233
 Саксонский курфюрст — 124
 Сансон — 19
 Себастиани — 303
 Себастьян Португальский — 298
 Сен-Жюст — 5, 76
 Сен-Мартен — 80
 Сен-Симон — 45
 Сервантес — 39, 230, 232, 387, 388
 Сильвестр II, папа — 343
 Сирах *см.* Иошуа бен-Сирах
 Скотт, Вальтер — 281
 Скотт, Иоганн *см.* Эриген
 Сократ — 88, 90, 145, 216, 217
 Соломон, царь — 15, 87, 363
 Соломонс — 212
 София — 245, 247
 Софокл — 216, 217
 Спенсер — 318
 Спиноза — 58, 67—71, 77, 78, 81, 127, 129, 140, 141, 142, 235
 Сталь — 157, 158, 175, 203, 207, 209, 218, 221, 270, 380, 384
 Стерн — 274, 275
 Стеффенс — 147, 236
 Стивенс — 259
- Страсбургский, Готфрид — 163, 164, 385
 Тальма — 215
 Таулер, Иоганн — 79
 Тацит — 158, 222
 Теллер — 86, 96
 Теннеман — 306
 Тецель — 36
 Тиберий — 222
 Тик, Людвиг — 175, 180, 216, 222, 223, 226—231, 259, 276, 277, 384, 387
 Тит Веспасиан — 16
 Тициан — 169
 Тримальхион — 160
 Тьер — 115
 Тюрингенский ландграф — 244
- Уланд, Людвиг — 257, 276, 277, 283, 287—297
 Урбан — 361, 365, 366, 367
- Фальк — 204
 Фарнгаген-фон-Энзе, Карл — 200
 Фейербах — 14
 Фердинанд Арагонский — 317
 Фиезоле, Джованни-Анжелико — 176, 180
 Филострат — 321
 Филдинг — 282
 Фихте — 71, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 173, 234, 385
 фон-дер Фогельвейде, Вальтер — 283
 Фойхт — 133
 Фома Аквинский — 24
 Фонтенель — 101
 Форберг — 124
 Форстер — 135
 Фосс — 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 197

- Франке — 83
 Франческа да-Полента — 164
 Франциск, король — 297
 Фрейлиграт — 378
 Фридрих Барбаросса — 287, 404, 405, 406
 Фридрих Великий — 86, 87, 304, 307
 Фуке *см.* де-ла-Мотт-Фуке

 Хирам — 87
 Христиани — 296

 Циммерман — 200

 Шаль — 270
 Шаммиссо — 295, 376
 Шамполлион (Шамполион) — 211
 Швабэ — 294
 Шекспир — 174, 199, 200, 212, 223, 230, 259, 274, 317, 335, 387
 Шеллинг — 65, 71, 137, 138—146, 173, 233—236, 239—241, 306, 383, 388, 389
 Шен — 107, 121
 Шенкендорф — 293
 Шеффер, Ари — 254
 Шиллер — 115, 133, 178, 188, 193, 194, 195, 197, 198, 205, 296, 376, 384
 Шлегель, Август-Вильгельм — 158, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 182, 183, 187, 188, 189, 190, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226, 227, 228, 236, 238, 242, 259, 277, 382, 384, 389
 Шлегель, Фридрих — 173, 174, 175, 176, 179, 180, 182, 187, 188, 189, 190, 197, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 216, 226, 227, 228, 230, 236, 238, 242, 259, 277, 382, 384, 386
 Шлезииер — 272
 Шлейермахер — 208
 Шлоссер — 212
 Шпаун — 198
 Шпенер — 82, 83
 Шпиндлер — 211
 Шрейбер — 336
 Шрек — 19
 Штейн — 179
 Штифель — 346
 Штольберг — 184, 185
 Штраубе — 296
 Шубарт — 200
 Шульц — 104, 121, 122
 Шютц — 104
 Шютц (сын Хр.-Г.) — 180, 197
 Шютц, Христиан-Готфрид — 197

 Эдгард — 122
 Эйхендорф — 294, 357
 Эккерман — 200, 369
 Элиан — 321
 Элоиза — 362
 Энгель — 90
 Эразм Роттердамский — 44
 Эригена — 82
 Эрнст Швабский — 283
 Эсхил — 85, 216, 217
 фон-Эшенбах, Вольфрам — 164

 Юлий Цезарь — 179, 304, 307
 Юнг-Штиллинг — 43
 Юстин — 225

 Якоби, Фридрих-Генрих — 77, 78
 Ян — 178
 Ян Лейденский — 40
 Янтъен Амстердамский — 285

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

| | |
|---|---------|
| Г. Гейне. Портрет работы Эльзассера 1825—29 г. . . . | VI—VII |
| Г. Гейне. Плакетка скульптора Штаудингера | 48—49 |
| Титульный лист первого издания «Романтической школы» 1836 г. | 160—161 |
| Бюст Г. Гейне работы Арнольда Фрише | 224—225 |
| Г. Гейне. Статуэтка скульптора Теодора Говена . . . | 288—289 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| <i>И. Луппол.</i> Генрих Гейне и философия | VII |
| К различному пониманию истории | 3 |
| К истории религии и философии в Германии | 9 |
| Романтическая школа | 155 |
| Духи Стихий | 311 |
| Дополнения и варианты | 373 |
| Комментарии | 413 |
| Указатель имен | 487 |
| Список иллюстраций | 493 |

Редактор П. С. Виноградская.
Художественная редакция
М. П. Сокольников
Технический редактор
А. А. Чалова.
Лит.-техн. наблюдение
В. В. Чешигина
Наблюдение на производстве
Г. А. Батков.

★

Сдана в набор 21. X. 1935. Под-
пис. к печ. 23. IV. 1936. Вышла
в свет V. 1936. Тираж 15 500.
Уполном. Главлита № Б-12013.
Индекс А-1. Изд. № 196. Уч.
авт. л. 23,4. Формат бумаги
82 × 110, в ¹/₈₂. Бум. л. 7,75.
Заказ № 162.

★

Отпечатано во 2-й типогра-
фии «Печатный Двор» треста,
«Полиграфкнига». Ленинград
Гатчинская, 26.

Цена Р. 8 —
Переплет Р. 2. —

О П Е Ч А Т К И

| <i>Страница</i> | <i>Строка</i> | <i>Напечатано:</i> | <i>Следует:</i> |
|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 235 | 13 св. | всегда | всегда |
| 288 | 10 св. | колящие | колющие |
| 288—289 | 1 сн. | Статуетка | Статуэтка |
| 362 | 7 сн. | еретическими | еретических |
| 431 | 1 сн. | папо | папой |
| 442 | 15 св. | —... | 156 ... |
| 482 | 14 св. | о абсурдной | в абсурдной |
| 486 | 10 сн. | 407 | 405 |
| 487 | 1 св. | Рожер | Роджер |
| | (2-й столбец) | | |
| 487 | 4 св. | 363 | 362 |
| | (1-й столбец) | | |
| 489 | 9 св. | 378 | 376 |
| | (2-й столбец) | | |
| 490 | 13 сн. | 387 | 385 |
| | (1-й столбец) | | |

ГЕЙНЕ. Полное собрание сочинений, т. VII. — 162/3065.



ГЕЙНЕ

7



Г Е Й Н Е

ЛЕНИНГРАД

